КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО

СКАЗКИ. РАССКАЗЫ. ПОВЕСТИ.



Стальное колечко (сборник)

Константин Георгиевич Паустовский

Аннотация
Константин Георгиевич Паустовский. Стальное колечко. Сказки, рассказы, повести.
Сказки
- Тёплый хлеб
- Стальное колечко
- Дремучий медведь
- Квакша
- Похождения жука-носорога
- Заботливый цветок
- Растрёпанный воробей

Рассказы
- Барсучий нос
- Заячьи лапы
- Старик в потертой шинели
- Колотый сахар
- Летние дни
  - Последний черт
  - Золотой линь
  - Кот-ворюга
  - Подарок

- Прощание с летом
- Сивый мерин
- Жильцы старого дома
- Ценный груз
- Соранг
- Австралиец со станции Пилево
- Ручьи, где плещется форель
- Старый повар
- Степная гроза
- Снег
- Дождливый рассвет
- Беспокойство
- Равнина под снегом
- Приточная трава
- Во глубине России
- Синева
- Корзина с еловыми шишками
- Великий сказочник

Повести

- Далекие годы
- Смерть отца
- Дедушка мой Максим Григорьевич
- Караси
- Плеврит
- Поездка в Ченстохов
- Розовые олеандры

Шарики из бузины
Святославская улица
Зимние зрелища
Гардемарин
Как выглядит рай
Брянские леса
Кишата
Вода из реки Лимпопо
Первая заповедь
Липовый цвет
Я был, конечно, мальчишкой
Красный фонарик
Пустынная Таврида
Крушение
Артиллеристы
Великий трагик Кин
Один на большой дороге
Дикий переулок
Осенние бои
«Живые» языки
«Господа гимназисты»
Горбоносый король
Из пустого в порожнее
Корчма на Брагинке
Сон в бабушкином саду
«Золотая латынь»

Преподаватели гуманитарных наук
Выстрел в театре
Разгуляй
Рассказ ни о чем
Аттестат зрелости
Воробьиная ночь
Маленькая порция яда
Мещорская сторона
Обыкновенная земля
Первое знакомство
Старинная карта
Несколько слов о приметах
Возвращение к карте
Мшары
Лесные реки и каналы
Леса
Луга
Небольшое отступление от темы
Еще о лугах
Старики
Родина талантов
Мой дом
Бескорыстие

Аннотация

В этот сборник вошли повести, рассказы и сказки Паустовского, рассчитанные на юных читателей, которым предстоит постепенно познакомиться с разными гранями таланта этого феноменального писателя, в равной степени глубоко умевшего понимать красоту природы и красоту искусства, обаяние человеческой души и силу человеческой личности, способной на великий подвиг.

Константин Георгиевич Паустовский
Стальное колечко. Сказки, рассказы, повести.

Сказки

Тёплый хлеб

Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушёл дальше, пыля и позванивая удилами, — ушёл, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь.

Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном.

Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди — помогал Панкрату чинить плотину.

Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы, или чёрствого хлеба, или, случалось даже, сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей,

а вернее, общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь — раненый, пострадал от врага.

Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька по прозвищу Ну тебя. Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!» Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом: «Да ну тебя! Ищи сам!» Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал: «Да ну тебя! Надоела!»

Зима в этот год стояла тёплая. В воздухе висел дым. Снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла чёрная, тихая, и в ней кружились льдинки.

Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб — хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на два-три дня, а зерно лежит немолотое.

В один из таких тёплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный

солью.

Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу.

— Да ну тебя! Дьявол! — крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам.

Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал:

— На вас не напасёшься, на христарадников! Вон твой хлеб! Иди, копай его мордой из-под снега! Иди, копай!

И вот после этого злорадного окрика и случились в Бережках те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это, или ничего такого и не было.

Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца — так уже мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мёрзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни. И всё выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, пе-

регоняя друг друга.

Филька вскочил, наконец, в избу, припёр дверь, сказал: «Да ну тебя!» — и прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь её рёв Филька слышал тонкий и короткий свист — так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьёт им себя по бокам.

Метель начала затихать к вечеру, и тогда только смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лёд, звёзды примёрзли к небесному своду, и колючий мороз прошёл по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал скрип его валенок по твёрдому снегу: слышал, как мороз, озоруя, стискивал толстые брёвна в стенах, и они трещали и лопались.

Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замёрзли колодцы и теперь их ждёт неминучая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна.

Филька тоже заплакал от страха, когда мыши начали выбегать из подпола и хорониться под печкой в соломе, где ещё оставалось немного тепла. «Да ну вас! Проклятые!» — кричал он на мышей, но мыши всё лезли из подпола. Филька

забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал причитания бабки.

— Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, — говорила бабка. — Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля. Обегал её стороной всякий зверь — боялся пустыни.

— Отчего же стрясся тот мороз? — спросил Филька.

— От злобы людской, — ответила бабка. — Шёл через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба, а хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только чёрствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол и говорит: «Вот тебе! Жуй!» — «Мне хлеб с полу поднять невозможно, — говорит солдат. — У меня вместо ноги деревяшка». — «А ногу куда девал?» — спрашивает мужик. «Утерял я ногу на Балканских горах в турецкой баталии», — отвечает солдат. «Ничего. Раз дюже голодный — подымешь, — засмеялся мужик. — Тут тебе камердинеров нету». Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит — это не хлеб, а одна зелёная плесень. Один яд! Тогда солдат вышел на

двор, свистнул — и враз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз. И мужик тот помер.

— Отчего же он помер? — хрипло спросил Филька.

— От охлаждения сердца, — ответила бабка, помолчала и добавила: — Знать, и нынче завёлся в Бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз.

— Чего ж теперь делать, бабка? — спросил Филька из-под тулупа. — Неужто помирать?

— Зачем помирать? Надеяться надо.

— На что?

— На то, что поправит дурной человек своё злодейство.

— А как его исправить? — спросил, всхлипывая, Филька.

— А об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, учёный. Его спросить надо. Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится.

— Да ну его, Панкрата! — сказал Филька и затих.

Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный. В чистом небе над осокорями стояла

луна, убранная, как невеста, розовыми венцами.

Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель весёлых пильщиков пилила под корень берёзовую рощу за рекой. Казалось, воздух замёрз и между землёй и луной осталась одна пустота — жгучая и такая ясная, что если бы подняло пылинку на километр от земли, то и её было бы видно, и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда.

Чёрные ивы около мельничной плотины поседели от стужи. Ветки их поблёскивали, как стеклянные. Воздух колол Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шёл, загребая снег валенками.

Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу.

— Садись к печке, — сказал он. — Рассказывай, пока не замёрз.

Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню мороз.

— Да-а, — вздохнул Панкрат, — плохо твоё

дело! Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин!

Филька сопел, вытирал рукавом глаза.

— Ты брось реветь! — строго сказал Панкрат. — Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил — сейчас в рёв. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет, и воды нет, и что нам придумать — неизвестно.

— Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? — спросил Филька.

— Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадью — тоже. Будешь ты чистый человек, весёлый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно?

— Понятно, — ответил упавшим голосом Филька.

— Ну, вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью.

В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте — подслушивала. Потом она боком, озираясь, поскакала к щели под дверью. Выскочила наружу, прыгнула на перильца и полетела прямо на юг. Сорока была опытная,

старая и нарочно летела у самой земли, потому что от деревень и лесов всё-таки тянуло теплом, и сорока не боялась замёрзнуть. Никто её не видел, только лисица в осиновом яру высунула морду из норы, повела носом, заметила, как тёмной тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, почёсываясь и соображая: куда ж это в такую страшную ночь подалась сорока?

А Филька в это время сидел на лавке, ёрзал, придумывал.

— Ну, — сказал, наконец, Панкрат, затаптывая махорочную цигарку, — время твоё вышло. Выкладывай! Льготного срока не будет.

— Я, дедушка Панкрат, — сказал Филька, — как рассветёт, соберу со всей деревни ребят. Возьмём мы ломы, пешни, топоры, будем рубить лёд у лотка около мельницы, покамест не дорубимся до воды и не потечёт она на колесо. Как пойдёт вода, ты пускай мельницу! Провернёшь колесо двадцать раз, она разогреется и начнёт молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение.

— Ишь ты шустрый какой! — сказал мельник. — Подо льдом, конечно, вода есть. А ежели лёд толщиной в твой рост, что ты будешь делать?

— Да ну его! — сказал Филька. — Пробьём мы, ребята, и такой лёд!

— А ежели замёрзнете?

— Костры будем жечь.

— А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплачиваться своим горбом? Ежели скажут: «Да ну его! Сам виноват — пусть сам лёд и скалывает»?

— Согласятся! Я их умолю. Наши ребята — хорошие.

— Ну, валяй, собирай ребят. А я со стариками потолкую. Может, и старики натянут рукавицы да возьмутся за ломы.

В морозные дни солнце восходит багровое, в тяжёлом дыму. И в это утро поднялось над Бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов. Трещали костры. Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лёд у мельницы. И никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по седым ивам ровный и тёплый ветер. А когда заметили, что переменилась погода, ветки ив уже оттаяли, и весело, гулко зашумела за рекой мокрая берёзовая роща. В воздухе запахло весной, навозом.

Ветер дул с юга. С каждым часом становилось

всё теплее. С крыш падали и со звоном разбивались сосульки. Вороны вылезли из-под застрех и снова обсыхали на трубах, толкались, каркали.

Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лёд начал оседать, работа у мельницы пошла быстро, и показалась первая полынья с тёмной водой.

Мальчишки стащили треухи и прокричали «ура». Панкрат говорил, что если бы не тёплый ветер, то, пожалуй, и не обколоть бы лёд ребятам и старикам. А сорока сидела на раките над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и что-то рассказывала, но никто, кроме ворон, её не понял. А сорока рассказывала, что она долетела до тёплого моря, где спал в горах летний ветер, разбудила его, натрещала ему про лютый мороз и упросила его прогнать этот мороз, помочь людям.

Ветер будто бы не осмелился отказать ей, сороке, и задул, понёсся над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом. И если хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по оврагам под снегом бурлит-журчит тёплая вода, моет корни брусники, ломает лёд на реке.

Всем известно, что сорока — самая болтливая птица на свете, и потому вороны ей не поверили

— покаркали только между собой, что вот, мол, опять завралась старая.

Так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока или всё это она выдумала от хвастовства. Одно только известно, что к вечеру лёд треснул, разошёлся, ребята и старики нажали — и в мельничный лоток хлынула с шумом вода.

Старое колесо скрипнуло — с него посыпались сосульки — и медленно повернулось. Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, ещё быстрее, и вдруг вся старая мельница затряслась, заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молоть зерно.

Панкрат сыпал зерно, а из-под жёрнова лилась в мешки горячая мука. Женщины окунали в неё озябшие руки и смеялись.

По всем дворам кололи звонкие берёзовые дрова. Избы светились от жаркого печного огня. Женщины месили тугое сладкое тесто. И всё, что было живого в избах, — ребята, кошки, даже мыши, — всё это вертелось около хозяек, а хозяйки шлёпали ребят по спине белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались.

Ночью по деревне стоял такой запах тёплого хлеба с румяной коркой, с пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже лисицы вылез-

ли из нор, сидели на снегу, дрожали и тихонько скулили, соображая, как бы словчиться стащить у людей хоть кусочек этого чудесного хлеба.

На следующее утро Филька пришёл вместе с ребятами к мельнице. Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи и не давал им ни на минуту перевести дух, и потому по земле неслись вперемежку то холодные тени, то горячие солнечные пятна.

Филька тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький мальчик Николка держал деревянную солонку с крупной жёлтой солью.

Панкрат вышел на порог, спросил:

— Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие такие заслуги?

— Да нет! — закричали ребята. — Тебе будет особо. А это раненому коню. От Фильки. Помирить мы их хотим.

— Ну что ж, — сказал Панкрат. — Не только человеку извинение требуется. Сейчас я вам коня представлю в натуре.

Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, заржал — учуял запах свежего хлеба. Филька разломил буханку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. Но конь хлеба не взял, начал мелко перебирать ногами, попятился в сарай. Испугался Фильки.

Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал. Ребята зашептались и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал:

— Не пужайся, Мальчик! Филька — не злой человек. Зачем же его обижать? Бери хлеб, мирись!

Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял, наконец, хлеб из рук Фильки мягкими губами. Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок. Филька ухмылялся сквозь слёзы, а конь жевал хлеб, фыркал. А когда съел весь хлеб, положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия.

Все улыбались, радовались. Только старая сорока сидела на раките и сердито трещала: должно быть, опять хвасталась, что это ей одной удалось помирить коня с Филькой. Но никто её не слушал и не понимал, и сорока от этого сердилась всё больше и трещала как пулемёт.

Стальное колечко

Дед Кузьма жил со своей внучкой Варюшей в деревушке Моховое, у самого леса.

Зима выдалась суровая, с сильным ветром и снегом. За всю зиму ни разу не потеплело и не закапала с тесовых крыш суетливая талая вода. Ночью в лесу выли продрогшие волки. Дед Кузьма говорил, что они воют от зависти к людям: волку тоже охота пожить в избе, почесаться и полежать у печки, отогреть заледенелую косматую шкуру.

Среди зимы у деда вышла махорка. Дед сильно кашлял, жаловался на слабое здоровье и говорил, что, если бы затянуться разок-другой — ему бы сразу полегчало.

В воскресенье Варюша пошла за махоркой для деда в соседнее село Переборы. Мимо села проходила железная дорога. Варюша купила махорки, завязала её в ситцевый мешочек и пошла на станцию посмотреть на поезда. В Переборах они останавливались редко. Почти всегда они проносились мимо с лязгом и грохотом.

На платформе сидели два бойца. Один был бородатый, с весёлым серым глазом. Заревел паровоз. Было уже видно, как он, весь в пару,

яростно рвётся к станции из дальнего чёрного леса.

— Скорый! — сказал боец с бородой. — Смотри, девчоночка, сдует тебя поездом. Улетишь под небеса.

Паровоз с размаху налетел на станцию. Снег завертелся и залепил глаза. Потом пошли перестукиваться, догонять друг друга колеса. Варюша схватилась за фонарный столб и закрыла глаза: как бы и вправду её не подняло над землёй и не утащило за поездом. Когда поезд пронёсся, а снежная пыль ещё вертелась в воздухе и садилась на землю, бородатый боец спросил Варюшу:

— Это что у тебя в мешочке? Не махорка?

— Махорка, — ответила Варюша.

— Может, продашь? Курить большая охота.

— Дед Кузьма не велит продавать, — строго ответила Варюша. — Это ему от кашля.

— Эх ты, — сказал боец, — цветок-лепесток в валенках! Больно серьёзная!

— А ты так возьми сколько надо, — сказала Варюша и протянула бойцу мешочек. — Покури!

Боец отсыпал в карман шинели добрую горсть махорки, скрутил толстую цигарку, закурил, взял Варюшу за подбородок и посмотрел, посмеиваясь, в её синие глаза.

— Эх ты, — повторил он, — анютины глазки с косичками! Чем же мне тебя отдарить? Разве вот этим?

Боец достал из кармана шинели маленькое стальное колечко, сдул с него крошки махорки и соли, потёр о рукав шинели и надел Варюше на средний палец:

— Носи на здоровье! Этот перстенёк совершенно чудесный. Гляди, как горит!

— А отчего он, дяденька, такой чудесный? — спросила, раскрасневшись, Варюша.

— А оттого, — ответил боец, — что, ежели будешь носить его на среднем пальце, принесёт он здоровье. И тебе, и деду Кузьме. А наденешь его вот на этот, на безымянный, — боец потянул Варюшу за озябший, красный палец, — будет у тебя большущая радость. Или, к примеру, захочется тебе посмотреть белый свет со всеми его чудесами. Надень перстенёк на указательный палец — непременно увидишь!

— Будто? — спросила Варюша.

— А ты ему верь, — прогудел другой боец из-за поднятого ворота шинели. — Он колдун. Слыхала такое слово?

— Слыхала.

— Ну то-то! — засмеялся боец. — Он старый

сапёр. Его даже мина не брала!

— Спасибо! — сказала Варюша и побежала к себе в Моховое.

Сорвался ветер, посыпался густой-прегустой снег. Варюша всё трогала колечко, повёртывала его и смотрела, как оно блестит от зимнего света.

«Что ж боец позабыл мне сказать про мизинец? — подумала она. — Что будет тогда? Дай-ка я надену колечко на мизинец, попробую».

Она надела колечко на мизинец. Он был худенький, колечко на нём не удержалось, упало в глубокий снег около тропинки и сразу нырнуло на самое снежное дно.

Варюша охнула и начала разгребать снег руками. Но колечка не было. Пальцы у Варюши посинели. Их так свело от мороза, что они уже не сгибались.

Варюша заплакала. Пропало колечко! Значит, не будет теперь здоровья деду Кузьме, и не будет у неё большущей радости, и не увидит она белый свет со всеми его чудесами. Варюша воткнула в снег, в том месте, где уронила колечко, старую еловую ветку и пошла домой. Она вытирала слёзы варежкой, но они всё равно набегали и замерзали, и от этого было колко и больно глазам.

Дед Кузьма обрадовался махорке, задымил всю

избу, а про колечко сказал:

— Ты не горюй, дурочка! Где упало — там и валяется. Ты Сидора попроси. Он тебе сыщет.

Старый воробей Сидор спал на шестке, раздувшись, как шарик. Всю зиму Сидор жил в избе у Кузьмы самостоятельно, как хозяин. С характером своим он заставлял считаться не только Варюшу, но и самого деда. Кашу он склёвывал прямо из мисок, а хлеб старался вырвать из рук и, когда его отгоняли, обижался, ершился и начинал драться и чирикать так сердито, что под стреху слетались соседские воробьи, прислушивались, а потом долго шумели, осуждая Сидора за его дурной нрав. Живёт в избе, в тепле, в сытости, а всё ему мало!

На другой день Варюша поймала Сидора, завернула в платок и понесла в лес. Из-под снега торчал только самый кончик еловой ветки. Варюша посадила на ветку Сидора и попросила:

— Ты поищи, поройся! Может, найдёшь!

Но Сидор скосил глаз, недоверчиво посмотрел на снег и пропищал:

«Ишь ты! Ишь ты! Нашла дурака!.. Ишь ты, ишь ты!» — повторил Сидор, сорвался с ветки и полетел обратно в избу.

Так и не отыскалось колечко.

Дед Кузьма кашлял всё сильнее. К весне он залез на печку. Почти не спускался оттуда и всё чаще просил попить. Варюша подавала ему в железном ковшике холодную воду.

Метели кружились над деревушкой, заносили избы. Сосны завязли в снегу, и Варюша уже не могла отыскать в лесу то место, где уронила колечко. Всё чаще она, спрятавшись за печкой, тихонько плакала от жалости к деду и бранила себя.

— Дурёха! — шептала она. — Забаловалась, обронила перстенёк. Вот тебе за это! Вот тебе!

Она била себя кулаком по темени, наказывала себя, а дед Кузьма спрашивал:

— С кем это ты там шумишь-то?

— С Сидором, — отвечала Варюша. — Такой стал неслух! Всё норовит драться.

Однажды утром Варюша проснулась оттого, что Сидор прыгал по оконцу и стучал клювом в стекло. Варюша открыла глаза и зажмурилась. С крыши, перегоняя друг друга, падали длинные капли. Горячий свет бил в оконце. Орали галки.

Варюша выглянула на улицу. Тёплый ветер дунул ей в глаза, растрепал волосы.

— Вот и весна! — сказала Варюша.

Блестели черные ветки, шуршал, сползая с крыш, мокрый снег, и важно и весело шумел за

околицей сырой лес. Весна шла по полям, как молодая хозяйка. Стоило ей только посмотреть на овраг, как в нём тотчас начинал булькать и переливаться ручей. Весна шла, и звон ручьёв с каждым её шагом становился громче и громче.

Снег в лесу потемнел. Сначала на нём выступила облетевшая за зиму коричневая хвоя. Потом появилось много сухих сучьев — их наломало бурей ещё в декабре, — потом зажелтели прошлогодние палые листья, проступили проталины, и на краю последних сугробов зацвели первые цветы мать-и-мачехи.

Варюша нашла в лесу старую еловую ветку — ту, что воткнула в снег, где обронила колечко, и начала осторожно отгребать старые листья, пустые шишки, накиданные дятлами, ветки, гнилой мох. Под одним чёрным листком блеснул огонёк. Варюша вскрикнула и присела. Вот оно, стальное колечко! Оно ничуть не заржавело.

Варюша схватила его, надела на средний палец и побежала домой.

Ещё издали, подбегая к избе, она увидела деда Кузьму. Он вышел из избы, сидел на завалинке, и синий дым от махорки поднимался над дедом прямо к небу, будто Кузьма просыхал на весеннем солнышке и над ним курился пар.

— Ну вот, — сказал дед, — ты, вертушка, выскочила из избы, позабыла дверь затворить, и продуло всю избу легким воздухом. И сразу болезнь меня отпустила. Сейчас вот покурю, возьму колун, наготовлю дровишек, затопим мы печь и спечём ржаные лепёшки.

Варюша засмеялась, погладила деда по косматым серым волосам, сказала:

— Спасибо колечку! Вылечило оно тебя, дед Кузьма.

Весь день Варюша носила колечко на среднем пальце, чтобы накрепко прогнать дедовскую болезнь. Только вечером, укладываясь спать, она сняла колечко со среднего пальца и надела его на безымянный. После этого должна была случиться большущая радость. Но она медлила, не приходила, и Варюша так и уснула, не дождавшись.

Встала она рано, оделась и вышла из избы.

Тихая и тёплая заря занималась над землёй. На краю неба ещё догорали звёзды. Варюша пошла к лесу. На опушке она остановилась. Что это звенит в лесу, будто кто-то осторожно шевелит колокольчики?

Варюша нагнулась, прислушалась и всплеснула руками: белые подснежники чуть-чуть качались, кивали заре, и каждый цветок позванивал, будто

в нём сидел маленький жук кузька-звонарь и бил лапкой по серебряной паутине. На верхушке сосны ударил дятел — пять раз.

«Пять часов! — подумала Варюша. — Рань-то какая! И тишь!»

Тотчас высоко на ветвях в золотом зоревом свете запела иволга.

Варюша стояла, приоткрыв рот, слушала, улыбалась. Её обдало сильным, тёплым, ласковым ветром, и что-то прошелестело рядом. Закачалась лещина, из ореховых серёжек посыпалась жёлтая пыльца. Кто-то прошёл невидимый мимо Варюши, осторожно отводя ветки. Навстречу ему закуковала, закланялась кукушка.

«Кто же это прошёл? А я и не разглядела!» — подумала Варюша.

Она не знала, что это весна прошла мимо неё.

Варюша засмеялась громко, на весь лес, и побежала домой. И большущая радость — такая, что не охватишь руками, — зазвенела, запела у неё на сердце.

Весна разгоралась с каждым днём всё ярче, всё веселей. Такой свет лился с неба, что глаза у деда Кузьмы стали узкие, как щёлки, но всё время посмеивались. А потом по лесам, по лугам, по оврагам сразу, будто кто-то брызнул на них

волшебной водой, зацвели-запестрели тысячи тысяч цветов.

Варюша думала было надеть перстенёк на указательный палец, чтобы повидать белый свет со всеми его чудесами, но посмотрела на все эти цветы, на липкие берёзовые листочки, на ясное небо и жаркое солнце, послушала перекличку петухов, звон воды, пересвистывание птиц над полями — и не надела перстенёк на указательный палец.

«Успею, — подумала она. — Нигде на белом свете не может быть так хорошо, как у нас в Моховом. Это же прелесть что такое! Не зря ведь дед Кузьма говорит, что наша земля истинный рай и нету другой такой хорошей земли на белом свете!»

Дремучий медведь

Сын бабки Анисьи, по прозвищу Петя-большой, погиб на войне, и остался с бабкой жить её внучек, сын Пети-большого — Петя-маленький. Мать Пети-маленького, Даша, умерла, когда ему было два года, и Петя-маленький её совсем позабыл, какая она была.

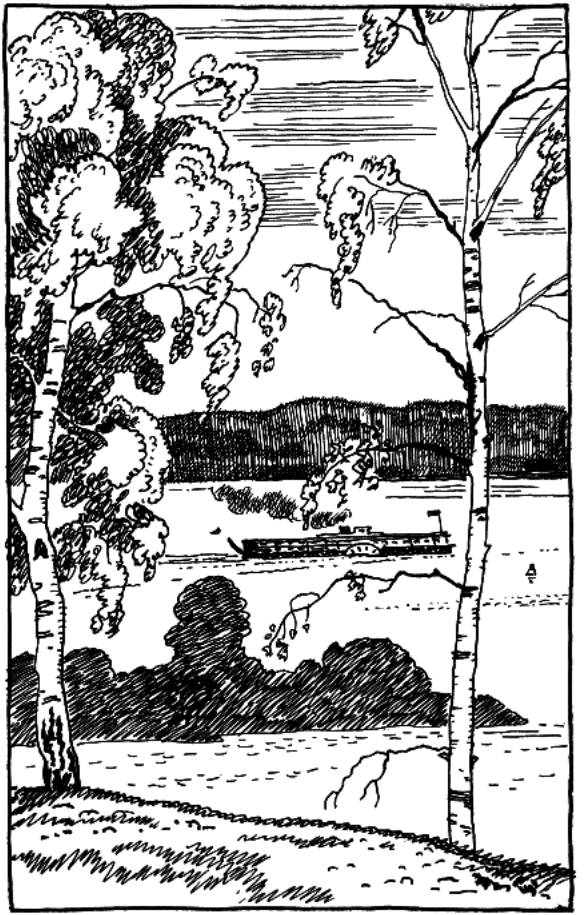
— Всё тормошила тебя, веселила, — говорила бабка Анисья, — да, видишь ты, застудилась осенью и померла. А ты весь в неё. Только она была говорливая, а ты у меня дичок. Всё хоронишься по углам да думаешь. А думать тебе рано. Успеешь за жизнь надуматься. Жизнь долгая, в ней вон сколько дней! Не сочтёшь.

Когда Петя-маленький подрос, бабка Анисья определила его пасти колхозных телят.

Телята были как на подбор, лопоухие и ласковые. Только один, по имени Мужичок, бил Петю шерстистым лбом в бок и брыкался. Петя гонял телят пастись на Высокую реку. Старый пастух Семён-чаёвник подарил Пете рожок, и Петя трубил в него над рекой, скликал телят.

А река была такая, что лучше, должно быть, не найдёшь. Берега крутые, все в колосистых

травах, в деревах. И каких только дерев не было на Высокой реке! В иных местах даже в полдень было пасмурно от старых ив. Они окунали в воду могучие свои ветви, и ивовый лист — узкий, серебряный, вроде рыбки уклейки, — дрожал в бегучей воде. А выйдешь из-под чёрных ив — и ударит с полян таким светом, что зажмуришь глаза. Рощицы молодых осин толпятся на берегу, и все осиновые листья дружно блестят на солнце.



Ежевика на крутоярах так крепко хватала Петю за ноги, что он долго возился и сопел от натуги, прежде чем мог отцепить колючие плети. Но никогда он, осердясь, не хлестал ежевику палкой и не топтал ногами, как все остальные мальчишки.

На Высокой реке жили бобры. Бабка Анисья и Семён-чаёвник строго наказывали Пете не подходить к бобровым норам. Потому что бобр зверь строгий, самостоятельный, мальчишек деревенских вовсе не боится и может так хватить за ногу, что на всю жизнь останешься хромой. Но Пете была большая охота поглядеть на бобров, и потому он ближе к вечеру, когда бобры вылезали из нор, старался сидеть тихонько, чтобы не напугать сторожкого зверя.

Однажды Петя видел, как бобр вылез из воды, сел на берегу и начал тереть себе лапами грудь, драть её изо всех сил, сушить. Петя засмеялся, а бобр оглянулся на него, зашипел и нырнул в воду.

А другой раз вдруг с грохотом и плеском обрушилась в реку старая ольха. Тотчас под водой молниями полетели испуганные плотицы. Петя подбежал к ольхе и увидел, что она прогрызена бобровыми зубами до сердцевины, а в воде на

ветках ольхи сидят эти самые бобры и жуют ольховую кору. Тогда Семён-чаёвник рассказал Пете, что бобр сперва подтачивает дерево, потом нажимает на него плечом, валит и питается этим деревом месяц или два, глядя по тому, толстое оно или не такое уж и толстое, как хотелось бобру.

В густоте листьев над Высокой рекой всегда было беспокойно. Там хлопотали разные птицы, а дятел, похожий на сельского почтаря Ивана Афанасьевича — такой же остроносый и с шустрым чёрным глазом, — колотил и колотил со всего размаха клювом по сухому осокорю. Ударит, отдёрнет голову, поглядит, примерится, зажмурит глаза и опять так ударит, что осокорь от макушки до корней загудит. Петя всё удивлялся — до чего крепкая голова у дятла! Весь день стучит по дереву, не теряет весёлости.

«Может, голова у него и не болит, — думал Петя, — но звон в ней стоит наверняка здоровый. Шутка ли — бить и бить целый день! Как только черепушка выдерживает!»

Пониже птиц, над всякими цветами — и зонтичными, и крестоцветными, и самыми невидными, как, скажем, подорожник, — летали ворсистые шмели, пчёлы и стрекозы.

Шмели не обращали на Петю внимания, а стре-

козы останавливались в воздухе и, постреливая крылышками, рассматривали его выпуклыми глазищами, будто подумывали: ударить ли его в лоб со всего налёта, пугнуть с берега или не стоит с таким маленьким связываться?

И в воде тоже было хорошо. Смотришь на неё с берега — и так и подмывает нырнуть и поглядеть: что там, в глубокой глубине, где качаются водоросли? И всё чудится, что ползёт по дну рак величиной с бабкино корыто, растопырил клешни, а рыбы пятятся от него, помахивают хвостами.

Постепенно и звери и птицы привыкли к Пете и, бывало, прислушивались по утрам: когда же запоёт за кустами его рожок? Сначала они привыкли к Пете, а потом полюбили его за то, что не озоровал: не сбивал палками гнёзд, не связывал стрекоз за лапки ниткой, не швырял в бобров камнями и не травил рыбу едучей известью.

Деревья тихонько шумели навстречу Пете — помнили, что ни разу он не сгибал, как другие мальчишки, тоненьких осинок до самой земли, чтобы полюбоваться, как они, выпрямившись, долго дрожат от боли и шелестят-жалуются листьями.

Стоило Пете раздвинуть ветки и выйти на бе-

рег, как сразу начинали щёлкать птицы, шмели взлетали и покрикивали: «С дороги! С дороги!», рыбы выскакивали из воды, чтобы похвастаться перед Петей пёстрой чешуёй, дятел так ударял по осокорю, что бобры поджимали хвосты и семенили в норы. Выше всех птиц взлетал жаворонок и пускал такую трель, что синий колокольчик только качал головой.

— Вот и я! — говорил Петя, стаскивал старую шапчонку и вытирал ею мокрые от росы щёки. — Здравствуйте!

— Дра! Дра! — отвечала за всех ворона. Никак она не могла выучить до конца такое простое человеческое слово, как «здравствуйте». На это не хватало у неё вороньей памяти.

Все звери и птицы знали, что живёт за рекой, в большом лесу, старый медведь и прозвище у того медведя — Дремучий. Его шкура и вправду была похожа на дремучий лес: вся в жёлтых сосновых иглах, в давленой бруснике и смоле. И хоть старый это был медведь и кое-где даже седой, но глаза у него горели, как светляки, — зелёные, будто у молодого.

Звери часто видели, как медведь осторожно пробирался к реке, высовывал из травы морду и принюхивался к телятам, что паслись на другом

берегу. Один раз он даже попробовал лапой воду и заворчал. Вода была холодная — со дна реки били ледяные ключи, — и медведь раздумал переплывать реку. Не хотелось ему мочить шкуру.

Когда приходил медведь, птицы начинали отчаянно хлопать крыльями, деревья — шуметь, рыбы — бить хвостами по воде, шмели — грозно гудеть, даже лягушки подымали такой крик, что медведь зажимал уши лапами и мотал головой.

А Петя удивлялся и смотрел на небо: не обкладывает ли его тучами, не к дождю ли раскричались звери? Но солнце спокойно плыло по небу. И только два облачка стояли в вышине, столкнувшись друг с другом на просторной небесной дороге.

С каждым днём медведь сердился всё сильнее. Он голодовал, брюхо у него совсем отвисло — одна кожа и шерсть. Лето выпало жаркое, без дождей. Малина в лесу посохла. Муравейник разроешь — так и там одна только пыль.

— Беда-а-а! — рычал медведь и выворачивал от злости молодые сосенки и берёзки. — Пойду задеру телка. А пастушок заступится, я его придушу лапой — и весь разговор!

От телят вкусно пахло парным молоком, и были они совсем рядом — только и дела, что переплыть каких-нибудь сто шагов.

«Неужто не переплыву? — сомневался медведь. — Да нет, пожалуй, переплыву. Мой дед, говорят, Волгу переплывал и то не боялся».

Думал медведь, думал, нюхал воду, скрёб в затылке и наконец решился — прыгнул в воду, ахнул и поплыл.

Петя в то время лежал под кустом, а телята — глупые они ещё были — подняли головы, наставили уши и смотрят: что это за старый пень плывёт по реке? А у медведя одна морда торчит над водой. И такая корявая эта морда, что с непривычки не то что телок, а даже человек может принять её за трухлявый пень.

Первой после телят заметила медведя ворона.

— Карраул! — крикнула она так отчаянно, что сразу охрипла. — Звери, воррр!

Всполошились все звери. Петя вскочил, руки у него затряслись, и уронил он свой рожок в траву: посредине реки плыл, загребая когтистыми лапами, старый медведь, отплёвывался и рычал. А телята подошли уже к самому крутояру, вытянули шеи и смотрят.

Закричал Петя, заплакал, схватил длинный свой кнут, размахнулся. Кнут щёлкнул, будто взорвался ружейный патрон. Да не достал кнут до медведя — ударил по воде. Медведь скосил на

Петю глаз и зарычал:

— Погоди, сейчас вылезу на бережок — все кости твои пересчитаю. Что выдумал — старика кнутом бить!

Подплыл медведь к берегу, полез на крутояр к телятам, облизывается. Петя оглянулся, крикнул: «Подсобите!» — и видит: задрожали все осины и ивы и все птицы поднялись к небу. «Неужто все испугались и никто мне теперь не поможет?» — подумал Петя. А людей, как назло, никого рядом нету.

Но не успел он это подумать, как ежевика вцепилась колючими своими плетями в медвежьи лапы, и сколько медведь ни рвался, она его не пускала. Держит, а сама говорит: «Не-ет, брат, шутишь!»

Старая ива наклонила самую могучую ветку и начала изо всех сил хлестать ею медведя по худым бокам.

— Это что ж такое? — зарычал медведь. — Бунт? Я с тебя все листья сдеру, негодница!

А ива всё хлещет его и хлещет. В это время дятел слетел с дерева, сел на медвежью голову, потоптался, примерился и как долбанёт медведя по темени! У медведя позеленело в глазах, и жар прошёл от носа до самого кончика хвоста. Взвыл

медведь, испугался насмерть, воет и собственного воя не слышит, слышит один хрип. Что такое? Никак медведь не догадается, что это шмели залезли ему в ноздри, в каждую по три шмеля, и сидят там, щекочут. Чихнул медведь, шмели вылетели, но тут же налетели пчёлы и начали язвить медведя в нос. А всякие птицы тучей вьются кругом и выщипывают у него шкуру волосок за волоском. Медведь начал кататься по земле, отбиваться лапами, закричал истошным голосом и полез обратно в реку.

Ползёт, пятится задом, а у берега уже ходит стопудовый окунь, поглядывает на медведя, дожидается. Как только медвежий хвост окунулся в воду, окунь хвать, зацепил его своими ста двадцатью зубами, напружился и потащил медведя в омут.

— Братцы! — заорал медведь, пуская пузыри. — Смилуйтесь! Отпустите! Слово даю… до смерти сюда не приду! И пастуха не обижу!

— Вот хлебнёшь бочку воды, тогда не придёшь! — прохрипел окунь, не разжимая зубов. — Уж я ли тебе поверю, Михайлыч, старый обманщик!

Только хотел медведь пообещать окуню кувшин липового мёда, как самый драчливый ёрш

на Высокой реке, по имени Шипояд, разогнался, налетел на медведя и засадил ему в бок свой ядовитый и острый шип. Рванулся медведь, хвост оторвался, остался у окуня в зубах. А медведь нырнул, выплыл и пошёл махать сажёнками к своему берегу.

«Фу, — думает, — дёшево я отделался! Только хвост потерял. Хвост старый, облезлый, мне от него никакого толку».

Доплыл до половины реки, радуется, а бобры только этого и ждут. Как только началась заваруха с медведем, они кинулись к высокой ольхе и тут же начали её грызть. И так за минуту подгрызли, что держалась эта ольха на одном тонком шпеньке.

Подгрызли ольху, стали на задние лапы и ждут. Медведь плывёт, а бобры смотрят — рассчитывают, когда он подплывёт под самый под удар этой высоченной ольхи. У бобров расчёт всегда верный, потому что они единственные звери, что умеют строить разные хитрые вещи — плотины, подводные ходы и шалаши.

Как только подплыл медведь к назначенному месту, старый бобр крикнул:

— А ну, нажимай!

Бобры дружно нажали на ольху, шпенёк трес-

нул, и ольха загрохотала — обрушилась в реку. Пошла пена, буруны, захлестали волны и водовороты. И так ловко рассчитали бобры, что ольха самой серединой ствола угодила медведю в спину, а ветками прижала его к иловатому дну.

«Ну, теперь крышка!» — подумал медведь. Он рванулся под водой изо всех сил, ободрал бока, замутил всю реку, но всё-таки как-то вывернулся и выплыл.

Вылез на свой берег и — где там отряхиваться, некогда! — пустился бежать по песку к своему лесу. А позади крик, улюлюканье. Бобры свищут в два пальца. А ворона так задохнулась от хохота, что один только раз и прокричала: «Дуррак!», а больше уже и кричать не могла. Осинки мелко тряслись от смеха, а ёрш Шипояд разогнался, выскочил из воды и лихо плюнул вслед медведю, да не доплюнул — где там доплюнуть при таком отчаянном беге!

Добежал медведь до леса, едва дышит. А тут, как на грех, девушки из Окулова пришли по грибы. Ходили они в лес всегда с пустыми бидонами от молока и палками, чтобы на случай встречи со зверем пугнуть его шумом.

Выскочил медведь на поляну, девушки увидали его — все враз завизжали и так грохнули палками

по бидонам, что медведь упал, ткнулся мордой в сухую траву и затих. Девушки, понятно, убежали, только пёстрые их юбки метнулись в кустах.

А медведь стонал-стонал, потом съел какой-то гриб, что подвернулся на зуб, отдышался, вытер лапами пот и пополз на брюхе в своё логово. Залёг с горя спать на осень и зиму. И зарёкся на всю жизнь не выходить больше из дремучего леса. И уснул, хотя и побаливало у него то место, где был оторванный хвост.

Петя посмотрел вслед медведю, посмеялся, потом взглянул на телят. Они мирно жевали траву и то один, то другой чесали копытцем задней ноги у себя за ухом.

Тогда Петя стащил шапку и низко поклонился деревьям, шмелям, реке, рыбам, птицам и бобрам.

— Спасибо вам! — сказал Петя.

Но никто ему не ответил.

Тихо было на реке. Сонно висела листва ив, не трепетали осины, даже не было слышно птичьего щебета.

Петя никому не рассказал, что случилось на Высокой реке, только бабке Анисье: боялся, что не поверят. А бабка Анисья отложила недовязанную варежку, сдвинула очки в железной оправе на

лоб, посмотрела на Петю и сказала:

— Вот уж и вправду говорят люди: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Звери за тебя не зря заступились, Петруша! Так, говоришь, окунь ему хвост начисто оторвал? Вот грех-то какой! Вот грех!

Бабка Анисья сморщилась, засмеялась и уронила варежку вместе с деревянным вязальным крючком.

Квакша

Жара стояла над землёй уже целый месяц. Взрослые говорили, что эту жару видно «невооружённым глазом».

— Как это можно увидеть жару? — спрашивала всех Таня.

Тане было пять лет, и потому она каждый день узнавала от взрослых много новых вещей. Действительно, можно было поверить дяде Глебу, что «сколько ни проживёшь на этом свете, хоть триста лет, а всего не узнаешь».

— Пойдём наверх, я тебе покажу жару, — сказал Глеб. — Оттуда лучше видно.

Таня вскарабкалась по крутой лестнице на мезонин. Там было светло и душно от нагретой крыши. Ветки старого клёна так упорно лезли в окна, что окна трудно было закрыть. Может быть, поэтому они всё лето и простояли настежь.

На мезонине был балкон с резными перилами. Глеб показал Тане с балкона на луга за рекой и на дальний лес.

— Видишь жёлтый дым? Как от самовара. И весь воздух дрожит. Это и есть жара. Всё можно заметить человеческим глазом. И жару, и холод,

что хочешь.

— А холод — когда снег? — спросила Таня.

— Нет. Даже летом можно заметить. Вот будут прохладные дни, тогда я тебе покажу, как выглядит холод.

— А как?

— Небо вечером бывает зелёное, как мокрая трава. Холодное небо.

Пока же стояла жара, и больше всех от неё страдала маленькая лягушка. Она жила во дворе, под кустом бузины.

Двор так раскалялся от солнца, что всё живое пряталось. Даже муравьи не решались выбегать днём из подземных своих муравейников, а терпеливо дожидались вечера. Только одни кузнечики не боялись жары. Чем горячее был день, тем выше они прыгали и громче трещали. Поймать их было невозможно, и лягушка начала голодать.

Однажды она нашла щель под дверью в каменный погреб и с тех пор все дни просиживала, сонная, в погребе, на холодных кирпичных ступеньках.

Когда молоденькая работница Ариша спускалась в погреб за молоком, лягушка просыпалась, прыгала в сторону и пряталась за разбитый цветочный горшок. Ариша каждый раз пронзи-

тельно вскрикивала.

По вечерам лягушка вылезала во двор и осторожно пробиралась в тот угол, где на клумбе распускался к ночи табак и тесно росли кустистые астры. Цветы каждый вечер поливали из лейки, и потому на клумбе можно было дышать, — от политой земли тянуло сыростью, а с пахучих белых цветов табака изредка падали на голову холодные капли.

Лягушка сидела в темноте, таращила глаза и ждала, когда люди перестанут ходить, разговаривать, звенеть стаканами, стучать медным стерженьком от рукомойника и, наконец, прикрутят лампы, задуют их, и дом сразу сделается тёмным и таинственным.

Тогда можно будет немного попрыгать по клумбе, пожевать листья астр, потрогать лапкой уснувшего шмеля, чтобы послушать, как он заворчит сквозь сон.

А потом прокашляются и закричат по всем дворам петухи и придёт полночь — самое хорошее время. Может быть, даже упадёт роса и в мокрой траве заблестят звезды. Ночь будет тянуться долго, тихая и прохладная, и в лугах загудит нелюдимая птица выпь.

Бородатый Глеб был старым, опытным рыболо-

вом. Каждый вечер он убирал со стола скатерть, осторожно высыпал из разных коробочек бронзовые золочёные крючки, круглые свинцовые грузила и прозрачные разноцветные лески и начинал чинить свои удочки. Тогда Тане не разрешалось подходить к столу, чтобы какой-нибудь «мушиный» крючок не впился ей в палец.

Когда Глеб чинил удочки, он всегда напевал одно и то же:

Сидел рыбак весёлый
На берегу реки,
И перед ним по ветру
Качались поплавки.

Но в это лето Глебу пришлось туго — из-за засухи пропали черви. Даже самые шустрые мальчишки отказывались их копать.

Глеб пришёл в отчаяние и написал на воротах дома огромными белыми буквами:

«ЗДЕСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ СКУПКА ЧЕРВЕЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ»

Но это тоже не помогло. Прохожие останавливались, читали надпись, с восхищением качали головами: «Ну и хитрый же человек, чего напи-

сал!» — и шли дальше. А на второй день какой-то мальчишка приписал внизу такими же огромными буквами:

«В
ОБМЕН НА КАРТОФЕЛЬНОЕ ВАРЕНИЕ»

Пришлось стереть надпись.

Глеб начал ходить за три километра в овраг, где под кучами старых щепок можно было накопать за час десятка два червей.

Глеб их берёг, будто эти черви были золотые: перекладывал сырым мхом, завязывал банку с червями марлей и держал её в тёмном погребе.

Там-то их и отыскала маленькая лягушка. Она долго трудилась, пока стащила марлю, потом залезла в банку и начала есть червей. Она так увлеклась, что не заметила, как в погреб спустился Глеб, вытащил её из банки за задние лапки и вынес во двор. Там Таня кормила злую подслеповатую курицу.

— Вот! — сказал Глеб грозным голосом. — Человек трудится в поте лица, чтобы нарыть хоть десяток червей, а нахальная лягушка бессовестно их ворует. И даже научилась развязывать марлю. Придётся её проучить.

— Как? — спросила с испугом Таня, а курица

искоса посмотрела на лягушку прищуренным глазом.

— Отдать её на съедение этой курице — и всё!

Лягушка отчаянно задрыгала лапками, но вырваться ей не удалось. Курица взъерошилась, взлетела и чуть было не вырвала лягушку у Глеба.

— Не смей! — закричала Таня на курицу и заплакала. Курица отбежала в сторону, поджала лапу и стала ждать, что будет дальше.

— Дядя Глеб, зачем же её убивать? Дай её мне.

— Чтобы она опять воровала?

— Нет. Я её посажу в стеклянную банку и буду кормить. Разве тебе самому её не жалко?

— Ну ладно! — согласился Глеб. — Бери, так и быть. Ни за что бы я её не простил, если бы ты не заступилась. И если бы это была обыкновенная лягушка.

— А разве она необыкновенная? — спросила Таня и перестала плакать.

— А ты не видишь? Это древесная лягушка, квакша. Она замечательно предсказывает дождь.

— Вот она его нам и предскажет, — с облегчением вздохнула Таня и скороговоркой повторила слова, которые каждый день слышала от плотника Игната: — Дождик ой как нужен! А то хлеба и

огороды посохнут, и тогда не миновать беды!

Глеб отдал лягушку Тане. Она посадила её в банку с травой и поставила на подоконник.

— Веточку нужно какую-нибудь засунуть в банку, — посоветовал Глеб.

— Зачем?

— Когда она влезет на веточку и начнет квакать, значит, будет дождь.

А дождя всё не было. Лягушка, сидя в банке, слушала разговоры людей о засухе и тяжело дышала — жить в банке было, конечно, безопасно, сытно, но душно.

Однажды ночью лягушка вылезла по кленовой ветке из банки и осторожно, останавливаясь и прислушиваясь, поскакала в сад. Там, в беседке, под крышей, жила в гнезде ласточка.

Лягушка тихонько квакнула, и ласточка тотчас выглянула из гнезда.

— Тебе чего? — спросила она. — Весь день носишься-носишься, даже звон в голове стоит. А тут ещё и ночью каждый будит, отдохнуть не даёт.

— Ты сначала послушай, а потом будешь чирикать, — ответила лягушка. — Я тебя никогда ещё не будила.

— Ну ладно, рассказывай, — ответила ласточка и зевнула. — Что у тебя стряслось?

Тогда лягушка рассказала ласточке, что девочка Таня спасла её, лягушку, от смерти и она, лягушка, всё думала, что бы такое хорошее сделать для Тани. И вот, наконец, придумала, но без ласточкиной помощи ничего не получится.

Люди очень тревожатся оттого, что нет дождя. Всё сохнет. Хлеб может сгореть на корню. Даже для них, для птиц и лягушек, пришло трудное время — пропали червяки и улитки.

Лягушка слышала, как отец Тани, агроном, говорил о засухе, а Таня слушала его и заплакала — ей было жалко и отца, и всех колхозников, что мучаются из-за этой засухи. Лягушка видела, как Таня стояла однажды около высохшего куста малины, трогала почернелые, ломкие листья и тоже плакала. И ещё лягушка слышала, как Танин отец говорил, что люди скоро придумают искусственный дождь. Но пока этого дождя ещё нет, и людям надо помочь.

— Помочь-то надо, — ответила ласточка. — Только как? Дождь отсюда далеко, за тысячу километров. Я вчера до него немного не долетела. А видеть видела. Сильный дождь, обложной. Только он сюда не дойдёт — весь выльется по дороге.

— А ты его приведи, — попросила лягушка.

— Легко сказать — приведи. Да и не наше это, ласточкино, дело. Это стрижей надо просить. Они быстрее летают.

— А ты поговори со стрижами.

— Так с ними и поговоришь. Сама небось знаешь, что за народ. Одного какого-нибудь стрижёнка нечаянно крылом зацепишь — не оберёшься неприятностей. Сейчас же в драку лезут. Крик, шум, писк.

Лягушка отвернулась, и из её глаз скатилась в траву маленькая слеза.

— Ну что ж, — прошептала она, — уж если вы, ласточки, не можете привести дождь, тогда со стрижами и говорить нечего.

— Это как так — не можем? — рассердилась ласточка. — Кто это тебе сказал? Мы всё можем. Даже увернуться от молнии и обогнать самолёт. Для нас дождь привести — пустое дело. Только надо всех ласточек собрать, со всей области. Ласточка почистила клюв лапкой, подумала. — Ну ладно! Не реви. Пригоним сюда дождь.

— А когда? — спросила лягушка.

Ласточка снова почесала клюв лапой.

— Это надо сообразить. Не так просто. Собрать всех ласточек — два часа. Лететь до дождя тоже два часа. Обратно с дождём лететь потруднее.

Часа четыре пролетим, не меньше. Часов в десять утра будем здесь. Ну, прощай!

Ласточка перелетела на скворечню, пискнула и исчезла за тесовыми крышами.

Лягушка вернулась в дом. Там все спали.

Лягушка влезла в банку, взобралась на ветку клёна и тихонько квакнула. Никто не проснулся. Тогда она квакнула громче, потом ещё громче, ещё и ещё, и вскоре её кваканье заполнило все комнаты, стало слышно в саду. И по всей деревне в ответ на него сразу всполошились и заорали петухи. Они старались перекричать друг друга, срывали голоса, сипли и снова орали, неистово хлопая крыльями. Они подняли такой гомон, что со сна можно было подумать, будто в деревне пожар.

В доме все сразу проснулись.

— Что случилось? — спросонок спросила Таня.

— Дождь будет! Дождь! — ответил ей из соседней комнаты отец. — Слышишь, квакша кричит? И петухи заголосили по всем дворам. Верная примета.

Глеб вошёл со свечой в комнату к Тане и посветил на банку с лягушкой.

— Ну так и есть, — сказал он. — Так я и думал! Квакша влезла на ветку и кричит, надрывается.

Даже позеленела от натуги.

Утро пришло, как всегда, безоблачное, но часам к десяти далеко на западе громыхнул и рассыпался по полям первый гром.

Колхозники вышли на обрыв над рекой и смотрели на запад, прикрыв глаза ладонями. Ребята полезли на крыши. Ариша начала торопливо подставлять под все водосточные трубы лоханки и вёдра. Отец Тани каждую минуту выходил во двор, смотрел на небо, прислушивался и всё повторял: «Лишь бы не мимо, лишь бы захватила нас эта гроза».

Таня ходила следом за ним и тоже прислушивалась.

Гром подходил ближе. Его раскаты стали торжественнее и шире. На западе поднялась чёрная туча Глеб спешно собирал свои удочки и смазывал сапоги, — после грозы должен был начаться, по его словам, бешеный клёв.

Потом в воздухе запахло свежестью дождя. Сад тихонько зашумел листвой, туча придвинулась, и весёлая молния как бы распахнула во всю глубину огромное небо.

Первая капля дождя звонко ударила по железной крыше. Тотчас стало так тихо, будто все прислушивались к этому звуку и затаив дыхание

ждали второй капли. Сам дождь тоже прислушивался и соображал, правильно ли он уронил эту первую пробную каплю. И, помедлив, решил, что правильно, потому что вдруг сразу сорвался и загрохотал по крыше тысячами капель. За окнами полились-заблестели полноводные струи дождя.

— Идите сюда! — закричал с мезонина Глеб. — Скорее!

Все побежали по лестнице на мезонин, а Таня, конечно, отстала.

Сверху все увидели, как тысячи, а может быть, десятки тысяч маленьких птиц гнали над землёй дождевую тучу, не давали ей свернуть в сторону, бросались на неё несметными стаями, и от ветра, поднятого их крыльями, туча всё ниже опускалась к земле и нехотя шла, ворча и громыхая, на иссохшие поля и огороды.

Иные птицы подхватывали на лету отдельные струйки дождя и неслись с ними вперёд, будто волочили за собой прозрачные водяные нитки.

Иногда все птицы сразу встряхивали крыльями. Тогда дождь усиливался и так гремел, что на мезонине все перекрикивались и не слышали друг друга.

— Что это такое? — прокричала Таня. — Птичий дождь?

— Не понимаю, — ответил Танин отец. — А ты что-нибудь соображаешь, Глеб?

— Ничего не соображаю, — ответил Глеб. — Похоже на всемирный перелёт ласточек.

Когда грохот дождя по крыше перешёл в ровный и спокойный гул и пронеслись все ласточки, Таня выпустила лягушку из банки в свежий и шумный сад. Там вся трава и листья качались от ударов дождя.

Таня осторожно погладила лягушку по маленькой холодной голове и сказала:

— Ну, спасибо тебе, что накликала дождь. Ты живи теперь спокойно, тебя никто не тронет.

Лягушка посмотрела на Таню и ничего не ответила. Она не могла выговорить на человеческом языке ни одного слова. Она умела только квакать. Но во взгляде её была такая преданность, что Таня ещё раз погладила её по голове.

Лягушка прыгнула под листья табака и начала ёжиться и отряхиваться — купаться под дождём.

С тех пор лягушку никто не трогал, Ариша перестала взвизгивать, когда встречалась с ней, а Глеб каждый день откладывал для неё из своей заветной «червивой» банки несколько лучших червей.

А вокруг густо заколосились хлеба, политые до-

ждём, засверкали от света сырые сады, огороды, запахло сочными огурцами, помидорами и буйным укропом. И рыба начала клевать так жадно, что каждый день обрывала у Глеба драгоценные золочёные крючки.

Таня бегала по саду, играла в прятки с лягушкой, и платье её промокло от росы. Любопытные паучки суетливо спускались с веток на невидимых паутинках, чтобы узнать, почему в саду столько возни и смеха. Узнав, в чём дело, они успокаивались, сматывали свои паутинки в серые шарики, маленькие, как булавочные головки, и засыпали в тёплой тени листьев.

Похождения жука-носорога

Когда Пётр Терентьев уходил из деревни на войну, маленький сын его Стёпа не знал, что подарить отцу на прощание, и подарил наконец старого жука-носорога. Поймал он его на огороде и посадил в коробок от спичек. Носорог сердился, стучал, требовал, чтобы его выпустили. Но Стёпа его не выпускал, а подсовывал ему в коробок травинки, чтобы жук не умер от голода. Носорог травинки сгрызал, но всё равно продолжал стучать и браниться.

Стёпа прорезал в коробке маленькое оконце для притока свежего воздуха. Жук высовывал в оконце мохнатую лапу и старался ухватить Стёпу за палец — хотел, должно быть, поцарапать от злости. Но Стёпа палец не давал. Тогда жук начинал с досады так жужжать, что мать Стёпы Акулина кричала:

— Выпусти ты его, лешего! Весь день жундит и жундит, голова от него распухла!

Пётр Терентьев усмехнулся на Стёпин подарок, погладил Стёпу по голове шершавой рукой и спрятал коробок с жуком в сумку от противогаза.

— Только ты его не теряй, сбереги, — сказал

Стёпа.

— Нешто можно такие гостинцы терять, — ответил Пётр. — Уж как-нибудь сберегу.

То ли жуку понравился запах резины, то ли от Петра приятно пахло шинелью и чёрным хлебом, но жук присмирел и так и доехал с Петром до самого фронта.

На фронте бойцы удивлялись жуку, трогали пальцами его крепкий рог, выслушивали рассказ Петра о сыновнем подарке, говорили:

— До чего додумался парнишка! А жук, видать, боевой. Прямо ефрейтор, а не жук.

Бойцы интересовались, долго ли жук протянет и как у него обстоит дело с пищевым довольствием — чем его Пётр будет кормить и поить. Без воды он, хотя и жук, а прожить не сможет.

Пётр смущённо усмехался, отвечал, что жуку дашь какой-нибудь колосок — он и питается неделю. Много ли ему нужно?

Однажды ночью Пётр в окопе задремал, выронил коробок с жуком из сумки.

Жук долго ворочался, раздвинул щель в коробке, вылез, пошевелил усиками, прислушался. Далеко гремела земля, сверкали жёлтые молнии.

Жук полез на куст бузины на краю окопа, чтобы получше осмотреться. Такой грозы он ещё

не видал. Молний было слишком много. Звёзды не висели неподвижно на небе, как у жука на родине, в петровской деревне, а взлетали с земли, освещали всё вокруг ярким светом, дымились и гасли. Гром гремел непрерывно.

Какие-то жуки со свистом проносились мимо. Один из них так ударил в куст бузины, что с него посыпались красные ягоды. Старый носорог упал, прикинулся мёртвым и долго боялся пошевелиться. Он понял, что с такими жуками лучше не связываться — уж очень много их свистело вокруг.

Так он пролежал до утра, пока не поднялось солнце. Жук открыл один глаз, посмотрел на небо. Оно было синее, тёплое, такого неба не было в его деревне. Огромные птицы с воем падали с этого неба, как коршуны. Жук быстро перевернулся, стал на ноги, полез под лопух — испугался, что коршуны его заклюют до смерти.

Утром Пётр хватился жука, начал шарить кругом по земле.

— Ты чего? — спросил сосед-боец с таким загорелым лицом, что его можно было принять за негра.

— Жук ушёл, — ответил Пётр с огорчением. — Вот беда!

— Нашёл об чём горевать, — сказал загорелый боец. — Жук и есть жук, насекомое. От него солдату никакой пользы сроду не было.

— Дело не в пользе, — возразил Пётр, — а в памяти. Сынишка мне его подарил напоследок. Тут, брат, не насекомое дорого, а дорога память.

— Это точно! — согласился загорелый боец. — Это, конечно, дело другого порядка. Только найти его — всё равно что махорочную крошку в океане-море. Пропал, значит, жук.

Старый носорог услышал голос Петра, зажужжал, поднялся с земли, перелетел несколько шагов и сел Петру на рукав шинели. Пётр обрадовался, засмеялся, а загорелый боец сказал:

— Ну и шельма! На хозяйский голос идёт, как собака. Насекомое, а котелок у него варит.

С тех пор Пётр перестал сажать жука в коробок, а носил его прямо в сумке от противогаза, и бойцы ещё больше удивлялись: «Видишь ты, совсем ручной сделался жук!»

Иногда в свободное время Пётр выпускал жука, а жук ползал вокруг, выискивал какие-то корешки, жевал листья. Они были уже не те, что в деревне. Вместо листьев берёзы много было листьев вяза и тополя. И Пётр, рассуждая с бойцами, говорил:

— Перешёл мой жук на трофейную пищу.

Однажды вечером в сумку от противогаза подуло свежестью, запахом большой воды, и жук вылез из сумки, чтобы посмотреть, куда это он попал.

Пётр стоял вместе с бойцами на пароме. Паром плыл через широкую светлую реку. За ней садилось золотое солнце, по берегам стояли ракиты, летали над ними аисты с красными лапами.

— Висла! — говорили бойцы, зачерпывали манерками воду, пили, а кое-кто умывал в прохладной воде пыльное лицо. — Пили мы, значит, воду из Дона, Днепра и Буга, а теперь попьём и из Вислы. Больно сладкая в Висле вода.

Жук подышал речной прохладой, пошевелил усиками, залез в сумку, уснул.

Проснулся от сильной тряски. Сумку мотало, она подскакивала. Жук быстро вылез, огляделся. Пётр бежал по пшеничному полю, а рядом бежали бойцы, кричали «ура». Чуть светало. На касках бойцов блестела роса.

Жук сначала изо всех сил цеплялся лапками за сумку, потом сообразил, что всё равно ему не удержаться, раскрыл крылья, снялся, полетел рядом с Петром и загудел, будто подбодряя Петра.

Какой-то человек в грязном зелёном мундире

прицелился в Петра из винтовки, но жук с налёта ударил этого человека в глаз. Человек пошатнулся, выронил винтовку и побежал.

Жук полетел следом за Петром, вцепился ему в плечи и слез в сумку только тогда, когда Пётр упал на землю и крикнул кому-то: «Вот незадача! В ногу меня задело!» В это время люди в грязных зелёных мундирах уже бежали, оглядываясь, и за ними по пятам катилось громовое «ура».

Месяц Пётр пролежал в лазарете, а жука отдали на сохранение польскому мальчику. Мальчик этот жил в том же дворе, где помещался лазарет.

Из лазарета Пётр снова ушёл на фронт — рана у него была лёгкая. Часть свою он догнал уже в Германии. Дым от тяжёлых боев был такой, будто горела сама земля и выбрасывала из каждой лощинки громадные чёрные тучи. Солнце меркло в небе. Жук, должно быть, оглох от грома пушек и сидел в сумке тихо, не шевелясь.

Но как-то утром он задвигался и вылез. Дул тёплый ветер, уносил далеко на юг последние полосы дыма. Чистое высокое солнце сверкало в синей небесной глубине. Было так тихо, что жук слышал шелест листа на дереве над собой. Все листья висели неподвижно, и только один трепетал и шумел, будто радовался чему-то и хотел

рассказать об этом всем остальным листьям.

Пётр сидел на земле, пил из фляжки воду. Капли стекали по его небритому подбородку, играли на солнце. Напившись, Пётр засмеялся и сказал:

— Победа!

— Победа! — отозвались бойцы, сидевшие рядом.

Один из них вытер рукавом глаза и добавил:

— Вечная слава! Стосковалась по нашим рукам родная земля. Мы теперь из неё сделаем сад и заживём, братцы, вольные и счастливые.

Вскоре после этого Пётр вернулся домой. Акулина закричала и заплакала от радости, а Стёпа тоже заплакал и спросил:

— Жук живой?

— Живой он, мой товарищ, — ответил Пётр. — Не тронула его пуля. Воротился он в родные места с победителями. И мы его выпустим с тобой, Стёпа.

Пётр вынул жука из сумки, положил на ладонь.

Жук долго сидел, озирался, поводил усами, потом приподнялся на задние лапки, раскрыл крылья, снова сложил их, подумал и вдруг взлетел с громким жужжанием — узнал родные места. Он сделал круг над колодцем, над грядкой

укропа в огороде и полетел через речку в лес, где аукались ребята, собирали грибы и дикую малину. Стёпа долго бежал за ним, махал картузом.

— Ну вот, — сказал Пётр, когда Стёпа вернулся, — теперь жучище этот расскажет своим про войну и про геройское своё поведение. Соберёт всех жуков под можжевельником, поклонится на все стороны и расскажет.

Стёпа засмеялся, а Акулина сказала:

— Будя мальчику сказки рассказывать. Он и впрямь поверит.

— И пусть его верит, — ответил Пётр. — От сказки не только ребятам, а даже бойцам одно удовольствие.

— Ну разве так! — согласилась Акулина и подбросила в самовар сосновых шишек.

Самовар загудел, как старый жук-носорог. Синий дым из самоварной трубы заструился, полетел в вечернее небо, где уже стоял молодой месяц, отражался в озёрах, в реке, смотрел сверху на тихую нашу землю.

Заботливый цветок

Есть такое растение — высокое, с красными цветами. Цветы эти собраны в большие стоячие кисти. Называется оно кипрей.

Об этом кипрее я и хочу рассказать.

Прошлым летом я жил в маленьком городке на одной из наших полноводных рек. Около этого городка сажали сосновые леса.

Как всегда в таких городках, на базарной площади весь день стояли телеги с сеном. Около них спали мохнатые лошадёнки. К вечеру стадо, возвращаясь из лугов, подымало красную от заката пыль. Охрипший громкоговоритель передавал местные новости.

Однажды я шёл перед вечером мимо базарной площади в лесничество. Оно помещалось на окраине городка над рекой. Среди улицы мальчишки играли в футбол. Громкоговоритель висел на телеграфном столбе. Он неожиданно защелкал, откашлялся и сказал басом:

«Ребята! Напоминаем, что завтра в шесть часов утра состоится поход в Моховой лес для сбора сосновых шишек из беличьих запасов. Руководить походом будет сотрудница лесничества Анна

Петровна Заречная».

Я не мог понять, о каких беличьих запасах идёт речь. Кого бы расспросить об этом? Мальчишки продолжали гонять мяч, будто они и не слыхали громового голоса из чёрной тарелки на столбе. Из окна в соседнем домишке высунулась старушка.

— Петя! — закричала она дребезжащим голосом. — Кузя! Ступайте домой, неслухи. Завтра спозаранку в лес идти, а вы футбол затеяли. Я вас на заре подымать не буду. Я вам не будильник.

— Счас! — закричали в ответ мальчики. — Последний гол забьём!

Неожиданно футбольный мяч угодил в козу, привязанную к крылечку. Коза вскрикнула, взвилась на дыбы и оборвала верёвку. Мальчишки бросились врассыпную. Из всех окошек высунулись разгневанные хозяйки.

— Озорники! — закричали хозяйки. — Вот скажем Анне Петровне, чтобы она вас в лес не брала.

Я пошёл дальше. За углом я увидел мальчиков. Они, оказывается, прятались там от хозяек.

— Ребята, — спросил я мальчиков, — что это за беличьи запасы, про которые объявляли по радио?

Мальчики наперебой начали рассказывать

мне, что никто лучше белок не умеет собирать сосновые шишки.

— Они их себе на зиму запасают! — кричали мальчики. — Складывают в дупла. Да ты не толкайся, дай мне сказать. Белка только здоровые шишки берёт.

— Без нас эти шишки никто и не достанет! — закричал мальчик с отчаянными синими глазами. — Дупло высоко. А мы туда — раз-раз! Мигом долезем и все шишки выберем.

— А вам белок не жалко? — спросил я.

— Белки не обижаются! — закричали, волнуясь, мальчики. — Они за два-три часа опять полное дупло натаскают.

— Вы в лесничество идёте? — спросил меня мальчик с синими глазами.

— Да, в лесничество.

— Мы давно приметили, что вы туда ходите. Так вы, пожалуйста, Анне Петровне про козу не рассказывайте. Мы в неё мячом случайно попали.

Я пообещал ничего не говорить Анне Петровне. Но даже если бы я ей и рассказал про случай с козой, то Анна Петровна (все в лесничестве её звали Анютой) на мальчиков не рассердилась бы, потому что сама была молодая, весёлая и только год назад окончила лесной техникум.

Около дома, где помещалось лесничество, разросся по склону оврага тенистый сад. По дну оврага протекала речушка. Тут же невдалеке она впадала в большую реку.

Речушка была тихая, с ленивым течением и густыми зарослями по берегам. В этих зарослях была протоптана к воде тропинка, а около неё стояла скамейка. В свободные минуты лесничий Михаил Михайлович, Анюта и другие сотрудники лесничества любили немного посидеть на этой скамейке, посмотреть, как толчётся над водой мошкара и как заходящее солнце догорает на облаках, похожих на парусные корабли.

В этот вечер я застал Михаила Михайловича и Анюту на скамейке на берегу реки.

В омуте у наших ног плавала необыкновенно зелёная ряска. На чистых местах цвёл водокрас — белые и тонкие, как папиросная бумага, цветы с красной сердцевиной. Выше омута на крутом берегу островами разросся кипрей.

— Кипрей — это наш помощник, — заметил Михаил Михайлович.

— И белки тоже неплохие помощники, — добавила Анюта.

— О белках я узнал только что, — сказал я. — От мальчиков. Это правда, что вы отбираете у белок

сосновые шишки?

— А как же! — ответила Анюта. — Лучших сборщиков шишек, чем белки, нету на свете. Пойдёмте с нами завтра в лес. Сами увидите.

— Ну что ж, — согласился я. — Пойдёмте. А вот кипрей чем вам помогает, я не знаю. До сих пор я только знал, что его листья заваривают вместо чая.

— Потому его и прозвали в народе иван-чаем, — объяснил Михаил Михайлович. — А помогает он нам вот чем…

Михаил Михайлович начал рассказывать.

Кипрей всегда разрастается на лесных пожарищах и порубках. Недавно ещё кипрей считали сорной травой. Он только и годился, что на дешёвый чай. Лесники безжалостно вырывали весь кипрей, что вырастал рядом с молодыми сосенками. Делали это они потому, что считали, будто кипрей заглушает побеги сосен, отнимает у них свет и влагу.

Но вскоре заметили, что сосенки в тех местах, где уничтожен кипрей, совсем не могут бороться с холодом и от первых же утренних морозов, какие бывают в начале осени, начисто погибают.

Учёные, конечно, начали искать причину этого и наконец нашли.

— Что же оказалось? — спросил Михаил Михайлович и сам себе ответил: — А оказалось, что кипрей — очень тёплый цветок. Когда ударит осенний мороз и иней посеребрит траву, то около кипрея инея нету. Потому что вокруг кипрея стоит тёплый воздух. Этот цветок выделяет из себя теплоту. И в этой теплоте растут себе без страха все соседи кипрея, все слабенькие побеги, пока зима не прикроет их, как ватным одеялом, глубоким снежком. И заметьте, что кипрей всегда разрастается рядом с молодыми соснами. Это их сторож, их защитник, их нянька. Бывает, в сильный мороз у кипрея отмёрзнет вся верхушка, а он всё равно не сдаётся, живёт и дышит теплотой. Самоотверженный цветок!

— Кипрей, — сказала Анюта, — не только воздух обогревает, но и почву. Так что и корешки всех этих побегов не замерзают.



— Вы думаете, один кипрей такой замечательный? — спросил меня Михаил Михайлович. — Почти про каждое растение можно рассказать такие удивительные вещи, что вы просто ахнете. Что ни цветок, то прямо рассказ. Растения спасают нас от болезней, дают крепкий сон, свежие силы, одевают, кормят — всего не перечтёшь. Нет у нас лучших друзей, чем растения. Да если бы я умел рассказывать сказки, я бы о каждой травинке, о каждом каком-нибудь незаметном маленьком лютике или колоске порассказал бы такое, что все старые добрые сказочники мне бы позавидовали.

— Ещё бы! — сказала Анюта. — Если бы они знали тогда то, что мы знаем сейчас, тогда и сказок не надо бы.

На следующий день я ходил вместе с мальчиками и Анютой в Моховой лес, видел беличьи склады сосновых шишек, видел заросли кипрея на гарях и молодых посадках, и с тех пор я начал относиться и к белкам, и к цветам кипрея, и к молодым сосенкам как к своим верным друзьям.

Перед отъездом я сорвал кисть кипрея. Анюта высушила её мне в сухом песке. От этого цветы не потеряли своей яркой пунцовой окраски.

У себя в Москве я заложил эту сухую кисть

кипрея в толстую книгу. Называлась она «Русские народные сказки». И каждый раз, когда я раскрывал эту книгу, я думал о том, что жизнь, окружающая нас, хотя бы жизнь вот этого простенького и скромного цветка, бывает интереснее самых волшебных сказок.

Растрёпанный воробей

На старых стенных часах железный кузнец ростом с игрушечного солдатика поднял молот. Часы щёлкнули, и кузнец ударил с оттяжкой молотом по маленькой медной наковальне. Торопливый звон посыпался по комнате, закатился под книжный шкаф и затих.

Кузнец ударил по наковальне восемь раз, хотел ударить и девятый, но рука у него вздрогнула и повисла в воздухе. Так, с поднятой рукой, он и простоял целый час, пока не пришёл срок пробить по наковальне девять ударов.

Маша стояла у окна и не оглядывалась. Если оглянешься, то нянюшка Петровна непременно проснётся и погонит спать.

Петровна дремала на диване, а мама, как всегда, ушла в театр. Она танцевала в театре, но никогда не брала с собой туда Машу.

Театр был огромный, с каменными колоннами. На крыше его взвивались на дыбы чугунные лошади. Их сдерживал человек с венком на голове — должно быть, сильный и храбрый. Ему удалось остановить горячих лошадей у самого края крыши. Копыта лошадей висели над пло-

щадью. Маша представляла себе, какой был бы переполох, если бы человек не сдержал чугунных лошадей: они сорвались бы с крыши на площадь и промчались с громом и звоном мимо милиционеров.

Все последние дни мама волновалась. Она готовилась впервые танцевать Золушку и обещала взять на первый же спектакль Петровну и Машу.

За два дня до спектакля мама вынула из сундука сделанный из тонкого стекла маленький букет цветов. Его подарил маме Машин отец. Он был моряком и привёз этот букетик из какой-то далёкой страны.

Потом Машин отец ушёл на войну, потопил несколько фашистских кораблей, два раза тонул, был ранен, но остался жив. А теперь он опять далеко, в стране со странным названием Камчатка, и вернётся не скоро, только весной.

Мама вынула стеклянный букет и тихо сказала ему несколько слов. Это было удивительно, потому что раньше мама никогда не разговаривала с вещами.

— Вот, — прошептала мама, — ты и дождался.

— Чего дождался? — спросила Маша.

— Ты маленькая, ничего ещё не понимаешь, — ответила мама. — Папа подарил мне этот букет и

сказал: «Когда ты будешь в первый раз танцевать Золушку, обязательно приколи его к платью после бала во дворце. Тогда я буду знать, что ты в это время вспомнила обо мне».

— А вот я и поняла, — сказала сердито Маша.

— Что ты поняла?

— Всё! — ответила Маша и покраснела: она не любила, когда ей не верили.

Мама положила стеклянный букетик к себе на стол и сказала, чтобы Маша не смела дотрагиваться до него даже мизинцем, потому что он очень хрупкий.

В этот вечер букет лежал за спиной у Маши на столе и поблёскивал. Было так тихо, что казалось, всё спит кругом: весь дом, и сад за окнами, и каменный лев, что сидел внизу у ворот и всё сильней белел от снега. Не спали только Маша, отопление и зима. Маша смотрела за окно, отопление пищало свою тёплую песню, а зима всё сыпала и сыпала с неба тихий снег. Он летел мимо фонарей и ложился на землю. И было непонятно, как с такого чёрного неба может слетать такой белый снег. И ещё было непонятно, почему среди зимы и морозов распустились у мамы на столе в корзине красные большие цветы. Но непонятнее всего была седая ворона. Она сидела на ветке за

окном и смотрела, не моргая, на Машу.

Ворона ждала, когда Петровна откроет форточку, чтобы проветрить на ночь комнату, и уведёт Машу умываться.

Как только Петровна и Маша уходили, ворона взлетала на форточку, протискивалась в комнату, хватала первое, что попадалось на глаза, и удирала.

Она торопилась, забывала вытереть лапы о ковёр и оставляла на столе мокрые следы.

Петровна каждый раз, возвратившись в комнату, всплёскивала руками и кричала:

— Разбойница! Опять чего-нибудь уволокла!

Маша тоже всплёскивала руками и вместе с Петровной начинала торопливо искать, что на этот раз утащила ворона. Чаще всего ворона таскала сахар, печенье и колбасу.

Жила ворона в заколоченном на зиму ларьке, где летом продавали мороженое. Ворона была скупая, сварливая. Она забивала клювом в щели ларька все свои богатства, чтобы их не разворовали воробьи.

Иной раз по ночам ей снилось, будто воробьи прокрались в ларёк и выдалбливают из щелей кусочки замёрзшей колбасы, яблочную кожуру и серебряную обёртку от конфет. Тогда ворона

сердито каркала во сне, а милиционер на соседнем углу оглядывался и прислушивался. Он уже давно слышал по ночам карканье из ларька и удивлялся. Несколько раз он подходил к ларьку и, загородившись ладонями от света уличного фонаря, всматривался внутрь. Но в ларьке было темно, и только на полу белел поломанный ящик.

Однажды ворона застала в ларьке маленького растрёпанного воробья по имени Пашка.

Жизнь для воробьев пришла трудная. Маловато было овса, потому что лошадей в городе почти не осталось. В прежние времена — их иногда вспоминал Пашкин дед, старый воробей по прозвищу Чичкин, — воробьиное племя все дни толкалось около извозчичьих стоянок, где овёс высыпался из лошадиных торб на мостовую.

А теперь в городе одни машины. Они овсом не кормятся, не жуют его с хрупом, как добродушные лошади, а пьют какую-то ядовитую воду с едким запахом. Воробьиное племя поредело. Иные воробьи подались в деревню, поближе к лошадям, а иные — в приморские города, где грузят на пароходы зерно и потому там воробьиная жизнь сытая и весёлая.

«Раньше, — рассказывал Чичкин, — воробьи

собирались стаями по две-три тысячи штук. Бывало, как вспорхнут, как рванут воздух, так не то что люди, а даже извозчичьи лошади шарахались и бормотали: «Господи, спаси и помилуй! Неужто нету на этих сорванцов управы?»

А какие были воробьиные драки на базарах! Пух летел облаками. Теперь таких драк нипочём не допустят…»

Ворона застала Пашку, как только он юркнул в ларёк и не успел ещё ничего выковырять из щели. Она стукнула Пашку клювом по голове.

Пашка упал и завёл глаза: прикинулся мёртвым.

Ворона выбросила его из ларька и напоследок каркнула — выбранилась на всё воробьиное вороватое племя.

Милиционер оглянулся и подошёл к ларьку. Пашка лежал на снегу: умирал от боли в голове и только тихонько открывал клюв.

— Эх ты, беспризорник! — сказал милиционер, снял варежку, засунул в неё Пашку и спрятал варежку с Пашкой в карман шинели. — Невесёлой жизни ты воробей!

Пашка лежал в кармане, моргал глазами и плакал от обиды и голода. Хоть бы склюнуть какую ни на есть крошку! Но у милиционера хлебных

крошек в кармане не было, а валялись только бесполезные крошки табаку.

Утром Петровна с Машей пошли гулять в парк. Милиционер подозвал Машу и строго спросил:

— Вам, гражданочка, воробей не требуется? На воспитание?

Маша ответила, что воробей ей требуется, и даже очень. Тогда красное, обветренное лицо милиционера вдруг собралось морщинками. Он засмеялся и вытащил варежку с Пашкой:

— Берите! С варежкой. А то удерёт. Варежку мне потом принесёте. Я с поста сменяюсь не раньше чем в двенадцать часов.

Маша принесла Пашку домой, пригладила ему перья щёткой, накормила и выпустила. Пашка сел на блюдечко, попил из него чаю, потом посидел на голове у кузнеца, даже начал было дремать, но кузнец в конце концов рассердился, замахнулся молотком, хотел ударить Пашку. Пашка с шумом перелетел на голову баснописцу Крылову. Крылов был бронзовый, скользкий — Пашка едва на нём удержался. А кузнец, осердясь, начал колотить по наковальне — и наколотил одиннадцать раз.

Пашка прожил в комнате у Маши целые сутки и видел вечером, как влетела в форточку старая

ворона и украла со стола копчёную рыбью голову. Пашка спрятался за корзину с красными цветами и сидел там тихо.

С тех пор Пашка каждый день прилетал к Маше, поклёвывал крошки и соображал, чем бы Машу отблагодарить. Один раз он принёс ей замёрзшую рогатую гусеницу — нашёл её на дереве в парке. Но Маша гусеницу есть не стала, и Петровна, бранясь, выбросила гусеницу за окно.

Тогда Пашка, назло старой вороне, начал ловко утаскивать из ларька ворованные вещи и приносить их обратно к Маше. То притащит засохшую пастилу, то окаменелый кусочек пирога, то красную конфетную бумажку.

Должно быть, ворона воровала не только у Маши, но и в других домах, потому что Пашка иногда ошибался и притаскивал чужие вещи: расчёску, игральную карту — трефовую даму — и золотое перо от «вечной» ручки.

Пашка влетал с этими вещами в комнату, бросал их на пол, делал по комнате несколько петель и стремительно, как маленький пушистый снаряд, исчезал за окном.

В этот вечер Петровна что-то долго не просыпалась. Маше было любопытно посмотреть, как ворона протискивается в форточку. Она этого ни

разу не видела.

Маша влезла на стул, открыла форточку и спряталась за шкафом. Сначала в форточку летел крупный снег и таял на полу, а потом вдруг что-то заскрипело. Ворона влезла в комнату, прыгнула на мамин стол, посмотрелась в зеркало, взъерошилась, увидев там такую же злую ворону, потом каркнула, воровато схватила стеклянный букет и вылетела за окно.

Маша вскрикнула. Петровна проснулась, заохала и заругалась. А мама, когда возвратилась из театра, так долго плакала, что вместе с ней заплакала и Маша. А Петровна говорила, что не надо убиваться, может, и найдётся стеклянный букетик — если, конечно, дура ворона не обронила его в снег.

Утром прилетел Пашка. Он сел отдохнуть на баснописца Крылова, услышал рассказ об украденном букете, нахохлился и задумался.

Потом, когда мама пошла на репетицию в театр, Пашка увязался за ней.

Он перелетал с вывесок на фонарные столбы, с них — на деревья, пока не долетел до театра, там он посидел немного на морде у чугунной лошади, почистил клюв, смахнул лапой слезинку, чирикнул и скрылся.

Вечером мама надела на Машу праздничный белый фартучек, а Петровна накинула на плечи коричневую атласную шаль, и все вместе поехали в театр. А в этот самый час Пашка по приказу Чичкина собрал всех воробьёв, какие жили поблизости, и воробьи всей стаей напали на вороний ларёк, где был спрятан стеклянный букет.

Сразу воробьи не решились, конечно, напасть на ларёк, а расселись на соседних крышах и часа два дразнили ворону. Они думали, что она разозлится и вылетит из ларька. Тогда можно будет устроить бой на улице, где не так тесно, как в ларьке, и где на ворону можно навалиться всем сразу. Но ворона была учёная, знала воробьиные хитрости и из ларька не вылезала.

Тогда воробьи наконец собрались с духом и начали один за другим проскакивать в ларёк.

Там поднялся такой писк, шум и трепыхание, что вокруг ларька тотчас собралась толпа.

Прибежал милиционер. Он заглянул в ларёк и отшатнулся: воробьиный пух летал по всему ларьку, и в этом пуху ничего нельзя было разобрать.

— Вот это да! — сказал милиционер. — Вот это рукопашный бой по уставу!

Милиционер начал отдирать доски, чтобы от-

крыть заколоченную дверь в ларёк и прекратить драку.

В это время все струны на скрипках и виолончелях в театральном оркестре тихонько вздрогнули.

Высокий человек взмахнул бледной рукой, медленно повёл ею, и под нарастающий гром музыки тяжёлый бархатный занавес качнулся, легко поплыл в сторону, и Маша увидела большую нарядную комнату, залитую жёлтым солнцем, и богатых уродок сестёр, и злую мачеху, и свою маму — худенькую и красивую, в стареньком сером платье.

— Золушка! — тихо вскрикнула Маша и уже не могла оторваться от сцены.

Там, в сиянии голубого, розового, золотого и лунного света, появился дворец. И мама, убегая из него, потеряла на лестнице хрустальную туфельку.

Было очень хорошо, что музыка всё время только то и делала, что печалилась и радовалась за маму, как будто все эти скрипки, гобои, флейты и тромбоны были живыми добрыми существами. Они всячески старались помочь маме вместе с высоким дирижёром. Он так был занят тем, чтобы помочь Золушке, что даже ни разу не оглянулся

на зрительный зал.

И это очень жаль, потому что в зале было много детей с пылающими от восторга щеками.

Даже старые капельдинеры, которые никогда не смотрят спектакли, а стоят в коридорах у дверей с пучками программок в руках и большими чёрными биноклями, — даже эти старые капельдинеры бесшумно вошли в зал, прикрыли за спиной двери и смотрели на Машину маму. А один даже вытирал глаза. Да и как ему было не прослезиться, если так хорошо танцевала дочь его умершего товарища, такого же капельдинера, как и он.

И вот, когда кончился спектакль и музыка так громко и весело запела о счастье, что люди улыбнулись про себя и только недоумевали, почему у счастливой Золушки на глазах слёзы, — вот в это самое время в зрительный зал ворвался, поносившись и поплутав по театральным лестницам, маленький растрёпанный воробей. Было сразу видно, что он выскочил из жестокой драки.

Он закружился над сценой, ослеплённый сотнями огней, и все заметили, что в клюве у него что-то нестерпимо блестит, как будто хрустальная веточка.

Зал зашумел и стих. Дирижёр поднял руку и

остановил оркестр. В задних рядах люди начали вставать, чтобы увидеть, что происходит на сцене. Воробей подлетел к Золушке. Она протянула к нему руки, и воробей на лету бросил ей на ладони маленький хрустальный букет. Золушка дрожащими пальцами приколола его к своему платью.

Дирижёр взмахнул палочкой, оркестр загремел. Театральные огни задрожали от рукоплесканий. Воробей вспорхнул под купол зала, сел на люстру и начал чистить растрёпанные в драке перья.

Золушка кланялась и смеялась, и Маша, если бы не знала наверное, никогда бы не догадалась, что эта Золушка — её мама.

А потом, у себя в доме, когда погасили свет и поздняя ночь вошла в комнату и приказала всем спать, Маша сквозь сон спросила маму:

— Когда ты прикалывала букет, ты вспомнила о папе?

— Да, — ответила, помолчав, мама.

— А почему ты плачешь?

— Потому что радуюсь, что такие люди, как твой папа, бывают на свете.

— Вот и неправда! — пробормотала Маша. — От радости смеются.

— От маленькой радости смеются, — ответила

мама, — а от большой — плачут. А теперь спи!

Маша уснула. Уснула и Петровна. Мама подошла к окну. На ветке за окном спал Пашка. Тихо было в мире, и крупный снег, что падал и падал с неба, всё прибавлял тишины. И мама подумала, что вот так же, как снег, сыплются на людей счастливые сны и сказки.

Рассказы

Барсучий нос

Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули.

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки и голубая вода казалась черной, как деготь. Там мы ловили разноцветных окуней, вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленьких луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами.

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далекие облака и синий густой воздух.

По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звезды.

У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет, чтобы отгонять волков, — они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоил дым костра и веселые человеческие крики.

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве, у костра, начал сер-

дито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей. Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый, вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах.

С нами пришел на озеро мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночевки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он все замечал и рассказывал. Он был выдумщик, этот мальчик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины и переправлялись при свете ночной, небывалой радуги. Мы делали вид, что верили ему.

Все, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая над черными озерами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен.

Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы при-

тихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке, — кто знает, что это мог быть за зверь!

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с черными пронзительными глазками. Наконец показалась полосатая шкурка. Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке.

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжется, но я опоздал: барсук прыгнул к сковородке и сунул в нее нос…

Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли.

На озере и в лесу началось смятение: без времени заорали испуганные лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука.

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой

обожженный нос.

Я не поверил. Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах — мшарах, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться.

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук. Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом.

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую и холодную труху, обожженный нос. Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами.

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь.

С тех пор озеро — оно называлось раньше

Безымянным — мы прозвали Озером Глупого Барсука.

А через год я встретил на берегах этого озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники.

С тех пор я его больше не видел.

Заячьи лапы

К ветеринару в наше село пришел с Урженского озера Ваня Малявин и принес завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами…

— Ты что, одурел? — крикнул ветеринар. — Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!

— А вы не лайтесь, это заяц особенный, — хриплым шепотом сказал Ваня. — Его дед прислал, велел лечить.

— От чего лечить-то?

— Лапы у него пожженные.

Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед:

— Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком — деду будет закуска.

Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.

— Ты чего, малый? — спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она привела к ветеринару свою единственную козу. — Чего вы, сердешные,

вдвоем слезы льете? Ай случилось что?

— Пожженный он, дедушкин заяц, — сказал тихо Ваня. — На лесном пожаре лапы себе пожег, бегать не может. Вот-вот, гляди, умрет.

— Не умреть, малый, — прошамкала Анисья. — Скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пущай несет его в город к Карлу Петровичу.

Ваня вытер слезы и пошел лесами домой, на Урженское озеро. Он не шел, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошел стороной, на север, около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах.

Заяц стонал.

Ваня нашел по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.

— Ты чего, серый? — тихо спросил Ваня. — Ты бы поел.

Заяц молчал.

— Ты бы поел, — повторил Ваня, и голос его задрожал. — Может, пить хочешь?

Заяц повел рваным ухом и закрыл глаза.

Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес — надо было поскорее дать зайцу напиться из озера.

Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы плотных белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже две недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень.

Наутро дед надел чистые онучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади.

Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал.

Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар.

На базарной площади было очень пусто, знойно; извозчичьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился.

— Не то лошадь, не то невеста — шут их разберет! — сказал он и сплюнул.

Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал:

— Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш, специалист по детским болезням, уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?

Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.

— Это мне нравится! — сказал аптекарь. — Интересные пациенты завелись в нашем городе! Это мне замечательно нравится!

Он нервно снял пенсне, протер, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным.

— Почтовая улица, три! — вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрепанную толстую книгу. — Три!

Дед с Ваней добрели до Почтовой улицы как раз вовремя — из-за Оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи, и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке.

Бесшумные молнии исподтишка, но стремительно и сильно били в луга; далеко за Полянами уже горел стог сена, зажженный ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность: каждая капля оставляла в пыли маленький кратер.

Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода деда.

Через минуту Карл Петрович уже сердился.

— Я не ветеринар, — сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. — Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев.

— Что ребенок, что заяц — все одно, — упрямо пробормотал дед. — Все одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь — бросить!

Еще через минуту Карл Петрович, старик с седыми взъерошенными бровями, волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда.

Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить

за зайцем.

Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на третий день к Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце.

Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понес домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо:

«Заяц не продажный, живая душа, пусть живет на воле. При сем остаюсь

Ларион Малявин».

Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь.

Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рва-

ную рыболовную сеть. Потом поставил самовар — от него окна в избе сразу запотели и звезды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, лязгал зубами и отскакивал — воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.

Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце.

В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал.

Дед пошел дальше. Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты. Стало трудно дышать.

Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идет прямо на него. Ветер перешел в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь

шел со скоростью тридцати километров в час.

Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени.

Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели.

Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.

Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то шибко!»

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед — оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понес домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.

— Да, — сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной, — да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек.

— Чем же ты провинился?

— А ты выдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь!

Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял все.

Старик в потертой шинели

Есть тысячи деревень у нас в России, затерянных среди полей и перелесков. Тысячи деревень, таких же незаметных, как серое небо, как белоголовые крестьянские дети. Эти дети, встретившись с незнакомым человеком, всегда стоят потупившись, но если уж подымут глаза, то в них блеснет такая доверчивость, что от нее защемит на сердце.

Редко-редко среди бесчисленных Сосновок, Никольских и Горелых Двориков попадется деревня с заметным, а иной раз и необыкновенным именем, вроде Мыса Доброй Надежды в Тамбовской области или Колыбельки где-то под Острогожском.

Всегда кажется, что деревни с такими удивительными названиями непременно связаны с интересными историями и что от этого и произошли их имена.

Я тоже так думал, пока мало знал деревенскую Россию. Но потом, с годами, когда мне пришлось лучше узнать страну, я убедился, что почти нет такой деревни — даже самой захудалой, — где бы не было своих замечательных историй и людей.

Возьмем, к примеру, окрестности городка Ефремова в нынешней Тульской области — того самого Ефремова, что, по словам Чехова, был самым захолустным из всех уездных городов в России. Какие же глухие деревни должны были окружать этот городок!

На первый взгляд это было действительно так. Но только на первый взгляд.

В 1924 году я прожил все лето под Ефремовом, в деревушке Богово. Шел седьмой год революции, но внешних перемен пока что было еще не так много.

Все те же лысоватые овсяные поля сухо шелестели за околицами, и по ним гулял волнами ветер. Все те же грудные дети в линялых грязных чепчиках лежали в зыбках, облепленные мухами. В базарные дни гремели по большаку телеги, и бабы в онучах тряслись на них и пели визгливыми и притворно веселыми голосами разухабистые песни. И сонно шумела у сгнившей плотины небольшая река Красивая Меча (местные жители называли ее Красивая Мечь).

Пожив в Богове, я узнал, что невдалеке от Ефремова сохранилась усадьба отца Лермонтова, где в рассохшемся доме висит на стене пыльный походный сюртук поэта. Говорили, что Лермонтов

останавливался у отца, когда проезжал на Кавказ, в ссылку. Узнал, что на берегах Красивой Мечи охотился Иван Сергеевич Тургенев, а в Ефремове бывали Чехов и Бунин.

Но все это относилось к прошлому. Я же хотел найти черты настоящего, найти людей, связанных с новым временем.

Но, как нарочно, в Богове не было даже ни одного участника гражданской войны — никого, кто был бы свидетелем недавних событий. И тоже, как будто нарочно, в деревне жил какой-то отставной полковник, судя по рассказам, человек одинокий и молчаливый. Почему он поселился в Богове, никто мне не мог объяснить.

— Живет и живет, — говорили крестьяне. — Зла пока что не делает. Снял избу, сам себе варит картоху да от зари до зари сидит с удочкой на речке. Что с него взять — человек престарелый.

— Чего же он здесь живет?

— А шут его знает! Спрашивать его про это вроде как неудобно. Приехал в летошнем году и остался на жительство. Сторона у нас тихая. Ему, бывшему офицеру, тут, конечно, беспокойства поменьше. Сами знаете, офицер теперь вроде как ящурный. Каждый норовит его стороной обойти.

Встретился я с этим отставным полковником

на Красивой Мече около мельничной плотины.

Был хмурый холодноватый день, какие иногда выдаются среди лета. Рыхлые облака ползли над землей, и из них нехотя падали капли дождя. Потом дождь стих.

Я пришел на мельничный омут ловить рыбу. На бревне около плотины сидел худой старик с длинной седой бородой, в старой офицерской шинели и серой кепке. Вместо золоченых форменных пуговиц к шинели были пришиты обыкновенные черные пуговицы, как на бабьих салопах.

Старик курил короткую трубку, сделанную из колена газовой трубы. Она была, должно быть, очень тяжелая. Когда старик выбивал ее о бревно, то звук был такой, будто он вколачивает гвозди.

Ловил старик на одну удочку и первое время не обращал на меня внимания.

Я же ловил на три удочки, и потому у меня рыба все время срывалась. Пока я менял червя на одной удочке, на другой, как назло, обязательно клевало. Я хватался за нее, но было уже поздно, и я вытаскивал из воды только обрывок червя. Старик же время от времени неторопливо вываживал больших, свинцового цвета подустов и толстых плотиц.

Он неодобрительно покашливал, поглядывая

на мою возню с удочками. Она его, видимо, раздражала. Наконец он не выдержал и сказал:

— Ловить следует, молодой человек, на одну удочку. Для душевного равновесия. А так вы только нервы себе испортите.

Я послушался его, смотал две удочки и начал ловить на одну. Тотчас же я вытащил крупного окуня. Старик усмехнулся.

— Видите! — сказал он. — По трем мишеням сразу из трех винтовок не стреляют, а преимущественно мажут. Вот вы и мажете так безбожно, что обидно смотреть.

С реки мы возвращались в Богово в поздние сумерки. Старик шел медленно, смотрел себе под ноги и ни разу не поднял головы. Поэтому до деревушки мы добрались уже в сырой и неуютной темноте.

Всю дорогу старик рассказывал мне, как варить горох для насадки на подуста, и у меня не было удобного случая, чтобы спросить его, кто же он такой и почему поселился в Богове. Здесь, как я знал, у него не было ни одной близкой души.

Багровые тучи на западе медленно гасли. Заунывно кричала выпь. Снова холодные дождевые капли начали тяжело щелкать по лопухам. И эта угрюмость вечера каким-то образом передалась

моим мыслям об одинокой старости, о человеке в потертой шинели, что брел рядом со мной.

Только один раз за время нашего разговора старик упомянул о себе и сказал, что до Первой мировой войны он был комендантом крепости Осовец в Польше. Вот там-то на реке Бобре он ловил и не таких подустов!

Шло лето. Старик упорно молчал о своем прошлом, и спрашивать его об этом было действительно неудобно. Один раз я попытался обиняками узнать у него, не нужно ли ему чем-нибудь помочь, но старик только усмехнулся на мои слова и ничего не ответил.

Вся история с этим стариком становилась что ни день, то загадочнее. Особенно когда я узнал, что каждый месяц он получает какую-то повестку из Ефремова, ходит в город и возвращается оттуда усталый, но довольный. И каждый раз приносит подарки деревенским детям и своей соседке Насте — многодетной, но не старой еще женщине, брошенной мужем. Детям — липкие леденцы, а Насте то пачку чая, то катушку ниток.

Я никогда не встречал существа более кроткого, чем Настя. Каждое ее слово и движение выдавали беспомощность и доброту. Она всегда виновато улыбалась, торопливо поправляла под платком

волосы, и руки у нее дрожали. Смотрела она растерянно, а в избу к ней я просто стеснялся войти — Настя тотчас бросалась вытирать подолом лавку и стол, выгоняла в сени наседку с цыплятами, краснела до слез и все порывалась поставить погнутый позеленевший самовар.

Наконец пришла осень, и я собрался через несколько дней уезжать в Москву.

Иные места покидаешь и все же думаешь, что когда-нибудь сюда вернешься. Это легче, чем оставлять места, хорошо зная, что ты уезжаешь навсегда. При этом непременно возникает горькое чувство, будто ты оставляешь здесь частицу сердца.

Как бы ни было уныло и неприветливо покинутое место, как бы ты ни тяготился пребыванием в нем, всегда остается в душе сожаление, а может быть, и любовь.

Так, должно быть, мать любит своего хилого ребенка, играющего гнилой щепкой. Любит его до стона, до слез — беспомощного, обреченного на одиночество среди здоровых и смешливых детей.

О ребенке я подумал, очевидно, потому, что такой вот больной и тихий мальчик был у Насти. Звали его Петя.

Ему уже минуло шесть лет, но он почти не умел говорить. Весь день он сидел на дороге, пересыпал пыль из ладони в ладонь и молчал.

Однажды я подошел к нему, присел на корточки и заговорил с ним! Он со страхом взглянул на меня, сморщился и беззвучно затрясся — заплакал, уткнувшись лицом в рукав.

— Ты чего? — спросил я растерянно и дотронулся до его острого плеча, вздрагивающего под застиранной рубашонкой.

Я ничего не понимал. Я видел только огромное, бессловесное и темное горе этого маленького, захлебывающегося от слез существа.

— Ты чего? — повторил я, и внезапно меня, как лезвие ножа, полоснула мысль: «А может быть, он понимает, что с ним?»

Из избы выбежала Настя, схватила мальчика на руки и, как всегда виновато улыбаясь, сказала:

— Он у меня больненький, дурачок, глупенький мой. Вы не гневайтесь. Как его приласкаешь, он завсегда заплачет.

Неожиданно глаза у Насти потемнели, и она сказала злым голосом:

— Я бы их всех своими руками удавила, мужиков этих окаянных, иродов! Только и жизни, что жрать водку цельными ведрами да материться.

Наплодят таких вот детей, а у тебя потом сердце изойдет кровью. Мой он мальчик, живой! И некому за него заступиться.

Как только я решил уезжать, мне тотчас захотелось остаться. Все вдруг открылось в новом обличии — и люди, и пажити, и вся эта темная осенняя земля.

Шли дожди, густые пасмурные дни были похожи на рассветы, в избе стало сыро и холодно. И только вороха палых листьев освещали землю своим желтым холодноватым огнем.

Перед отъездом я в последний раз пошел со стариком — звали его Петром Степановичем — на рыбную ловлю. Дожди к тому времени прошли, но над землей по целым дням лежал туман. Он не рассеивался даже к полудню.

Я спросил старика, не нужно ли ему чего-нибудь в Москве.

— Нет, благодарствую, — ответил он. — Я-то Москву больше и не увижу. Здесь дотяну свои дни. Некуда мне ехать, да и незачем. Я старый байбак — у меня ни жены, ни детей. А об друзьях и говорить нечего. Иные умерли, а остальные давно разбрелись-рассыпались кто куда. Да, признаться, в старой армии у меня и друзей-то не было. Раз-два и обчелся.

— Почему? — спросил я.

— Я — солдатский сын. Отец мой был вахмистром. Родом я, как говорили в старое время, из мужичья, из простонародья. Черная кость. Ежели бы не это, то разве меня уволили бы в отставку из старой армии в чине полковника. Коменданту такой крепости, как Осовец, полагалось быть генералом. А меня, сказать по правде, только терпели за добросовестность да за познания в артиллерийском деле. Артиллерист я неплохой.

— Что же вы не женились?

— Теперь-то оно, конечно, обидно, — ответил старик и остановился передохнуть. Худой, высокий, чуть сгорбленный, он чем-то напоминал мне горестный образ Дон-Кихота. Глаза у старика слезились. Он вытащил красный клетчатый платок и вытер слезы.

— Теперь-то я жалею об этом, — сказал он, отдышавшись. — И не столько потому, что жены не было — бог с ней, с женой, насмотрелся я на этих офицерских жен, — сколько потому, что не было у меня ни дочери, ни сына. А раз заботиться не о ком, то и существование, выходит, пустое. Холодное существование. Вот и возишься тут с чужими детьми, с этакими пузырями.

Я наконец решился спросить:

— Как вы попали в Богово?

— Это, милый мой, длиннейшая история с географией. Расскажешь — все равно не поверите. Некий просто фантастический случай на старости лет. Собственно говоря, попал я сюда просто. Слышал про Красивую Мечу, про прелесть этих мест и решил здесь доживать свой век. Но решению этому предшествовало некое удивительное событие. Я ему и сам до сих пор удивляюсь.

— Какое событие?

— Нервные вы люди! — сказал укоризненно старик. — Я люблю обстоятельный разговор. А у вас все тыр-пыр — и нет ничего! Нету никакого душевного равновесия.

— Хорошо, Петр Степанович, — сказал я виновато. — Я не буду больше перебивать.

— Вот и прелестно! Произошла революция, а я в то время жил уже в отставке в Калязине. Ну, понятно, лишился пенсии, погоны спорол, пуговицы с гербами спорол, а пальтишка гражданского не достал. Не осилил. И понимаю, что надо мне из Калязина подаваться в те места, где меня никто не знает. А в Калязине я как на юру. Понимаю, что надо мне затеряться среди людей. А уж где может быть многолюднее, чем в Москве. Пробрался в Москву, снял угол у старухи-вдовы

в Петровском парке. Денег у меня осталось от пенсии — всего ничего. Но тянусь, выкраиваю кое-как на пропитание. Старуха, хозяйка моя, женщина была рыхлая и довольно добрая, должно быть, от болезни, — порок сердца был у нее. И дочка с ней жила, комсомолка. Та меня как будто не замечала. Уж не пойму — действительно не замечала или делала вид. Да я, правду сказать, всегда был покладистый, а особенно — в то время, ежели принять во внимание тогдашнее мое пиковое положение. Лозунг был у таких, как я, один-единственный: сиди тихо и носа без особой надобности из норы не высовывай. Натерла царская армия шею народу своим хомутом. Это я всегда понимал. А в жизни за все приходится расплачиваться.

Да, жил я скудно, скудней не придумаешь, покуда наконец не иссякли мои последние рубли. Умирать никому неохота, да и перед хозяйкой совестно. Не спал я две ночи, все думал, да и додумался только до того, чтобы идти милостыню просить, побираться, стать окончательным нищим.

Старик остановился и посмотрел на меня как будто с недоумением.

— Представьте себе, — стать форменным ни-

щим! Это не жизнь, а могильное тление. Сам себе не рад и на себя смотришь с брезгливостью. И все думалось мне тогда — скорей бы бог смерть послал какую угодно, хоть самую подлую, чем жить в таком унижении. Иные привыкают, а я не мог. Для нищенства тоже нужны сноровка, опыт, актерство. Ничего этого я не имел.

Я нищенствовал в Петровском парке, дальше не выходил, побаивался. Просил поближе к дому. Стою на углу, глаз не подымаю, совестно прохожим в лицо глядеть. Стою, опираюсь на палку и бормочу что-то такое, что мерзко даже вспомнить сейчас: «Подайте бездомному старику на кусок хлеба». Подавали, прямо скажу, плохо. Шинель моя офицерская всех отпугивала. А бывало, и обижали так, что голова холодела от гнева. Но что поделаешь — сдерживался.

Вечером приду в свой угол, считаю мелочь, медяки — и ничего не вижу. Все туманом застилает. Поверите ли, неоднократно думал о том, чтобы наложить на себя руки. И если бы не один случай, так наложил бы. Не очень бы это дело затягивал.

Мы подошли со стариком к мельничному омуту и сели на сырое бревно — обычное место Петра Степановича.

— Что-то холодно, — пожаловался он и поднял

ворот шинели. С изнанки ворот был синевато-серого свежего цвета, а с лица — выгоревший и пожелтевший.

Действительно похолодало, хотя и не было ветра. На облаках появился, как всегда в таких случаях, сизый, почти зимний налет.

— Да, — сказал старик, закуривая трубку, — однажды летом вернулся я домой раньше, чем обыкновенно, с такой получкой, что и не поверите. Какой-то мальчишка подал мне пятак. И все! За весь день. В орлянку он, должно быть, этим пятаком играл — до того он был весь избитый и покалеченный. Его даже в трамвае бы не взяли, не то что на Инвалидном рынке.

Ноги у меня в то время уже начали опухать. Решил — ночью окончу эту тягомотину, нет больше возможности за жизнь бороться. Да и зачем? Кому я нужен, отставной козы барабанщик? И как-то так странно подумалось, что все-таки надо бы попрощаться с родной землей, ясным небом, с солнышком (оно уже клонилось к закату), с птицами и деревьями.

Вышел я на улицу и сел у ворот на лавочку. В ту пору улицы в Петровском парке были вроде как деревенские, позарастали травой и шумели над ними по ветру старые московские липы.

Сижу без всяких мыслей в голове. А наискосок, против нашего домишка, было общежитие летних учеников. Народ насмешливый, буйный. Никому не давали проходу, особенно мне. Как завидят меня, повысунутся из окон и ну давай кричать: «Старый хрыч! Скобелев! Музейная редкость!» А я прохожу, будто глухой.

Сижу я так-то на лавочке и вижу — идет по нашей стороне господин невысокого роста, в черном костюме, в кепке. Идет неторопливо, руки засунул за спину под пиджак и о чем-то, видимо, размышляет. Остановится, посмотрит на липы, будто ищет в них чего-то, и идет дальше. Поравнялся он со мной, остановился и говорит этак быстро и вроде шутливо:

— Вы разрешите мне с вами посидеть?

— Пожалуйста, — говорю. — Сидеть здесь никому не возбраняется. Только вы подальше от меня садитесь.

Он прищурился, перестал улыбаться и посмотрел на меня очень внимательно.

— Это почему же? — спрашивает.

Я молчу, а он повторяет:

— Это почему же?

— Вы что же, сами не видите, — отвечаю я несколько зло, — что я нищий.

Он опять взглянул на меня и говорит как бы про себя:

— Да, вижу. Худо вам живется.

— Уж чего хуже. Только и тяну, что из человеческой жалости. Побираюсь среди людей.

— Вы бывший офицер?

— Офицер, — отвечаю. — Собака! Клейменый человек — вот и все!

Он вдруг улыбнулся, да с такой добротой, что я даже несколько опешил.

— Постойте, — говорит. — Вы не волнуйтесь. Офицеры тоже разные бывали.

— Вот то-то, что разные, а ответ у всех выходит один. Я сам когда-то был комендантом Осовца, всех этих рукосуев, что норовили мордовать солдат, держал в страхе. Преследовал, сколько мог. Русский солдат — святой человек. Это вы запомните. Руками русского солдата вся наша история свершилась, да, кстати, и эта ваша революция.

Тут он откинулся несколько назад и залился таким смехом, что я почувствовал, как заулыбался ему в ответ. Начал он меня расспрашивать про старую армию, про Осовец и про недавнюю войну. Я ему все обстоятельно объяснил. Сказал, между прочим, что мы, военные, давно знали из секретных приказов, что готовится война. Этими

моими словами он почему-то особенно заинтересовался и все говорил: «Так-так! Ну-ну! Что же дальше?» — а потом в упор меня спросил:

— А что вы думаете о большевиках? Получится у них что-нибудь?

— Как же, — говорю, — не получится! Что это вы, господин дорогой! Разве сами не видите! Хорошо-то это все хорошо, только следить надо, чтобы нравственного облика народ не терял.

Он снова посмотрел на меня даже как-то пытливо и говорит:

— Совершенно с вами согласен. А так жить, как вы, нельзя. Никак нельзя! Я напишу вам записку в одно место, сходите с этой запиской туда, и вам наверняка помогут.

Вынул блокнот, чего-то быстро там написал и подал мне. Я взял, сложил, засунул в карман. Что мне было в той записке! Кто это будет помогать офицеру? Но, конечно, я его поблагодарил за душевность, и он ушел. А я его вслед спрашиваю:

— Вы что же, гуляете по этим местам?

— Да, — говорит, — я был болен, и врачи приказали мне ежедневно гулять.

Ушел. У меня после этой встречи отлегло от сердца. «Вот, думаю, есть еще благородные и отзывчивые люди на свете. Не погнушался этот

господин знакомством со мной, поговорил с нищим, с бывшим офицером».

Сижу так, размышляю. Вижу, бегут ко мне летные ученики. Непонятно почему, но все какие-то взъерошенные, даже бледные. Подбегают, спрашивают: «Вы знаете, с кем вы говорили?» Откуда я знаю — с кем. Но у меня на тех летных учеников такое зло было, так накипело на сердце за «старого хрыча» и «Скобелева», что я весь трясусь. «Знаю, говорю. Убирайтесь отсюда ко всем чертям. Вам бы только над старым человеком насмешничать».

Они сразу осунулись, ушли. А вечером прислали с каким-то мальчишкой пачку чая и сахара не меньше фунта. «С чего бы это? — думаю. — Значит, прогнал я их, и заговорила в них совесть».

Молодежь я очень люблю. Если бы не было молодежи, то нам и жить было бы незачем. Скука была бы адовая. Так что эти летные ученики — не в счет.

Да, а я опять начал нищенствовать. Что поделаешь! Об этой записке позабыл. Засунул ее в старую книгу Данилевского «Сожженная Москва» — единственное мое достояние — и, представьте, позабыл. А среди зимы меня так зажало, что чувствую — упаду где-нибудь на улице в снег и

окочурюсь. Тогда только и вспомнил о записке. Отыскал ее, а она вся помятая, будто жеваная.

На записке адрес написан, какое-то ведомство, — я не разобрал. А мне в то ведомство идти неудобно из-за такого непрезентабельного вида записки. Да и далеко куда-то идти, в центр, в город. Там я за свою нищенскую жизнь ни разу и не был. Все-таки пошел, решился. Хозяйка меня просто заставила идти. «Вы, Петр Степанович, говорит, ребенок, а не отставной полковник. Перед всем пасуете. Удивительно, как это вас назначили комендантом крепости. Вам бы гуманные науки преподавать, а не стрелять из пушек».

Иду и глаз не подымаю. С нищенских времен появилась у меня эта привычка — людям в глаза не смотреть. Так было легче. Не могу от этой привычки до сих пор избавиться. Да вы, должно быть, сами заметили. Старческие привычки очень назойливые, упорные.

Но, в общем, пришел. Ведомство большое, но тихое. Всюду ковровые дорожки лежат. Привратник или швейцар — не знаю, как их теперь называют — говорит мне довольно решительно: «Шинельку надо скинуть, гражданин». А как я ее скину. У меня под ней почти ничего нету. «Уважь, — говорю швейцару, — старика. Не срами. Я вот по этой

записке». Показываю ему записку. Он посмотрел, весь заметался, пододвигает мне стул и говорит: «Посидите, папаша. Я мигом о вас доложу». Ушел и возвращается тотчас же. А за ним выходит ко мне средних лет гражданин в очках, лицо строгое, но улыбается ласково. Берет меня под руку и ведет за собой. Я иду, а с моих опорок снег оттаявший сваливается целыми комьями. Набрался я сраму за всю свою жизнь.

Человек этот привел меня в кабинет, усадил в кожаное кресло, спросил, есть ли у меня какие-нибудь документы. Я все, что было, ему отдал. Пропадать так пропадать! Он вышел, а время идет. Прошло полчаса, сижу я один и уже не рад, что ввязался в эту историю. Думал было даже уйти, да никак нельзя без документов. Но тут вернулся этот человек — видимо, немалый начальник — и протягивает мне пенсионную книжку и ордера на питание и одежду и еще на что-то — не то на дрова, не то на лечение в клинике. Заставляет меня расписаться и дает мне пачку денег. «Это, говорит, в счет первой пенсии. Небось наголодались».

Я глазам своим не верю. Он успокаивает меня: «Что вы волнуетесь, Петр Степанович. Мы, говорит, труд высоко ценим, особенно такого

знатока своего дела и честного человека, как вы. Вы получили по заслугам». — «Да откуда вы знаете про мои заслуги?» Он смеется. «Из вашего формуляра, — говорит. — Из вашего послужного списка». Господи! Это из офицерского-то формуляра! Ну и дела!

Попрощались мы с ним, как приятели. Я вышел, плетусь к себе в Петровский парк, головы не подымаю, — и слезы в глазах стоят, и привычку не могу преодолеть.

Дошел до Тверской улицы. Стемнело уже, и зажглись над тротуарами фонари. И витрины магазинов освещены. «Дай, думаю, зайду, куплю хоть хлеба и колбасы какой-нибудь подешевле, хозяйку угощу».

За всю дорогу поднял впервые глаза, и тут меня будто молнией ударило. Портрет в витрине выставлен. Гляжу — он! Тот самый невысокий господин, что дал мне записку! И под портретом подпись печатная: «В. И. Ленин (Ульянов)». И в соседней витрине — тоже он! Господи твоя воля!

Так я ничего не купил, заторопился домой. Внутри у меня все дрожало, и поверите — всю свою последнюю кровь готов я был отдать за того человека. Освободил он меня из моей душевной тюрьмы. В великом я долгу перед ним и об од-

ном-единственном сейчас жалею, что нечем мне отблагодарить. Нет уже ни сил, ни здоровья, ни времени впереди.

Пришел домой, можно сказать, прибежал, и к дочке хозяйской, к комсомолке, бросился: «Достаньте мне портрет Ленина. Проверить мне надо одно обстоятельство». Она пошла к себе в комнатушку и принесла газету. Называлась она «Беднота». И в газете — его портрет. Да вот он, я его вам покажу.

Старик непослушными пальцами расстегнул шинель и вытащил старый, обвязанный тесемкой бумажник. Он развязал тесемку и вынул из бумажника сильно потертый портрет Ленина, вырезанный из газеты.

— С тех пор всю жизнь его с собой у сердца ношу, — сказал он глухим прерывающимся голосом. — Вот это был человек!

Голова у старика затряслась. Слезы потекли по его желтым сморщенным щекам, но он не вытирал их.

Мы долго сидели молча.

Туман густел, стекал с желтеющих ив большими каплями. Где-то далеко за самым краем земли покрикивал паровоз. Из Богова доносило слабый запах дыма и ржаного хлеба. На дороге

за Красивой Мечей простучала телега и девичий голос запел:

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село…

— Вот видите, какая она, наша Россия, — сказал, помолчав, старик. — Я, голубчик, что-то устал. Года! Пойдемте!

Через десять лет случилось мне проезжать по железнодорожной ветке из Тулы в Елец мимо Ефремова.

Снова была осень. Жесткий вагон гремел, как жестяной. Мутно светили электрические лампочки. Всхрапывали усталые пассажиры. Против меня лежал на верхней полке бритый старик в высоких охотничьих сапогах. Разговорились. Оказалось, что старик едет в Ефремов. Он все приглядывался ко мне, потом сказал:

— Вроде знакомая личность. А где я вас встречал — не припоминаю. Не иначе, как в Богове.

Оказалось, что это был кузнец из Богова. Меня он помнил, но я его никак не мог узнать. Кузнец рассказал мне, что отставной полковник умер лет шесть назад.

— Беззлобный был человек, — сказал кузнец. — Пенсию получал от нашего правительства. За

какие такие дела — об этом никому не известно. Сам он про это молчал. Жил скудно, деньги вроде копил. Вот и пошел по деревне слух, что скупость его одолела. Оно и верно — к старости человек большей частью скупеет. А на поверку вышло иное. Вышло так, что старик наш как почуял, что смерть близится, почитай, все деньги отдал на нашу школу. Чтобы, говорил, духовного облика народ не терял. И Насте — помните ее — оставил достаточно денег. Очень он страдал об мальчишке ее, об Пете. А Петя в запрошлый год умер. Не жилец был на этом свете! Не жилец! Я так полагаю, что это к лучшему.

В Ефремове кузнец сошел. Я вышел на платформу отдышаться от вагонной духоты. Поезд спал. От него тянуло маслянистым теплом.

Там, в ночи, где, по моим расчетам, находилось Богово и должна была лежать беспросветная тьма, светилось слабое голубоватое зарево.

Я долго гадал, что это за свет сейчас в Богове, но так и не догадался. А спросить было некого.

Все рассказанное выше — подлинная история. Повествование отставного полковника записано по памяти. Единственное, чего не сохранила моя память, это фамилию старика. Кажется, его звали Гавриловым, но утверждать это я не берусь.

Колотый сахар

Северным летом я приехал в городок Вознесенье, на Онежском озере.

Пароход пришел в полночь. Серебряная луна низко висела над озером. Она была ненужной здесь, на Севере, потому что уже давно стояли белые ночи, полные бесцветного блеска. Длинные дни почти ничем не отличались от недолгих ночей: и день и ночь весь этот лесной низкорослый край терялся в сумерках.

Северное лето всегда вызывает тревогу. Оно очень непрочно. Его небогатое тепло может внезапно иссякнуть. Поэтому на Севере начинаешь ценить каждую едва ощутимую струю теплого воздуха, ценить скромное солнце, что превращает озера в зеркала, сияющие тихой водой. Солнце на Севере не светит, а просвечивает как будто через толстое стекло. Кажется, что зима не ушла, а только спряталась в леса, на дно озер и все еще дышит оттуда запахом снега.

В садах отцветали березы. Белобрысые босые мальчишки сидели на дощатой пристани и удили корюшку. Все вокруг казалось белым, кроме черных больших поплавков. Мальчишки не

спускали с них прищуренных глаз и шепотом просили друг у друга дать покурить.

Вместе с мальчишками удил рыбу вихрастый веснушчатый милиционер.

— А ну, давай не курить на пристани! Давай не безобразничать! — покрикивал он изредка, и тотчас же несколько махорочных огоньков падали в белую воду, шипели и гасли.

Я пошел в город искать ночлег. За мной увязался толстый равнодушный человек, стриженный бобриком.

Он ехал на реку Ковжу по лесным делам. Он таскал с собой поседевший портфель со сводками и счетами. Говорил он косноязычно, как бесталанный хозяйственник: «лимитировать расходы на дорогу», «сделать засъемку», «организовать закуску», «перекрыть нормы по линии лесосплава»...

Небо выцветало от скуки от одного присутствия этого человека.

Мы шли по дощатым тротуарам, черемуха цвела в холодных ночных садах, за открытыми окнами горели неяркие лампы.

У калитки бревенчатого дома сидела на скамейке тихая светлоглазая девочка и баюкала тряпичную куклу. Я спросил ее, можно ли пере-

ночевать в их доме. Она молча кивнула и провела меня по скрипучей крутой лестнице в чистую горницу. Человек, стриженный бобриком, упрямо шел следом.

В горнице вязала за столом старуха в железных очках и сидел, прислонившись к стене, худой пыльный старик с закрытыми глазами.

— Бабушка, — сказала девочка и показала на меня куклой, — вот заезжий просится ночевать.

Старуха встала и поклонилась мне в пояс.

— Ночуй, желанный, — сказала она нараспев. — Ночуй, будь гостем дорогим. Только тесно у нас, не взыщи, — придется на полу постелить.

— На низком уровне, значит, жизнь у вас организована, гражданка, — придирчиво сказал человек, стриженный бобриком.

Тогда старик открыл глаза — они были у него почти белые, как у слепого, — и медленно ответил:

— Такого, как ты, ни сон, ни ум не обогатят. Терпи — притерпишься.

— Имей в виду, гражданин, — сказал человек, стриженный бобриком, — с кем разговариваешь! Должно, в милиции не сидел!

Старик молчал.

— Ох, батюшка, — жалобно пропела стару-

ха, — не обижайся на странника! Бездомный он, бродячий старик, чего с него спрашивать?

Человек, стриженный бобриком, оживился. Глаза его сделались сверлящими и свинцовыми. Он тяжело хлопнул портфелем по столу.

— Безусловно, чуждый старик, — сказал он с торжеством. — Надо соображать, кого в дом пускаете. Может, он беглец из концлагеря или подпольный монах? Сейчас мы выясним его личность. Как тебя звать? Откуда родом?

Старик усмехнулся. Девочка уронила куклу, и губы у нее задрожали.

— Родом я отовсюду, — ответил спокойно старик. — Нигде нету для меня чужбины. А зовут меня Александр.

— Чем занимаешься?

— Сеятель я и собиратель, — так же спокойно ответил старик. — В юности хлеб сеял и хлеб собирал, нынче сею доброе слово и собираю иные чудесные слова. Только неграмотен я, вот и приходится все на слух принимать, на память свою полагаться.

Человек, стриженный бобриком, озадаченно помолчал.

— Документы есть?

— Есть-то есть, только не для тебя они писаны,

милый человек. Документы у меня дорогие.

— Ну, — сказал человек, стриженный бобриком, — мы найдем того, для кого они писаны.

И он ушел, хлопнув дверью.

— Сырой человек, неспелый, — сказал, помолчав, старик. — От таких бывает в жизни одна суета.

Старуха поставила самовар. Она певуче сокрушалась, что нету у нее в доме ни кусочка сахару: забыла купить. Самовар ей жалобно подпевал. Девочка постелила на стол чистую суровую скатерть. От скатерти пахло ржаным хлебом.

За открытым окном блистала звезда. Она была туманной, очень большой, и странным казалось ее одиночество на громадном зеленеющем небе.

Ночное чаепитие меня не удивило, — давно я заметил, что северным летом люди долго не спят. И сейчас за окном, у калитки соседнего дома, стояли две девушки и, обнявшись, смотрели на тусклое озеро. Как всегда бывает белой ночью, лица девушек казались бледными от волнения, печальными и красивыми.

— Ленинградские это комсомолки, — сказала старуха. — Дочери капитанов. На лето всегда приезжают.

Старик сидел с закрытыми глазами и молчал,

как будто прислушивался. Потом он открыл глаза и вздохнул.

— Ведет! — сказал он горестно. — Прости, бабушка, меня, дурака, за докуку.

Лестница скрипела. По ней тяжело подымались люди. Без стука вошел человек, стриженный бобриком. За ним шел вихрастый озабоченный милиционер — тот, что удил рыбу на пристани. Человек, стриженный бобриком, кивнул на старика.

— А ну, давай, дед, — сурово сказал милиционер, — давай выясняй свою личность! Налаживай документы!

— Личность моя простая, — ответил старик, — только рассказывать долго. Садись, слушай.

— Ты поскорей! — сказал милиционер. — Сидеть мне некогда, надо тебя в отделение представить.

— В отделение, родимый, мы завсегда с тобой успеем, в отделении разговор короткий, не с кем душу отвести. Мне седьмой десяток пошел, помру я не нынче завтра на чужом дворе. Значит, должен ты меня вытерпеть.

— Ну, давай, — согласился милиционер. — Только не путай!

— Зачем путать! Жизнь моя чистая, ее не запу-

таешь. Все мы, Федосьевы, были со стародавних времен ямщики да певуны. Дед мой Прохор был великий певец, по всему тракту от Пскова до Новгорода голос свой пропел, проплакал. Голос беречь надо, он не зря человеку даден, и дед мой берег, да не уберег — сорвался. Может, знаешь иль нет, жил у нас в Псковской губернии знаменитый земляк Александр Сергеевич, поэт Пушкин.

Милиционер ухмыльнулся:

— Еще бы не знать-то!

— Из-за него дед голос свой и сорвал. Встретились они на ярмарке, в Святогорском монастыре. Дед пел. Пушкин слушал. Потом пошли они в питейное заведение и просидели до ночи. Об чем гуторили, никому не известно, только дед вернулся веселый, как хмельной, хоть вина почти и не пил. Говорил потом бабке: «От слов и от смеха его я захмелел, Настюшка, — такой красоты слова — лучше всякой моей песни». Была у деда одна песня, очень ее Пушкин уважал.

Старик помолчал и вдруг запел звенящим томительным голосом:

Эх, по белым полям, по широким
Наши слезы снежком замело!

Девушки подошли к окну и, обнявшись, слуша-

ли. Милиционер осторожно сел на скамью.

— Да, — вздохнул старик, — многие времена прошли, умер дед столетним стариком и песню ту велел петь своим сыновьям и внукам. Однако не про то я говорю. Раз зимой будят деда ночью, стучат в оконце, велят запрягать по спешной казенной надобности. Вышел дед с крыльца, видит — полно жандармов, ходят, звенят тесаками. Ну, думает, опять везти каторжан. Однако нет никаких арестантов, а на санях черный гроб лежит, веревками увязан. Кого же это, думает, и в могилу, страдальца, в оковах везут, кого ж это царь и после смерти боится? Подошел к гробу, смахнул рукавицей снег с черной крышки и спрашивает жандарма: «Кого повезем?» — «Пушкина, — говорит жандарм. — Убили его в Петербурге». Дед отступил на шаг, скинул шапку и поклонился гробу в пояс. «Ты что ж, знаком ему, что ли?» — спрашивает жандарм. «Песни я ему пел». — «Ну, так теперь петь не будешь!» Ночь была тяжкая, крепкая, дыхание в груди замерзало. Подвязал дед бубенцы, чтобы не гремели, сел на облучок, поехал. Тихо кругом, только полозья свистят да слышно, как тесаки стучат и стучат о гроб глухим стуком. Накипело у деда на сердце, от слез заболели глаза, собрал он весь свой голос и запел:

Эх, по белым полям, по широким…

Жандарм его бьет ножнами в спину, а дед не слышит, поет. Вернулся домой, лег, молчит: голос на морозе застудил. С той поры до самой смерти говорил сипло, одним шепотом.

— От сердца, значит, пел, — пробормотал, сокрушаясь, милиционер.

— Все, родимый, надо от сердца делать, — сказал старик. — А ты ко мне пристаешь, кто я да что. Песни я пою. Такое мое занятие. Хожу промеж людей и пою. Где какую новую песню услышу — запоминаю. К примеру, слово ты сказал — это одно, а слово это самое ты пропел — выходит, сердешный мой, другое, — оно долго в сердце дрожит. Песенную силу беречь надо. Какой народ петь не любит — плевый тот народ, нету у него правильного жизненного понятия. А об документе ты не тревожься, документ я тебе покажу.

Старик вытащил трясущимися руками из-за пазухи серую ладанку и достал оттуда бумажку.

— На, читай!

— Зачем мне читать! — обиделся милиционер. — Мне ее читать нет теперь надобности. Я тебя и так вижу. Сиди, дедушка, отдыхай. А вы, гражданин, — милиционер обернулся к человеку, стриженному бобриком, — лучше шли бы

ночевать в дом колхозника, там вам способнее. Идемте, я вас доведу.

Они вышли. Я взял бумажку у старика и прочел: «Дано это удостоверение Александру Федосьеву в том, что он является собирателем народных песен и сказок и получает за это пенсию от правительства Карельской Республики. Всем местным властям предлагается оказывать ему всяческую помощь».

— Эх, горе! — сказал старик. — Нету хуже, когда у человека душа сухая. Вянет от таких жизнь, как трава от осенней росы.

Мы пили чай. Девушки, обнявшись, ушли к озеру, и в легком ночном сумраке белели их простые ситцевые платья. Тусклая луна опускалась в воду, и в саду среди берез печально крикнула ночная птица.

Светлоглазая девочка вышла на улицу и снова сидела у калитки и баюкала тряпичную куклу. Я видел ее из окна. К ней подошел вихрастый милиционер и сунул ей в руку сверток с сахаром и баранки.

— Давай отнеси дедушке, — сказал он и густо покраснел. — Скажи, гостинец. Мне самому некогда, надо на пост становиться.

Он быстро ушел. Девочка принесла сверток с

колотым сахаром и баранки. Старик засмеялся.

— Жил бы я, — сказал он, вытирая слезящиеся глаза, — еще долгое время. Жалко помирать, уходить от ласковости людской, и-и-и как жалко! Как гляну на леса, на светлую воду, на ребят да на травы — прямо силы нет помирать.

— А ты живи, желанный, — сказала старуха. — У тебя легкая жизнь, простая, таким только и жить.

Днем я уехал из Вознесенья в Вытегру. Маленький пароход «Свирь» шел по каналу, задевая бортами за плакун-траву, разросшуюся по берегам.

Городок уходил в солнечный тусклый туман, в тишину и даль летнего дня, и низкорослые леса уже охватывали нас темным кругом. Северное лето стояло вокруг — неяркое, застенчивое, как светлоглазые здешние дети.

Летние дни
Последний черт

Дед ходил за дикой малиной на Глухое озеро и вернулся с перекошенным от страха лицом. Он долго кричал по деревне, что на озере завелись черти. В доказательство дед показывал порванные штаны: черт якобы клюнул деда в ногу, порвал рядно и набил на колене большую ссадину.

Деду никто не верил. Даже сердитые старухи шамкали, что у чертей отродясь не было клювов, что черти на озерах не водятся и, наконец, что после революции чертей вообще нет и быть не может — большевики извели их до последнего корня.

Но все же бабы перестали ходить к Глухому озеру за ягодами. Им стыдно было признаться, что на двадцатом году революции они боятся чертей, и потому в ответ на упреки бабы отвечали нараспев, пряча глаза:

— И-и-и, милай, ягод нынче нетути даже на Глухом озере. Отродясь такого пустого лета не случалось. Сам посуди: зачем нам зря ходить,

лапти уродовать?

Деду не верили еще и потому, что он был чудак и неудачник. Звали деда «Десять про́центов». Кличка эта была для нас непонятна.

— За то меня так кличут, милок, — объяснил однажды дед, — что во мне всего десять про́центов прежней силы осталось. Свинья меня задрала. Ну и была ж свинья — прямо лев! Как выйдет на улицу, хрюкнет — кругом пусто! Бабы хватают ребят, кидают в избу. Мужики выходят на двор не иначе как с вилами, а которые робкие, те и вовсе не выходят. Прямо турецкая война! Крепко дралась та свинья.

Ну, слухай, что дальше было. Залезла та свинья ко мне в избу, сопит, зыркает на меня злым глазом. Я ее, конечно, тяпнул костылем: «Иди, мол, милая, к лешему, ну тебя!» Тут оно и поднялось! Тут она на меня и кинулась! Сшибла меня с ног; я лежу, кричу в голос, а она меня рветь, она меня терзаеть! Васька Жуков кричит: «Давай пожарную машину, будем ее водой отгонять, потому ныне убивать свиней запрещено!» Народ толчется, голосит, а она меня рветь, она меня терзаеть! Насилу мужики меня цепами от нее отбили. В больнице я лежал. Доктор прямо удивился. «От тебя, говорит, Митрий, по медицинской види-

мости, осталось не более как десять про́центов». Теперь так и перебиваюсь на эти про́центы. Вот она какая, жизня наша, милок! А свинью ту убили разрывной пулей: иная ее не брала.

Вечером мы позвали деда к себе — расспросить о черте. Пыль и запах парного молока висели над деревенскими улицами — с лесных полян пригнали коров. Бабы кричали у калиток, заунывно и ласково скликая телят:

— Тялуш, тялуш, тялуш!..

Дед рассказал, что черта он встретил на протоке у самого озера. Там он кинулся на деда и так долбанул клювом, что дед упал в кусты малины, завизжал не своим голосом, а потом вскочил и бежал до самого Горелого болота.

— Чуть сердце не хряснуло. Вот какая получилась завертка!

— А какой из себя этот черт?

Дед заскреб затылок.

— Ну, вроде птица, — сказал он нерешительно. — Голос вредный, сиплый, будто с простуды. Птица не птица, пес его разберет.

— Не сходить ли нам на Глухое озеро? Все-таки любопытно, — сказал Рувим, когда дед ушел, попив чаю с баранками.

— Тут что-то есть, — ответил я, — хотя этот

дед и считается самым пустяковым стариком от Спас-Клепиков до Рязани.

Вышли на следующий же день. Я взял двустволку.

На Глухое озеро мы шли впервые и потому прихватили с собой провожатым деда. Он сначала отказывался, ссылаясь на свои «десять про́центов», потом согласился, но попросил, чтобы ему за это в колхозе выписали два трудовых дня. Председатель колхоза, комсомолец Леня Рыжов, рассмеялся:

— Там видно будет! Ежели ты у баб этой экспедицией дурь из головы выбьешь, тогда выпишу. А пока шагай!

И дед, благословясь, зашагал. В дороге о черте рассказывал неохотно, больше помалкивал.

— А он ест что-нибудь, черт? — спрашивал, посмеиваясь, Рувим.

— Надо полагать, рыбкой помаленьку питается, по земле лазит, ягоды жрет, — говорил, сморкаясь, дед. — Ему тоже промышлять чем-нибудь надо, даром что нечистая сила.

— А он черный?

— Поглядишь — увидишь, — отвечал загадочно дед. — Каким прикинется, таким себя и покажет.

Весь день мы шли сосновыми лесами. Шли без

дорог, перебирались через сухие болота — мшары, где нога тонула по колено в сухих коричневых мхах.

Жара густо настаивалась в хвое. Кричали медведки. На сухих полянах из-под ног дождем сыпались кузнечики. Устало никла трава, пахло горячей сосновой корой и сухой земляникой. В небе над верхушками сосен неподвижно висели ястребы.

Жара измучила нас. Лес был накален, сух, и казалось, что он тихо тлеет от солнечного зноя. Даже как будто попахивало гарью. Мы не курили. Мы боялись, что от первой же спички лес вспыхнет и затрещит, как сухой можжевельник, и белый дым лениво поползет к солнцу.

Мы отдыхали в густых чащах осин и берез, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным прелым запахом травы и корней.

Мы долго лежали на привалах и слушали, как шумят океанским прибоем вершины сосен, — высоко над головой дул медленный ветер. Он был, должно быть, очень горяч.

Только к закату мы вышли на берег озера. Безмолвная ночь осторожно надвигалась на леса глухой синевой. Едва заметно, будто капли воды, блестели первые звезды. Утки с тяжелым свистом

летели на ночлег.

Озеро, замкнутое поясом непроходимых зарослей, поблескивало внизу. По черной воде расплывались широкие круги: играла на закате рыба.

Ночь начиналась над лесным краем, долгие сумерки густели в чащах, и только костер трещал и разгорался, нарушая лесную тишину.

Дед сидел у костра и скреб пятерней худую грудь.

— Ну, где же твой черт, Митрий? — спросил я.

— Тама, — дед неопределенно махнул рукой в заросли осинника. — Куда рвешься? Утром искать будем. Нынче дело ночное, темное, — погодить надо.

На рассвете я проснулся. С сосен капал теплый туман.

Дед сидел у костра и торопливо крестился. Мокрая его борода мелко дрожала.

— Ты чего, дед? — спросил я.

— Доходишься с вами до погибели! — пробормотал дед. — Слышь, кричит, анафема! Слышь? Буди всех!

Я прислушался. Спросонок ударила в озере рыба, потом пронесся пронзительный и яростный крик.

— Уэк! — кричал кто-то. — Уэк! Уэк!

В темноте началась возня. Что-то живое тяжело забилось в воде, и снова злой голос прокричал с торжеством:

— Уэк! Уэк!

— Спаси, владычица троеручица! — бормотал, запинаясь, дед. — Слышь, как зубами кляцает? Дернуло меня с вами сюды переться, старого дурака!

С озера долетали странное щелканье и деревянный стук, будто там дрались палками мальчишки.

Я растолкал Рувима.

— Ну, — сказал дед, — действуйте как желаете. Я знать ничего не знаю. Еще за вас отвечать доведется. Ну вас к лешему!

Дед от страха совсем ошалел.

— Иди стреляй, — бормотал он сердито. — Совецко правительство тоже за это по головке не побалует. Нешто можно в черта стрелять? Ишь чего выдумали!

— Уэк! — отчаянно кричал черт.

Дед натянул на голову армяк и замолк.

Мы поползли к берегу озера. Туман шуршал в траве. Над водой неторопливо подымалось огромное белое солнце.

Я раздвинул кусты волчьей ягоды на берегу, вгляделся в озеро и медленно потянул ружье.

— Что видно? — шепотом спросил Рувим.

— Странно. Что за птица, никак не пойму.

Мы осторожно поднялись. На черной воде плавала громадная птица. Оперение ее переливалось лимонным и розовым цветом. Головы не было видно, — она вся, по длинную шею, была под водой.

Мы оцепенели. Птица вытащила из воды маленькую голову величиною с яйцо, заросшую курчавым пухом. К голове был как будто приклеен громадный клюв с кожаным красным мешком.

— Пеликан! — крикнул Рувим.

— Уэк! — предостерегающе ответил пеликан и посмотрел на нас красным глазом.

Из пеликаньего клюва торчал хвост толстого окуня. Пеликан тряс шеей, чтобы протолкнуть окуня в желудок.

Тогда я вспомнил о газете: в нее была завернута копченая колбаса. Я бросился к костру, вытряхнул из рюкзака колбасу, расправил засаленную газету и прочел объявление, набранное жирным шрифтом:

«Во время перевозки зверинца по узкоколей-

ной железной дороге сбежала африканская птица пеликан. Приметы: перо розовое и желтое, большой клюв с мешком для рыбы, на голове пух. Птица старая, очень злая, не любит и бьет детей. Взрослых трогает редко. О находке сообщить в зверинец, за приличное вознаграждение».

— Ну, — спросил я, — что будем делать? Стрелять жалко, а осенью он подохнет от голода.

— Дед сообщит в зверинец, — ответил Рувим. — И, кстати, заработает.

Мы пошли за дедом. Дед долго не мог понять, в чем дело. Он молчал, моргал глазами и все скреб худую грудь. Потом, когда понял, пошел с опаской на берег смотреть черта.

— Вот он, твой леший, — сказал Рувим. — Гляди!

— И-и-и, милай… — Дед захихикал. — Да разве я что говорю! Ясное дело — не черт. Пущай живет на воле, рыбку полавливает. А вам спасибо. Ослобонили народ от страха. Теперь девки сюда понапрут за ягодами — только держись! Шалая птица, сроду такой не видал.

Днем мы наловили рыбы и снесли ее к костру. Пеликан поспешно вылез на берег и приковылял к нашему привалу. Он посмотрел на деда прищуренным глазом, как будто что-то стара-

ясь припомнить. Дед задрожал. Но тут пеликан увидел рыбу, разинул клюв, щелкнул им с деревянным стуком, крикнул «уэк» и начал отчаянно бить крыльями и притопывать утиной лапой. Со стороны было похоже, будто пеликан качал тяжелый насос.

От костра полетели угли и искры.

— Чего это он? — испугался дед. — Чумовой, что ли?

— Рыбы просит, — объяснил Рувим.

Мы дали пеликану рыбу. Он проглотил ее, потом снова начал накачивать крыльями воздух, приседать и топать ногой: клянчить рыбу.

— Пошел, пошел! — ворчал на него дед. — Бог подаст. Ишь размахался!

Весь день пеликан бродил вокруг нас, шипел и кричал, но в руки не давался.

К вечеру мы ушли. Пеликан влез на кочку, бил нам вслед крыльями и сердито кричал: «Уэк, уэк!» Вероятно, он был недоволен, что мы бросаем его на озере, и требовал, чтобы мы вернулись.

Через два дня дед поехал в город, нашел на базарной площади зверинец и рассказал о пеликане. Из города приехал рябой скучный человек и забрал пеликана.

Дед получил от зверинца сорок рублей и купил

на них новые штаны.

— Порты у меня — первый сорт, — говорил он и оттягивал штанину. — Об моих портах разговор идет до самой Рязани. Сказывают, даже в газетах печатали. Весь колхоз наш знаменитость получил через эту дуроломную птицу. Вот она какая, жизня наша, милок!

Золотой линь

Когда в лугах покосы, то лучше не ловить рыбу на луговых озерах. Мы знали это, но все-таки пошли на Прорву.

Неприятности начались сейчас же за Чертовым мостом.

Разноцветные бабы копнили сено. Мы решили их обойти стороной, но бабы нас заметили.

— Куда, соколики? — закричали и захохотали бабы. — Кто удит, у того ничего не будет!

— На Прорву подались, верьте мне, бабочки! — крикнула высокая и худая вдова, прозванная Грушей-пророчицей. — Другой пути у них нету, у горемычных моих!

Бабы нас изводили все лето. Сколько бы мы ни ловили рыбы, они всегда говорили с жалостью:

— Ну что ж, на ушицу себе наловили — и то сча-

стье. А мой Петька надысь десять карасей принес. И до чего гладких — прямо жир с хвоста каплет!

Мы знали, что Петька принес всего двух худых карасей, но молчали. С этим Петькой у нас были свои счеты: он срезал у Рувима английский крючок и выследил места, где мы прикармливали рыбу. За это Петьку по рыболовным законам полагалось вздуть, но мы его простили.

Когда мы выбрались в некошеные луга, бабы стихли.

Сладкий конский щавель хлестал нас по груди. Медуница пахла так сильно, что солнечный свет, затопивший рязанские дали, казался жидким медом. Мы дышали теплым воздухом трав, вокруг нас гулко жужжали шмели и трещали кузнечики.

Тусклым серебром шумели над головой листья столетних ив. От Прорвы тянуло запахом кувшинок и чистой холодной воды. Мы успокоились, закинули удочки, но неожиданно из лугов приплелся дед по прозвищу «Десять про́центов».

— Ну, как рыбка? — спросил он, щурясь на воду, сверкавшую от солнца. — Ловится?

Всем известно, что на рыбной ловле разговаривать нельзя.

Дед сел, закурил махорку и начал разуваться.

Он долго рассматривал рваный лапоть и шумно вздохнул:

— Изодрал лапти на покосе вконец. Не-ет, нынче клевать у вас не будет, нынче рыба заелась — шут ее знает, какая ей насадка нужна.

Дед помолчал. У берега сонно закричала лягушка.

— Ишь стрекочет, — пробормотал дед и взглянул на небо.

Тусклый розовый дым висел над лугом. Сквозь этот дым просвечивала бледная синева, а над седыми ивами висело желтое солнце.

— Сухомень! — вздохнул дед. — Надо думать, к вечеру ха-ароший дождь натянет.

Мы молчали.

— Лягва тоже не зря кричит, — объяснил дед, слегка обеспокоенный нашим угрюмым молчанием. — Лягва, милок, перед грозой завсегда тревожится, скачет куды ни попало. Надысь я ночевал у паромщика, уху мы с ним в казанке варили у костра, и лягва — кило в ней было весу, не меньше — сиганула прямо в казанок, там и сварилась. Я говорю: «Василий, остались мы с тобой без ухи», — а он говорит: «Черта ли мне в той лягве! Я во время германской войны во Франции был, и там лягву едят почем зря. Ешь,

не пужайся». Так мы ту уху и схлебали.

— И ничего? — спросил я. — Есть можно?

— Скусная пища, — ответил дед, прищурился, подумал. — Хошь, я тебе пиджак из лыка сплету? Я сплел, милок, из лыка цельную тройку — пиджак, штаны и жилетку — для Всесоюзной выставки. Супротив меня нет лучшего лапотника на весь колхоз.

Дед ушел только через два часа. Рыба у нас, конечно, не клевала.

Ни у кого в мире нет столько самых разнообразных врагов, как у рыболовов. Прежде всего — мальчишки. В лучшем случае они будут часами стоять за спиной и оцепенело смотреть на поплавок.

В худшем случае они начнут купаться поблизости, пускать пузыри и нырять, как лошади. Тогда надо сматывать удочки и менять место.

Кроме мальчишек, баб и болтливых стариков, у нас были враги более серьезные: подводные коряги, комары, ряска, грозы, ненастье и прибыль воды в озерах и реках.

Ловить в кряжистых местах было очень заманчиво, там пряталась крупная и ленивая рыба. Брала она медленно и верно, глубоко топила поплавок, потом запутывала леску о корягу и

обрывала ее вместе с поплавком.

Тонкий комариный зуд приводил нас в трепет. Первую половину лета мы ходили все в крови и опухолях от комариных укусов.

В безветренные жаркие дни, когда в небе сутками стояли на одном месте все те же пухлые, похожие на вату облака, в заводях и озерах появлялась мелкая водоросль, похожая на плесень, — ряска. Вода затягивалась липкой зеленой пленкой, такой толстой, что даже грузило ее не могло пробить.

Перед грозой рыба переставала клевать. Она боялась грозы, затишья, когда земля глухо дрожит от далекого грома.

В ненастье и во время прибыли воды клева не было.

Но зато как хороши были туманные и свежие утра, когда тени деревьев лежали далеко на воде и под самым берегом ходили стаями неторопливые пучеглазые голавли! В такие утра стрекозы любили садиться на перяные поплавки, и мы с замиранием сердца смотрели, как поплавок со стрекозой вдруг медленно и косо шел в воду, стрекоза взлетала, замочив свои лапки, а на конце лески туго ходила по дну сильная и веселая рыба.

Как хороши были красноперки, падавшие живым серебром в густую траву, прыгавшие среди одуванчиков и кашки! Хороши были закаты в полнеба над лесными озерами, тонкий дым облаков, холодные стебли лилий, треск костра, кряканье диких уток.

Дед оказался прав: к вечеру пришла гроза. Она долго ворчала в лесах, потом поднялась к зениту пепельной стеной, и первая молния хлестнула в далекие стога.

Мы просидели в палатке до ночи. В полночь дождь стих. Мы разожгли большой костер и обсохли.

В лугах печально кричали ночные птицы, и белая звезда переливалась над Прорвой в предутреннем небе.

Я задремал. Разбудил меня крик перепела.

— Пить пора! Пить пора! Пить пора! — кричал он где-то рядом, в зарослях шиповника и крушины.

Мы спустились с крутого берега к воде, цепляясь за корни и травы. Вода блестела, как черное стекло. На песчаном дне были видны дорожки, проложенные улитками.

Рувим закинул удочку недалеко от меня. Через несколько минут я услышал его тихий при-

зывный свист. Это был наш рыболовный язык. Короткий свист три раза значил: «Бросайте все и идите сюда».

Я осторожно подошел к Рувиму. Он молча показал мне на поплавок. Клевала какая-то странная рыба. Поплавок качался, осторожно ерзал то вправо, то влево, дрожал, но не тонул.

Он стал наискось, чуть окунулся и снова вынырнул.

Рувим застыл — так клюет только очень крупная рыба…

Поплавок быстро пошел в сторону, остановился, выпрямился и начал медленно тонуть.

— Топит, — сказал я. — Тащите!

Рувим подсек. Удилище согнулось в дугу, леска со свистом врезалась в воду. Невидимая рыба туго и медленно водила леску по кругам. Солнечный свет упал на воду сквозь заросли ветел, и я увидел под водой яркий бронзовый блеск: это изгибалась и пятилась в глубину пойманная рыба. Мы вытащили ее только через несколько минут. Это оказался громадный ленивый линь со смуглой золотой чешуей и черными плавниками. Он лежал в мокрой траве и медленно шевелил толстым хвостом.

Рувим вытер пот со лба и закурил.

Мы больше не ловили, смотали удочки и пошли в деревню.

Рувим нес линя. Он тяжело свисал у него с плеча. С линя капала вода, а чешуя сверкала так ослепительно, как золотые купола бывшего монастыря. В ясные дни купола были видны за тридцать километров.

Мы нарочно прошли через луга мимо баб. Бабы, завидев нас, бросили работу и смотрели на линя, прикрыв ладонями глаза, как смотрят на нестерпимое солнце.

Бабы молчали. Потом легкий шепот восторга прошел по их пестрым рядам.

Мы шли через строй баб спокойно и независимо. Только одна из них вздохнула и, берясь за грабли, сказала нам вслед:

— Красоту-то какую понесли — глазам больно!

Мы не торопясь пронесли линя через всю деревню. Старухи высовывались из окон и глядели нам в спину. Мальчишки бежали следом и канючили:

— Дядь, а дядь, где пымал? Дядь, а дядь, на што клюнуло?

Дед «Десять про́центов» пощелкал линя по золотым твердым жабрам и засмеялся:

— Ну, теперь бабы языки подожмут! А то у них

все хахоньки да хихоньки. Теперь дело иное, серьезное.

С тех пор мы перестали обходить баб. Мы шли прямо на них, и бабы нам ласково кричали:

— Ловить вам не переловить! Не грех бы и нам рыбки принести!

Так восторжествовала справедливость.

Кот-ворюга

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось наконец установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста.

Это был кот, потерявший всякую совесть, кот — бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей.

Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота.

Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронесся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями.

Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; на нем было десять жирных окуней, пойманных на Прорве.

Это было уже не воровство, а грабеж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу.

Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл.

Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу.

Дом был завален удочками, дробью, яблоками

и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях.

Чтобы пройти к берегу озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью.

Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходках рыжего кота.

Но наконец кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления.

Прошел час, два, три… Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома

кота.

Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее через лаз в подполье.

Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье — кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу.

Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза.

Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые его рассмотрели как следует.

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

— Что же нам с ним делать?

— Выдрать! — сказал я.

— Не поможет, — сказал Ленька. — У него с детства характер такой. Попробуйте его накормить как следует.

Кот ждал, зажмурив глаза.

Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану.

Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами.

После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке.

Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и перестал воровать.

На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок.

Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу.

Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол.

Куры взлетели с отчаянным воплем. Они пере-

вернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.

Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный Горлачом.

Кот несся за ним на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу.

После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел.

С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом.

Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти.

Мы переименовали его из Ворюги в Милиционера. Хотя Рувим утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде.

Подарок

Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в природе устроено не так, как нам бы хотелось. Зима у нас длинная, затяжная, лето гораздо короче зимы, а осень проходит мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей за окном золотой птицы.

Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик лет пятнадцати. Он часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки с Урженского озера и приносил то кошелку белых грибов, то решето брусники, а то прибегал просто так — погостить у нас, послушать разговоры и почитать журналы «Вокруг света».

Толстые переплетенные тома этого журнала валялись в чулане вместе с веслами, фонарями и старым ульем. Улей был выкрашен белой клеевой краской. Она отваливалась от сухого дерева большими кусками, и дерево под краской пахло старым воском.

Однажды Ваня принес маленькую выкопанную с корнем березу. Корни он обложил сырым мхом и обернул рогожей.

— Это вам, — сказал он и покраснел. — Подарок.

Посадите ее в деревянную кадку и поставьте в теплой комнате, — она всю зиму будет зеленая.

— Зачем ты ее выкопал, чудак? — спросил Рувим.

— Вы же говорили, что вам жалко лета, — ответил Ваня. — Дед меня и надоумил. «Сбегай, говорит, на прошлогоднюю гарь, там березы-двухлетки растут, как трава, — проходу от них нет никакого. Выкопай и отнеси Руму Исаевичу (так дед называл Рувима). Он о лете беспокоился, вот и будет ему на студеную зиму летняя память. Оно, конечно, весело поглядеть на зеленый лист, когда на дворе снег валит, как из мешка».

— Я не только о лете, я еще больше об осени жалею, — сказал Рувим и потрогал тоненькие листья березы.

Мы принесли из сарая ящик, насыпали его доверху землей и пересадили в него маленькую березку. Ящик поставили в самой светлой и теплой комнате у окна, и через день опустившиеся ветки березы поднялись, вся она повеселела, и даже листья у нее шумели, когда сквозной ветер врывался в комнату и в сердцах хлопал дверью.

В саду уже поселилась осень, но листья нашей березы оставались зелеными и живыми. Горели темным пурпуром клены, порозовел бересклет,

ссыпался дикий виноград на беседке. Даже кое-где на березах в саду появились желтые пряди, как первая седина у нестарого человека. Но береза в комнате, казалось, все молодела. Мы не замечали у нее никаких признаков увядания.

Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодом на стекла в доме, и они запотели, посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами. Одни только звезды как будто обрадовались первому морозу и сверкали гораздо ярче, чем в теплые летние ночи. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука: пастуший рожок пел в темноте. За окнами едва заметно голубела заря.

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой: сон сразу прошел. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой мглой, похожей на дым пожара. Мгла эта светлела, делалась все прозрачнее, сквозь нее уже были видны далекие и нежные страны золотых и розовых облаков.

Ветра не было, но в саду все падали и падали листья. Березы за одну ночь пожелтели до самых верхушек, и листья сыпались с них частым и печальным дождем.

Я вернулся в комнаты: в них было тепло, сонно.

В бледном свете зари стояла в кадке маленькая береза, и я вдруг заметил — почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу.

Комнатная теплота не спасла березу. Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих взрослых подруг, осыпавшихся в холодных лесах, рощах, на сырых по осени просторных полянах.

Ваня Малявин, Рувим и все мы были огорчены. Мы уже свыклись с мыслью, что в зимние снежные дни береза будет зеленеть в комнатах, освещенных белым светом и багровым пламенем веселых печей. Последняя память о лете исчезла.

Знакомый лесничий усмехнулся, когда мы рассказали ему о своей попытке спасти зеленую листву на березе.

— Это закон, — сказал он. — Закон природы. Если бы деревья не сбрасывали на зиму листья, они бы погибали от многих вещей — и от тяжести снега, который нарастал бы на листьях и ломал самые толстые ветки, и оттого, что к осени в листве накапливалось бы много вредных для дерева солей, и, наконец, оттого, что листья продолжали бы и среди зимы испарять влагу, а мерзлая земля не давала бы ее корням дерева, и дерево неизбеж-

но погибло бы от зимней засухи, от жажды.

А дед Митрий, по прозвищу «Десять про́центов», узнав об этой маленькой истории с березой, истолковал ее по-своему.

— Ты, милок, — сказал он Рувиму, — поживи с мое, тогда и спорь. А то со мной все споришь, а видать, что умом пораскинуть у тебя еще времени не хватило. Нам, старым, думать способнее, у нас заботы мало — вот и прикидываем, что к чему на земле притесано и какое имеет объяснение. Взять, скажем, эту березу. Ты мне про лесничего не говори, я наперед знаю все, что он скажет. Лесничий мужик хитрый, он, когда в Москве жил, так, говорят, на электрическом току пищу себе готовил. Может это быть или нет?

— Может, — ответил Рувим.

— Может, может! — передразнил его дед. — А ты этот электрический ток видал? Как же ты его видал, когда он видимости не имеет, вроде как воздух? Ты про березу слушай. Промеж людей есть дружба или нет? То-то что есть. А люди заносятся. Думают, что дружба им одним дадена, чванятся перед всяким живым существом. А дружба — она, брат, кругом, куда ни глянешь. Уж что говорить, корова с коровой дружит и зяблик с зябликом. Убей журавля, так журавлиха исчах-

нет, исплачется, места себе не найдет. И у всякой травы и дерева тоже, надо быть, дружба иногда бывает. Как же твоей березе не облететь, когда все ее товарки в лесах облетели? Какими глазами она весной на них взглянет, что скажет, когда они зимой исстрадались, а она грелась у печки в тепле, да в сытости, да в чистоте? Тоже совесть надо иметь.

— Ну, это ты, дед, загнул, — сказал Рувим. — С тобой не столкуешься.

Дед захихикал.

— Ослаб? — спросил он язвительно. — Сдаешься? Ты со мной не заводись, — бесполезное дело.

Дед ушел, постукивая палкой, очень довольный, уверенный в том, что победил в этом споре нас всех и заодно с нами и лесничего.

Березу мы высадили в сад, под забор, а ее желтые листья собрали и засушили между страниц «Вокруг света».

Этим кончилась наша попытка сохранить зимой память о лете.

Прощание с летом

Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. В четыре

часа дня мы уже зажигали керосиновые лампы, и невольно казалось, что лето окончилось навсегда и земля уходит все дальше и дальше в глухие туманы, в неуютную темень и стужу.

Был конец ноября — самое грустное время в деревне. Кот спал весь день, свернувшись в старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная дождевая вода хлестала в окна.

Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на сбитый белок. Последние птицы спрятались под стрехи, и вот уже больше недели, как никто нас не навещал — ни дед Митрий, ни Ваня Малявин, ни лесничий.

Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи. Шумел огонь, багровые отсветы дрожали на бревенчатых стенах и на старой гравюре — портрете художника Брюллова. Откинувшись в кресле, он смотрел на нас и, казалось, так же как и мы, отложив раскрытую книгу, думал о прочитанном и прислушивался к гудению дождя по тесовой крыше.

Ярко горели лампы, и все пел и пел свою нехитрую песню медный самовар-инвалид. Как только его вносили в комнату, в ней сразу становилось уютно, может быть, оттого, что стекла запотевали и не было видно одинокой березовой ветки, день

и ночь стучавшей в окно.

После чая мы садились у печки и читали. В такие вечера приятнее всего было читать очень длинные и трогательные романы Чарльза Диккенса или перелистывать тяжелые тома журналов «Нива» и «Живописное обозрение» за старые годы.

По ночам часто плакал во сне Фунтик — маленькая рыжая такса. Приходилось вставать и закутывать его теплой шерстяной тряпкой. Фунтик благодарил сквозь сон, осторожно лизал руку и, вздохнув, засыпал. Темнота шумела за стенами плеском дождя и ударами ветра, и страшно было подумать о тех, кого, может быть, застигла эта ненастная ночь в непроглядных лесах.

Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался и наконец понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют «мертвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было слышно, как посапывал во сне кот.

Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошел к окну — за стеклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на

головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг.

Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа.

Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа.

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду. Ветка закачалась, с нее посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, падающий с елки. Потом снова все стихло.

Проснулся Рувим. Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал:

— Первый снег очень к лицу земле.

Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту.

А утром все хрустело вокруг: подмерзшие дороги, листья на крыльце, черные стебли крапивы, торчавшие из-под снега.

К чаю приплелся в гости дед Митрий и поздравил с первопутком.

— Вот и умылась земля, — сказал он, — снеговой водой из серебряного корыта.

— Откуда ты это взял, Митрий, такие слова? —

спросил Рувим.

— А нешто не верно? — усмехнулся дед. — Моя мать, покойница, рассказывала, что в стародавние годы красавицы умывались первым снегом из серебряного кувшина, и потому никогда не вяла их красота. Было это еще до царя Петра, милок, когда по здешним лесам разбойники купцов разоряли.

Трудно было оставаться дома в первый зимний день. Мы ушли на лесные озера. Дед проводил нас до опушки. Ему тоже хотелось побывать на озерах, но «не пущала ломота в костях».

В лесах было торжественно, светло и тихо.

День как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. Мы осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли воды, потом мутнели, смерзались и скатывались на землю, как бисер.

Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места. Стаи снегирей сидели нахохлившись на засыпанных снегом рябинах.

Мы сорвали несколько гроздей схваченной морозом красной рябины — это была последняя память о лете, об осени.

На маленьком озере — оно называлось Лариным прудом — всегда плавало много ряски.

Сейчас вода в озере была очень черная, но прозрачная, — вся ряска к зиме опустилась на дно.

У берегов наросла стеклянная полоска льда. Лед был такой тонкий, что даже вблизи его было трудно заметить. Я увидел в воде у берега стаю плотиц и бросил в них маленький камень. Камень упал на лед, лед зазвенел, плотицы, блеснув чешуей, метнулись в глубину, а на льду остался белый зернистый след от удара. Только поэтому мы догадались, что у берега уже образовался слой льда. Мы обламывали руками отдельные льдинки. Они хрустели и оставляли на пальцах смешанный запах снега и брусники.

Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы. Небо над головой было очень светлое, белое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец. Оттуда шли медленные снеговые тучи.

В лесах становилось все сумрачнее, все тише, и наконец пошел густой снег. Он таял в черной воде озера, щекотал лицо, порошил серым дымом леса.

Зима начала хозяйничать над землей, но мы знали, что под рыхлым снегом, если разгрести его руками, еще можно найти свежие лесные цветы, знали, что в печах всегда будет трещать огонь,

что с нами остались зимовать синицы, и зима показалась нам такой же прекрасной, как лето.

Сивый мерин

На закате колхозных лошадей гнали через брод и луга в ночное. В лугах они паслись, а поздней ночью подходили к огороженным теплым стогам и спали около них стоя, всхрапывая и потряхивая ушами. Лошади просыпались от каждого шороха, от крика перепела, от гудка буксирного парохода, тащившего по Оке баржи. Пароходы всегда гудели в одном и том же месте, около переката, где был виден белый сигнальный огонь. До огня было не меньше пяти километров, но казалось, что он горит недалеко, за соседними ивами.

Каждый раз, когда мы проходили мимо согнанных в ночное лошадей, Рувим спрашивал меня, о чем думают лошади ночью.

Мне казалось, что лошади ни о чем не думают. Они слишком уставали за день. Им было не до размышлений. Они жевали мокрую от росы траву и вдыхали, раздув ноздри, свежие запахи ночи. С берега Прорвы доносился тонкий запах отцветающего шиповника и листьев ивы. Из лугов за Новоселковским бродом тянуло ромашкой

и медуницей — ее запах был похож на сладкий запах пыли. Из лощин пахло укропом, из озер — глубокой водой, а из деревни изредка доносился запах только что испеченного черного хлеба. Тогда лошади подымали головы и ржали.

Однажды мы вышли на рыбную ловлю в два часа ночи. В лугах было сумрачно от звездного света. На востоке уже занималась, синея, заря.

Мы шли и говорили, что самое безмолвное время суток на земле всегда бывает перед рассветом. Даже в больших городах в это время становится тихо, как в поле.

По дороге на озеро стояло несколько ив. Под ивами спал сивый старый мерин. Когда мы проходили мимо него, он проснулся, махнул тощим хвостом, подумал и побрел следом за нами.

Всегда бывает немного жутко, когда ночью лошадь увяжется за тобой и не отстанет ни на шаг. Как ни оглянешься, она все идет, покачивая головой и перебирая тонкими ногами. Однажды днем в лугах ко мне вот так же пристала ласточка. Она кружилась около меня, задевала за плечо, кричала жалобно и настойчиво, будто я у нее отнял птенца и она просила отдать его обратно. Она летела за мной, не отставая, два часа, и в конце концов мне стало не по себе. Я не мог догадаться,

что ей нужно. Я рассказал об этом знакомому деду Митрию, и он посмеялся надо мной.

— Эх ты, безглазый! — сказал он. — Да ты глядел или нет, чего она делала, эта ласточка. Видать, что нет. А еще очки в кармане носишь. Дай покурить, тогда я тебе все объясню.

Я дал ему покурить, и он открыл мне простую истину: когда человек идет по некошеному лугу, он спугивает сотни кузнечиков и жуков, и ласточке незачем выискивать их в густой траве — она летает около человека, ловит их на лету и кормится без всякой заботы.

Но старый мерин нас не испугал, хотя и шел сзади так близко, что иногда толкал меня мордой в спину. Старого мерина мы знали давно, и ничего таинственного в том, что он увязался за нами, не было. Попросту ему было скучно стоять одному всю ночь под ивой и прислушиваться, не ржет ли где-нибудь его приятель, гнедой одноглазый конь.

На озере, пока мы разводили костер, старый мерин подошел к воде, долго ее нюхал, но пить не захотел. Потом он осторожно пошел в воду.

— Куда, дьявол! — в один голос закричали мы оба, боясь, что мерин распугает рыбу.

Мерин покорно вышел на берег, остановился

у костра и долго смотрел, помахивая головой, как мы кипятили в котелке чай, потом тяжело вздохнув, будто сказал: «Эх вы, ничего-то вы не понимаете!» Мы дали ему корку хлеба. Он осторожно взял ее теплыми губами, сжевал, двигая челюстями из стороны в сторону, как теркой, и снова уставился на костер — задумался.

— Все-таки, — сказал Рувим, закуривая, — он, наверное, о чем-нибудь думает.

Мне казалось, что если мерин о чем-нибудь и думает, то главным образом о людской неблагодарности и бестолковости. Что он слышал за всю свою жизнь? Одни только несправедливые окрики: «Куда, дьявол!», «Заелся на хозяйских хлебах!», «Овса ему захотелось — подумаешь, какой барин!» Стоило ему оглянуться, как хлестали вожжой по потному боку и раздавался все один и тот же угрожающий крик: «Но-о, оглядывайся у меня!» Даже пугаться ему запрещалось — тотчас возница начинал накручивать вожжами над головой и кричать тонким злорадным голосом: «Боишьси-и, черт!» Хомут всегда затягивали, упираясь в него грязным сапогом, и тем же сапогом толкали мерина в брюхо, чтобы он не надувал его, когда застегивали подпругу.

Благодарности не было. А он всю жизнь тас-

кал, хрипя и надсаживаясь, по пескам, по грязи, по липкой глине, по косогорам, по «битым» дорогам и кривым проселкам скрипучие, плохо смазанные телеги с сеном, картошкой, яблоками и капустой. Иногда в песках он останавливался отдохнуть. Бока его тяжело ходили, от гривы подымался пар, но возницы со свистом вытягивали его ременным кнутом по дрожащим ногам и хрипло, с наигранной яростью кричали: «Но-о, идол, нет на тебя погибели!» И мерин, рванувшись, тащил быстро телегу дальше.

Начало быстро светать. Звезды бледнели, быстро уходили от земли в глубину неба. Неожиданно над головой, на огромной высоте, загорелось розовым светом одинокое облачко, похожее на пух. Там, в вышине, уже светило летнее солнце, а на земле еще стоял сумрак, и роса капала с белых зонтичных цветов дягиля в темную, настоявшуюся за ночь воду.

Мерин опустил голову к самой земле, из его глаз выкатилась одинокая старческая слеза, и он уснул.

Утром, когда роса горела от солнца на травах так сильно, что весь воздух вокруг был полон влажного блеска, мерин проснулся и громко заржал. Из лугов шел к нему с недоуздком, пере-

кинутым через плечо, колхозный конюх Петя, недавно вернувшийся из армии белобрысый красноармеец. Мерин пошел к нему навстречу, потерся головой о плечо Пети и безропотно дал надеть на себя недоуздок.

Петя привязал его к изгороди около стога, а сам подошел к нам — покурить и побеседовать насчет клева.

— Вот вы, я гляжу, — сказал он, сплевывая, — ловите на шелковый шнур, а наши огольцы плетут лески из конского волоса. У мерина весь хвост повыдергали, черти! Скоро обмахнуться от овода — и то будет нечем.

— Старик свое отработал, — сказал я.

— Известно, отработал, — согласился Петя. — Старик хороший, душевный.

Он помолчал. Мерин оглянулся на него и тихо заржал.

— Подождешь, — сказал Петя. — Работы с тебя никто не спрашивает — ты и молчи.

— А что он, болен, что ли? — спросил Рувим.

— Да нет, не болен, — ответил Петя, — а только тяги у него уже не хватает. Отслужил. Председатель колхоза — ну, знаете, этот сухорукий — хотел было отправить его к коновалу, снять шкуру, а я воспрепятствовал. Не то чтобы жалко,

а так… Все-таки снисхождение к животному надо иметь. Для людей — дома отдыха, а для него — что? Шиш! Так, значит, и выходит — всю жизнь запаривайся, а как пришла старость — так под нож. «Нет, говорю, Леонтий Кузьмич, не имеешь ты в себе окончательной правды. Ты, говорю, за копейкой гонись, но и совесть свою береги. Отдай мне этого мерина, пусть он у меня поживет на вольном воздухе, попасется, — ему и жить-то осталось всего ничего». Поглядите, даже морда у него — и та кругом серая.

— Ну, и что же председатель? — спросил Рувим.

— Согласился. «Только, говорит, я тебе для него не дам ни полпуда овса. Это уже, говорит, похоже на расточительство». — «А мне, говорю, на ваш овес как будто наплевать, я своим кормить буду». Так вот и живет у меня. Моя старуха, мамаша, сначала скрипела: зачем, мол, этого дармоеда на дворе держим, — а сейчас обвыкла, даже разговаривает с ним, с мерином, когда меня нету. Поговорить, знаете, не с кем, вот она ему и рассказывает всякую всячину. А он и рад слушать… Но-о, дьявол! — неожиданно закричал Петя.

Мерин, ощерив желтые зубы, тихонько грыз изгородь около стога. Петя поднялся.

— Два дня в лугах погулял, теперь пусть постоит во дворе, в сарае, — сказал он и протянул мне черную от дегтя руку. — Прощайте.

Он увел мерина. Тихое утро было полно такой свежести, будто воздух промыли родниковой водой. В озере отражались белые, как первый снег, цветы водокраса. Под ними медленно проплывали маленькие лини. И где-то далеко, в цветущих лугах, добродушно заржал мерин.

Жильцы старого дома

Неприятности начались в конце лета, когда в старом деревенском доме появилась кривоногая такса Фунтик. Фунтика привезли из Москвы.

Однажды черный кот Степан сидел, как всегда, на крыльце и, не торопясь, умывался. Он лизал растопыренную пятерню, потом, зажмурившись, тер изо всей силы обслюненной лапой у себя за ухом. Внезапно Степан почувствовал чей-то пристальный взгляд. Он оглянулся и замер с лапой, заложенной за ухо. Глаза Степана побелели от злости. Маленький рыжий пес стоял рядом. Одно ухо у него завернулось. Дрожа от любопытства, пес тянулся мокрым носом к Степану — хотел обнюхать этого загадочного зверя.

«Ах, вот как!»

Степан изловчился и ударил Фунтика по вывернутому уху.

Война была объявлена, и с тех пор жизнь для Степана потеряла всякую прелесть. Нечего было и думать о том, чтобы лениво тереться мордой о косяки рассохшихся дверей или валяться на солнце около колодца. Ходить приходилось с опаской, на цыпочках, почаще оглядываться и всегда выбирать впереди какое-нибудь дерево или забор, чтобы вовремя удрать от Фунтика.

У Степана, как и у всех котов, были твердые привычки. Он любил по утрам обходить заросший чистотелом сад, гонять со старых яблонь воробьев, ловить желтых бабочек-капустниц и точить когти на сгнившей скамье. Но теперь приходилось обходить сад не по земле, а по высокому забору, неизвестно зачем обтянутому заржавленной колючей проволокой и к тому же такому узкому, что временами Степан долго думал, куда поставить лапу.

Вообще в жизни Степана бывали разные неприятности. Однажды он украл и съел плотицу вместе с застрявшим в жабрах рыболовным крючком — и все сошло, Степан даже не заболел. Но никогда еще ему не приходилось унижаться

из-за кривоногой собаки, похожей на крысу. Усы у Степана вздрагивали от негодования.

Один только раз за все лето Степан, сидя на крыше, усмехнулся.

Во дворе, среди курчавой гусиной травы, стояла деревянная миска с мутной водой — в нее бросали корки черного хлеба для кур. Фунтик подошел к миске и осторожно вытащил из воды большую размокшую корку.

Сварливый голенастый петух, прозванный Горлачом, пристально посмотрел на Фунтика одним глазом. Потом повернул голову и посмотрел другим глазом. Петух никак не мог поверить, что здесь, рядом, среди бела дня происходит грабеж.

Подумав, петух поднял лапу, глаза его налились кровью, внутри у него что-то заклокотало, как будто в петухе гремел далекий гром. Степан знал, что это значит, — петух разъярился.

Стремительно и страшно, топая мозолистыми лапами, петух помчался на Фунтика и клюнул его в спину. Раздался короткий и крепкий стук. Фунтик выпустил хлеб, прижал уши и с отчаянным воплем бросился в отдушину под дом.

Петух победно захлопал крыльями, поднял густую пыль, клюнул размокшую корку и с отвращением отшвырнул ее в сторону — должно быть,

от корки пахло псиной.

Фунтик просидел под домом несколько часов и только к вечеру вылез и, сторонкой, обходя петуха, пробрался в комнаты. Морда у него была в пыльной паутине, к усам прилипли высохшие пауки.

Но гораздо страшнее петуха была худая черная курица. На шее у нее была накинута шаль из пестрого пуха, и вся она походила на цыганку-гадалку. Купили эту курицу напрасно. Недаром старухи по деревне говорили, что куры делаются черными от злости.

Курица эта летала, как ворона, дралась и по нескольку часов могла стоять на крыше и без перерыва кудахтать. Сбить ее с крыши, даже кирпичом, не было возможности. Когда мы возвращались из лугов или из леса, то издалека была уже видна эта курица — она стояла на печной трубе и казалась вырезанной из жести.

Нам вспоминались средневековые харчевни — о них мы читали в романах Вальтера Скотта. На крышах этих харчевен торчали на шесте жестяные петухи или куры, заменявшие вывеску.

Так же, как в средневековой харчевне, нас встречали дома бревенчатые темные стены, законопаченные желтым мхом, пылающие поленья

в печке и запах тмина. Почему-то старый дом пропах тмином и древесной трухой.

Романы Вальтера Скотта мы читали в пасмурные дни, когда мирно шумел по крышам и в саду теплый дождь. От ударов маленьких дождевых капель вздрагивали мокрые листья на деревьях, вода лилась тонкой и прозрачной струей из водосточной трубы, а под трубой сидела в луже маленькая зеленая лягушка. Вода лилась ей прямо на голову, но лягушка не двигалась и только моргала.

Когда не было дождя, лягушка сидела в лужице под рукомойником. Раз в минуту ей капала на голову из рукомойника холодная вода. Из тех же романов Вальтера Скотта мы знали, что в Средние века самой страшной пыткой было вот такое медленное капанье на голову ледяной воды, и удивлялись лягушке.

Иногда по вечерам лягушка приходила в дом. Она прыгала через порог и часами могла сидеть и смотреть на огонь керосиновой лампы.

Трудно было понять, чем этот огонь так привлекал лягушку. Но потом мы догадались, что лягушка приходила смотреть на яркий огонь так же, как дети собираются вокруг неубранного чайного стола послушать перед сном загадоч-

ную сказку. Огонь то вспыхивал, то ослабевал от сгоравших в ламповом стекле зеленых мошек. Должно быть, он казался лягушке большим алмазом, где, если долго всматриваться, можно увидеть в каждой грани целые страны с золотыми водопадами и радужными звездами.

Лягушка так увлекалась этой сказкой, что ее приходилось щекотать палкой, чтобы она очнулась и ушла к себе, под сгнившее крыльцо, — на его ступеньках ухитрялись расцветать одуванчики.

Во время дождя кое-где протекала крыша. Мы ставили на пол медные тазы. Ночью вода особенно звонко и мерно капала в них, и часто этот звон совпадал с громким тиканьем ходиков.

Ходики были очень веселые — разрисованные пышными розанами и трилистниками. Фунтик каждый раз, когда проходил мимо них, тихо ворчал — должно быть, для того, чтобы ходики знали, что в доме есть собака, были настороже и не позволяли себе никаких вольностей — не убегали вперед на три часа в сутки или не останавливались без всякой причины.

В доме жило много старых вещей. Когда-то давно эти вещи были нужны обитателям дома, а сейчас они пылились и рассыхались на чердаке,

и в них копошились мыши.

Изредка мы устраивали на чердаке раскопки и среди разбитых оконных рам и занавесей из мохнатой паутины находили то ящик от масляных красок, покрытый разноцветными окаменелыми каплями, то сломанный перламутровый веер, то медную кофейную мельницу времен севастопольской обороны, то огромную тяжелую книгу с гравюрами из древней истории, то, наконец, пачку переводных картинок.

Мы переводили их. Из-под размокшей бумажной пленки появлялись яркие и липкие виды Везувия, итальянские ослики, убранные гирляндами роз, девочки в соломенных шляпах с голубыми атласными лентами, играющие в серсо, и фрегаты, окруженные пухлыми мячиками порохового дыма.

Как-то на чердаке мы нашли деревянную черную шкатулку. На крышке ее медными буквами была выложена английская надпись: «Эдинбург. Шотландия. Делал мастер Гальвестон».

Шкатулку принесли в комнаты, осторожно вытерли с нее пыль и открыли крышку. Внутри были медные валики с тонкими стальными шипами. Около каждого валика сидела на бронзовом рычажке медная стрекоза, бабочка или жук.

Это была музыкальная шкатулка. Мы завели ее, но она не играла. Напрасно мы нажимали на спинки жуков, мух и стрекоз — шкатулка была испорчена.

За вечерним чаем мы заговорили о таинственном мастере Гальвестоне. Все сошлись на том, что это был веселый пожилой шотландец в клетчатом жилете и кожаном фартуке. Во время работы, обтачивая в тисках медные валики, он, наверное, насвистывал песенку о почтальоне, чей рог поет в туманных долинах, и девушке, собирающей хворост в горах. Как все хорошие мастера, он разговаривал с теми вещами, которые делал, и рассказывал им их будущую жизнь. Но, конечно, он никак не мог догадаться, что эта черная шкатулка попадет из-под бледного шотландского неба в пустынные леса за Окой, в деревню, где только одни петухи поют, как в Шотландии, а все остальное совсем не похоже на эту далекую северную страну.

С тех пор мастер Гальвестон стал как бы одним из невидимых обитателей старого деревенского дома. Порой нам даже казалось, что мы слышим его хриплый кашель, когда он невзначай поперхнется дымом из трубки. А когда мы что-нибудь сколачивали — стол в беседке или новую

скворечню — и спорили, как держать фуганок или пригнать одну к другой две доски, то часто ссылались на мастера Гальвестона, будто он стоял рядом и, прищурив серый глаз, насмешливо смотрел на нашу возню. И все мы напевали последнюю любимую песенку Гальвестона:

Прощай, земля, – корабль уходит в море!

Прощай навек, мой теплый отчий дом...

Шкатулку поставили на стол, рядом с цветком герани, и в конце концов забыли о ней.

Но как-то осенью, поздней осенью, в старом и гулком доме раздался стеклянный переливающийся звон, будто кто-то ударял маленькими молотками по колокольчикам, и из этого чудесного звона возникла и полилась мелодия:

В милые горы

Ты возвратишься...

Это неожиданно проснулась после многолетнего сна и заиграла шкатулка. В первую минуту мы испугались, и даже Фунтик вскочил и слушал, осторожно подымая то одно, то другое ухо. Очевидно, в шкатулке соскочила какая-нибудь

пружина.

Шкатулка играла долго, то останавливаясь, то снова наполняя дом таинственным звоном, и даже ходики притихли от изумления.

Шкатулка проиграла все свои песни, замолчала, и как мы ни бились, но заставить ее снова играть мы не смогли.

Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка стоит там в пустых нетопленых комнатах, и, может быть, в непроглядные и тихие ночи она снова просыпается и играет, но ее уже некому слушать, кроме пугливых мышей.

Мы долго потом насвистывали мелодию о милых покинутых горах, пока однажды нам ее не просвистел пожилой скворец, — он жил в скворечне около калитки. До тех пор он пел хриплые и странные песни, но мы слушали их с восхищением. Мы догадывались, что эти песни он выучил зимой в Африке, подслушивая игры негритянских детей. И почему-то мы радовались, что будущей зимой где-то страшно далеко, в густых лесах на берегу Нигера, скворец будет петь под африканским небом песню о старых покинутых горах Европы.

Каждое утро на дощатый стол в саду мы насыпали крошки и крупу. Десятки шустрых синиц

слетались на стол и склевывали крошки. У синиц были белые пушистые щеки, и когда синицы все сразу клевали, то было похоже, будто по столу торопливо бьют десятки белых молоточков.

Синицы ссорились, трещали, и этот треск, напоминавший быстрые удары ногтем по стакану, сливался в веселую мелодию. Казалось, что в саду играл на старом столе живой щебечущий музыкальный ящик.

Среди жильцов старого дома, кроме Фунтика, кота Степана, петуха, ходиков, музыкального ящика, мастера Гальвестона и скворца, были еще прирученная дикая утка, еж, страдавший бессонницей, колокольчик с надписью «Дар Валдая» и барометр, всегда показывавший «великую сушь». О них придется рассказать в другой раз — сейчас уже поздно.

Но если после этого маленького рассказа вам приснится ночная веселая игра музыкального ящика, звон дождевых капель, падающих в медный таз, ворчанье Фунтика, недовольного ходиками, и кашель добряка Гальвестона — я буду думать, что рассказал вам все это не напрасно.

Ценный груз

Штерн вычитал в какой-то книге, что чудаки украшают жизнь. Однако чудак, появившийся у него на пароходе, никому не понравился. Он был в клетчатых чрезмерно широких брюках желтого цвета. Желтизна брюк явно раздражала Штерна, может быть, потому, что все вокруг было серого и мягкого цвета — не только воды Финского залива, но и борта его парохода «Борей». «Борей» был выкрашен в цвет мокрого полотна. Лишь там, где ободралась краска, краснел сурик. По мнению чудака, это было очень живописно; по мнению Штерна — пароход надо было давным-давно покрасить.

Чудак ходил по палубе среди наваленных ящиков походкой страуса. Он был похож на голенастое тропическое животное пестрой раскраски. Пиджак у него был синий, кепка зеленая, галстук цвета осенних листьев. Он привез с собой чемодан и скрипку в футляре.

Чудак сопровождал в Англию груз игрушек. Можно понять, когда в трюмы наваливают лес, кожу или зерно в мешках, но брать игрушки было обидно. Старые капитаны с соседних пароходов

только пожимали плечами.

Игрушки спускали в трюм, по требованию чудака, с такими предосторожностями, как гремучую ртуть.

Помощник Чох — человек суеверный и недовольный земным существованием — выразился в том смысле, что эти «чертовы ляльки не доведут до добра». Штерн потребовал объяснений. Чох пробурчал, что груз легкий, его невозможно закрепить в трюме, и в случае шторма — сами знаете — ящики навалятся на один борт, «Борей» даст крен и… Чох пошел на берег за папиросами.

— Не ваше дело рассуждать! — сказал ему в спину Штерн. — Прикажут, так вы будете грузить у меня коровьи хвосты! Какая разница?!

Раздражение на палубе не утихало. Утром, когда уходили из порта, какой-то матрос крикнул в рупор со «Страны Советов»:

— Благополучно ли взяли груз тещиных языков?

В море висел туман. Штерн почувствовал облегчение — будто туман мог скрыть его легкомысленный груз. Штерн представлял, как любопытные и вежливые пароходы будут осведомляться в море:

— Куда и с каким грузом вы следуете?

— С игрушками в Бельфаст, — ответит вахтенный.

После этого на встречных пароходах начнется необычайное оживление. Их борта запестреют хохочущими рожами матросов. Град насмешек обрушится на команду «Борея». Матросы будут пищать «уйди-уйди», а капитаны орать с мостиков:

— Счастливого плавания с сосками!

Чох прозвал чудака «роман с контрабасом». Действительно, он не внушал уважения. Матросы, обычно равнодушные к пассажирам и грузу, были уязвлены. Они подходили к чудаку и спрашивали, показывая на его красные остроносые туфли и явно издеваясь:

— Сколько дали за эти колеса?

Более нахальные ставили вопрос иначе:

— Почем копыта?

Чудак не обижался. Он охотно отвечал, что заплатил в ГУМе двадцать рублей.

Он был настроен восторженно. К вечеру в морской мгле происходили любопытные вещи. Сквозь туман проглядывали облака, похожие на гигантские шары из розовой ваты, подмигивали далекие маяки, и берега Дании, казалось, пахли свежей селедкой и сливками. Чудак спускался в

кают-компанию и говорил Штерну:

— Я очень доволен.

Штерн высоко поднимал брови: поводов для удовольствия не было. Входили в Немецкое море, и барометр падал с упорством часовой гири.

— Будет шторм, — отвечал Штерн и уходил к себе в каюту.

На пятый день плавания за ужином в кают-компании чудак постучал ножом по стакану с нарзаном и попросил слова. Над морем шел тихий и серый дождь. В каюте пылали лампы. Лампы и чудак отражались сразу в четырех зеркалах. Штерн смотрел на чудака в зеркало и видел его профиль с кривым пенсне на мягком и добром носу.

Штерну было неловко. Как капитан, он мог бы остановить чудака и указать ему, что суровые морские традиции не требуют речей. Можно было напомнить, что моряки считают многословие вещью постыдной (в том случае, конечно, если человек не выпил лишнего). Но Штерн пренебрег недовольными взглядами помощников и безнадежно махнул рукой:

— Пусть говорит.

Чудак сказал следующее:

— Происходит досадное недоразумение. Груз,

который я сопровождаю, доставил вам много хлопот. Причина в том, что вы плохо знакомы с игрушечным делом. Вы заражены профессиональной гордостью. Конечно, гораздо почетнее, чем возить игрушки, участвовать в экспедиции на Северный полюс. Я не думал, что моряки так падки на эффектные занятия и так необдуманно враждебны к вещам, каких они попросту не знают.

Эти слова прозвучали объявлением войны. Объявив войну, чудак перешел к сути дела. Он доказывал, что искусство делать игрушки так же почтенно, как и искусство кораблевождения. Он огорошил Чоха сообщением, что некий немецкий игрушечный мастер, делавший оловянных солдатиков, стал миллионером. Он утверждал, что советские игрушки лучшие в мире, а лучшие из лучших «Борей» сейчас везет в Бельфаст на выставку. Он уязвил Штерна, заметив вскользь, что в каюте капитана он заметил маленький парусный корабль, выкрашенный в канареечный цвет. Игрушки — ценный груз. Ломать их имеют право только дети, но никак не портовые грузчики и команда. Он вызывающе сообщил, что страхи Чоха — вздор. Скажите любому моряку, что корабль может перевернуться от груза

игрушек, и он засмеется вам в лицо.

Чох протестовал. Он вспомнил случай, когда в Ленинградском порту грузчик был задавлен кипой ваты. Он отпарировал удар и спросил, не засмеется ли чудаку в лицо первый встречный, которому он расскажет, что человека задавило ватой. Разгорелся спор. Штерн прекратил его, спросив с плохо скрытым любопытством:

— А какие у вас игрушки?

— Двух сортов, — ответил чудак.

Он приволок в кают-компанию чемодан и вывалил на стол румяных матрешек, парусные корабли, зайцев и медвежат.

— Второй сорт, — объяснил чудак. — На таможне английские чиновники вскроют груз большевистских игрушек и приятно поразятся: сотни томных кукол с соболиными бровями будут посылать заученные улыбки. Эти улыбки скроют наш подлинный груз — вот он: это первый сорт.

Чудак встряхнул чемодан, и на стол посыпались комсомолки и пионеры из папье-маше, Буденный на сером коне, красноармейцы с загорелыми лицами, кузнецы, кующие плуги, полисмены с идиотскими рожами, ткачихи у прялок, шахтеры, скрюченные в забоях, десятки детей на первомайских автомобилях и, наконец, смехотворный

король с белыми глазами. При малейшем прикосновении он издавал хриплый лай.

Игрушки пошли по рукам. Младший помощник посадил полисмена на сахарницу, щелкнул по носу и дал ему в рот папиросу. Полисмен яростно вертел злым бисерным глазом. Штерн заспорил с Чохом о парусных кораблях. Чох уверял, что это модели чайных клиперов. Штерн сердился и доказывал, что это бриги. Вытащили книги с описанием старинных кораблей. Радист сел за пианино, и кукла-пионер под опытной рукой механика начала отплясывать чечетку.

В дверь заглядывали ухмыляющиеся матросы. Боцман пришел доложить относительно скорости хода, взял со стола свистульку и показал на ней все двенадцать соловьиных колен.

Волнение перекинулось в кубрик. Рулевой Ширяев хвастал, что может вырезать из одного куска коры модель миноносца вместе с мачтами, трубами и боевой рубкой. Ему не верили. Ширяев клялся и требовал кусок коры, но на «Борее» коры не было. Имена прославленных корабельных модельщиков из Гамбурга, Одессы и Лондона склонялись тысячи раз.

Чох остался тверд в своих суевериях. Значение игрушек он видел в том, что они — особенно плю-

шевые медвежата — предохраняют от роковых случайностей.

Штерн рассказал, как дети рабочих в Гавре играют в глухих, занесенных мусором бассейнах гавани, откуда их не гоняет портовая стража. Игрушки их просты. Доски заменяют пароходы, а ржавые гвозди — адмиралтейские якоря. Играют они очень тихо. Их радость сродни печали, настолько она боязлива.

Чудак перебил Штерна и сказал, что в игрушки вкладывается много таланта и теплоты, должно быть, потому, что игрушечные мастера прожили незавидное детство. Ребенок, не знающий игрушек, растет в сухом окружении взрослых. Он даже не может разговаривать с паровозами и зайцами, он не может проделать самую заманчивую вещь — отвертеть голову полисмену и заглянуть внутрь, в полый гипсовый шарик.

— Я понимаю, как обидно и оскорбительно возить кукол в кружевных панталончиках и резиновых негров, предназначенных для комнатной расправы, — сказал чудак. — Вы видите, что наш груз иной. Мы везем игрушки для тех кварталов, где дети играют банками от консервов и высохшими селедочными хвостами. Трудно догадаться, сколько радости и слез лежит в ненавистных вам

ящиках в трюмах «Борея». А вы сожалеете о грузе соленых кишок.

Шум затих только к полуночи, когда четыре склянки прозвучали особенно мелодично в безветрии и тьме.

Штерн поднялся на мостик. «Борей» огибал северные берега Англии. Штерн взглянул на барометр и выругался: с океана шел шторм. Звезды растерянно мигали и заволакивались длинным дымом тумана.

В каюте чудака нежно запела скрипка. Штерн прислушался. Пение скрипки на ночном корабле было так же необыкновенно, как и груз, лежавший в трюмах. Штерн поднес ко рту свисток, помедлил и свистнул. Прибежал вахтенный.

— Передай Чоху, — приказал Штерн, — пусть проверит, как закреплен груз в трюмах. Надвигается шторм.

— Есть! — прокричал вахтенный и побежал, насвистывая, с трапа.

Когда Штерн спускался к себе, в трюмах сияли лампочки, забранные толстыми сетками, и Чох кричал:

— Аккуратнее, это вам не мыло!

Провозились до утра, но груз был закреплен талантливо, как умел крепить только Чох, когда

бывал в хорошем настроении.

Чудак до поздней ночи играл на скрипке.

Мрак ударялся о пароходные фонари и бесшумно стекал за корму. Барометр падал скачками.

Чудак уснул с раскрытой на груди книгой. То был «Давид Копперфильд» Диккенса.

Чудаку приснилась старая Англия — желтые почтовые кареты, бледные девушки, клетчатые фраки стряпчих и стаканы с грогом, выпитым натощак…

В шесть часов утра сон неожиданно прервался. Книга свалилась на пол, и «Борей» покатился в пропасть.

Чудак проснулся и схватил пенсне. Он хотел видеть, что происходит, но ничего не увидел, кроме желтоватой тьмы и плаща, висевшего перпендикулярно к стене. Плащ хлопнул его по лицу. Из-под койки медленно выползло черное чудовище и пошло, шурша, бродить по каюте — то был старый кожаный чемодан.

Чудаку показалось, что «Борей» запрятан в исполинскую бутылку и в нее кто-то дует изо всех сил.

Чудак не сразу понял, что начался шторм. Вначале казалось, что «Борей» вертится, как щепка, под исполинским водопадом. Гвозди трещали в

пересохшем дереве, железо взвизгивало, но хуже всего был ровный и внятный вой снаружи — там пели под ураганом снасти.

Чудак быстро кое-как оделся. В кают-компании он застал рассвет. Обстановка напоминала зимний день в лазарете: яичным пламенем горели забытые лампочки, а около окон, как лужи, расплывался неприятный свет.

Чудак открыл дверь и шагнул на палубу. Утро, зеленое и мутное, ревело и мчалось за бортом. Океан шел стеной. Плач снастей леденил сердце. Чудак ползком пробирался на мостик, но там было еще угрюмее. Оттуда было видно, как «Борей» кипит картофелиной в холодном котле.

Плащи Штерна и младшего помощника промокли насквозь. Штерн тускло улыбнулся чудаку и ткнул пальцем вниз. Чудак похолодел: жест означал, что «Борей» с минуты на минуту может пойти ко дну. Потом он понял, что его вежливо просят убраться в каюту. Он упрямо мотнул головой и остался на мостике.

Штерн больше не обращал на него внимания. Он смотрел вперед и часто дергал ручку машинного телеграфа. Горы воды, наматывая перед собой гигантские валы из пены, мчались на пароход. Одну минуту чудак был уверен, что

«Борей» погибает. Пароход с треском ушел в воду, и несколько минут над взмыленным океаном торчали только его красная труба и мостик со Штерном. Потом «Борей» нехотя, вылез из волн, и вода лилась с палубы, как из дырявых ведер. По неподвижной спине Штерна чудак понял, что момент был очень опасный.

Отрезвил чудака яростный крик вниз в рупор, показавшийся шепотом. Голос Штерна прохрипел:

— Чох, как в трюмах, как игрушки?

— Пока живем, — ответило эхо из медной трубы.

Штерн притянул чудака за голову и прокричал ему в ухо:

— Мы должны прорваться в Северный пролив!

Чудак закивал в ответ, но подумал, что ни о каком прорыве не может быть и разговора. «Борей» дергался, как человек во время самосуда, которого то справа, то слева бьют по лицу.

Чудака поражало одно обстоятельство: пароход не прятал носа от ударов, а лез напролом на самые крутые волны. Это походило на храбрость отчаяния или на простое нахальство.

Штерн растянул губы, как будто они были резиновые, и хрипло закричал:

— Одиннадцать баллов!.. Слышите?.. Да… Ночью… Игрушки довезем… Вниз, вниз…

Растянутые губы означали улыбку.

Чудак сполз вниз. В кают-компании на диване лежал стюард[1]. Он сокрушался, что придется есть всухомятку, так как камбуз не работает. Мысль о возможности еды показалась нелепой. Слова стюарда чудак объяснил помешательством.

В три часа над палубой мрачно загудел гудок. Чудак прижался носом к ледяному окну и увидел ржавый пароход со вставшей на дыбы кормой. На мачте его извивались клочья флага. Пароход нырнул кормой в воду и исчез в дожде. Чудак, хотя и не был моряком, заметил одну странность: у «Борея» флаг был на корме, а у встречного парохода флаг висел на половине мачты. Чудак спросил об этом стюарда.

— Что же тут непонятного? — раздраженно ответил стюард. — Просят помощи.

Даже чудак понимал, что просить помощи по меньшей мере глупо. Встречный пароход захлестало пеной и унесло. Лишь изредка подскакивало на переломе волн его красное днище.

---

[1] Примечания: 1

Стюард — мужская прислуга на английских судах, обслуживающая столовые, каюты и т. д.

Чудак дрожал. Он потерял веру в прочность «Борея» и во всемогущество Штерна. Радист поймал два призыва о помощи. Океан походил на буйного сумасшедшего.

Шторм крепчал. Приближалась ночь, но мысль о сне даже не приходила в голову. Можно было только курить и ждать. Чего? Чудак прятался от мысли о возможной гибели, но в сумерки «Борей» стремительно лег на борт и понесся вниз. Тысячи тонн воды обрушились на палубу.

На мостике отчаянно засвистели. Побледневший стюард прокричал чудаку:

— Огибаем скалы Рокк! Наверх!

Чудак выскочил и отшатнулся: перед глазами ревела белая смерть. Он не заметил скал. Он видел только мощные гейзеры воды, взлетавшие высоко в небо. Обмирая от тошноты, он прополз на мостик. «Борей» стремительно падал с борта на борт, черпая воду. Он шел параллельно волнам.

— Что?.. Что?.. — крикнул чудак Штерну, но ветер пробкой закупорил рот и флейтой засвистел на зубах. Штерн даже не посмотрел на него. Он не отрывал глаз от ослепительных белых гейзеров, особенно страшных оттого, что с востока мчалась непроглядная и угрюмая ночь.

Младший помощник вскинул на чудака уста-

лые глаза, схватил за руки и написал пальцем на ладони:

«Огибаем Рокк».

Чудак понял, что наступило самое трудное.

«Борей» боролся из последних сил. Его несло мимо скал. Мутные волны были круты, как стены.

Чудак присел, вцепился в поручни и закрыл глаза. Неистовое желание оглохнуть и ослепнуть наполнило его торопливой тоской. Потом кто-то рванул его за плечи, он мгновенно промок и вскочил: под мостиком прошла, курчавясь, волна, и в ней килем вверх качалась сорванная с палубы шлюпка. «Борей» высоко вскинул нос и ринулся вниз, мимо последней скалы. Волны хлестали в корму. Машина мелко дрожала.

Штерн вытер лицо рукавом и сплюнул. Он тяжело повернулся к чудаку, стиснул его локоть и повел в кают-компанию. Он молчал, а чудак не решался спрашивать.

— Ну, счастлив ваш груз, — выговорил наконец Штерн. — В такую погоду нельзя огибать Рокк. Все гибнут. Другого выхода не было. Через час мы будем за берегом.

Чудак спросил, зачем понадобилось огибать скалы. Он знал, что во время жестоких штормов

пароходы идут против волны и ветра, пока погода не утихнет, и никогда не меняют курса, чтобы не подвергать себя смертельному риску.

— Если бы я вез груз соленых кишок, — прошипел Штерн, — я не менял бы курса. А теперь идите спать!

Чудак покорно пошел в каюту, переоделся и лег. Качка стала мерной и приятной.

Он согрелся и уснул.

Ему приснился город, мохнатый от снега. Снег падал густо и бесшумно, покрывая черепицы домов и мостики пароходов.

Запах приморской зимы был свеж, как весна, — его нельзя было забыть всю жизнь. В сумерках дрожали миллионы огней.

Штерн вышел на палубу в новом кителе с золотыми шевронами. Его чисто выбритое лицо казалось юношеским.

«Борей» торжественно гудел.

Зажгли громадные факелы, и началась выгрузка. От ящиков с игрушками шел запах краски.

Чудак сошел на берег и заблудился в мягких от снега переулках. Он встречал стариков, похожих на героев Жюля Верна. Он с наслаждением вдыхал крепкий дым их трубок.

Город был пропитан запахом старых кораблей.

На бульварах румяные и смешливые няни рассказывали детям о «Борее». Он прорвался через шторм, страшный, как кончина мира, и холодный, как ледяной компресс, чтобы привезти им игрушки. Глаза детей синели от восторга и непонятных слез.

Снег и пламя в каминах воскрешали чудесные времена из сказок Андерсена, Чудак увидел на снегу узкие следы Золушки. Снег под ее ступней растаял: у нее были очень теплые и маленькие ноги. Чудак пошел по следам. Они вели к «Борею».

Золушка стояла на корабле и говорила со Штерном. Штерн дружелюбно улыбался. Она повернулась к чудаку, и он отступил: лицо ее казалось созданным из блеска глаз и радости, на темных волосах белели снежинки, платье цвета морской воды играло разными красками от подымавшихся над городом ракет. Ракеты возвещали начало большого зимнего праздника.

Чудак проснулся. Было тихо. Он вышел на палубу и увидел в немом свете зари Бельфаст — старинный город с непогашенными огнями, закутанный в пуховый туман. Пахло осенней травой. «Борей», посапывая паром, качался и медленно кланялся городу.

Соранг

Экспедиция капитана Скотта к Южному полюсу погибла в страшных буранах, разразившихся в Антарктике весной 1911 года.

Шесть человек вышли к полюсу на лыжах от ледяной стены Росса.

Шли больше месяца. До полюса дошло пять человек. Один сорвался в расщелину и умер от сотрясения мозга.

Вблизи полюса Скотт, шедший впереди, внезапно остановился: на снегу что-то чернело. То была палатка, брошенная Амундсеном. Норвежец опередил англичан.

Скотт понял, что это конец, что после этого им не осилить обратного пути в тысячу километров, не протащить по обледенелым снегам окровавленных ног. Тогда всем поровну был роздан яд.

На обратном пути заболел молчаливый шотландец, лейтенант Отс. У него начиналась гангрена обеих ног. Каждый шаг вызывал острую боль, сукровица сочилась сквозь потертые оленьи сапоги и застывала на лыжах каплями воска. Отс знал, что он задерживает экспедицию, что из-за него могут погибнуть все. И он нашел выход.

В дневнике Скотта, найденном вместе с четырьмя трупами год спустя после экспедиции, об этом говорится так:

«Одиннадцатое марта. За последние сутки мы сделали три мили. Несмотря на нечеловеческую боль, Отс не отставал от нас, но мы шли гораздо тише, чем могли бы. Вчера он попросил оставить его в спальном мешке на снегу, но мы не смогли этого сделать и уговорили его идти дальше. До последнего дня он не терял, не позволял себе терять надежду. К ночи мы остановились. Отс дал мне записку и просил передать родным, если мы останемся в живых. Потом он встал и сказал, глядя мне в глаза: «Я пойду. Должно быть, вернусь не скоро». Мы молчали. Отс вышел из палатки и ушел в метель. Он проваливался в снег и пачкал его кровью. Было два часа ночи. Он не вернулся. Он поступил, как благородный человек».

Перед дневником капитана Скотта вся литература кажется праздной болтовней — перед этим дневником смерти, дневником людей, безропотно гибнущих от гангрены, голода и потрясающей стужи в ледяных пустынях Антарктики.

В конце дневника Скотт написал дрожащими буквами:

«Я обращаюсь ко всему человечеству. Оно

должно знать, что мы рисковали, рисковали сознательно, но нам во всем была неудача. Если бы мы остались живы, я рассказал бы такие вещи о высоком мужестве и простом величии моих товарищей, что они потрясли бы каждого человека. Мы гибнем, но не может быть, чтобы такая богатая страна, как Англия, не позаботилась о наших близких».

Скотт ошибся: Англия не позаботилась о его близких.

Записка лейтенанта Отса на имя Анны О'Нейль попала в руки русского матроса Василия Седых, участника экспедиции, нашедшей трупы Скотта и троих его спутников.

Анну О'Нейль Седых разыскал только после войны, в 1918 году, в приморском городке на севере Шотландии.

Было начало зимы. Снег, похожий на старое серебро, лежал на окрестных полях, и океан вздыхал у берегов, отсыпаясь перед зимними штормами.

Муж Анны, начальник рыбачьего порта, весь вечер курил трубку и молча угощал Седых кофе и твердым печеньем. Анна прочла письмо Отса, оделась и ушла в город, не сказав ни слова. Один только портовый смотритель, дедушка Гернет,

друг мужа Анны, пытался рассеять смутную тревогу, как бы открывшую все окна в доме и наполнившую комнаты печальным запахом снега.

Гернет рассказывал сыну Анны, мальчику восьми лет, старую морскую легенду о ветре, носившем названье «сoранг».

У моряков есть поверье, что среди бушующих нордов и тремонтан, муссонов и сокрушительных тайфунов есть жаркий ветер сoранг, дующий один раз за многие тысячи лет. Сoранг приходит с южных румбов горизонта поздней зимой и обыкновенно ночью. Он приносит воздух незнакомых стран, печальный и легкий, как запах магнолий. Сами по себе начинают звонить колокола сельских церквей, голубая заря поднимается к зениту, и сквозь снега пробиваются цветы, похожие на подснежники. У детей от радости темнеют глаза, а корабли зажигают приветственные сигналы, качаются и кланяются этому ветру, как ласковые звери с мокрой от дождя шкурой.

Сoранг знаменует начало веселых и великолепных зимних праздников. Воздух Антилл проносится над Шотландией, превращая зиму в свежее мгновенное лето.

Старый Гернет не окончил своей басни. Отец услал мальчика спать.

Анна вернулась домой около полуночи. Она ходила без цели по набережной, пряча лицо от ветра. За ней бродил, опустив голову, дряхлый портовый пес по прозвищу Репейник. Анна тихо говорила с ним — ей больше некому было рассказать о письме Отса.

«Я умру через час, — писал Отс. — Мне кажется, что даже труп мой будет содрогаться от ужаса этих буранов и стальной чудовищной стужи. Я вспоминаю Шотландию, наши теплые дожди, летящие над землей, подобно дыму, огни в сумерках, тяжелую воду гавани, соленый воздух мокрых осенних полей с почему-то не убранным клевером и нашу старинную песенку:

Здравствуй, дом! Прощай, дорога!
Сброшен плащ в снегу сыром.
Если нет для гостя грога,
Так найдется крепкий ром.

Я вспоминаю вас и знаю, что это все — любовь. Я до сих пор не понимаю, почему вы ушли от меня так внезапно».

Анна перечитывала письмо в комнате мальчика. Она стояла у окна. Резкие морщины обозначились у нее на лбу — ей показалось, что громадная птица взмахнула крылом и с деревьев посыпа-

лись мелкие брызги. Они падали на лицо Анны, и было трудно понять, капли это дождя или слезы.

Что-то громадное входило в жизнь, чему не было имени, наполнявшее все тело дрожью.

Мальчик проснулся и сел на кровати. Глаза его потемнели от радости.

— Ты не плачь, — сказал он сонно и снова лег на теплую подушку. — Сегодня ночью будет соранг.

Он смеялся во сне — ему снилось, что откуда-то страшно далеко, из Антарктики, подходит ветер, несущий запах снега и экваториальных лесов, дует соранг — праздничный зимний ветер, перебрасывающий тысячи белых огней, как мальчики швыряют комья снега.

Мальчик улыбался во сне. Маяк вскидывал в небо белые руки томительного света.

Австралиец со станции Пилево

Отца Вани Зубова каждый год с весны трясла болотная лихорадка. Он лежал на полатях, кашлял и плакал от едкого дыма: в сенцах курили трухлявое дерево, чтобы выжить из избы комаров.

Глухой дед по прозвищу Гундосый приходил лечить отца. Дед был знахарь и крикун, его боялись по всей округе, по всем глухим лесным деревням.

Дед толок в ступе сушеных раков, делал из них для отца целебные порошки и кричал, глядя на Ваню злыми дрожащими глазами:

— Разве это земля?! Подзол! На нем даже картоха не цветет, не желает его принимать, дьявола. Пропади он пропадом, тот подзол! Наградил нас царь за работу — некуды народу податься!

— Податься некуды, это верно, — вздыхал отец.

— Ты чего бубнишь?! — кричал Гундосый. — Заладил, как дятел: «некуды да некуды»! Небось есть куды. Небось бягут люди в Сибирь, за реку Амур, богатые земли пашут.

— Известно, бягут, — стонал с полатей отец.

— Ничего тебе не известно! — продолжал кричать дед. — Ничего не бягут. Народ, что ов-

ца, — все к загону жмется, хоть тот загон ей горше смерти становится. На печи сидеть вы охочие, а пойти поискать счастья, так на это вы не охочие.

— Народ у нас действительно квелый… Без напору народ, — соглашался измученный отец.

— Но, но! — кричал дед. — Ты поспорь у меня, какой лихой господин! Напор-то у вас есть, да на кой толк он вам даден, одному лешему известно! Напористы вы водку пить, стариков со свету сживать, по судам из-за того подзола веками судиться.

Отец уже молчал. Спорить с дедом не было возможности.

— Вот малый у тебя зря сидит! — Дед тыкал суковатым посохом в Ваню, и Ваня пугался. — Гони его в Сибирь землю искать. Шестнадцатый год ему пошел, а он под ногами суется, чаю просит, а работы с него, как с кота масла. Грамоту знает, вытяни его из-за угла за уши и пошли.

— Чего ты, дед, раскричался? — говорил умоляющим голосом отец. — Куда я его пошлю, когда за один билет до Сибири отдай тридцать рублей, а то и все сорок?

— Ух ты, бестолочья твоя голова! — возмущался дед. — Пущай без билета едет, чего ему сделается? Где под лавкой, где в товарном, где на крыше, —

так и доедет. А ты как же думал? С чистыми господами, с чайниками, на мягких постелях?

Дед зло захихикал.

— Миллиен! — неожиданно крикнул он и так стукнул по ступе, что отец закряхтел. — Не мене как миллиен каждый год без билета по чугунке туды-сюды шастает. Зовутся они зайцы. Вот его — зайцем, зайцем! Пусть хлебнет горя да поищет счастья! Зайцем!

Дед взмахнул посохом, засмеялся визгливо, как баба, и перекрестился: лекарство было готово.

В то же лето отец от дедовских порошков умер. Мать Дарья, бестолковая и скупая старуха, упросила Ваню ехать зайцем в Сибирь: может быть, там и взаправду дают сирым людям богатые земли. Мать по ночам не спала: все прикидывала, как они будут жить в Сибири.

— Поставим мы избу о пяти углах из дарового лесу, — бормотала она, и Ване казалось, что старуха молится. — На самом берегу реки. Ох, мать пресвятая богородица! А река бегучая, течет из великих лесов по золотым пескам. Посеем гречиху, поставим улья, пчел заведем…

— Вы бы спали, мамка, — говорил Ваня.

Но мать все бормотала и бормотала. Бормотанье ее сливалось в один тягучий ночной звук с

шорохом осеннего дождя, и под этот шорох Ваня засыпал. Ехать в Сибирь он боялся. Он знал, что в Сибирь уезжает много народу, но ни разу не видел, чтобы из Сибири возвращались. И отец говорил, что в Сибири народ тонет, как в зыбуне, в болоте.

Мать дала Ване на дорогу хлеба, луку, кусок старого сала, круто посыпанный желтой солью, и проводила на узкоколейку до станции Пилево.

Шел надоедливый октябрьский дождь. Он сбивал с берез холодные подгнившие листья и стучал по железной крыше вагонов. Ваня выглянул из окна, хотел крикнуть матери, что ему страшно ехать, что он хочет назад, в избу, где теплая зола в печке и тараканы, но мать, должно быть, поняла, чего он хочет, погрозила ему сухим, сморщенным кулаком и тем же кулаком вытерла слезы.

Так он и запомнил ее на всю жизнь: в старой паневе, с жилистыми сизыми ногами, измазанными грязью, с бабьими непонятными слезами на глазах.

Только в конце зимы Ваня добрался до Владивостока. В дороге его несколько раз били. Били станционные жандармы, кондуктора и грузчики-бродяги: у них он отбивал хлеб, напрашиваясь почти даром на тяжелую работу.

Сибирь показалась ему холодной, черной страной, где хлеб прячут в крепких домах за пудовыми замками, чтобы он не достался бедным, и ничто не растет, кроме заплесневелых бесконечных лесов, засыпанных по колени снегом.

Во Владивостоке Ваня попал в китайскую прачечную кочегаром. Приходилось топить дровами четыре больших котла, из котлов шел нездоровый серый пар от белья. Седой китаец сидел на корточках около огня, курил и смотрел на Ваню желтыми дряхлыми глазами.

— Ты молодой, я старый, — говорил китаец и сплевывал сквозь длинные зубы. — Ты русский, я китаец, все равно нам плохо. Кушать мало надо, работать много.

— Плохо, дедушка, — соглашался Ваня. — Конца не видно нашей жизни.

— Ты молодой, я старый, — бормотал китаец. — Кушай мало, работай много.

Китаец был так худ, что широкие синие штаны постоянно сползали у него на бедра, открывая коричневый сухой живот. Китаец утюжил мужские сорочки. Однообразная эта работа казалась Ване хуже каторги, ей не было видно конца. Одни и те же рубашки возвращались в прачечную каждую неделю, и китаец снова утюжил их, чтобы через

неделю опять и опять гладить все те же мужские сорочки.

Весной старый китаец умер. Он упал грудью на гладильную доску, затянутую паленой простыней, и чугунный утюг с грохотом вывалился из его руки.

Хоронили китайца за городом, на пустыре, где росла серая трава.

Весна была туманная, сырая, но во время похорон, когда китайцы сидели около свежей могилы и бормотали прощальные молитвы, появилось солнце. Его свет одним взмахом лег на воду, и берега и океан внезапно наполнились таким глубоким блеском и прозрачностью, что Ваня тут же решил бросить прачечную и уйти кочегаром на пароход.

Несколько лет он проплавал кочегаром на грузовом пароходе «Лансу», ходившем под китайским флагом. Сначала «Лансу» плавал из Владивостока в Шанхай; потом, когда началась война, он ушел в Австралию и оттуда возил овец и мороженое мясо в Батавию и Сингапур.

Команда на пароходе была сборная. Больше всего было норвежцев, странных людей, белоглазых и неразговорчивых. Капитаном был Ксиди — маленький жирный грек с золотыми зубами,

всегда пьяный, в кителе, облепленном пухом от подушек и обсыпанном трубочным табаком.

Пароход был так же грязен, как и его капитан. Ване — теперь его звали Джоном — казалось, что одним своим появлением около тропических берегов «Лансу» отравляет воздух, настоянный на дыхании источников, трав и вьющихся цветов. От парохода шла густая вонь овечьего помета и пережженного кофе. Кофе пили с утра до вечера, и кок по нескольку раз в день выливал в зеленую океанскую воду ушаты бурой кофейной гущи.

Ваня быстро привык к пароходной жизни. Она была бедна событиями: все тот же рейс, то же темное небо, те же лесистые острова, как бы утонувшие в воде, торчащие из нее одними зелеными верхушками, те же клопы в кубрике и матросские разговоры о вороватом коке и береговом пьянстве.

На третий год «Лансу» сел в тихую погоду на камни на Большом коралловом рифе около берегов Австралии. Риф лежал до горизонта, как громадная губка, чуть покрытая тонким слоем воды. Подводные камни отвесно поднимались со дна. Шлюпка каждую минуту то царапала днищем о камни, то проплывала над бездонными колодцами: добраться до берега было трудно.

Берег виднелся вдалеке узкой полосой песков, освещенных белым солнцем.

Около самого берега Ваня заглянул в воду и увидел круглые водоросли, похожие на шары из зеленого дыма. Они медленно колебались в теплой воде.

Ваня вспомнил Боровые озера, куда он бегал летом ловить рыбу. Там были такие же водоросли. В них жили стаи мальков. Ваня лез в черную воду, накрывал водоросли рубахой и вытаскивал их на берег вместе с мальками. Водоросли были такие тонкие, что на рубахе оставалась от них только паутина. Она быстро высыхала и осыпалась зеленой пылью.

Когда шлюпка пристала к австралийскому берегу, Ваня разделся и нырнул в воду. Он поймал тельником одну водоросль и вытащил на горячий белый песок. Водоросль пахла так же, как и там, на Боровых озерах, запахом чистой глубокой воды.

Ваня развернул тельник; зубастая серая рыба с налитыми кровью глазами лежала в нем и трещала колючими костяными плавниками. Ваня схватил ее, хотел бросить в воду, но рыба изогнулась и вцепилась ему в ладонь.

Ваня оторвал ее и швырнул на песок. Из руки

лилась кровь. Рыба пищала и хрипела. Матрос-малаец сказал Ване, что рыба эта ядовитая, что в океане вообще много ядовитых рыб и рука у Вани наверняка отсохнет.

Ване хотелось заплакать, но он сдержался и только выругался по-русски.

— Все у вас не как у людей, — сказал он малайцу, — даже рыбы кусаются, как собаки. Одна от этого получается тоска.

Малаец виновато улыбнулся.

С тех пор тоска не оставляла Ваню. Она медленно усиливалась. Ею было пропитано все вокруг, как хлеб бедняков бывает пропитан водой. Тоска была в самом небе этой страны, пыльном, высоком, покрытом по ночам чужими и редкими звездами, в сухом воздухе, в деревьях без коры, в клекочущих звуках английской речи, но больше всего в изнурительном и однообразном труде.

Ваня с матросом-малайцем поступил рабочим на сахарные плантации. С рассвета до позднего вечера рабочие шли рядами, согнувшись до земли, по полям сахарного тростника и рубили его под корень кривыми толстыми ножами, похожими на секачи. На тростниковых полях застаивался спертый воздух, от него ныла голова. Один раз Ваня попробовал тростниковую мякоть

— она была приторной, липкой и пахла аптекой.

Следил за рабочими высокий сухой человек с вывихнутым носом. Звали его «босс». Он никогда не кричал и не сердился. Он безмолвно и неторопливо подходил к провинившемуся рабочему, сильно бил его кулаком в лицо и так же неторопливо проходил дальше. Его боялись. Говорили, что когда-то он был знаменитым по всему Тихому океану карточным шулером.

Ночью спали в бараках. Друг с другом почти не разговаривали. Народ был разноязычный, набранный только на уборку одного урожая. Вечером пили кофе и сразу же валились на койки — спать до рассвета. Босс молча обходил бараки, гасил свет, иногда сбрасывал ударом ноги с койки какого-нибудь «цветного» рабочего — малайца или негра — и шарил под циновкой: искал водку.

Однажды босс ударил в лицо работницу-китаянку.

Она визгливо заплакала и швырнула в босса ножом. Нож упал плашмя на землю и поднял пыль. Босс нехотя обернулся и пошел к китаянке. Она затряслась всем телом и начала кричать пронзительно и непрерывно.

Рабочие выпрямились. Страшное, сухое солнце

жгло их головы. Сквозь красноватый туман в глазах они не сразу могли разобрать, что случилось.

Босс подошел вплотную к китаянке, но его схватил за плечо рабочий-американец по прозвищу Золотой мешок, — единственный веселый человек на плантациях. Он когда-то работал на золотых приисках, рассказывал, как золотоискатели носят золотой песок в кожаных мешочках, и за это его прозвали Золотым мешком.

— Босс, — сказал Золотой мешок, — вонючая собака, надо посчитаться с тобой по-белому за эту цветную.

Он показал на китаянку.

— Закажи сначала справку о смерти, — ответил босс и начал засучивать рукава.

Золотой мешок снял соломенную шляпу, несколько раз быстро сжал и разжал кулаки и вдруг стремительно и страшно ударил босса в переносицу. Босс упал и больше не поднимался: он был убит одним ударом наповал.

Золотой мешок скрылся. Вечером приехали полицейские в широкополых фетровых шляпах. Китаянку арестовали, а всех рабочих уволили.

Ваня с малайцем пошли пешком в портовый город Брисбэн искать счастья.

Искать счастья! Несколько раз за последние

годы Ваня вспоминал крик Гундосого: «Пусть хлебнет горя да поищет счастья!» Счастье осталось на родине.

Однажды, незадолго до аварии «Лансу», капитан Ксиди вызвал Ваню в каюту к себе и спросил:

— Джон, ты знаешь, что творится на твоей картофельной родине?

— Война, — ответил Ваня.

— Дурак! — сказал капитан. — Война кончена. Она навоняла на весь мир и потухла. В твоей стране революция. Гальюнщиков сажают министрами. Может быть, твой почтенный отец уже сидит в кабинете с телефоном и пьет квас с икрой.

— Мой отец умер, — тихо сказал Ваня. — Вы моего отца лучше не трогайте.

— Ты мне грубишь, кочегар! — торжественно сказал капитан и икнул (он был, по обыкновению, пьян). — Отстоишь за это две вахты. Кто лезет в революцию? Кто? — крикнул он. — Астраханский мужик, народ, не имеющий истории! Надо было поучиться у греков. Мы умели драться за свободу, как львы!

— Умели, да не успели, — сказал Ваня. — Ваше дело лимонами спекулировать.

— Пошел вон, бандит! — сказал печально Ксиди. — За что бог покарал меня вонючей командой на этом дырявом китайском сундуке?

Ксиди упал головой на стол и всхлипнул. Ваня ушел. Так он впервые узнал о революции. Он начал жадно читать газеты. Он думал о революции по ночам. Неужели сбылись мечты матери и там, на родине, уже дают сирым людям богатые земли?

Он думал о революции и родине в душном ночном кубрике, пропитанном крепким потом, думал, что счастье осталось позади, в России, что он уехал от него и на это глупое бегство от счастья потратил тягучие годы голода, каторжного труда и унижений.

В Брисбэне Ваня с малайцем провел несколько ночей в портовом саду. Работы не было.

Стояла австралийская зима. Океан ревел на рифах. Изредка Ваня жевал жареные кукурузные зерна. Их дала ему старуха — чистильщица сапог.

Дули ветры, потом пошли дожди. Ночью Ваня прятался с малайцем на крыльце закрытого на зиму летнего ресторана. Ветер бил в лицо тяжелыми каплями воды и гнилыми листьями. Ветер бесновался над океаном и гнал на молы

горы мутной воды. Она захлестывала землю и разливалась холодными лужами. Соленая вода хлюпала в порванных бутсах и разъедала до крови натруженные ноги.

На пятую ночь Ване стало жарко; океан и небо перемешались и понеслись над головой потоками черной воды, звезд и дыма. Ваня сидел на крыльце, покачивался и пел:

Ревела буря, гром гремел,
Во мраке молнии блистали!..

Малаец испугался и заплакал. Потом он побежал к ближайшему полицейскому, и наутро Ваню перевезли в больницу. Он пролежал два месяца в тифу. Его мучил все один и тот же бред. В больницу приходил Гундосый. Он толок в ступе зубастую серую рыбу и хихикал.

— Зайцем! — кричал он. — Поезди по миру зайцем, поищи счастья!

— Зачем отца уморил? — спрашивал Ваня.

— Не я его уморил, — кричал дед, — подзол его уморил! Тесно было ворочаться мужикам на худой земле. От той тесноты дох народ, как раки от водяной чумы.

— Ты бы ушел, дед, — просил Ваня.

— Куда мне идти-то? — кричал дед. — Мне идти

некуды: знахарей всех сничтожили, подрубили под самый корень, вот и шастаем по чужим австралийским землям, просим Христа ради у нехристей-англичан.

Потом дед силой открывал Ване рот и сыпал колючий порошок из толченой ядовитой рыбы.

Ваня кричал, рвался и выбивал из рук сиделки стакан с водой.

Из больницы Ваня вышел в начале весны. Уже грело солнце, и легкие ветры ровно и тепло дули с океана, заволакивая портовые улицы сернистым пароходным дымом.

Нашлась работа: доктор из больницы предложил Ване перекопать у него в большом саду грядки под цветы и овощи.

Ваня копал медленно, часто садился и пережидал, пока перестанет кружиться голова. Маленький мальчик, сын доктора, приносил Ване завтрак и дешевые папиросы. Особенно радовался мальчик тому, что мать доверяла ему носить работнику такую запретную вещь, как табак. Папиросы он никогда не отдавал сразу. Он таинственно и долго вытаскивал их из кармана и со смехом протягивал Ване.

Когда Ваня копал грядки, мальчик стоял рядом, внимательно смотрел на согнутую Ванину спи-

ну и без конца расспрашивал о России. Все, что рассказывал Ваня, казалось мальчику замечательной выдумкой.

Каждое утро мать мальчика — худая и красивая женщина — читала ему вслух толстую книгу. Ваня копал грядки около террасы и слушал.

В книге рассказывалась печальная история матроса, скитавшегося по земле в поисках потерянного кисета с табаком. Океаны сменялись вековыми лесами, леса — горячими пустынями, пустыни — вершинами диких гор, горы — шумными и веселыми городами.

Матрос встречал много людей, то крикливых и насмешливых, то робких и гостеприимных, то драчливых и вспыльчивых, но никто не мог помочь ему найти драгоценный кисет. Без этого потертого кисета чудак-матрос не мог жить. Только маленькая веснушчатая школьница посоветовала матросу вернуться домой и посмотреть, не забыл ли он кисет на скамейке около кровати, куда он складывал, ложась спать, свое грубое платье. Матрос вернулся домой и нашел кисет. В нем осталось табаку как раз на одну трубку. Порог его дома зарос высокой травой. Трава качалась и кланялась матросу, радовалась тому, что этот упрямый человек вернулся на родину, и матрос

осторожно переступил через траву, чтобы не помять ее.

Книга кончалась словами:

«Чужое небо и чужие страны радуют нас только на очень короткое время, несмотря на всю свою красоту. В конце концов придет пора, когда одинокая ромашка на краю дороги к отчему дому покажется нам милее звездного неба над Великим океаном и крик соседнего петуха прозвучит, как голос родины, зовущей нас обратно в свои поля и леса, покрытые туманом».

Ваня сел на грядку и стал осторожно счищать щепкой с лопаты налипшую землю. Он прислушивался, но голос на террасе замолк.

Муравьи ползли один за другим по серому стволу дерева, и Ваня вспомнил муравьиные дороги в сосновых лесах около Пилева, заросли вереска и бересклета, крик журавлей под родным небом с его тонкими вечерними облаками.

Ваня поймал одного муравья на щепку. Он был синий, огромный. Он тотчас же стал на задние лапки и приготовился вцепиться в руку.

Ваня бросил щепку и заплакал. Он не мог удержать слез, они текли по его впалым небритым щекам, капали на руки, на лопату, на злых синих муравьев, и Ваня, плача, думал, что он мог бы

проплакать сутки, целую неделю, так много накопилось тяжести на душе. О ней он никому не рассказывал, да и некому было рассказывать.

Когда мальчик принес Ване завтрак, он застал его еще плачущим. Губы у мальчика задрожали, но он сдержался и сказал суровым голосом:

— Я все знаю. Вас обидела рыжая девчонка.

Ваня покачал головой и украдкой вытер слезы.

— Нет, — сказал он глухо. — Это так…

— «Так» ничего не бывает, — строго повторил мальчик слова, слышанные им от взрослых тысячу раз.

— Ну так… — сказал Ваня. — Вспомнил про разное, про свою страну. Очень она далеко отсюда.

Мальчик осторожно поставил кастрюлю с супом на землю и убежал в дом. Он долго не возвращался. Ваня начал есть суп. Слезы изредка еще текли по его щекам, но было уже легче.

Мальчик прибежал красный от волнения и сунул Ване в руку маленький кусочек картона. Это был старый, давно использованный пароходный билет.

— Он настоящий, — сказал мальчик таинственно. — Мама ездила с ним в Лондон. Она подарила его мне и сказала, что, когда я вырасту большой, я тоже поеду по этому билету в Лондон. Я его

спрятал за печкой. Возьмите.

— Зачем же он мне? — спросил Ваня.

— Возьмите, — повторил мальчик, и губы у него опять задрожали. — Поезжайте домой. Взрослому нельзя плакать. Завтра уходит пароход. Я смотрел в газете.

Ваня встал. Он хотел что-то сказать мальчику, но не смог. Он только ласково взъерошил теплые волосы на голове у мальчика, осторожно воткнул лопату в землю и вышел из сада. Хлопнула калитка. Ваня прислушался. За ней было тихо.

Больше месяца еще прожил Ваня в Брисбэне, голодал и зарабатывал гроши на билет до соседнего порта, чтобы только уехать из Брисбэна и случайно не встретить мальчика. Мальчик был уверен, что Ваня уехал на родину с его использованным, пробитым несколькими контролерами билетом, и нельзя было разрушить эту уверенность. Ваня прятался от мальчика, как бродяга прячется от полицейских.

Только через месяц он уехал в Батавию, а оттуда то зайцем, то палубным пассажиром, то гальюнщиком — матросом, моющим пароходные уборные, — он добрался до Лондона. В Лондоне его взяли на советский теплоход и привезли в Ленинград.

Ваня вернулся на родину осенью. Осень выдалась в этом году сухая и ясная. Земля отдыхала от богатого и тяжелого урожая, она как будто спала в голубых туманах, в шелесте тихих лесов. Ее дыхание было свежим, исцеляющим прежние обиды.

В Пилеве Ваня поступил помощником машиниста на узкоколейную железную дорогу. Он с жадностью говорил с людьми, присматривался ко всему, что происходило вокруг, и чувствовал даже в каждом пустяке удивительную жизнь как будто знакомой и вместе с тем новой родины, видел множество признаков счастья, расцветавшего на когда-то скудных полях, в когда-то нищих деревушках.

Как-то в выходной день Ваня пошел с машинистом Кузьмой Петровичем — маленьким, блестящим от машинного масла стариком — на Боровые озера ловить рыбу. Мальчишкой он бегал на эти озера, но каждый раз, когда он возвращался, Дарья замахивалась на него вожжами и визгливо кричала:

— Откуда такой барчук взялся, косоротый! Лошадь не поена, не кормлена, а он по озерам шлендает!

Дарья давно умерла. Умер и дед Гундосый. Старое кладбище, где они были похоронены,

распахали и засеяли клевером. В клевере гудели шмели. Они отвесно взлетали из травы и с треском ударялись о заколоченные окна церкви. В церкви жили старые худые пауки. Они заткали все окна и часами сидели в оцепенении около высохших мух, болтавшихся в паутине.

Путь на озера был долог. День стоял туманный, засыпанный сухими березовыми листьями. Просвистывали синицы, курлыкали журавли над вершинами сосен. Ваня узнавал старые места: лесные заброшенные дороги, уводившие в заросли осинника, просеки, заросшие вереском, бессмертником и колосистой травой, и муравьиные тропы в рыжем зернистом песке.

Над лесным краем стояла прозрачная тишина — та осенняя тишина, когда кажется, что звенит даже паутина, перелетающая через поляны.

По пути зашли в деревню, где стояла Ванина изба.

В избе давно уже жили чужие — семья лесника.

К Ване вышла девушка в синем сарафане. Две длинных темных косы она перекинула через плечо и все время перебирала их от смущения.

— Дома-то никого нет, — сказала она и подняла на Ваню спокойные светлые глаза. — Отец в лесу,

а мать поехала в город на колхозную ярмарку. Зайдите.

Ваня вошел и остановился у притолоки. Цветы стояли на окошках, на столе, даже на полатях, где умер отец. Солнечный свет падал на суровую скатерть и раскрытую на столе книгу. Пахло сухим хлебом и яблоками.

Ваня взял книгу — это была ботаника.

— Учебник, — улыбнулась девушка. — Я здесь только летом живу, зимой учусь в городе.

Ваня по дороге в лесу собрал немного цветов. Он срывал их и старался вспомнить их названия. Он показал цветы девушке и пожаловался, что вот, мол, забыл русский язык и не помнит названия цветов. Девушка разложила цветы на столе, начала медленно перебирать их и называть имена: медуница, кипрей, ромашка, генциана, плакун-трава.

Ваня смотрел на нее, и ему все казалось, что это соседская Зинка. Когда он уезжал, ей было три года, она ползала по полу вся в коросте, измазанная куриным пометом, и мать звонкими шлепками отгоняла ее от корыта со свиным пойлом.

— Вы меня не помните? — спросил Ваня.

Девушка застенчиво посмотрела на него и покачала головой.

— Нет, не вспоминаю. А вы разве здешний?

Ваня не ответил. Он оставил цветы девушке и вышел. В сенях валялась в углу черная от старости, расколотая ступа, в которой дед Гундосый толок для отца целебные порошки. Долго потом Ваня не мог отделаться от мысли, что вся его прошлая жизнь, так же как и жизнь отца и матери, была чем-то похожа на эту страшную, вырубленную из дерева ступу, где годами толкли ядовитый злой порошок.

Дорога на Боровые озера шла сначала селами. Потом пошли сухие болота, заросшие низкой березкой, ольхой, брусникой и кукушкиным льном. Мшары были золотые от осени: желтые листья падали в жесткую и высохшую траву. Красные стрекозы летали над травами, в воздухе столбами толклась мошкара, облака медленно уходили в вышину и растворялись в ней — все это предвещало сухие и теплые дни. Среди мшар стояли острова сосновых боров. Сосны росли на песчаных холмах. Земля в лесах — тот серый, похожий на пепел подзол, из-за которого и начались все Ванины несчастья, — была покрыта папоротником и ландышами с оранжевыми ягодами.

На одном из лесистых островов Кузьма Петрович показал Ване свежие следы лося. Лось шел

скачками в сторону озер, должно быть, спешил на водопой. Уже на закате, когда огромное тихое солнце спускалось за океаны осенних лесов, Ваня и Кузьма Петрович поднялись на остров, где лежало пять Боровых озер. От воды тянуло ночной прохладой. Одинокая яркая звезда сверкала над лесами и отражалась в глубине озер.

Ваня остановился на холме над озерами, и слезы, как тогда в Брисбэне, в саду у доктора, подступили к горлу. Он вспомнил мальчика, свои рассказы о родине и подумал, что родина во сто крат прекраснее, чем он представлял ее себе издалека.

Всю ночь Ваня не спал, сидел у костра и прислушивался. Он узнавал плач сов, свист летучих мышей, сонные удары рыбы в озерных омутах. Чем глуше становилась ночь, тем ярче разгоралось небо. Перед рассветом взошел Сириус и медленно понес свой пронзительный зеленый огонь над сырыми чащами, где печально трубил, как будто звал кого-то, какой-то лесной зверь.

Кузьма Петрович проснулся, послушал и сказал:

— Сохатый плачет.

На обратном пути Ваня снова зашел в свою старую избу. Встретила его хлопотливая чистая

старушка в маленьких лаптях — тетка Василиса. Он совсем забыл о ней, но она его хорошо помнила.

— Ванятка! — вскрикнула она, расцеловалась с Ваней и захлопотала вокруг стола. — А народ все гудит и гудит который год, что ты сгинул за краем земли, пропал в теплых морях. Все твоего отца поминаю, Игната. До чего тихий был человек, даже кашлять надсадно боялся, чтобы людей не тревожить! Бывало, лежит, помирает. Придешь к нему, спросишь: «Тебе, Игнатушка, может, пирог ржаной испечь или бруснички принести к чаю, все полегчает малость?» А он говорит: «Ни к чему это, Василиса. Жизнь надо бы себе стесать хорошую, светлую, как новая изба, да вот не стесал: руки у нас, у мужиков, от навоза не гнутся...» Говорит: «Есть земля, Василиса, где стоят тихие, светлые воды и пшеница в полях клонит голову до самой земли — такой тугой у нее колос, — и песни народ поет веселые, как ихняя беспечальная жизнь. Да вот помираю, а той страны не видел. Ванюшка мой ее должен увидеть, а увидит — беспременно вспомнит отца». Так и помер Игнат, не дождался иной жизни. А Дарья померла, почитай, перед самой революцией, в одночасье. Простыла. Все бегала зимой в Пилево, дожидалась письма от те-

бя, а ты никак не писал. Бывало, плачет: «Ванятка мой больно далеко заехал, даже почта достигнуть не может. Зачем я его, дура, в Сибирь погнала?»

Ваня встал. Ему тяжело было слушать певучий Василисин рассказ о прошлом. Вошла девушка в синем сарафане, покраснела и поздоровалась с Ваней за руку.

— Дочка моя, — сказала старуха с гордостью. — Ты небось ее и не помнишь, Зинку-то? Она при тебе еще совсем сопливой была, а теперь учится в самой-то в Москве.

— Ну, мама! — сказала девушка с укором и еще гуще покраснела. Она застенчиво взглянула на Ваню и показала ему на стакан; в нем стояли лесные цветы — подарок Вани. — Вот и цветы без вас все завяли, — сказала она печально. — Я два раза воду меняла, а они вянут и вянут.

— Ай цветы тоже по человеку скучают? — спросила старуха и рассмеялась.

Через несколько дней Ваня послал из Пилева письмо со странным адресом: «Австралия, город Брисбэн».

Почтарь долго вертел письмо в руках, щупал: в письме что-то шуршало. Он посмотрел письмо на свет и увидел внутри очертания красного кленового листа. Почтарь ничего не понял, но

штемпель приложил очень старательно: пусть в Австралии знают, что есть на свете станция Пилево, утонувшая в русских лесах.

В письме было написано:

«*Спасибо, Боб,* за билет. Он оказался совсем настоящим. Меня везли в отдельной каюте с кипятком и цветами, всю дорогу играла музыка, кормили нас яблочными пудингами, и я вспоминал о тебе. Ты, смотри, не забывай меня все время, пока растешь, потому что, когда ты вырастешь и станешь большой, ты приедешь ко мне в гости, и я покажу тебе страну, где все делается для того, чтобы у людей было в будущем поменьше горя и побольше счастья.

Посылаю тебе лист из наших лесов. Наши леса совсем красные, ты таких никогда не видел. Недавно я ходил в леса на глубокие озера и видел следы лесного зверя – лося. Он похож на громадную лошадь, но только с рогами. Пиши мне, а я буду писать тебе. Передай привет твоей маме, скажи: от Джона. Он же тот самый матрос, который искал свой кисет с та-

баком по всему миру. Скажи маме, что я тоже нашел свой кисет дома.

Прощай, учись, веселись и будь здоров!

Твой Джон Зубов».

Ручьи, где плещется форель

Судьба одного наполеоновского маршала — не будем называть его имени, дабы не раздражать историков и педантов, — заслуживает того, чтобы рассказать ее вам, сетующим на скудость человеческих чувств.

Маршал этот был еще молод. Легкая седина и шрам на щеке придавали привлекательность его лицу. Оно потемнело от лишений и походов.

Солдаты любили маршала: он разделял с ними тяжесть войны. Он часто спал в поле у костра, закутавшись в плащ, и просыпался от хриплого крика трубы. Он пил с солдатами из одной манерки и носил потертый мундир, покрытый пылью.

Он не видел и не знал ничего, кроме утомительных переходов и сражений. Ему никогда не приходило в голову нагнуться с седла и запросто спросить у крестьянина, как называется трава, которую топтал его конь, или узнать, чем знамениты города, взятые его солдатами во славу Франции. Непрерывная война научила его молчаливости, забвению собственной жизни.

Однажды зимой конный корпус маршала, стоявший в Ломбардии, получил приказ немед-

ленно выступить в Германию и присоединиться к «Большой армии».

На двенадцатый день корпус стал на ночлег в маленьком немецком городке. Горы, покрытые снегом, белели среди ночи. Буковые леса простирались вокруг, и одни только звезды мерцали в небе среди всеобщей неподвижности.

Маршал остановился в гостинице. После скромного ужина он сел у камина в маленьком зале и отослал подчиненных. Он устал, ему хотелось остаться одному. Молчание городка, засыпанного по уши снегом, напомнило ему не то детство, не то недавний сон, которого, может быть, и не было. Маршал знал, что на днях император даст решительный бой, и успокаивал себя тем, что непривычное желание тишины нужно сейчас ему, маршалу, как последний отдых перед стремительным топотом атаки.

Огонь вызывает у людей оцепенение. Маршал, не спуская глаз с поленьев, пылавших в камине, не заметил, как в зал вошел пожилой человек с худым, птичьим лицом. На незнакомце был синий заштопанный фрак. Незнакомец подошел к камину и начал греть озябшие руки. Маршал поднял голову и недовольно спросил:

— Кто вы, сударь? Почему вы появились здесь

так неслышно?

— Я музыкант Баумвейс, — ответил незнакомец. — Я вошел осторожно потому, что в эту зимнюю ночь невольно хочется двигаться без всякого шума.

Лицо и голос музыканта располагали к себе, и маршал, подумав, сказал:

— Садитесь к огню, сударь. Признаться, мне в жизни редко перепадают такие спокойные вечера, и я рад побеседовать с вами.

— Благодарю вас, — ответил музыкант, — но, если вы позволите, я лучше сяду к роялю и сыграю. Вот уже два часа, как меня преследует одна музыкальная тема. Мне надо ее проиграть, а наверху, в моей комнате, нет рояля.

— Хорошо… — ответил маршал, — хотя тишина этой ночи несравненно приятнее самых божественных звуков.

Баумвейс подсел к роялю и заиграл едва слышно. Маршалу показалось, что вокруг городка звучат глубокие и легкие снега, поет зима, поют все ветви буков, тяжелые от снега, и звенит даже огонь в камине. Маршал нахмурился, взглянул на поленья и заметил, что звенит не огонь, а шпора на его ботфорте.

— Мне уже мерещится всякая чертовщина, —

сказал маршал. — Вы, должно быть, великолепный музыкант?

— Нет, — ответил Баумвейс и перестал играть, — я играю на свадьбах и праздничных вечерах у маленьких князей и помещиков.

Около крыльца послышался скрип полозьев. Заржали лошади.

— Ну вот, — Баумвейс встал, — за мной приехали. Позвольте попрощаться с вами.

— Куда вы? — спросил маршал.

— В горах, в двух лье отсюда, живет лесничий, — ответил Баумвейс. — В его доме гостит сейчас наша прелестная певица Мария Черни. Она скрывается здесь от превратностей войны. Сегодня Марии Черни исполнилось двадцать три года, и она устраивает небольшой праздник. А какой праздник может обойтись без старого тапера Баумвейса?!

Маршал поднялся с кресла.

— Сударь, — сказал он, — мой корпус выступает отсюда завтра утром. Не будет ли неучтиво с моей стороны, если я присоединюсь к вам и проведу эту ночь в доме лесничего?

— Как вам будет угодно, — ответил Баумвейс и сдержанно поклонился, но было заметно, что он удивлен словами маршала.

— Но, — сказал маршал, — никому ни слова об этом. Я выйду через черное крыльцо и сяду в сани около колодца.

— Как вам будет угодно, — повторил Баумвейс, снова поклонился и вышел.

Маршал засмеялся. В этот вечер он не пил вина, но беспечное опьянение охватило его с необычайной силой.

— В зиму! — сказал он самому себе. — К черту, в лес, в ночные горы! Прекрасно!

Он накинул плащ и незаметно вышел из гостиницы через сад. Около колодца стояли сани — Баумвейс уже ждал маршала. Лошади, храпя, пронеслись мимо часового у околицы. Часовой привычно, хотя и с опозданием, вскинул ружье к плечу и отдал маршалу честь. Он долго слушал, как болтают, удаляясь, бубенцы, и покачал головой:

— Какая ночь! Эх, только бы один глоток горячего вина!

Лошади мчались по земле, кованной из серебра. Снег таял на их горячих мордах. Леса заколдовала стужа. Черный плющ крепко сжимал стволы буков, как бы стараясь согреть в них живительные соки.

Внезапно лошади остановились около ручья.

Он не замерз. Он круто пенился и шумел по камням, сбегая из горных пещер, из пущи, заваленной буреломом и мерзлой листвой.

Лошади пили из ручья. Что-то пронеслось в воде под их копытами блестящей струей. Они шарахнулись и рванули вскачь по узкой дороге.

— Форель, — сказал возница. — Веселая рыба!

Маршал улыбнулся. Опьянение не проходило. Оно не прошло и тогда, когда лошади вынесли сани на поляну в горах, к старому дому с высокой крышей.

Окна были освещены. Возница соскочил и откинул полость.

Дверь распахнулась, и маршал об руку с Баумвейсом вошел, сбросив плащ, в низкую комнату, освещенную светом, и остановился у порога. В комнате было несколько нарядных женщин и мужчин.

Одна из женщин встала. Маршал взглянул на нее и догадался, что это была Мария Черни.

— Простите меня, — сказал маршал и слегка покраснел. — Простите за непрошеное вторжение. Но мы, солдаты, не знаем ни семьи, ни праздников, ни мирного веселья. Позвольте же мне немного погреться у вашего огня.

Старый лесничий поклонился маршалу, а Ма-

рия Черни быстро подошла, взглянула маршалу в глаза и протянула руку. Маршал поцеловал руку, и она показалась ему холодной, как льдинка. Все молчали.

Мария Черни осторожно дотронулась до щеки маршала, провела пальцем по глубокому шраму и спросила:

— Это было очень больно?

— Да, — ответил, смешавшись, маршал, — это был крепкий сабельный удар.

Тогда она взяла его под руку и подвела к гостям. Она знакомила его с ними, смущенная и сияющая, как будто представляла им своего жениха. Шепот недоумения пробежал среди гостей.

Не знаю, нужно ли вам, читатель, описывать наружность Марии Черни? Если вы, как и я, были ее современником, то, наверное, слышали о светлой красоте этой женщины, о ее легкой походке, капризном, но пленительном нраве. Не было ни одного мужчины, который посмел бы надеяться на любовь Марии Черни. Быть может, только такие люди, как Шиллер, могли быть достойны ее любви.

Что было дальше? Маршал провел в доме лесничего два дня. Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое. Может

быть, это густой снег, падающий всю ночь, или зимние ручьи, где плещется форель. Или это смех и пение и запах старой смолы перед рассветом, когда догорают свечи и звезды прижимаются к стеклам, чтобы блестеть в глазах Марии Черни. Кто знает? Может быть, это обнаженная рука на жестком эполете, пальцы, гладящие холодные волосы, заштопанный фрак Баумвейса. Это мужские слезы о том, чего никогда не ожидало сердце: о нежности, о ласке, несвязном шепоте среди лесных ночей. Может быть, это возвращение детства. Кто знает? И может быть, это отчаяние перед расставанием, когда падает сердце и Мария Черни судорожно гладит рукой обои, столы, створки дверей той комнаты, что была свидетелем ее любви. И, может быть, наконец, это крик и беспамятство женщины, когда за окнами в дыму факелов, при резких выкриках команды наполеоновские жандармы соскакивают с седел и входят в дом, чтобы арестовать маршала по личному приказу императора.

Бывают истории, которые промелькнут и исчезнут, как птицы, но навсегда остаются в памяти у людей, ставших невольными их очевидцами.

Все вокруг осталось по-прежнему. Все так же шумели во время ветра леса, и ручей кружил в

маленьких водоворотах темную листву. Все так же отдавалось в горах эхо топора, и в городке болтали женщины, собираясь около колодца.

Но почему-то эти леса, и медленно падающий снег, и блеск форелей в ручье заставляли Баумвейса вынимать из заднего кармана фрака хотя и старый, но белоснежный платок, прижимать его к глазам и шептать бессвязные печальные слова о короткой любви Марии Черни и о том, что временами жизнь делается похожей на музыку.

Но, шептал Баумвейс, несмотря на сердечную боль, он рад, что был участником этого случая и испытал волнение, какое редко выпадает на долю старого бедного тапера.

Старый повар

В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик — бывший повар графини Тун. Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке цепной пес. Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог лаять.

Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий графини поселил его с тех пор в сторожке и выдавал ему время от времени несколько флоринов.

Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет восемнадцати. Все убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин — единственное богатство Марии.

Клавесин был такой старый, что струны его пели долго и тихо в ответ на все возникшие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин сторо-

жем своего дома. Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим, старческим гулом.

Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую рубаху, старик сказал:

— Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать исповедника, между тем мне нужно перед смертью очистить свою совесть.

— Что же делать? — испуганно спросила Мария.

— Выйди на улицу, — сказал старик, — и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедать умирающего. Тебе никто не откажет.

— Наша улица такая пустынная… — прошептала Мария, накинула платок и вышла.

Она пробежала через сад, с трудом открыла заржавленную калитку и остановилась. Улица была пуста. Ветер нес по ней листья, а с темного неба падали холодные капли дождя.

Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идет и напевает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился и спросил:

— Кто здесь?

Мария схватила его за руку и дрожащим голо-

сом передала просьбу отца.

— Хорошо, — сказал человек спокойно. — Хотя я не священник, но это все равно. Пойдемте.

Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяществом и простотой — огонь свечи поблескивал на его черном камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо.

Он был еще очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он тряхнул головой, поправил напудренный парик, быстро придвинул к кровати табурет, сел и, наклонившись, пристально и весело посмотрел в лицо умирающему.

— Говорите! — сказал он. — Может быть, властью, данной мне не от бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души.

— Я работал всю жизнь, пока не ослеп, — прошептал старик и притянул незнакомца за руку поближе к себе. — А кто работает, у того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой моя жена — ее звали Мартой — и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства и приказал кормить ее сливками и винными ягодами и поить горячим красным вином, я украл из сервиза графини Тун

маленькое золотое блюдо, разбил его на куски и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от дочери: я ее научил не трогать ни пылинки с чужого стола.

— А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это? — спросил незнакомец.

— Клянусь, сударь, никто, — ответил старик и заплакал. — Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы украсть!

— Как вас зовут? — спросил незнакомец.

— Иоганн Мейер, сударь.

— Так вот, Иоганн Мейер, — сказал незнакомец и положил ладонь на слепые глаза старика, — вы невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и не является кражей, а, наоборот, может быть зачтено вам как подвиг любви.

— Аминь! — прошептал старик.

— Аминь! — повторил незнакомец. — А теперь скажите мне вашу последнюю волю.

— Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии.

— Я сделаю это. А еще чего вы хотите?

Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал:

— Я хотел бы еще раз увидеть Марту такой, какой я встретил ее в молодости. Увидеть солнце

и этот старый сад, когда он зацветет весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с толку.

— Хорошо, — сказал незнакомец и встал. — Хорошо, — повторил он, подошел к клавесину и сел перед ним на табурет. — Хорошо! — громко сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков. — Слушайте, — сказал незнакомец. — Слушайте и смотрите.

Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда первый клавиш прозвучал под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи.

Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пес вылез из будки, сидел, склонив голову набок, и, насторожившись, тихонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пес только потряхивал ушами.

— Я вижу, сударь! — сказал старик и приподнялся на кровати. — Я вижу день, когда я встретился с Мартой и она от смущения разбила кувшин с

молоком. Это было зимой, в горах. Небо стояло прозрачное, как синее стекло, и Марта смеялась. Смеялась, — повторил он, прислушиваясь к журчанию струн.

Незнакомец играл, глядя в черное окно.

— А теперь, — спросил он, — вы видите что-нибудь?

Старик молчал, прислушиваясь.

— Неужели вы не видите, — быстро сказал незнакомец, не переставая играть, — что ночь из черной сделалась синей, а потом голубой, и теплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда, из комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы видите: первый луч упал на каменную ограду, нагрел ее, и от нее подымается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается все выше, все синей, все великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над нашей старой Веной.

— Я вижу все это! — крикнул старик.

Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов.

— Нет, сударь, — сказала Мария незнакомцу, —

эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь.

— Да, — ответил незнакомец, — это яблони, но у них очень крупные лепестки.

— Открой окно, Мария, — попросил старик.

Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату. Незнакомец играл очень тихо и медленно.

Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по одеялу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина не двигаясь, как будто околдованный собственной музыкой.

Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошел к кровати. Старик сказал задыхаясь:

— Я видел все так ясно, как много лет назад. Но я не хотел бы умереть и не узнать… имя. Имя!

— Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт, — ответил незнакомец.

Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом.

Когда она выпрямилась, старик был уже мертв. Заря разгоралась за окнами, и в ее свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега.

Степная гроза

Серый от старости деревянный дом приткнулся к склону оврага. Вверху по краю оврага шумели от весеннего ветра голые вербы, а внизу бормотал и переливался через погнутую немецкую каску мелкий ручей. Каска валялась в ручье давно, больше года, заржавела, но мальчишки со Слободки ее не трогали. Может быть, потому, что они без надобности не выходили из дому, а может быть, потому, что были теперь опытные насчет мин. Тронешь такую каску, грохнет рядом мина — и тогда «бенц»! Слово «бенц» на языке мальчишек означало всякую неожиданность, в том числе и внезапную смерть.

В доме жил старый учитель географии Иван Лукич, по прозвищу Патагонец. Прозвали его так за высокий рост и за красноватое, обветренное лицо. Иван Лукич, человек одинокий и неразговорчивый, до войны много времени проводил в лодке на Днепре — удил рыбу.

Кроме Ивана Лукича, в доме жил сейчас десятилетний Юрка, единственный сын вдового рыбака с Карантинного острова. Почти каждое лето Патагонец навещал отца Юрки — Никифора

Бесперечного, ездил с ним в днепровские плавни ловить сазанов.

Перед приходом немцев Никифор отвел Юрку в Херсон, к Ивану Лукичу, сказал, что сам он, Никифор, уходит на шаланде с рыбаками на Кинбурн, будет там биться с немцами, как бились в стародавние годы с турками «вечной памяти запорожские хлопцы».

Напоследок Никифор притянул к себе Юрку, взъерошил ему волосы, сказал:

— Дожидайся тут отцовского возврата. Слухай Ивана Лукича, потому что он знает, в чем наша пропорция.

Никифор любил выражаться торжественно и туманно.

Через день после ухода Никифора Иван Лукич собрался уходить с Юркой от немцев, но пришлось остаться — не на чем было переправиться через Днепр. Лодку свою Иван Лукич отдал бойцам, а моста не было.

Немцы в Слободку заходили редко. Их не интересовали хибарки, залатанные ржавой жестью, маленькие сырые огороды. Немцы расположились в городе, рубили на дрова городской сад, насаженный еще при Екатерине, уводили в степь евреев, открыли в городском театре казино с

музыкой для офицеров.

Иван Лукич и Юрка голодали. Юрка собирал по оврагу щавель — только щавелем и жили. Был еще небольшой запас пыльных сухарей и немного картошки. Ловить рыбу на Днепре немцы запретили. Иван Лукич очень от этого страдал. Огорчался и Юрка — с малых лет он привык к бою щук под крутоярами, к запаху очерета.

Днем и в городе, и на Слободке всегда бывало неспокойно. По ночам было не лучше, но Ивану Лукичу и Юрке ночи казались безопаснее, будто темнота в овраге отделяла их от немцев крепостной стеной. В сумерки Иван Лукич закладывал дверь железным засовом, завешивал окна, зажигал старинный медный ночник, ставил по сторонам его на столе тяжелые тома переплетенной «Нивы» и впервые за весь день спокойно закуривал толстую крученую папиросу из махорки, смешанной с сушеной крапивой.

Юрка сидел у стола, смотрел на комнату Ивана Лукича, и все в ней представлялось ему интересным и живым: огромный атлас Петри на столе в зеленом переплете с золотом, пыльные колбы с семенами, дубовый книжный шкаф и часы в виде швейцарского домика. Около домика стояла глиняная девушка в зеленом корсаже и красной

юбке с оборками и кормила таких же глиняных белых барашков. Часы эти отставали на четыре часа в сутки. На стенах висели картины: «Переход Суворова через Сен-Готард» Сурикова, «Девятый вал» Айвазовского и портрет путешественника Миклухо-Маклая — страшно худого человека с бородой, похожего на Ивана Лукича.

Иван Лукич садился в потертое ковровое кресло, доставал из ящика письменного стола железную коробку от икры с рыболовными принадлежностями, долго рассматривал крючки, поплавки, грузила, блесны — вздыхал.

От письменного стола пахло табаком и лекарствами. В ящиках лежала стопками пожелтевшая линованная бумага, стереоскоп с видами всех европейских столиц, медный бинокль и много других приятных вещей.

С каждым месяцем этих вещей становилось меньше. Иван Лукич продавал их на маленьком базаре, барахолке, и сам удивлялся, что находились на них покупатели.

Но, несмотря на продажу вещей, Иван Лукич быстро слабел и вскоре перестал быть похожим на патагонца. Кожа на лице посерела, припухла. Иван Лукич жаловался на холод и спал, не снимая шапки.

Освобождение приближалось. С востока надвигалась Красная Армия, и Иван Лукич все чаще мерил старым циркулем карту, соображал, когда советские части дойдут до города.

Однажды ночью Иван Лукич долго не спал, ворочался, даже вставал. Было тихо. Только изредка прошумят и стихнут старые вербы или прогудит высоко над домом неизвестно чей самолет. На рассвете Иван Лукич разбудил Юрку, сказал:

— Вставай! У тебя слух лучше моего.

Юрка вскочил, подошел к окну. Утро было темное, серое. Юрка протер рукавом запотевшее стекло, прижался к нему лбом. Стекло тихонько звякнуло, и далекий, но мощный гул медленно прошел мимо дома и затих в овраге. Потом прошел второй гул, третий. На окне в деревянной плошке взошел посаженный Иваном Лукичом овес. Тоненькие его травинки наклонились к стеклу, будто тоже прислушивались к канонаде, вздрагивали.

Утром Иван Лукич ушел на базар, чтобы разузнать новости. Юрка остался один. Он сидел на теплом от солнца полу и рассматривал «Ниву» за 1907 год. Кто-то подошел к окну, постучал. Юрка закрылся томом «Нивы», осторожно выглянул из-за него. За окном стояла соседка, бабка Федосья.

Юрка открыл ей дверь. Бабка вошла, покрестилась на портрет Миклухо-Маклая, зашептала:

— Немцы тревожатся. Ходят скрозь по домам, ищут детей и родичей партизанских. Видно, тронулась их власть, и они перед концом хотят полютовать над людьми. Где Иван Лукич?

— На базаре, — шепотом ответил Юрка.

— Ну, смотри! — сказала бабка Федосья. — Все мы знаем, что ты внучек Ивана Лукича, а может, найдется на Слободке подлюга, который и больше нашего знает и расскажет немцам, кто ты есть на самом деле. Тогда убьют немцы обоих вас в первой балочке.

— А его за что? — спросил Юрка; губы его тряслись.

— За то, что сховал тебя при родном отце партизане, — ответила бабка. — Конечно, за его доброту. В степь подаваться надо вам обоим. Придет Иван Лукич, скажи ему. Тебя найдут — и его кончат. И дом спалят.

— А одного его не кончат? — спросил Юрка. — Без меня?

— Откуда я знаю! — ответила бабка. — Может, одного и не кончат. Надо думать, хлопчик, что и справди не кончат, потому не будет у них нияких доказательств. А ты — доказательство!

Бабка ушла. Юрка постоял среди комнаты, схватил свой кожушок и шапку, вышел, припер дверь палкой и побежал низом по оврагу в степь.

Степь только что начала просыхать от весенней грязи. Всюду в балках бежала вода, и желтые цветы мать-и-мачехи уже раскрывались на солнцепеке.

Юрка пробирался подальше от хуторов. К северу ушли, затерялись телеграфные столбы железной дороги на Николаев. Потом перед собой в степи он увидел людей и свернул на юг. Люди копались в земле — должно быть, рыли окопы или рвы против танков.

Остановился Юрка около старого шалаша-куреня. В курене никого не было, только валялись гнилой хворост и прошлогодние арбузные корки. Наверное, здесь был когда-то баштан, и в этом курене сидел старый сторож, такой же, как дед Лысуха на Карантинном острове.

Дед Лысуха был подслеповатый и глухой. Он ничего не видел и потому, сидя у куреня, все время покрикивал наудачу на воображаемых воров — мальчишек: «А ну, марш с баштана, голота! Вот выдерну с плетня дрючок да встану — тогда будете знать!» Крик деда на пустом баштане веселил рыбаков. «До чего старательный, — говорили

они. — Кричит весь день, а у него из-под постолов хлопчики тянут дыни. Да бог с ним, пусть сторожит. Надо же старому пропитание».

Юрка подобрал сухие арбузные корки, вытер о кожушок, начал жевать. Они были твердые, как кожа, но все же их можно было разжевать в кисловатую кашицу.

Днем небо затянулось облачной скатертью, задул ветер, закачал слабую весеннюю траву. Юрка залез в шалаш, переворошил хворост, сел, засунул руки в рукава кожушка и задумался.

Что делать дальше? Вот он ушел из города, чтобы из-за него, из-за Юрки, немцы не убили Ивана Лукича, ушел и не взял ни одного сухаря, в смятении забыл про еду. «Буду тихо сидеть в курене, не двигаться, дышать носом, как советовал Иван Лукич, — думал Юрка, — а выходить только в балочку за водой. Тогда продержусь целую неделю. А за неделю, может, и выбьют наши германцев и ихних полицаев, и не успеют они меня приколоть. А как же Иван Лукич?»

Юрка начал краснеть. Жар бросился ему в щеки.

Что он подумает, Иван Лукич? Ушел, бросил его одного, старенького, напугался. Где ему догадаться, что Юрка ушел, чтобы отвести от него

опасность! И записку никак нельзя было оставить: придут немцы, найдут — тогда верная смерть. Что же делать? Отец всегда говорил, что нет на свете худшего «злодеянства», как бросить своего человека в беде. В качестве примера он рассказывал историю о Казачьем кургане, где похоронены запорожцы, перебитые турками. Запорожцев выдал туркам из трусости свой же казак, и, как говорил Никифор, «того казака, что выдал товарыство, турки вбылы первого».

— И за дело вбылы, Юрка! За дело! — добавлял Никифор.

Как же быть? Побежать разве обратно в город, объяснить Ивану Лукичу, почему он, Юрка, ушел в степь…

В степи потемнело, ветер задувал все сильней. С юга, с моря нагоняло низкие тучи.

«Подожду до ночи, — решил Юрка. — Ночью вернусь в город, тогда меня никто не увидит, не схватит. И уйдем опять в степь вместе с Иваном Лукичом».

Юрка обнял колени, опустил на них голову, затих, задремал.

Очнулся он в темноте. Ветра не было. Юрка осторожно выглянул. Мгла лежала над степью, а на востоке глухо гремело — должно быть, подхо-

дила гроза. «Лишь бы дождя не было», — подумал Юрка и посмотрел на крышу куреня. Она была сложена из дерна. В темноте мутно белели дыры в тех местах, где дерн обвалился.

Далеко в степи закричал человек. Юрка задержал дыхание, прислушался. Крик повторился, но уже дальше. Человек, должно быть, ходил по степи, спотыкался, искал кого-то, звал жалобным голосом.

«Сумасшедший! — подумал Юрка. — Разве здоровый будет ходить в такую ночь по степи, кричать на верную смерть».

Юрка поднял голову, ждал. Крик не повторялся. Было опять тихо, даже гром не гремел, и Юрка слышал, как тяжело, до искр в глазах, колотится его сердце.

Может быть, сумасшедший заметил курень, замолчал и подкрадывается к нему?

Юрка вылез из куреня, пополз по сырой земле, путаясь в ботве. Кто-то, громко топая сапогами, пробежал в темноте, остановился, сказал, задыхаясь: «Вот гадюки, чтоб их громом убило!» — и побежал дальше. Еще никогда Юрка не видел такой страшной ночи.

Небо было как сажа, и все кругом было как сажа, и хоть бы одна звезда загорелась в небе!

Неожиданно мутным красным огнем вспыхнула чернота, осветился курень — он был совсем близко, — снова накатилась ночь, и такой гром ударил по земле, что у Юрки дернулась и заболела голова. Накатываясь друг на друга, торопясь и перебивая, загрохотали разрывы, зашумел ветер, засвистела дикая ночь.

Юрка вскочил и побежал в степь. Он спотыкался, падал. Что-то черное и мокрое зашумело по земле, по кожушку, и Юрка не сразу понял, что начался дождь. А с востока все чаще разверзались залпы, будто великаны разрывали небо, и за ним открывалось другое небо из угрюмого страшного пламени. Каждый раз, когда вспыхивал этот свет, Юрка видел, как косматое и зловещее солнце несется, вертясь и мигая, за пологом черных туч и гаснет тотчас, как только гаснут залпы.

Солнце как будто мчалось в вышине с яростной быстротой, но вместе с тем оставалось на месте.

«Сон, что ли?» — подумал Юрка, ударился обо что-то большое, темное и упал. «Хата, — подумал Юрка. — Вся кривая, разбитая». Он схватился за угол хаты, попал рукой в густую грязь, и под слоем грязи пальцы его наткнулись на холодную сталь. Зажегся залп, и Юрка увидел забитые глиной гусеницы танка у себя над головой. Они висели,

разорванные взрывом, тяжелые и неподвижные. Пахло гарью, бензином.

Юрка шарахнулся, бросился назад, нога у него подвернулась. Он упал и услышал, как далеко в непроглядной ночи кричали сотни людей. «Сошлись!» — вскрикнул Юрка и больше уже ничего не слышал — только земля скрипела у него на зубах.

Когда он открыл глаза, над головой в чистом утреннем небе нехотя плыли, будто хотели остановиться, но не останавливались, легкие облака. На их белые верхушки нельзя было смотреть — так они светились от солнца. Хотелось лечь на край такого облака и плыть над степью.

Юрка скосил глаза, но земли не увидел. Со всех сторон медленно плыли облака, будто он лежал в воздухе, и огромное небо задумчиво вращалось вокруг него, как облачная карусель. Свиристела рядом маленькая степная птица.

Юрка поднял голову и увидел, что лежит на сухой соломе в грузовой машине. Машина стояла.

Потом над бортом машины показалась стальная каска. Юрка сжался, смотрел на каску; сердце его колотилось.

Каска медленно подымалась, и вскоре под ней появилось веснушчатое лицо бойца с выгорев-

шими бровями. Боец молча посмотрел на Юрку, таинственно ему подмигнул. Юрка улыбнулся.

— Ага! — сказал боец. — Итак, значит, живы-здоровы?

Юрка молчал.

— Петров! — сказал боец кому-то, кто сидел, очевидно, на земле около машины. — Похоже, что этот гражданин из колонии глухонемых.

— Не! — сказал Юрка таким сиплым голосом, что ему самому стало неловко. — Я не глухой. Я из Херсона. А вы откуда?

— Мы? — спросил боец. — Мы костромские. Прибыли в ваше расположение для организации немецкого драпа.

Глухой бас из-под машины сказал:

— С добрым утром, молодой человек. Не желаете ли консервов? Свино-бобовых?

— Здравствуйте, — тихо ответил Юрка и сел. — Я сейчас слезу.

Юрка вылез. Низко по горизонту стлался дым. Около машины сидел на куче щебня высокий бородатый боец и открывал консервную банку. Он посмотрел на Юрку и кивнул ему головой. Маленький чернявый водитель вытирал тряпкой стекла в кабине.

— Арутюн, — позвал бородатый, — иди, садись,

режь хлеб. Бобы мировые.

— Я резать хлеб не могу, — ответил водитель. — Я весь горючим пропах. Около меня даже курить опасно.

Так началось знакомство Юрки с бойцами. Они рассказали ему, как подобрали его на рассвете, чуть начало синеветь над степью. А Юрка, поев консервов, осмелев, рассказал им о Никифоре, об Иване Лукиче, о том, как он, Юрка, жил в Херсоне и убежал, чтобы не подвести Ивана Лукича под немецкий расстрел. Бойцы слушали, ковыряли в жестянке ложками.

— Итак, — сказал боец в веснушках, — допросом установлено, что указанный гражданин, — боец сделал свирепое лицо и посмотрел на Юрку, — есть сын рыбака, партизанящего на Кинбурне, и воспитанник старого педагога, каковой педагог в свободное от служебных занятий время интересуется ужением рыбы на Днепре. Правильно я вас понял, молодой человек?

— Правильно, — неуверенно ответил Юрка и на всякий случай спросил: — А вы кто такие?

— Мы члены общества любителей соловьиного пения, — ответил боец с веснушками.

Юрка улыбнулся — очень забавно разговаривал веснушчатый. Но бородатый боец и водитель,

должно быть, привыкли к его разговорам и продолжали ковыряться в банке с бобами, не обращая внимания на веснушчатого. Только водитель сказал:

— Брось морочить мальчику голову. Мы связисты.

— Вот что, хлопчик, — сказал бородатый боец, — ты до Херсона один не дотопаешь. Определенно не дотопаешь. Всего еще много — и мин, и одиночных немцев по степи, и черт его знает чего. Лезь в кузов! Мы поедем до моря, а оттуда Арутюн вернется в Херсон. И тебя доставит. Сговорились?

— Сговорились, — ответил Юрка. — А вам зачем к морю?

— Много будешь знать — облысеешь!

Вскоре машина тронулась. Ветер зашумел в ушах. Из-под колес на молодые травы полетели комья грязи. Чем дальше шла машина, тем сильнее дул ветер, тем громче пел веснушчатый боец незнакомую Юрке песню:

Эх, позарастали стежки-дорожки!

Юрке уже казалось, что война где-то далеко и что не было здесь никаких немцев. Казалось, может быть, потому, что бойцы ничего не гово-

рили о войне, а может быть, потому, что машина бежала на юг, к морю, по глухой проселочной дороге, а бой шел в стороне, на западе. И если бы не толпа пленных немцев, которых вели всего два конвоира, то Юрка совсем бы позабыл о войне. Немцы были почернелые, будто копченые, и тяжело месили грязь низкими сапогами.

Машина остановилась около рыбачьей лачуги. Юрка выскочил и прищурился — широко летел в лицо разгонистый ветер, а под обрывом, совсем рядом, бежало навстречу море, разливалось зеркалами по пескам, несло соленую пыль.

Пока бойцы вытаскивали из машины связки проволоки и ящики, Юрка сбежал на берег. Волны подымались, вода просвечивала зеленым бутылочным цветом. Потом они с громом падали на песок и уходили, уволакивая голыши, медную гильзу от снаряда и мандариновую кожуру.

Вдали желтел низкий берег. Над ним расплывались в небе темные шары разрывов.

«Кинбурн, — подумал Юрка. — Там еще немцы. Должно быть, отец бьется с ними, выбивает последних, гонит прямо в Черное море дельфинам на ужин».

Водитель позвал Юрку, сказал, что пора ехать. Юрка зашел в лачугу попрощаться с бойцами.

Внутри было пусто, мусорно, стояла старая лавка, и только в углу висела такая же икона, как и у них в хате на Карантинном острове: черный дед в серебряной ризе, святитель Николай из Мир Ликийских, заступник рыбацкого племени. За икону была заткнута сухая ветка вербы, а рядом на стене висела немецкая пилотка.

Веснушчатый боец подметал лачугу веником из полыни. Он сдернул пилотку со стены, бросил в печь — там уже горел огонь под котелком. Но бородатый боец вытащил пилотку щепкой, вынес и выбросил в степь.

— Кулеш, — сказал он, — дело чистое. Не годится чадить около него немецким барахлом.

Юрка поблагодарил бойцов, попрощался с ними.

— Погоди! — сказал веснушчатый. — Есть разговор.

Он вынул из вещевого мешка коробку от печенья, развязал ее, осторожно порылся в ней и протянул Юрке три раскрашенных гусиных поплавка. На одном были синие, оранжевые и желтые полосы, на другом — крошечные цветы и травы, а на третьем — множество разноцветных точек, мелких, как маковые зерна.

— Сам красил, — сказал веснушчатый. — Я

тоже рыболов. Всюду с собой их таскаю. Устану — разверну их, погляжу, потрогаю, и как будто и не было утомления. Пустая вещь поплавок, а вот подумай, какая от него поддержка. Вспомнишь зарю на нашем озере, кусты, вода стоит тихая, пар над ней по утрам, журавли курлычут на болотах. Хорошо! Знаменито! И сразу у меня легче становится шаг. Один поплавок возьми себе, другой — твоему папаше, а вот этот, с цветами, — учителю твоему. Так и скажешь: от Семечкина Ивана, рыболова и бойца. В знак почтения.

Юрка спрятал поплавки в шапку и ушел сконфуженный и радостный.

В середине дня машина остановилась при въезде в город около Слободки. Юрка выскочил, попрощался с водителем и побежал к себе в овраг. Дым еще стоял над городом. В небе звенели серебряные самолеты, и Юрка видел на их крыльях маленькие красные звезды.

Юрка спустился в овраг, перескочил через ручей, увидел Слободку и остановился. Облупленные и серые слободские хаты сверкали, как снег. Женщины в подоткнутых платьях мазали стены квачами, обводили синей каймой окна, а одна — Христина, белозубая и дерзкая на язык, — даже нарисовала над каждым окном пышные пионы.

— Здоров! — крикнула Христина Юрке. — Всей Слободкой после немцев мажемся. Теперь наша Слободка — как небесный рай. И Иван Лукич мажется.

Юрка побежал к дому Ивана Лукича. Он издали увидел, как Иван Лукич стоит на табурете и мажет кистью высоко под крышей. Окна в доме впервые были открыты настежь, и только что вымытые фикусы блестели на солнце.

— Иван Лукич! — крикнул Юрка и заплакал. — Здравствуйте!

Больше он ничего не мог сказать. Иван Лукич обернулся, уронил кисть, торопливо слез с табурета, подошел к Юрке. Стекла очков Ивана Лукича были забрызганы мелом.

Иван Лукич схватил Юрку за плечи, потряс, обнял, поцеловал. И снял очки. Со стекол упало на землю несколько мутных от мела капель. Иван Лукич вытер глаза, сказал:

— Жив! Голодный небось, как волчонок? Еще бы не голодный! Ты зачем удрал? Думаешь, я не знаю. Я, брат, все знаю и одобряю. Завтра партизаны возвращаются с Кинбурна, Никифор приедет, а ты замурзанный, как галчонок. Пойдем! Переоденешься, чай сейчас вскипит.

Иван Лукич снова потряс Юрку за плечи и повел

в дом. В комнатах было весело, пахло чистотой, весной, вымытыми полами. На полу около окна дрались из-за червяка два взъерошенных воробья, тянули червяка клювами каждый к себе.

Увидев Ивана Лукича и Юрку, воробьи бросили червей и со страшным переполохом удрали в окно.

— Чертенята! — закричал Иван Лукич. — Разворовали червей.

Иван Лукич взглянул на Юрку. Юрка смеялся. Иван Лукич покраснел, пробормотал:

— Понимаешь, утром накопал целую банку подлистников. Для окуня нет лучше насадки. И, пожалуй, даже для леща. Так… впрок накопал.

Тогда Юрка достал из шапки два раскрашенных поплавка и протянул Ивану Лукичу.

— Это вам от одного бойца-рыболова, — сказал он. — От Семечкина Ивана. В знак почтения!

Иван Лукич взял поплавки, осторожно провел по ним пальцем, улыбнулся:

— Спасибо! Это — на счастье. Такой поплавок будет плавать в днепровской воде, как цветок с каких-нибудь Гавайских островов. Значит, двинем после чая на Днепр, Юрка. Удочки у меня в полном порядке.

— Двинем, Иван Лукич, — ответил Юрка.

За окнами весело перекликались женщины, пела Христина, кричали воробьи. От распускавшихся верб пахло нагретой корой, и хороводом ходили над городом и днепровским разливом, сверкая в небесной голубизне, серебряные самолеты.

Снег

Старик Потапов умер через месяц после того, как Татьяна Петровна поселилась у него в доме. Татьяна Петровна осталась одна с дочерью Варей и старухой нянькой.

Маленький дом — всего в три комнаты — стоял на горе, над северной рекой, на самом выезде из городка. За домом, за облетевшим садом, белела березовая роща. В ней с утра до сумерек кричали галки, носились тучами над голыми вершинами, накликали ненастье.

Татьяна Петровна долго не могла привыкнуть после Москвы к пустынному городку, к его домишкам, скрипучим калиткам, к глухим вечерам, когда было слышно, как потрескивает в керосиновой лампе огонь.

«Какая я дура! — думала Татьяна Петровна. — Зачем уехала из Москвы, бросила театр, друзей! Надо было отвезти Варю к няньке в Пушкино — там не было никаких налетов, — а самой остаться в Москве. Боже мой, какая я дура!»

Но возвращаться в Москву было уже нельзя. Татьяна Петровна решила выступать в лазаретах — их было несколько в городке — и успокоилась.

Городок начал ей даже нравиться, особенно когда пришла зима и завалила его снегом. Дни стояли мягкие, серые. Река долго не замерзала; от ее зеленой воды поднимался пар.

Татьяна Петровна привыкла и к городку, и к чужому дому. Привыкла к расстроенному роялю, к пожелтевшим фотографиям на стенах, изображавшим неуклюжие броненосцы береговой обороны. Старик Потапов был в прошлом корабельным механиком. На его письменном столе с выцветшим зеленым сукном стояла модель крейсера «Громобой», на котором он плавал. Варе не позволяли трогать эту модель. И вообще не позволяли ничего трогать.

Татьяна Петровна знала, что у Потапова остался сын-моряк, что он сейчас в Черноморском флоте. На столе рядом с моделью крейсера стояла его карточка. Иногда Татьяна Петровна брала ее, рассматривала и, нахмурив тонкие брови, задумывалась. Ей все казалось, что она где-то его встречала, но очень давно, еще до своего неудачного замужества. Но где? И когда?

Моряк смотрел на нее спокойными, чуть насмешливыми глазами, будто спрашивал: «Ну что ж? Неужели вы так и не припомните, где мы встречались?»

— Нет, не помню, — тихо отвечала Татьяна Петровна.

— Мама, с кем ты разговариваешь? — кричала из соседней комнаты Варя.

— С роялем, — смеялась в ответ Татьяна Петровна.

Среди зимы начали приходить письма на имя Потапова, написанные одной и той же рукой. Татьяна Петровна складывала их на письменном столе. Однажды ночью она проснулась. Снега тускло светили в окна. На диване всхрапывал серый кот Архип, оставшийся в наследство от Потапова.

Татьяна Петровна накинула халат, пошла в кабинет к Потапову, постояла у окна. С дерева беззвучно сорвалась птица, стряхнула снег. Он долго сыпал белой пылью, запорошил стекла.

Татьяна Петровна зажгла свечу на столе, села в кресло, долго смотрела на язычок огня — он даже не вздрагивал. Потом она осторожно взяла одно из писем, распечатала и, оглянувшись, начала читать.

«Милый мой старик, — читала Татьяна Петровна, — вот уже месяц, как я лежу в госпитале. Рана не очень тяжелая. И вообще она заживает. Ради бога, не волнуйся и не кури папиросу за

папиросой. Умоляю!»

«Я часто вспоминаю тебя, папа, — читала дальше Татьяна Петровна, — и наш дом, и наш городок. Все это страшно далеко, как будто на краю света. Я закрываю глаза и тогда вижу: вот я отворяю калитку, вхожу в сад. Зима, снег, но дорожка к старой беседке над обрывом расчищена, а кусты сирени все в инее. В комнатах трещат печи. Пахнет березовым дымом. Рояль наконец настроен, и ты вставил в подсвечники витые желтые свечи — те, что я привез из Ленинграда. И те же ноты лежат на рояле: увертюра к «Пиковой даме» и романс «Для берегов отчизны дальней». Звонит ли колокольчик у дверей? Я так и не успел его починить. Неужели я все это увижу опять? Неужели опять буду умываться с дороги нашей колодезной водой из кувшина? Помнишь? Эх, если бы ты знал, как я полюбил все это отсюда, издали! Ты не удивляйся, но я говорю тебе совершенно серьезно: я вспоминал об этом в самые страшные минуты боя. Я знал, что защищаю не только всю страну, но и вот этот ее маленький и самый милый для меня уголок — и тебя, и наш сад, и вихрастых наших мальчишек, и березовые рощи за рекой, и даже кота Архипа. Пожалуйста, не смейся и не качай головой.

Может быть, когда выпишусь из госпиталя, меня отпустят ненадолго домой. Не знаю. Но лучше не жди».

Татьяна Петровна долго сидела у стола, смотрела широко открытыми глазами за окно, где в густой синеве начинался рассвет, думала, что вот со дня на день может приехать с фронта в этот дом незнакомый человек и ему будет тяжело встретить здесь чужих людей и увидеть все совсем не таким, каким он хотел бы увидеть.

Утром Татьяна Петровна сказала Варе, чтобы она взяла деревянную лопату и расчистила дорожку к беседке над обрывом. Беседка была совсем ветхая. Деревянные ее колонки поседели, заросли лишаями. А сама Татьяна Петровна исправила колокольчик над дверью. На нем была отлита смешная надпись: «Я вишу у дверей — звони веселей!» Татьяна Петровна тронула колокольчик. Он зазвенел высоким голосом. Кот Архип недовольно задергал ушами, обидевшись, ушел из прихожей: веселый звон колокольчика казался ему, очевидно, нахальным.

Днем Татьяна Петровна, румяная, шумная, с потемневшими от волнения глазами, привела из города старика настройщика, обрусевшего чеха, занимавшегося починкой примусов, керосинок,

кукол, гармоник и настройкой роялей. Фамилия у настройщика была очень смешная: Невидаль. Чех, настроив рояль, сказал, что рояль старый, но очень хороший. Татьяна Петровна и без него это знала.

Когда он ушел, Татьяна Петровна осторожно заглянула во все ящики письменного стола и нашла пачку витых толстых свечей. Она вставила их в подсвечники на рояле. Вечером она зажгла свечи, села к роялю, и дом наполнился звоном.

Когда Татьяна Петровна перестала играть и погасила свечи, в комнатах запахло сладким дымом, как бывает на елке.

Варя не выдержала.

— Зачем ты трогаешь чужие вещи? — сказала она Татьяне Петровне. — Мне не позволяешь, а сама трогаешь? И колокольчик, и свечи, и рояль — все трогаешь. И чужие ноты на рояль положила.

— Потому что я взрослая, — ответила Татьяна Петровна.

Варя, насупившись, недоверчиво взглянула на нее. Сейчас Татьяна Петровна меньше всего походила на взрослую. Она вся как будто светилась и была больше похожа на ту девушку с золотыми волосами, которая потеряла хрустальную туфлю

во дворце. Об этой девушке Татьяна Петровна сама рассказывала Варе.

Еще в поезде лейтенант Николай Потапов высчитал, что у отца ему придется пробыть не больше суток. Отпуск был очень короткий, и дорога отнимала все время.

Поезд пришел в городок днем. Тут же, на вокзале, от знакомого начальника станции лейтенант узнал, что отец его умер месяц назад и что в их доме поселилась с дочерью молодая певица из Москвы.

— Эвакуированная, — сказал начальник станции.

Потапов молчал, смотрел за окно, где бежали с чайниками пассажиры в ватниках, в валенках. Голова у него кружилась.

— Да, — сказал начальник станции, — хорошей души был человек. Так и не довелось ему повидать сына.

— Когда обратный поезд? — спросил Потапов.

— Ночью, в пять часов, — ответил начальник станции, помолчал, потом добавил: — Вы у меня перебудьте. Старуха моя вас напоит чайком, накормит. Домой вам идти незачем.

— Спасибо, — ответил Потапов и вышел.

Начальник посмотрел ему вслед, покачал го-

ловой.

Потапов прошел через город, к реке. Над ней висело сизое небо. Между небом и землей наискось летел редкий снежок. По унавоженной дороге ходили галки. Темнело. Ветер дул с того берега, из лесов, выдувал из глаз слезы.

«Ну что ж! — сказал Потапов. — Опоздал. И теперь это все для меня будто чужое — и городок этот, и река, и дом».

Он оглянулся, посмотрел на обрыв за городом. Там стоял в инее сад, темнел дом. Из трубы его поднимался дым. Ветер уносил дым в березовую рощу.

Потапов медленно пошел в сторону дома. Он решил в дом не заходить, а только пройти мимо, быть может, заглянуть в сад, постоять в старой беседке. Мысль о том, что в отцовском доме живут чужие, равнодушные люди, была невыносима. Лучше ничего не видеть, не растравлять себе сердце, уехать и забыть о прошлом!

«Ну что же, — подумал Потапов, — с каждым днем делаешься взрослее, все строже смотришь вокруг».

Потапов подошел к дому в сумерки. Он осторожно открыл калитку, но все же она скрипнула. Сад как бы вздрогнул. С веток сорвался снег,

зашуршал. Потапов оглянулся. К беседке вела расчищенная в снегу дорожка. Потапов прошел в беседку, положил руки на старенькие перила. Вдали, за лесом, мутно розовело небо — должно быть, за облаками подымалась луна. Потапов снял фуражку, провел рукой по волосам. Было очень тихо, только внизу, под горой, бренчали пустыми ведрами женщины — шли к проруби за водой.

Потапов облокотился о перила, тихо сказал:

— Как же это так?

Кто-то осторожно тронул Потапова за плечо. Он оглянулся. Позади него стояла молодая женщина с бледным строгим лицом, в накинутом на голову теплом платке. Она молча смотрела на Потапова темными внимательными глазами. На ее ресницах и щеках таял снег, осыпавшийся, должно быть, с веток.

— Наденьте фуражку, — тихо сказала женщина, — вы простудитесь. И пойдемте в дом. Не надо здесь стоять.

Потапов молчал. Женщина взяла его за рукав и повела по расчищенной дорожке. Около крыльца Потапов остановился. Судорога сжала ему горло, он не мог вздохнуть. Женщина так же тихо сказала:

— Это ничего. И вы, пожалуйста, меня не стесняйтесь. Сейчас это пройдет.

Она постучала ногами, чтобы сбить снег с ботиков. Тотчас в сенях отозвался, зазвенел колокольчик. Потапов глубоко вздохнул, перевел дыхание.

Он вошел в дом, что-то смущенно бормоча, снял в прихожей шинель, почувствовал слабый запах березового дыма и увидел Архипа. Архип сидел на диване и зевал. Около дивана стояла девочка с косичками и радостными глазами смотрела на Потапова, но не на его лицо, а на золотые нашивки на рукаве.

— Пойдемте! — сказала Татьяна Петровна и провела Потапова в кухню.

Там в кувшине стояла холодная колодезная вода, висело знакомое льняное полотенце с вышитыми дубовыми листьями.

Татьяна Петровна вышла. Девочка принесла Потапову мыло и смотрела, как он мылся, сняв китель. Смущение Потапова еще не прошло.

— Кто же твоя мама? — спросил он девочку и покраснел.

Вопрос этот он задал, лишь бы что-нибудь спросить.

— Она думает, что она взрослая, — таинственно

прошептала девочка. — А она совсем не взрослая. Она хуже девочка, чем я.

— Почему? — спросил Потапов.

Но девочка не ответила, засмеялась и выбежала из кухни.

Потапов весь вечер не мог избавиться от странного ощущения, будто он живет в легком, но очень прочном сне. Все в доме было таким, каким он хотел его видеть. Те же ноты лежали на рояле, те же витые свечи горели, потрескивая, и освещали маленький отцовский кабинет. Даже на столе лежали его письма из госпиталя — лежали под тем же старым компасом, под который отец всегда клал письма.

После чая Татьяна Петровна провела Потапова на могилу отца, за рощу. Туманная луна поднялась уже высоко. В ее свете слабо светились березы, бросали на снег легкие тени.

А потом, поздним вечером, Татьяна Петровна, сидя у рояля и осторожно перебирая клавиши, обернулась к Потапову и сказала:

— Мне все кажется, что где-то я уже видела вас.

— Да, пожалуй, — ответил Потапов.

Он посмотрел на нее. Свет свечей падал сбоку, освещал половину ее лица. Потапов встал, про-

шел по комнате из угла в угол, остановился.

— Нет, не могу припомнить, — сказал он глухим голосом.

Татьяна Петровна обернулась, испуганно посмотрела на Потапова, но ничего не ответила.

Потапову постелили в кабинете на диване, но он не мог уснуть. Каждая минута в этом доме казалась ему драгоценной, и он не хотел терять ее.

Он лежал, прислушивался к воровским шагам Архипа, к дребезжанию часов, к шепоту Татьяны Петровны, — она о чем-то говорила с нянькой за закрытой дверью. Потом голоса затихли, нянька ушла, но полоска света под дверью не погасла. Потапов слышал, как шелестят страницы, — Татьяна Петровна, должно быть, читала. Потапов догадывался, что она не ложится, чтобы разбудить его к поезду. Ему хотелось сказать ей, что он тоже не спит, но он не решился окликнуть Татьяну Петровну.

В четыре часа Татьяна Петровна тихо открыла дверь и позвала Потапова. Он зашевелился.

— Пора, вам надо вставать, — сказала она. — Очень жалко мне вас будить!

Татьяна Петровна проводила Потапова на станцию через ночной город. После второго звонка они попрощались. Татьяна Петровна протянула

Потапову обе руки, сказала:

— Пишите. Мы теперь как родственники. Правда?

Потапов ничего не ответил, только кивнул головой.

Через несколько дней Татьяна Петровна получила от Потапова письмо с дороги.

«Я вспомнил, конечно, где мы встречались, — писал Потапов, — но не хотел говорить вам об этом там, дома. Помните Крым в двадцать седьмом году? Осень. Старые платаны в Ливадийском парке. Меркнущее небо, бледное море. Я шел по тропе в Ореанду. На скамейке около тропы сидела девушка. Ей было, должно быть, лет шестнадцать. Она увидела меня, встала и пошла навстречу. Когда мы поравнялись, я взглянул на нее. Она прошла мимо меня быстро, легко, держа в руке раскрытую книгу. Я остановился, долго смотрел ей вслед. Этой девушкой были вы. Я не мог ошибиться. Я смотрел вам вслед и почувствовал тогда, что мимо меня прошла женщина, которая могла бы и разрушить всю мою жизнь, и дать мне огромное счастье. Я понял, что могу полюбить эту женщину до полного отречения от себя. Тогда я уже знал, что должен найти вас, чего бы это ни стоило. Так я думал тогда, но все же не двинулся

с места. Почему — не знаю. С тех пор я полюбил Крым и эту тропу, где я видел вас только мгновение и потерял навсегда. Но жизнь оказалась милостивой ко мне, я встретил вас. И если все окончится хорошо и вам понадобится моя жизнь, она, конечно, будет ваша. Да, я нашел на столе у отца свое распечатанное письмо. Я понял все и могу только благодарить вас издали».

Татьяна Петровна отложила письмо, туманными глазами посмотрела на снежный сад за окном, сказала:

— Боже мой, я никогда не была в Крыму! Никогда! Но разве теперь это может иметь хоть какое-нибудь значение? И стоит ли разуверять его? И себя!

Она засмеялась, закрыла глаза ладонью. За окном горел, никак не мог погаснуть неяркий закат.

Дождливый рассвет

В Наволоки пароход пришел ночью. Майор Кузьмин вышел на палубу. Моросил дождь. На пристани было пусто, горел только один фонарь.

«Где же город? — подумал Кузьмин. — Тьма, дождь — черт знает что!»

Он поежился, застегнул шинель. С реки задувал холодный ветер.

Кузьмин разыскал помощника капитана, спросил, долго ли пароход простоит в Наволоках.

— Часа три, — ответил помощник. — Смотря по погрузке. А вам зачем? Вы же едете дальше.

— Письмо надо передать. От соседа по госпиталю. Его жене. Она здесь, в Наволоках.

— Да, задача! — вздохнул помощник. — Хоть глаз выколи! Гудки слушайте, а то останетесь.

Кузьмин вышел на пристань, поднялся по скользкой лестнице на крутой берег. Было слышно, как шуршит в кустах дождь. Кузьмин постоял, чтобы глаза привыкли к темноте, увидел понурую лошадь, кривую извозчичью пролетку. Верх пролетки был поднят. Из-под него слышался храп.

— Эй, приятель, — громко сказал Кузьмин, —

царство божие проспишь!

Извозчик заворочался, вылез, высморкался, вытер нос полой армяка и только тогда спросил:

— Поедем, что ли?

— Поедем, — согласился Кузьмин.

— А куда везти?

Кузьмин назвал улицу.

— Далеко, — забеспокоился извозчик. — На горе. Не меньше как на четвертинку взять надо.

Он задергал вожжами, зачмокал. Пролетка нехотя тронулась.

— Ты что же, единственный в Наволоках извозчик? — спросил Кузьмин.

— Двое нас, стариков. Остальные сражаются. А вы к кому?

— К Башиловой.

— Знаю, — извозчик живо обернулся. — К Ольге Андреевне, доктора Андрея Петровича дочке. Прошлой зимой из Москвы приехала, поселилась в отцовском доме. Сам Андрей Петрович два года как помер, а дом ихний…

Пролетка качнулась, залязгала и вылезла из ухаба.

— Ты на дорогу смотри, — посоветовал Кузьмин. — Не оглядывайся.

— Дорога действительно… — пробормотал из-

возчик. — Тут днем ехать, конечно, сробеешь. А ночью ничего. Ночью ям не видно.

Извозчик замолчал. Кузьмин закурил, откинулся в глубь пролетки. По поднятому верху барабанил дождь. Далеко лаяли собаки. Пахло укропом, мокрыми заборами, речной сыростью. «Час ночи, не меньше», — подумал Кузьмин. Тотчас где-то на колокольне надтреснутый колокол действительно пробил один удар.

«Остаться бы здесь на весь отпуск, — подумал Кузьмин. — От одного воздуха все пройдет, все неприятности после ранения. Снять комнату в домишке с окнами в сад. В такую ночь открыть настежь окна, лечь, укрыться и слушать, как дождь стучит по лопухам».

— А вы не муж ихний? — спросил извозчик.

Кузьмин не ответил. Извозчик подумал, что военный не расслышал его вопроса, но второй раз спросить не решился. «Ясно, муж, — сообразил извозчик. — А люди болтают, что она мужа бросила еще до войны. Врут, надо полагать».

— Но, сатана! — крикнул он и хлестнул вожжой костлявую лошадь. — Нанялась тесто месить!

«Глупо, что пароход опоздал и пришел ночью, — подумал Кузьмин. — Почему Башилов, его сосед по палате, когда узнал, что Кузьмин

будет проезжать мимо Наволок, попросил передать письмо жене непременно из рук в руки? Придется будить людей, бог знает, что еще могут подумать!»

Башилов был высокий насмешливый офицер. Говорил он охотно и много. Перед тем как сказать что-нибудь острое, он долго и беззвучно смеялся. До призыва в армию Башилов работал помощником режиссера в кино. Каждый вечер он подробно рассказывал соседям по палате о фильмах. Раненые любили рассказы Башилова, ждали их и удивлялись его памяти. В своих оценках людей, событий, книг Башилов был резок, очень упрям и высмеивал хитро — намеками, шутками, — и высмеянный обыкновенно только через час-два спохватывался, соображал, что Башилов его обидел, и придумывал ядовитый ответ. Но отвечать, конечно, было уже поздно.

За день до отъезда Кузьмина Башилов передал ему письмо для своей жены, и впервые на лице у Башилова Кузьмин заметил растерянную улыбку. А потом ночью Кузьмин слышал, как Башилов ворочался на койке и сморкался. «Может быть, он и не такой уж сухарь, — подумал Кузьмин. — Вот, кажется, плачет. Значит, любит. И любит сильно».

Весь следующий день Башилов не отходил от Кузьмина, поглядывал на него, подарил свою флягу, а перед самым отъездом они выпили вдвоем бутылку припрятанного Башиловым вина.

— Что вы на меня так смотрите? — спросил Кузьмин.

— Хороший вы человек, — ответил Башилов. — Вы могли бы быть художником, дорогой майор.

— Я топограф, — ответил Кузьмин, — а топографы по натуре те же художники.

— Почему?

— Бродяги, — неопределенно ответил Кузьмин.

— «Изгнанники, бродяги и поэты, — насмешливо продекламировал Башилов, — кто жаждал быть, но стать ничем не смог».

— Это из кого?

— Из Волошина. Но не в этом дело. Я смотрю на вас потому, что завидую. Вот и все.

— Чему завидуете?

Башилов повертел стакан, откинулся на спинку стула и усмехнулся. Сидели они в конце госпитального коридора у плетеного столика. За окном ветер гнул молодые деревья, шумел листьями, нес пыль. Из-за реки шла на город дождевая туча.

— Чему завидую? — переспросил Башилов и

положил свою красную руку на руку Кузьмина. — Всему. Даже вашей руке. И не левой. А именно правой.

— Ничего не понимаю, — сказал Кузьмин и осторожно убрал свою руку. Прикосновение холодной руки Башилова было ему неприятно. Но чтобы Башилов этого не заметил, Кузьмин взял бутылку и начал наливать вино.

— Ну, и не понимайте! — ответил Башилов сердито.

Он помолчал и заговорил, опустив глаза:

— Если бы мы могли поменяться местами! Но в общем, все это чепуха! Через два дня вы будете в Наволоках. Увидите Ольгу Андреевну. Она пожмет вам руку. Вот я и завидую. Теперь-то вы понимаете?

— Ну, что вы! — сказал, растерявшись, Кузьмин. — Вы тоже увидите вашу жену.

— Она мне не жена! — резко ответил Башилов. — Хорошо еще, что вы не сказали «супруга».

— Ну, извините, — пробормотал Кузьмин.

— Она мне не жена! — так же резко повторил Башилов. — Она — все! Ну, довольно об этом!

Он встал и протянул Кузьмину руку:

— Прощайте. А на меня не сердитесь. Я не хуже других.

Пролетка въехала на дамбу. Темнота стала гуще. В старых ветлах сонно шумел, стекал с листьев дождь. Лошадь застучала копытами по настилу моста.

«Далеко все-таки!» — вздохнул Кузьмин и сказал извозчику:

— Ты меня подожди около дома. Отвезешь обратно на пристань…

— Это можно, — тотчас согласился извозчик и подумал: «Нет, видать, не муж. Муж бы наверняка остался на день-другой. Видать, посторонний».

Началась булыжная мостовая. Пролетка затряслась, задребезжала железными подножками. Извозчик свернул на обочину. Колеса мягко покатились по сырому песку. Кузьмин снова задумался.

«Ночь, дождь шумит по пустым садам, чужой городок, с лугов несет туманом, — так и жизнь пройдет», — почему-то подумал Кузьмин.

Снова ему захотелось остаться здесь. Он любил русские городки, где с крылечек видны заречные луга, широкие взвозы, телеги с сеном на паромах. Эта любовь удивляла его самого. Вырос он на юге, в морской семье. От отца осталось у него пристрастие к изысканиям, географическим картам, скитальчеству. Поэтому он и стал топографом.

Профессию эту Кузьмин считал все же случайной и думал, что если бы родился в другое время, то был бы охотником, открывателем новых земель. Ему нравилось так думать о себе, но он ошибался. В характере у него не было ничего, что свойственно таким людям. Кузьмин был застенчив, мягок с окружающими. Легкая седина выдавала его возраст. Но, глядя на этого худенького, невысокого офицера, никто бы не дал ему больше тридцати лет.

Пролетка въехала наконец в темный городок. Только в одном доме, должно быть в аптеке, горела за стеклянной дверью синяя лампочка. Улица пошла в гору. Извозчик слез с козел, чтобы лошади было легче. Кузьмин тоже слез. Он шел, немного отстав, за пролеткой и вдруг почувствовал всю странность своей жизни. «Где я? — подумал он. — Какие-то Наволоки, глушь, лошадь высекает искры подковами. Где-то рядом — неизвестная женщина. Ей надо передать ночью важное и, должно быть, невеселое письмо. А два месяца назад были фронт, Польша, широкая тихая Висла. Странно как-то! И хорошо».

Гора окончилась. Извозчик свернул в боковую улицу. Тучи кое-где разошлись, и в черноте над головой то тут, то там зажигалась звезда. Побле-

стев в лужах, она гасла.

Пролетка остановилась около дома с мезонином.

— Приехали! — сказал извозчик. — Звонок у калитки, с правого боку.

Кузьмин ощупью нашел деревянную ручку звонка и потянул ее, но никакого звонка не услышал — только завизжала ржавая проволока.

— Шибче тяните, — посоветовал извозчик.

Кузьмин снова дернул за ручку. В глубине дома заболтал колокольчик. Но в доме было по-прежнему тихо, — никто, очевидно, не проснулся.

— Ох-хо-хо! — зевнул извозчик. — Ночь дождливая — самый крепкий сон.

Кузьмин подождал, позвонил сильнее. На деревянной галерейке послышались шаги. Кто-то подошел к двери, остановился, послушал, потом недовольно спросил:

— Кто такие? Чего надо?

Кузьмин хотел ответить, но извозчик опередил:

— Отворяй, Марфа, — сказал он. — К Ольге Андреевне приехали. С фронта.

— Кто с фронта? — так же неласково спросил за дверью голос. — Мы никого не ждем.

— Не ждете, а дождались!

Дверь приоткрылась на цепочке. Кузьмин сказал в темноту, кто он и зачем приехал.

— Батюшки! — испуганно сказала женщина за дверью. — Беспокойство вам какое! Сейчас отомкну. Ольга Андреевна спит. Вы зайдите, я ее разбужу.

Дверь отворилась, и Кузьмин вошел в темную галерейку.

— Тут ступеньки, — предупредила женщина уже другим, ласковым голосом. — Ночь-то какая, а вы приехали! Обождите, не ушибитесь. Я сейчас лампу засвечу — у нас по ночам огня нету.

Она ушла, а Кузьмин остался на галерейке. Из комнаты тянуло запахом чая и еще каким-то слабым и приятным запахом. На галерейку вышел кот, потерся о ноги Кузьмина, промурлыкал и ушел обратно в ночные комнаты, как бы приглашая Кузьмина за собой.

За приоткрытой дверью задрожал слабый свет.

— Пожалуйте, — сказала женщина.

Кузьмин вошел. Женщина поклонилась ему. Это была высокая старуха с темным лицом. Кузьмин, стараясь не шуметь, снял шинель, фуражку, повесил на вешалку около двери.

— Да вы не беспокойтесь, все равно Ольгу Андреевну будить придется, — улыбнулась старуха.

— Гудки с пристани здесь слышно? — вполголоса спросил Кузьмин.

— Слышно, батюшка! Хорошо слышно. Неужто с парохода да на пароход! Вот тут садитесь, на диван.

Старуха ушла. Кузьмин сел на диван с деревянной спинкой, поколебался, достал папиросу, закурил. Он волновался, и непонятное это волнение его сердило. Им овладело то чувство, какое всегда бывает, когда попадаешь ночью в незнакомый дом, в чужую жизнь, полную тайн и догадок. Эта жизнь лежит, как книга, забытая на столе на какой-нибудь шестьдесят пятой странице. Заглядываешь на эту страницу и стараешься угадать: о чем написана книга, что в ней? Тургеневский ли это роман с его трепетом девичьей любви и солнцем за облетающими липами? А может быть, горькая повесть о Катюше Масловой?

На столе действительно лежала раскрытая книга. Кузьмин встал, наклонился над ней и, прислушиваясь к торопливому шепоту за дверью и шелесту платья, прочел про себя давно забытые слова:

И невозможное возможно,
Дорога дальняя легка,

Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка…

Кузьмин поднял голову, осмотрелся. Низкая, теплая комната опять вызвала у него желание остаться в этом городке.

Есть особенный простодушный уют в таких комнатах с висячей лампой над обеденным столом, белым матовым абажуром, оленьими рогами над картиной, изображающей собаку около постели больной девочки. Такие комнаты вызывают улыбку — так все старомодно, давно позабыто.

Все вокруг, даже пепельница из розовой раковины, говорило о жизни долгой, устойчивой. Может быть, это ощущение устойчивой жизни — а ее у Кузьмина никогда не было — и вызвало у него желание остаться здесь и жить так, как жили обитатели старого дома — неторопливо, в чередовании труда и отдыха, зим, весен, дождливых и солнечных дней. Желание погрузиться в течение жизни — ясной, лишенной душевного разлада, когда даже старость не пугает и не вызывает мучений, как не вызывает их летний вечер, постепенно тонущий во тьме ночи.

Но среди старых вещей были и другие. На столе

стоял букет полевых цветов — ромашки, медуницы, дикой рябинки. Букет был собран, должно быть, недавно.

И рядом — раскрытая книга Блока. «Дорога дальняя легка». И черная маленькая женская шляпа на рояле, на синем плюшевом альбоме для фотографий. Совсем не старинная, а очень современная шляпа. И небрежно брошенные на столе часики в никелевом браслете. Они шли бесшумно и показывали половину второго. И всегда немного печальный, особенно в такую позднюю ночь, запах духов.

Одна створка окна была открыта. За ней, за вазонами с бегонией, поблескивал от неяркого света, падавшего из окна, мокрый куст сирени. В темноте перешептывался слабый дождь. В жестяном желобе торопливо стучали тяжелые капли.

Кузьмин прислушался к стуку капель. Веками мучившая людей мысль о необратимости каждой минуты пришла ему в голову именно сейчас, ночью, в незнакомом доме, откуда через несколько минут он уйдет и куда никогда не вернется.

«Старость это, что ли?» — подумал Кузьмин и обернулся.

На пороге комнаты стояла молодая женщина в черном платье. Очевидно, она торопилась выйти

к нему и плохо причесалась. Одна коса упала ей на плечо, и женщина, не спуская глаз с Кузьмина и смущенно улыбаясь, подняла ее и приколола шпилькой к волосам на затылке. Кузьмин поклонился.

— Извините, — сказала женщина и протянула Кузьмину руку. — Я вас заставила ждать.

— Вы Ольга Андреевна Башилова?

— Да.

Кузьмин смотрел на женщину. Его удивили ее молодость и блеск глаз — глубокий и немного туманный.

Кузьмин извинился за беспокойство, достал из кармана кителя письмо Башилова, подал женщине. Она взяла письмо, поблагодарила и, не читая, положила его на рояль.

— Что же мы стоим! — сказала она. — Садитесь! Вот сюда, к столу. Здесь светлее.

Кузьмин сел к столу, попросил разрешения закурить.

— Курите, конечно, — сказала женщина. — Я тоже, пожалуй, закурю.

Кузьмин предложил ей папиросу, зажег спичку. Когда она закуривала, на лицо ее упал свет спички, и сосредоточенное это лицо с чистым лбом показалось Кузьмину знакомым.

Ольга Андреевна села против Кузьмина. Он ждал расспросов, но она молчала и смотрела за окно, где все так же однотонно шумел дождь.

— Марфуша, — сказала Ольга Андреевна и обернулась к двери, — поставь, милая, самовар.

— Нет, что вы! — испугался Кузьмин. — Я тороплюсь. Извозчик ждет на улице. Я должен был только передать вам письмо и рассказать кое-что… о вашем муже.

— Что рассказывать! — ответила Ольга Андреевна, вытащила из букета цветок ромашки и начала безжалостно обрывать на нем лепестки. — Он жив — и я рада.

Кузьмин молчал.

— Останьтесь, — просто, как старому другу, сказала Ольга Андреевна. — Гудки мы услышим. Пароход отойдет, конечно, не раньше рассвета.

— Почему?

— А у нас, батюшка, пониже Наволок, — сказала из соседней комнаты Марфа, — перекат большой на реке. Его ночью проходить опасно. Вот капитаны и ждут до света.

— Это правда, — подтвердила Ольга Андреевна. — Пешком до пристани всего четверть часа. Если идти через городской сад. Я вас провожу. А извозчика вы отпустите. Кто вас привез? Ва-

силий?

— Вот этого я не знаю, — улыбнулся Кузьмин.

— Тимофей их привез, — сообщила из-за двери Марфа. Было слышно, как она гремит самоварной трубой. — Хоть чайку попейте. А то что же — из дождя да под дождь.

Кузьмин согласился, вышел к воротам, расплатился с извозчиком. Извозчик долго не уезжал, топтался около лошади, поправлял шлею.

Когда Кузьмин вернулся, стол уже был накрыт. Стояли синие старые чашки с золотыми ободками, кувшин с топленым молоком, мед, начатая бутылка вина. Марфа внесла самовар.

Ольга Андреевна извинилась за скудное угощение, рассказала, что собирается обратно в Москву, а сейчас пока что работает в Наволоках, в городской библиотеке. Кузьмин все ждал, что она наконец спросит о Башилове, но она не спрашивала. Кузьмин испытывал от этого все большее смущение. Он догадывался еще в госпитале, что у Башилова разлад с женой. Но сейчас, после того как она, не читая, отложила письмо на рояль, он совершенно убедился в этом, и ему уже казалось, что он не выполнил своего долга перед Башиловым и очень в этом виноват. «Очевидно, она прочтет письмо позже», — подумал он. Одно было

ясно: письмо, которому Башилов придавал такое значение и ради которого Кузьмин появился в неурочный час в этом доме, уже не нужно здесь и неинтересно. В конце концов, Башилову Кузьмин не помог и только поставил себя в неловкое положение. Ольга Андреевна как будто догадалась об этом и сказала:

— Вы не сердитесь. Есть почта, есть телеграф, — я не знаю, зачем ему понадобилось вас затруднять.

— Какое же затруднение! — поспешно ответил Кузьмин и добавил, помолчав: — Наоборот, это очень хорошо.

— Что хорошо?

Кузьмин покраснел.

— Что хорошо? — громче переспросила Ольга Андреевна и подняла на Кузьмина глаза. Она смотрела на него, как бы стараясь догадаться, о чем он думает, — строго, подавшись вперед, ожидая ответа. Но Кузьмин молчал.

— Но все же, что хорошо? — опять спросила она.

— Как вам сказать, — ответил, раздумывая, Кузьмин. — Это особый разговор. Все, что мы любим в жизни, редко случается. Не знаю, как у других, но я сужу по себе. Вы понимаете?

— Не очень, — ответила Ольга Андреевна и нахмурилась.

— Как бы вам объяснить, — сказал Кузьмин, сердясь на себя. — С вами тоже так, наверное, бывало. Из окна вагона вы вдруг увидите поляну в березовом лесу, увидите, как осенняя паутина заблестит на солнце, и вам захочется выскочить на ходу из поезда и остаться на этой поляне. Но поезд проходит мимо. Вы высовываетесь из окна и смотрите назад, куда уносятся все эти рощи, луга, проселочные дороги, и слышите неясный звон. Что звенит — непонятно. Может быть, лес или воздух. Или гудят телеграфные провода. А может быть, рельсы звенят от хода поезда. Мелькнет вот так, на мгновение, а помнишь об этом всю жизнь.

Кузьмин замолчал. Ольга Андреевна пододвинула ему стакан с вином.

— Пейте. Это рислинг.

— Я в жизни, — сказал Кузьмин и покраснел, как всегда краснел, когда ему случалось говорить о себе, — всегда ждал вот таких неожиданных и простых вещей. И если находил их, то бывал счастлив. Ненадолго, но бывал.

— И сейчас тоже? — спросила Ольга Андреевна.

— Да!

Ольга Андреевна опустила глаза.

— Я был ранен на Висле, лежал в госпитале. Все получали письма, а я не получал. Просто мне не от кого было их получать. Лежал, выдумывал, конечно, как все выдумывают, свое будущее после войны. Обязательно необыкновенное. Потом вылечился, и меня решили отправить на отдых. Назначили город.

— Какой? — спросила Ольга Андреевна.

Кузьмин назвал город. Ольга Андреевна ничего не ответила.

— Сел на пароход, — продолжал Кузьмин. — Деревни на берегах, пристани. Потом Наволоки. Я боялся их проспать. Вышел на палубу глухой ночью и подумал: «Как странно, что в этой огромной, закрывшей всю Россию темноте, под дождливым небом спокойно спят тысячи разных людей». Потом я ехал сюда на извозчике и все гадал, кого я встречу.

— Чем же вы все-таки счастливы? — спросила Ольга Андреевна.

— Так… — спохватился Кузьмин. — Вообще хорошо.

Он замолчал.

Ольга Андреевна встала, подошла к окну, ото-

двинула занавеску. Дождь не стихал.

— Все дождь! — сказала она и обернулась.

В сыром мраке за окном, где-то под горой, загудел пароход.

— Ну что ж, — как будто с облегчением сказала Ольга Андреевна. — Вот и гудок!

Кузьмин встал. Ольга Андреевна не двигалась.

— Погодите, — сказала она спокойно. — Давайте сядем перед дорогой. Как в старину.

Кузьмин снова сел. Ольга Андреевна тоже села, задумалась, даже отвернулась от Кузьмина. Кузьмин, глядя на ее высокие плечи, на тяжелые волосы, заколотые узлом на затылке, на чистый изгиб шеи, подумал, что если бы не Башилов, то он никуда бы не уехал из этого городка, остался бы здесь до конца отпуска и жил бы, волнуясь и зная, что рядом живет эта милая и очень грустная сейчас женщина.

Ольга Андреевна встала. В маленькой прихожей Кузьмин помог ей надеть плащ. Она накинула на голову платок.

Они вышли, молча пошли по темной улице.

— Скоро рассвет, — сказала Ольга Андреевна.

Над заречной стороной синело водянистое небо. Кузьмин заметил, что Ольга Андреевна вздрогнула.

— Вам холодно? — встревожился он. — Зря вы пошли меня провожать. Я бы и сам нашел дорогу.

— Нет, не зря, — коротко ответила Ольга Андреевна.

Дождь прошел, но с крыш еще падали капли, постукивали по дощатому тротуару.

В конце улицы тянулся городской сад. Калитка была открыта. За ней сразу начинались густые, запущенные аллеи. В саду пахло ночным холодом, сырым песком. Это был старый сад, черный от высоких лип. Липы уже отцветали и слабо пахли. Один только раз ветер прошел по саду, и весь он зашумел, будто над ним пролился и тотчас стих крупный и сильный ливень.

В конце сада был обрыв над рекой, а за обрывом — предрассветные дождливые дали, тусклые огни бакенов внизу, туман, вся грусть летнего ненастья.

— Как же мы спустимся? — спросил Кузьмин.

— Идите сюда!

Ольга Андреевна свернула по тропинке прямо к обрыву и подошла к деревянной лестнице, уходившей вниз, в темноту.

— Дайте руку! — сказала Ольга Андреевна. — Здесь много гнилых ступенек.

Кузьмин подал ей руку, и они осторожно начали спускаться. Между ступенек росла мокрая от дождя трава.

На последней площадке лестницы они остановились. Были уже видны пристань, зеленые и красные огни парохода. Свистел пар. Сердце у Кузьмина сжалось от сознания, что сейчас он расстанется с этой незнакомой и такой близкой ему женщиной и ничего ей не скажет, ничего! Даже не поблагодарит за то, что она встретилась ему на пути, подала маленькую крепкую руку в сырой перчатке, осторожно свела его по ветхой лестнице и каждый раз, когда над перилами свешивалась мокрая ветка и могла задеть его по лицу, она тихо говорила: «Нагните голову!» И Кузьмин покорно наклонял голову.

— Попрощаемся здесь, — сказала Ольга Андреевна. — Дальше я не пойду.

Кузьмин взглянул на нее. Из-под платка смотрели на него тревожные, строгие глаза. Неужели вот сейчас, сию минуту, все уйдет в прошлое и станет одним из томительных воспоминаний и в ее, и в его жизни?

Ольга Андреевна протянула Кузьмину руку. Кузьмин поцеловал ее и почувствовал тот же слабый запах духов, что впервые услышал в темной

комнате под шорох дождя.

Когда он поднял голову, Ольга Андреевна что-то сказала, но так тихо, что Кузьмин не расслышал. Ему показалось, что она сказала одно только слово: «Напрасно…» Может быть, она сказала еще что-нибудь, но с реки сердито закричал пароход, жалуясь на промозглый рассвет, на свою бродячую жизнь в дождях, в туманах.

Кузьмин сбежал, не оглядываясь, на берег, прошел через пахнущую рогожами и дегтем пристань, вошел на пароход и тотчас же поднялся на пустую палубу. Пароход уже отваливал, медленно работая колесами. Кузьмин прошел на корму, посмотрел на обрыв, на лестницу — Ольга Андреевна была еще там. Чуть светало, и ее трудно было разглядеть. Кузьмин поднял руку, но Ольга Андреевна не ответила.

Пароход уходил все дальше, гнал на песчаные берега длинные волны, качал бакены, и прибрежные кусты лозняка отвечали торопливым шумом на удары пароходных колес.

Беспокойство

Изредка, поздней осенью, выдаются такие дни — сонные, хмурые, когда туман как залег с утра над рекой, так и лежит, не редея, до самого вечера. Облака низко висят над серой водой, и потому с того берега все слышно так ясно, как в запертой комнате, — то женщины колотят вальками, стирают белье, то лениво тяпает топором бакенщик, то каркает ворона на старой раките.

Перевозчик Никифор кипятит в солдатском котелке чай на костре, отворачивается от дыма. Плотник Трофим сидит на лавочке около шалаша, курит, сплевывает и смотрит на реку. Лодка только что ушла на тот берег. Видно, как на ней дружно гребут две девушки.

— Вот, — вздыхает Никифор, — отдыхает земля. Отсыпается.

— А тебе что? — сердито спрашивает Трофим. — Пущай отдыхает. Она свое небось отработала. Не то что ты.

— Это верно, — соглашается Никифор. — Мне тут сидеть до морозов.

— Жизнь у тебя рентабельная, — все так же, сердясь, говорит Трофим. — Сиди да высиживай

трудодни. Сами в руки плывут. По-настоящему ежели судить, так ты, Никифор, есть лодырь.

Никифору не хочется спорить.

— Лодырей нынче нету, — говорит он примирительно. — Были, да вышли. Каждый действует по способностям. Тебе хорошо, ты, скажем, плотник. А я инвалид второй степени. Много с меня работы возьмешь! Вот и сижу перевозчиком.

— Много не много, а дело сполнять должен. Ты гляди, — Трофим показывает мне на девушек на реке, — сами гребут. А полагалось бы перевозчику с ними поехать, чтобы лодку пригнать обратно. Теперь дожидайся, покуда они там управятся и вернутся. Шурка, что ли, поехала?

— Ну да. Шурка и Лидка.

— Ох, эта Шурка! Не дай господи какая девица!

Никифор усмехается:

— Да уж известно. С характером девица.

— Чего тебе известно? — снова сердится Трофим. — Смеешься? Я те посмеюсь! Обрадовались, дьяволы: вот, мол, Шурка Трофима пересилила, отступился перед ней Трофим, — а того нет у вас в голове, что я сам ей поддался.

— Да я ничего… Дело не мое.

— Надо знать, как дело было, тогда и смеяться. Самое это брехливое место твой перевоз.

— А ты не ярись!

— Да как же не яриться, милый! — Трофим оборачивается ко мне. — Шуркой мне тычут в глаза с самого августа месяца. А почему? По дурости своей. Я на нее не в обиде.

— Откуда нам знать, в обиде ты ай нет?

— А вот оттуда! Я тебе говорю. Врать не буду — схватился я спервоначалу с Шуркой насмерть. Да ты сам посуди. Жизнь наша всегда была тихая. Каждый был при деле. Я, скажем, плотник. У меня что рука, что топор — все равно как один инструмент. Я топором нитку в иголку вдену. С малых лет практика. Как-никак, а это не малость, ежели каждый в своей области мастер. Ну вот… Живу, плотничаю, колхоз меня уважает. Да, на мою беду, окончила Шурка семилетку, и назначили ее в колхоз помощником к председателю, к Петру Силантьевичу. Вот тут и пошло. Характер у нее, прямо сказать, адский. Чтобы дать человеку покалякать или перекурить — так нет. Немыслимо. Сама как огонь, искры от нее во все стороны сыплются, только успевай сторонись. Одним словом, комсомол — и все тут! Я, значит, поглядываю за ней, думаю: «Больно ты все знаешь и всех работе здорово учишь. Хорошо поешь, только где сядешь? У нас опыт, а у тебя напор. С ним

одним жизнь не протянешь. Настанет время, еще придешь накланяешься: научите, мол, старички, девчоночку уму-разуму. Думаю так, однако молчу. Все ее слухают, а у меня сердце прямо кипит — охота мне с ней схватиться. Чем я хуже? Жду случая. И сам, понимаешь, удивляюсь: девушка красивая, ничего не скажешь. И не то что другие — не кричит, не ссорится, ни боже мой! Этого за ней не водится.

Да. Ждал я случая, да и дождался. На свою голову. Мост через Нередицу снесло половодьем, надо новый ставить. А кто будет ставить, как не я? Понятно, обращение ко мне. Приходит Шурка в мою избу договариваться. Все честь честью. Поговорили, потом она глядит на стенку, а там моя карточка висит. Снят я молодым — в ту пору служил я в Орле в пехотном полку. Она и говорит: «Ой, дядя Трофим, какой вы были красивый!» — «Да будто я и сейчас не плох». Это я ей отвечаю. Она снимает со стены эту самую карточку, чтобы ближе разглядеть, а за карточкой на стене тараканы. Десятка два! Как прыснут во все стороны. Она лоб наморщила, говорит: «Как же это вы, дядя Трофим, такой знаменитый мастер, а так живете?» А мне, понимаешь, и совестно, и зло на нее, и обида опять же: кто бы другой мне заме-

чание сделал, а то девчонка! Да еще такая с виду приятная. «Ладно, говорю, мы в университетах не обучались и кофей по утрам не хлебали, а вышли в люди своим мужицким горбом. Сама знаешь, я бобыль». — «Ну, хорошо», — говорит. И ушла. Я взял веник, поснимал со стенок все календари-портреты и давай тараканов тем веником хлестать.

— Взяла, значит, и тебя за душу агитация, — замечает Никифор.

Трофим пренебрежительно смотрит на него.

— Да… Начал я мост строить. А Шурка — вроде как обозреватель при мне. Все приглядывается. Больше молчит. Только торопит. А я говорю: «Мост строить — это тебе не мух ловить, красавица». Да… Шло так, шло, а однажды приходит она утром, посмотрела и говорит, что перила, мол, надо переделать и балясины строгать фасонные. «Как это, говорю, фасонные! Для чего?» — «Для красоты, говорит. Чтобы мост был всем на удивление». Я ей говорю: «Дураку невдомек, а любой плотник тебе скажет, что мосту этому нет цены. Красоту, говорю, разводи у себя в горнице. А тут картина простая. Для коров, что ли, нужна твоя красота, когда их через мост будут гонять на луга? Ты мне не мешай!» Смолчала она,

ушла, однако не успокоилась. Пришла на другой день, и настил ей, видишь ли, не понравился, не удовлетворяет ее — грубо очень доски кладутся, а ей давай в елочку. Танцевать ей на том мосту, что ли? Чего выдумала! Переделывать настил! Да еще в два слоя. Тут уж я не стерпел, сорвался. «Больно ты, говорю, самомнительная девчонка и мала еще меня учить. Уйди из-под рук! Ты меня не тревожь. Я по-твоему все одно не сделаю, хоть ты перервись». — «Не сделаешь?» — спрашивает. «Нипочем!» — «А ежели сделаешь?» Я как ударю топором по настилу. «Что ж это ты! — кричу. — Насмешку надо мной строишь, над стариком?» Плюнул, взял топор, пошел ко двору, а она на мосту осталась. Плотники, помощнички мои, понятно, растерялись. Зовут меня, а я не слухаю, иду.

— Ну и нрав у тебя! — говорит Никифор. — Всю жизнь бурлишь кипятком. А толку на копейку.

— Тебя, видать, не спросил, — отвечает Трофим и долго смотрит, прищурившись, на другой берег. — Подались в избу к гармонисту. А изба хороша!

Он вздыхает, натягивает картуз на глаза.

— Ушел. Сижу в избе день, сижу два. Во двор не выглядываю. Думаю, беспременно прибежит

Петр Силантьевич, заюлит, понятно, передо мной, — ведь мост-то стоит брошенный, без меня его никто не доделает. Однако никто не идет. Вот, думаю, гордые, да посмотрим, кто погордее. Соседи и те притаились.

На четвертые сутки не выдержал. Встал до свету, заря чуть синеет, — и к мосту. Подошел — мать честная! Стоит мост, весь настил — в чистую елочку, а перила все фасонные, только пять-шесть балясин еще не доделаны. Та-ак!.. И что, представь, выясняется! Собрала Шурка своих комсомолов, девчонок да двух-трех ребят, и доправила мост с помощниками моими. Я поглядел-поглядел и подался в луга. Домой идти не хочу — не ровен час взойдет кто-нибудь. Что я ему скажу, как в глаза гляну? Пес я побитый, вот я кто! И совестно, и горько, и жар в голове от досады. Прямо скажу — заболел. Вернулся в избу затемно, а под оконцем все-таки кто-то сидит. «Что, спрашиваю, за человек? Чего надо?» И, понимаешь, слышу — смеется кто-то, да так это тихо, будто ластится. Господи, неужто Шурка? Я за порог. А она вскочила, схватила меня за рукав, втащила в избу и чего-то говорит, торопливо так-то, а я ничего не понимаю. Только потом разобрал. «Ты обиду, говорит, забудь, не для себя одного на свете

живешь». — «Эх, говорю, осрамила ты меня, а волос у меня совсем седой. Никто на меня за всю жизнь пальцем не указывал. Никто!» — «И не будет никто указывать, говорит. Это ты на меня положись. Я давно тебя в избе жду. Как, говорит, мост? Ведь смотрел?» — «Смотрел». — «Не выдержал?» — «Нет, говорю, не стерпело сердце. А мост ничего, в соответствии. Кабы была ты мне дочь, я бы тобой, может, и загордился. Давай руку!» Переломила она меня. Попрощалась, ушла. Посидел я на лавке, подумал и замечаю за собой — сижу один, а все улыбаюсь. Потом засветил лампу и прямо обомлел. Изба у меня, конечно, как у бобыля, порядку мало, а тут гляжу — все прибрано, подметено, чисто.

— Примирение, значит, между вами произошло, — говорит Никифор.

— Такой случай, — соглашается Трофим.

С того берега долетают звуки гармоники. Трофим встает.

— Едут, — говорит он. — Везут гармониста. Хорош будет нынче праздник.

На лодке опять дружно гребут две девушки, а гармонист сидит на корме и легонько наигрывает. Вид у него безразличный ко всему на свете, как это и подобает хорошему гармонисту.

Лодка ударяет носом в песчаный берег. Трофим подтягивает ее, помогает выйти девушкам. Одна из них — темноволосая, с застенчивыми серыми глазами — быстро взглядывает на меня, отворачивается, входит в воду и начинает полоскать ноги, должно быть от смущения.

— Шура, — говорит ей ласково Трофим, — Александра Петровна, вот человек прохожий. Желательно ему с тобой познакомиться.

— Сейчас. Вот только туфли надену.

Она надевает туфли, оборачивается и протягивает мне руку.

— Вроде дочка моя, — говорит Трофим, явно гордясь Шуриной красотой. — Хороша!

— Ну что ты, дядя Трофим, все выдумываешь! — протяжно отвечает Шура. — Как не совестно!

— Красоты своей стыдиться нечего. Ну, прощайте.

Трофим отталкивает лодку и вскакивает в нее. Шура, все так же смущенно улыбаясь, повязывает голову маленьким пестрым платком и говорит:

— День-то какой темный и теплый. С утра дождик собирается и все никак не соберется.

И будто в ответ на ее слова по реке и кустам начинает шуметь редкий и теплый дождь. Тотчас в деревне за рекой запевают на разные голоса

петухи. А гармонист сидит на лавочке у шалаша и что-то тихо наигрывает, равнодушно глядя на воду.

Равнина под снегом

Снег начал идти с вечера и к ночи запорошил всю равнину.

Океан катил на песок длинные волны. Они шумели без устали — месяцы, годы, — и Аллан так привык к этому шуму, что перестал его замечать. Наоборот, Аллана поражала окрестная тишина. Ему казалось, что она выпала на землю вместе со снегом.

Холодный снег и черные оконные стекла с отражением свечи. Должно быть, эту свечу было видно с океана, где волны мотали тяжелую рыбачью барку. И рыбаки, глядя на слабый огонь, думали о кипящем котелке и сухой постели.

Аллан усмехнулся. Вечный самообман, вечная наивность человеческих надежд и мечтаний! Хороши бы они были, эти рыбаки, если бы им удалось пристать к берегу и они прошли через равнину к его дому. Что бы они увидели здесь? Пустую комнату, свечу, солдатскую койку и холодную золу в камине. И его, Аллана, закутанного в рваный шарф, озябшего и до того печального, что он даже не мог говорить. Потому что он был одинок, как никто. Даже мышь, что шуршала

в золе, была счастливей его. Она была серой и веселой мышью, а он был великим и никому не нужным поэтом Америки — огромной страны, где сейчас начиналась эта затяжная зима.

Люди любят рассуждать о счастье. Но мало кто знает, что самое большое счастье — в понимании. Он не хотел ни славы, ни покоя. Он хотел только одного — чтобы окружающие поняли, что его воображения и уменья радовать хватит на тысячи людей, а не на двух-трех.

Ему хотелось дарить без конца. И чем больше он дарил, тем становился богаче.

Он мог, сидя на камне у перекрестка, рассказывать маленькому негритенку свой новый замысел. Этот замысел был так похож на сказку, что Аллан сам смеялся от неожиданности, когда рассказывал его. И негритенок тоже хохотал и хлопал себя по бокам черными руками.

Он мог сказать случайной попутчице в дилижансе о своей любви к ней, начавшейся сейчас, внезапно. Конец этой любви был близок — на первой же остановке, где она сойдет. Но вместе с тем Аллан знал, что конца этой любви не будет. Потому что есть память и она сильнее всего.

Несколько обычных черт: усталое от дороги лицо молодой женщины, визг чайки над тусклой

водой, фырканье лошадей, скрип песка под колесами и потом, после нескольких его слов, — мир каким-то чудом зацветет вокруг.

Женщина подымет глаза, улыбнется, и он заметит смятение на ее лице. Кто этот человек? Гость из той страны, о которой мы все думаем втихомолку, но не верим в ее существование. Потому что мы — трезвые и взрослые люди. Или безумный?

Почему солнце прорвало гряду сырых облаков и морская пена ослепительно засверкала, как взбитый снег? Почему возница запел о той, что похитила его сердце, ничего не сказав о любви? Почему с далеких холмов доносит гул леса, а редкие капли дождя тяжело бьют по крыше дилижанса? Почему радуга опрокинулась над равниной, как пограничная арка? Что это за густое жужжание, неужели золотой жук пролетел за окном? Почему дрожит ее рука и губы силятся сказать: «Кто вы? Не надо было говорить мне этого!»

Он знает, что она права, что он разрушил освященное годами течение жизни, что отныне ее комната с полосатыми обоями, голос мужа, треск кофейной мельницы и доброжелательные гости — все это покажется мертвым и скучным, как

обыденный день, заполненный заботами свыше сил.

«Меня могут обвинить в пристрастии к детям и женщинам», — подумал Аллан. Ну, хорошо! Вспомним другое. Больницу в Морристоне, когда на соседней койке умирал лесоруб. Его придавило сосной, и старику ничего больше не оставалось, как умереть.

И он умер, конечно. Но ночью за два часа до смерти он открыл глаза и спросил Аллана:

— Сосед! А сосед! Вы знаете, что такое леса?

— Знаю, — ответил Аллан, немного подумав. — Это, пожалуй, то же самое, что океан, если смотришь на него с одинокой вершины. Они шумят, колеблются, и солнце закатывается в листве, как в темной бездне. И если птица сядет над головой и прокричит пять раз, то, значит, где-то здесь в пяти ярдах зарыт старинный клад. Его легко отыскать и вытащить из песка окованный железом сундук. Можно разбить его и найти там, — нет, не дублоны! — а подвенечное платье для вашей дочери. Ее, кажется, зовут Чармен?

— Да, — сказал лесоруб, — ее зовут Чармен.

— А вам случалось, — спросил Аллан, — встречаться с глазу на глаз с медведем?

— Еще бы! — ответил лесоруб. — Он долго

смотрел на меня своими зелеными буркулами, потом мы подмигнули друг другу и разошлись. Мы — лесные жители, и нам незачем задираться. А Чармен, — неожиданно добавил лесоруб, — всего девятнадцать лет. Я написал ей, что скоро поправлюсь.

Чем можно было его утешить? Только ложью.

— Вы знаете, — сказал Аллан, — стоит вам только закрыть глаза, поглубже вздохнуть и вызвать в памяти Чармен — и все случится так, как вы хотите. Попробуйте! Ну! Вот уже ветер затихает к вечеру, и солнце освещает сосны над вашей лачугой. Можете смотреть на небо сколько вам угодно, но вы увидите только одно-единственное облако — такое маленькое, как перо, потерянное сойкой. И больше ничего. Я же знаю — вам хочется дождаться, когда темнота настолько сгустится, что в ней заблестят звезды. Это значит, что пора ужинать. И ужин, конечно, готов, — Чармен гремит мисками и напевает песенку. Ах, черт! Я позабыл ее слова.

— А-а, — догадался лесоруб. — Это, должно быть, песенка о том нищем медвежонке, что клянчил у девочки милостыню.

— Да, да! Это та самая песенка. Я вспомнил. И я спою ее, но тихо, чтобы не слышали сиделки.

Они думают, что все, доставляющее нам радость, служит во вред.

Аллан начал напевать:

Тук-тук – стучится в дверь
Какой-то мокрый зверь,
Голодный медвежонок.
«Прошу меня простить, —
Нельзя ли одолжить
У Чармен мне деньжонок?»

Лесоруб уснул под эту песню и так и не проснулся. Жизнь уходила из него, как отдаленный звон.

Лесоруба похоронили на кладбище невдалеке от больницы. Между зеленых могил паслись стреноженные лошади.

Аллан вызвался сделать на деревянном кресте эпитафию. Он написал: «Здесь спит Томас Бирн, лесоруб, 65 лет, убитый упавшей сосной. Он всю жизнь трудился и потому был благородным человеком. Да упокоит его господь в селеньях праведных».

Аллан выздоравливал и доживал в больнице последние дни. Он часто ходил на могилу Бирна. Ему нравилось думать, что под этим, еще не заросшим травой холмом лежит человек, кото-

рый мог бы стать его другом. Они бы наверняка сошлись, потому что лесорубу не надо было объяснять всех сложностей жизни, подтачивавших существование Аллана. С ним Аллан отдыхал бы за разговором о том, как надо разводить пилу и подманивать птиц.

Перед тем как покинуть больницу, Аллан написал дочери лесоруба о последних минутах отца. И тотчас исчез, как бы боясь, что Чармен приедет и застанет его в Морристоне.

Аллан подошел к окну. Океан разыгрывался и сотрясал берега.

— Никогда! — сказал Аллан и поежился от холода. — Ни-ког-да! — повторил он.

Никогда не вернется прожитая жизнь. Ему было жаль ее. Если выбросить годы нищеты, утрат и путаницы, возникавшей почти при каждом общении его с людьми, то все же останется несколько десятков дней ласковых и тихих, как падение этого снега.

Вирджиния умерла. Ее звали «Троицын цвет». Так зовут в этом штате весенний легкий цветок.

Он виноват в ее смерти. Он был не способен заработать несколько десятков долларов, чтобы позвать врачей, протопить эту старую лачугу, создать Вирджинии хотя бы подобие покоя. Он

мог только мечтать. Это было единственным делом его жизни.

Что он мог еще? Только укрывать Вирджинию своим старым пальто, когда она лежала в жару на своем соломенном тюфяке. И, отвернувшись, глотать слезы. Даже бродячий кот, прижившийся в их доме, знал лучше Аллана, что было нужно делать. Все последние ночи он лежал на груди у Вирджинии и согревал ее своей теплотой.

Тогда была такая же зима и океан шумел так же, как и сейчас, — ему не было дела до страданий Вирджинии. Тысячи лет он накатывал на землю горы зеленой воды. Это занятие было таким величественным, что людские горести казались перед ним мимолетными, как шорох песчинки.

— Неужели никогда? — спросил Аллан и повернулся лицом к темной комнате. Как долго он живет с этими скудными вещами! Как безропотно они несут вместе с ним тяжесть существования! Они были здесь при Вирджинии. Она прикасалась к ним. С ними можно разговаривать вполголоса, но все равно не услышишь от них ни одного слова в ответ.

— Почему вы живете, а ее нет? — громко спросил Аллан.

Вещи молчали.

— Ну, ничего! — сказал Аллан. — Не обижайтесь. Я никогда вас не брошу.

Вещи не отвечали.

— Боже мой! — сказал Аллан. — Как пережить эту ночь!

Он сел к столу и начал писать. Это его немного успокоило, хотя он и знал, что каждый его новый рассказ вызовет злое недоумение. В Америке к нему относились как к пришельцу с чужой планеты.

Как смеет этот нищий и дикий поэт разрушать своим острым и сверкающим словом добропорядочность и твердые понятия и превращать трезвый мир в чучело для насмешек. Как он смеет выдавать свое воображение за нечто, столь же действительно существующее, как существуют церкви, конторы, пароходы и дилижансы!

Что это даст, кроме короткой ложной радости и длительной, сосущей под сердцем тоски? Зачем отравлять сердца и рассказывать прекрасные небылицы? Для лишних слез? Для разочарований? Для чего?

— Неправда! — говорил про себя Аллан. — Я — веселый, легкий человек. Не хмурьтесь! Засмейтесь мне навстречу. Я хочу прибавить вам каплю счастья. А вы отшатываетесь от него, как

от яда. Глупцы!

«Я глубоко убежден, — быстро писал Аллан, — что человек может совершать чудеса. Если мне не удастся доказать это, то через пятьдесят или сто лет появится другой человек, который докажет лучше меня. Я вовсе не хочу сказать — избави господи! — что именно я способен сделать что-нибудь чудесное. Но все же я заметил, что люди охотно верят в те истории, которые я для них выдумываю, и тотчас рассказывают о них друг другу. Так у людей возникает твердое убеждение в существовании того, что выдумано мной и никогда не бывало. А разве это не чудо?

Мы знаем, что корабли Магеллана обошли вокруг света, а адмирал Нельсон был убит в Трафальгарском бою. Но с такой же достоверностью мы знаем, что существовал принц Гамлет, а леди Макбет не могла отмыть со своих рук кровавые пятна.

Вымысел вошел в нас как нечто совершившееся, и если мы вырвем его и выбросим прочь, то тотчас почувствуем, как жестоко мы обокрадены».

Кто-то сильно постучал, должно быть кулаком, в стену. Аллан прикрыл исписанную страницу тетради валявшимся на столе листом пожел-

тевшей бумаги с рядами цифр, встал и вышел в прихожую. Дуло в разбитое окно, и было слышно, как за порогом нетерпеливо бьет ногой по мерзлой земле и фыркает верховой конь.

Аллан, не окликая ночного гостя, распахнул дверь.

— А-а! — сказал он. — Доктор Грегори. Как это вы решились приехать в такую ночь!

Грегори, нагнувшись, вошел в прихожую, снял шляпу и стряхнул с нее снег. Это был высокий сухой человек со щеками кирпичного цвета. Он прищурил и без того маленькие глаза, улыбнулся и протянул Аллану руку.

— Мой долг, — сказал он хрипловатым голосом. — Я был здесь неподалеку, у Фридера. Он подыхает от водянки. Вас уже две недели не видели в Вест-Пойнте. Я решил заехать по пути и проведать, в добром ли вы здравии, Аллан.

Они вошли в комнату.

— К сожалению… — пробормотал Аллан и взглянул на черный холодный камин.

— Не стоит беспокоиться, — ответил Грегори, — раз в кармане есть вот это… А стаканы найдутся.

Он вынул из кармана и поставил на стол бутылку виски.

Сначала они выпили молча и медленно. Океан

ревел все яростнее, — он совсем осатанел. Пламя свечи трепетало на мраморном лице богини Паллады — бюст ее стоял на старом шкафу.

— Пыль у вас, — сказал наконец Грегори. — Пыль и холод!

Он обернулся к Палладе.

— Разбей эту женскую голову, эту богиню победы!

— Зачем?

— Она вам не принесла ни победы, ни даже успеха.

— Как знать! — сдержанно ответил Аллан.

— Что там знать! — воскликнул Грегори. — Ваша участь ясна, как вот этот стакан. Считайте себя кем хотите. Посланником неба. Или ада. Мне все равно. Что вы еще можете выдумать, Аллан? Многое? Прекрасно! А что вы за это получите? Пыль и холод? И писк мышей вон там, в камине?

Аллан пристально посмотрел на Грегори. Доктор мало выпил, но был уже пьян и, как всегда, начинал придираться. Аллан усмехнулся.

— Вы гордитесь своим воображением, — сердито сказал Грегори, — а между тем не можете выжать из него ни одного цента. Вы не знаете, что такое жизнь. Поездите по ночам, как я. Под этим снегом. На старой лошади. А чего ради?

Ради благодарности нищих и бездельников. Из нее, так же как и из вашей поэзии, не выжмешь ни гроша.

— Я слушаю вас очень внимательно.

Доктор стукнул кулаком по столу.

— Черт меня побери, но я заслуживаю лучшего существования. Я просился лекарем в армию генерала Тейлора. Мне нравилась эта мексиканская война. Там здорово грели руки.

— Америка полна до краев негодяями и искателями приключений, — мягко заметил Аллан.

— Искателями золота, — поправил Грегори. — Не стоит быть простачком в наше время, Аллан.

Грегори в упор посмотрел на Аллана.

— Я, кажется, чуточку выпил. Да! Так как же, Аллан? Можете вы из ваших мечтаний вытрясти хоть один доллар? Сколько же после этого стоит ваша голова?

— Продолжайте!

— Хо! — крикнул доктор. — Я не отдам за нее даже свой рваный зонтик!

— У меня нет охоты, — спокойно сказал Аллан, — слушать *любую* пьяную болтовню. Вы мне помешали.

— Все равно, у вас нет выбора собеседников, — пробормотал Грегори. — Чему я помешал?

Изобретению философского камня? Или эликсира молодости?

Глаза Аллана почернели от гнева.

— Хорошо! — воскликнул он. — Раз вы издеваетесь над воображением… Тогда расквитаемся. Видите этот рваный листок с цифрами?

— Счет от лавочника? — спросил Грегори и налил себе виски. — Вижу. Посмотрим, что вы еще выдумаете. В вашем теперешнем положении.

— Это не счет от лавочника. Вы недогадливый человек, Грегори. Особенно когда напьетесь и грубите. Я нашел этот листок в старой книге. В описании открытия Флориды адмиралом Понсэ де Лионом. Я купил эту книгу у негра в Вест-Пойнте. Она попахивает перцем и веками.

— Просто пахнет негром, — возразил Грегори.

— Этот листок был вклеен между страницами. Судя по бумаге, чернилам и почерку, ему около двухсот лет. Это тайная запись. Вы смогли бы ее разобрать?

— И не подумал бы!

— Для этого у вас просто не хватит умения, — вежливо объяснил, улыбнувшись, Аллан. — Нужно найти ключ. Я нашел его и восстановил эту запись. За несколько часов.

— А-а, — небрежно сказал Грегори. — Что же

там было такого особенного?

— В школе вы учили историю завоевания Америки. Вы знаете, конечно, о каперах и пиратах. Одного из них звали Блейк.

— Спасибо за свежие новости! — проворчал Грегори. — Блейк! Он был самым богатым подлецом на этой земле.

— Перед смертью Блейк зарыл свои богатства. Никто не знает где. Их искали сто лет и…

— Нашли? — небрежно спросил Грегори.

— Нет. Но сейчас их найти ничего не стоит.

Грегори безнадежно махнул рукой.

— Ох, эти старые сказки, Аллан! Для парализованных бабушек возле камина.

— Записывайте! — строго сказал Аллан. — Я буду расшифровывать эту ветхую запись и диктовать вам. Я читаю теперь эти цифры с такой же легкостью, как вы — рецепты. Но до сих пор я не удосужился выразить эту математическую запись в словах.

— Забавно! — пробормотал Грегори, взял перо, резко отодвинул рукопись Аллана и приготовился писать.

— Пишите! «Я, божьей милостью известный всем Блейк, завещаю тому, кто сможет прочесть эту предсмертную запись, не обращать ее во зло

людям и применить для добра. Я беру с него клятву в этом перед престолом всевышнего. В случае если он найдет мои сокровища, накопленные в морских схватках — да отпустит мне господь невинно пролитую кровь, — то пусть возьмет себе только сотую часть, а все остальное отдаст первой же девчонке, какую он встретит в окрестностях, при условии, что, кроме рваного платья, на ней ничего не будет надето.

Если этот мой приказ не будет исполнен, то в день воскресения мертвых я встану из могилы и сочтусь с тем обманщиком самым страшным судом, какой способен придумать человеческий разум.

Клад зарыт к югу от форта Брунсвик на острове Джекиле под третьим холмом, если идти от северной оконечности острова, от мыса Иглы. Найдя середину холма, надо отмерить сто семнадцать шагов к юго-юго-западу, к тому месту, где среди наваленных в беспорядке камней лежит обломок черного лабрадора. От этого обломка отсчитать еще тринадцать шагов на 241 градус и тогда начинать работу.

Сокровища эти могут ослепить весь человеческий род. Даже всемилостивейший и христианнейший мой король не обладает и третьей частью

таких богатств, хотя в его владениях не заходит солнце и любой ураган затихает, не долетев до их середины». — Переписали? — спросил Аллан, выждав, когда Грегори допишет последнее слово.

— Да. Занятная штука!

— Благодарю вас. — Аллан взял написанный Грегори листок из-под руки у доктора и небрежно засунул в старую книгу. — Теперь вы убедились в силе воображения?

Грегори медленно взглянул на Аллана, подмигнул на старую книгу, хлопнул себя по коленям набухшими красными руками и захохотал.

— Вы здорово умеете морочить голову, — признался он добродушно. — Что же вы до сих пор не выкопали этот клад, Аллан? А? Нет времени? Или при вашем богатстве вы в нем не нуждаетесь?

Аллан не ответил.

— Ну, ладно! — примирительно сказал Грегори. — Хватит! Оставим эти детские бредни. Меня сейчас занимает другое. Как вы?

— Бессонница, — ответил Аллан. — Это тяжелее всего. Мне хочется записать все мысли, что проносятся всю ночь напролет в моей голове. Но тогда они остановятся.

— И слабость? — спросил Грегори.

— Да. И слабость.

— Нервы натянуты с силой струны, — заметил Грегори. — А прочности в них не больше, чем в паутине.

Он задумался.

— Что же мне делать с вами? Я вам скажу откровенно. Надо лечь в больницу.

— Опять! — с тоской воскликнул Аллан. — Нет! Ни за что!

— О боже мой! — вздохнул Грегори. — Все не так! Я могу дать вам порошки от бессонницы. Но это вас не спасет.

— Меня ничто не спасет.

Грегори с осуждением посмотрел на Аллана, достал из жилетного кармана несколько бумажных пакетов, порылся в них и протянул один Аллану.

— Примите сейчас. Тогда к утру уснете. Можно с виски. Это будет сильнее.

Аллан высыпал в стакан белый мохнатый порошок и выпил залпом.

— Ночь кончается, — сказал Грегори. — Я бы мог посидеть у вас до утра, чтобы проследить за вашим состоянием. Но кто же за мной запрет дверь, когда вы уснете?

— Я могу запереть ее сейчас…

— Вы, как всегда, чрезвычайно любезны!

Грегори встал так резко, что порыв воздуха

погасил свечу. Тотчас ночь побледнела и Аллан увидел за окнами, в освещении, похожем на отблеск лунного холодного огня, пенистую даль океана и черное дерево под окном.

— Ну что же вы! — зло сказал Грегори. — Будете закрывать дверь или нет? И советую зажечь свечу.

Грегори пошел в прихожую и наткнулся в темноте на стул. Он вышел, отвязал коня, похлопал его по шее, потом крикнул:

— Спокойной ночи, Аллан!

Аллан не ответил. Он вышел в прихожую, когда за открытой дверью был уже слышен удаляющийся топот копыт. Лошадь шла галопом.

— «Четкий топот копыт раздавался в долине», — проговорил Аллан, стараясь, чтобы ударения в словах совпадали с ударами лошадиных копыт. И повторил: — «Четкий топот копыт раздавался в долине…»

Он вернулся в комнату, зажег свечу, взял старую книгу, опрокинул ее над столом и потряс. Потом он перелистал всю книгу по страницам. Записи, сделанной Грегори, не было. Аллан засмеялся:

— Я победил. Даже эту сухую подметку… Пусть теперь перероет весь остров Джекиль. Там столь-

ко песка, что хватит копать на тысячу лет.

Аллан взял листок с цифрами. Это была страница, вырванная из школьной тетради. В нее Аллану завернули в какой-то лавчонке сыр, — на бумаге остались еще жирные пятна.

— Бедный школьник! Он не мог решить уравнения с двумя неизвестными!

Далекий пушечный удар внезапно прокатился над океаном. Блеснул багровый свет.

Аллан погасил свечу и вгляделся в темноту. Что там происходит?

Стремительная заря окрасила волны в мрачный цвет меди, и стал виден сорокапушечный корабль. Он шел под полными парусами и вел огонь. На его мачте вился черный флаг с изображением белой человеческой руки.

Блейк! Кого он преследует? Дым застилал волны. Да, конечно, это Блейк! Гость из прошлого века.

Но почему же он уже идет от берега к дому Аллана, увязая в песке, и ветер треплет кружевные обшлага его камзола? Толстоносый Блейк с обожженным лицом. Разбойник и шутник, придумавший человеческую руку на флаге.

— Мне будет легко сговориться с ним, — сказал Аллан, закрыл глаза и положил голову на стол.

Стало темно и душно, но Аллан все же видел, как в этой темноте равнина запестрела фиалками от края до края. Цветы испускали слабый звук, будто в каждом была заложена маленькая струна.

«Да это же сон! — подумал с облегчением Аллан. — Какая сладкая отрава! Хочется жить, но нет сил ей сопротивляться. Вирджиния, уже зацвел твой «Троицын цвет». Дай руку! Вот так! Почему она ледяная и я не узнаю твоего голоса? Я знаю каждый твой палец, потому что всем им я когда-то рассказывал по очереди сказки. Что это за пропасть, куда меня тянет, как в Мальмстрем?

Помоги мне! Открой глаза, Вирджиния!»

Утром около дома Аллана остановилась старая коляска. Ветер стих, но было пасмурно. Над океаном поблескивала синева.

Из коляски вышла робкая худенькая девушка — Чармен Бирн. Она постучала, но никто не ответил. Тогда она заметила, что дверь не заперта, и тихонько вошла в дом.

Худой человек небольшого роста сидел у стола. Голова его лежала на раскрытой старой книге.

— Мистер Аллан! — позвала Чармен.

Человек не ответил.

Тогда Чармен с бьющимся сердцем подошла к

Аллану и подняла его голову.

Аллан был мертв.

Чармен с помощью возницы уложила Аллана на солдатскую койку. Возница повздыхал и вышел.

На шее у Аллана висел на цепочке маленький медальон. Чармен открыла его. Там был портрет молодой женщины редкой красоты. Сбоку рукой Аллана было написано: «Моя мать».

Чармен наклонилась, осторожно взяла ладонями голову Аллана, нежно сжала ее и поцеловала Аллана в губы.

Лицо Аллана было прекрасно. Казалось, никогда он не был достоин большей любви, чем сейчас.

Аллан был похоронен на песчаной дюне вблизи океана. На могиле его положили каменную плиту с его именем и надписью, что Аллан прожил на этом свете сорок лет.

Через год после его смерти в бурную и холодную ночь к могиле подъехал на старом верховом коне доктор Грегори. Он соскочил с коня, оглянулся, подошел к могиле, быстро вынул из-под плаща тяжелый молоток и со всего размаха ударил им по могильной плите. Плита раскололась на несколько частей.

Конь, испугавшись удара, отскочил и помчался галопом вдоль берега.

Грегори молча побежал за ним, но замешкался, чтобы закинуть молоток в океан. Потом и конь и Грегори исчезли.

Но весной из трещин могильной плиты потянулись ростки «Троицына цвета», и вскоре вся плита покрылась тесной толпой этих легких цветов.

Приточная трава

Прошлым летом я возвращался с Борового озера к себе в деревню. Дорога шла на просеке в сосновом лесу. Все вокруг заросло пахучими от летней сухости травами.

Особенно много колосистой травы и цветов росло около старых пней. Трухлявые эти пни разваливались от легкого толчка ногой. Тогда взлетала темным облаком коричневая, как размолотый кофе, пыль, и в открывшихся внутри пня запутанных и таинственных ходах, проточенных короедами, начинали суетиться крылатые муравьи, жужелицы и плоские черные жуки в красных погонах, похожие на военных музыкантов. Недаром этих жуков звали солдатиками.

Потом из норы под пнем вылезал заспанный — черный с золотом — шмель и, гудя, как самолет, взлетал, норовя щелкнуть с размаху в лоб разрушителя.

Кучевые облака громоздились в небе. Они были на взгляд такие тугие, что можно было, очевидно, лежать на их ослепительных белых громадах и смотреть оттуда на приветливую землю с ее лесами, просеками, полянами, цветущей рожью,

поблескиваньем тихой воды и пестрыми стадами.

На поляне около лесной опушки я увидел синие цветы. Они жались друг к другу. Заросли их были похожи на маленькие озера с густой синей водой.

Я нарвал большой букет этих цветов. Когда я встряхивал их, в цветах погромыхивали созревшие семена.

Цветы были незнакомые, похожие на колокольчики. Но у колокольчиков чашечка всегда склоняется к земле, а у этих неизвестных цветов сухие чашечки стояли, вытянувшись вверх.

Дорога вышла из леса в поля. Невидимые жаворонки тотчас запели над рожью. Впечатление было такое, будто они перебрасывали друг другу стеклянную нитку. Они то роняли ее, то тут же на лету подхватывали, и дрожащий ее звон не затихал ни на минуту.

На полевой дороге мне попались навстречу две деревенские девушки. Они шли, должно быть, издалека. Пыльные туфли, связанные тесемками, висели у них через плечо. Они о чем-то болтали, смеялись, но, увидев меня, тотчас замолкли, торопливо поправили под платочками светлые волосы и сердито поджали губы.

Почему-то всегда бывает обидно, когда вот такие загорелые, сероглазые и смешливые девушки, увидев тебя, сразу же напускают на себя суровость. И еще обиднее, когда, разминувшись с ними, услышишь за спиной сдержанный смех.

Я уже был готов обидеться, но, поравнявшись со мной, девушки остановились, и обе сразу улыбнулись мне так застенчиво и легко, что я даже растерялся. Что может быть лучше этой неожиданной девичьей улыбки на глухой полевой дороге, когда в синей глубине глаз вдруг появляется влажный ласковый блеск и ты стоишь, удивленный, будто перед тобой сразу расцвел всеми своими сияющими цветами, весь в брызгах и пахучей прелести, куст жимолости или боярышника?

— Спасибо вам, — сказали мне девушки.

— За что?

— За то, что вы нам повстречались с этими цветами.

Девушки вдруг бросились бежать, но на бегу несколько раз оглядывались и, смеясь, ласково кричали мне одни и те же слова:

— Спасибо вам! Спасибо!

Я решил, что девушки развеселились и шутят надо мной. Но в этом маленьком случае на по-

левой дороге все же было что-то таинственное, удивительное, чего я не мог понять.

На околице деревни мне встретилась торопливая чистенькая старушка. Она тащила на веревке дымчатую козу. Увидев меня, старушка остановилась, всплеснула руками, выпустила козу и запела:

— Ой, милок! И до чего ж это чудесно, что ты мне встретился на пути. Уж и не знаю, как мне тебя благодарить.

— За что же меня благодарить, бабушка? — спросил я.

— Ишь, притворенный, — ответила старушка и хитро покачала головой. — Уже будто ты и не знаешь? Сказать этого я тебе не могу, нельзя говорить. Ты иди своей дорогой и не торопись, чтобы тебе встретилось побольше людей.

Только в деревне загадка наконец разъяснилась. Раскрыл ее мне председатель сельсовета Иван Карпович — человек строгий и деловой, но имевший склонность к краеведению и историческим изысканиям, как он выражался, «в масштабах своего района».

— Это вы нашли редкий цветок, — сказал он мне. — Называется «приточная трава». Есть такое поверье — да вот, не знаю, стоит ли его разобла-

чать? — будто этот цветок приносит девушкам счастливую любовь, а пожилым людям — спокойную старость. И вообще — счастье.

Иван Карпович засмеялся:

— Вот и мне вы попались навстречу с «приточной травой». Пожалуй, будет и мне удача в моей работе. Надо думать, шоссейную дорогу из области к себе мы в этом году закончим. И соберем первый урожай проса. До сего времени его здесь не сеяли.

Он помолчал, улыбнулся каким-то своим мыслям и добавил:

— А за девушек я рад. Это хорошие девушки, лучшие наши огородницы. Счастье, оно, знаете, коренится в работе. И в процветании нашей земли.

Во глубине России

Утро, когда начинается этот рассказ, наступило пасмурное, но теплое. Обширные луга были политы ночным дождем, а это значило, что не только в каждом венчике блестела капля воды, но все великое множество трав и кустов издавало резкий и освежительный запах.

Я шел лугами к одному довольно таинственному озерцу. На взгляд человека трезвого, ничего таинственного в этом озерце не было и быть не могло. Но впечатление загадочности от этого озерца оставалось у всех, и я, сколько ни пытался, не мог установить причину этого явления.

Для меня таинственность состояла в том, что вода в озерце была совершенно прозрачная, но казалась по цвету жидким дегтем (со слабым зеленоватым отливом). В этой водяной черноте жили, по рассказам престарелых словоохотливых колхозников, караси величиной «с поднос от самовара». Поймать хоть одного такого карася никому не случалось, но изредка в глубине озерца вдруг вспыхивал бронзовый блеск и, вильнув хвостом, исчезал.

Ощущение таинственности возникает от ожи-

дания неизвестного и не совсем обыкновенного. А густота и высота зарослей вокруг озерца заставляла думать, что в них непременно скрывается что-нибудь до сих пор невиданное и смертельно любопытное: или стрекоза с красными крыльями, или синяя божья коровка в белую крапинку, или ядовитый цветок лоха с полным сочным стволом толщиной в человеческую руку.

И все это действительно там было, в том числе и огромные ирисы с мечевидными листьями. Они отражались в воде, и почему-то вокруг этого отражения всегда стояли толпами, как будто булавки, притянутые магнитом, серебряные мальки.

В лугах было совсем пусто. До покоса еще оставалось недели две. Издали я заметил маленького мальчика в выцветшей и явно большой для него артиллерийской фуражке. Он держал под уздцы гнедого коня и что-то кричал. Конь дергал головой и отмахивался от мальчика, как от слепня, жестким хвостом.

— Дяденькя-я-я! — кричал мальчик. — А дяденькя-я-я! Подь сюда!

Это был требовательный крик о помощи. Я свернул с дороги и подошел к мальчику.

— Дяденькя, — сказал он, смело глядя на меня серыми умоляющими глазами. — Посади меня на

мерина, а то я сам не могу.

— А ты чей? — спросил я.

— Аптекарский, — ответил мальчик.

Я знал, что у нашего сельского аптекаря Дмитрия Сергеевича детей нет, и подивился на необыкновенную фамилию мальчика.

Я поднял его на руки, но мерин тотчас, дико косясь, начал мелко перебирать ногами и отходить, стараясь держаться от меня на расстоянии вытянутой руки.

— Ох и вредный! — сказал мальчик с укором. — Прямо псих! Дайте я его за повод схвачу, тогда вы меня и подсадите. А так он не даст.

Мальчик поймал мерина за повод. Мерин тотчас успокоился, даже как будто уснул. Я подсадил мальчика ему на спину, но мерин продолжал стоять все так же понуро и, казалось, собирался стоять так весь день. Он даже легонько всхрапнул. Тогда мальчик высоко подпрыгнул у мерина на хребте и с размаху ударил его босыми пятками по вздутым пыльным бокам. Мерин удивленно икнул и поскакал лениво и размашисто к песчаным буграм за Бобровой протокой.

Мальчик все время подпрыгивал, взмахивал локтями и колотил мерина пятками по бокам. Тогда я сообразил, что, очевидно, только при

такой довольно тяжелой работе можно от этого мерина добиться чего-нибудь путного.

На озерце, глубоко запрятанном в крутых берегах, лежала илистая тень, и в этой тени серебрились от росы сами по себе серебряные ракиты.

На ветке сидела маленькая серая птица в красном жилете и желтом галстуке и издавала дробный и приятный треск, не раскрывая при этом клюва. Я подивился, конечно, на эту птаху и на ее веселое занятие и начал прорываться к воде.

Дело в том, что к нам приехала после экзаменов в московской школе городская девочка Маша — любительница растений, и я решил набрать ей в подарок букет из всяких хороших цветов. Но так как плохих цветов вообще нет, то мне выпала довольно трудная задача — что выбрать. В конце концов я решил взять по одному цветку и одной ветке от всех растений, создававших вокруг озерца непролазные росистые и пахучие валы.

Я осмотрелся. По берегам уже зацвела желтоватыми непрочными кистями таволга. Цветы ее пахли мимозой. Донести их до дому, особенно в ветреную погоду, было почти невозможно. Но я все же срезал ветку таволги и спрятал ее под кустом, чтобы не ворошить раньше времени.

Потом я срезал широкие, как сабля, листья аира. От них исходил сильный и пряный запах. Я вспомнил, что на Украине хозяйки по большим праздникам устилают полы аиром и стойкий запах его держится в хатах почти до зимы.

Стрелолист уже дал первые плоды — зеленые шишки, покрытые со всех сторон мягкими иглами. Я сорвал и его.

С трудом я зацепил сухой веткой и осторожно вытащил из воды белые плавучие цветы водокраса с красноватой сердцевиной. Лепестки его были не толще папиросной бумаги и тотчас обвяли. Пришлось его выбросить. Тогда я той же веткой подтащил к берегу цветущую водяную гречиху. Розовые ее метелки стояли над водой круглыми маленькими рощами.

До белых лилий я никак не мог дотянуться. Раздеваться же и лезть в озерцо мне не хотелось, — илистое его дно засасывало выше колен. Вместо лилий я сорвал береговой цветок с грубым названием «сусак». Его цветы были похожи на вывернутые ветром маленькие зонтики.

У самой воды большими куртинами выглядывали из зарослей мяты невинные голубоглазые незабудки. А дальше, за свисающими петлями ежевики, цвела по откосу дикая рябина с тугими

желтыми соцветиями. Высокий красный клевер перемешивался с мышиным горошком и подмаренником, а над всем этим тесно столпившимся содружеством цветов подымался исполинский чертополох. Он крепко стоял по пояс в траве и был похож на рыцаря в латах со стальными шипами на локтях и наколенниках.

Нагретый воздух над цветами «мрел», качался, и почти из каждой чашечки высовывалось полосатое брюшко шмеля, пчелы или осы. Как белые и лимонные листья, всегда вкось, летали бабочки.

А еще дальше высокой стеной вздымались боярышник и шиповник. Ветки их так переплетались, что казалось, будто огненные цветы шиповника и белые, пахнущие миндалем цветы боярышника каким-то чудом распустились на одном и том же кусте.

Шиповник стоял, повернувшись большими цветами к солнцу, нарядный, совершенно праздничный, покрытый множеством острых бутонов. Цветение его совпадало с самыми короткими ночами — нашими русскими, немного северными ночами, когда соловьи гремят в росе всю ночь напролет, зеленоватая заря не уходит с горизонта и в самую глухую пору ночи так светло, что на небе хорошо видны горные вершины облаков.

Кое-где на их снеговой крутизне можно заметить розоватый отблеск солнечного света. И серебряный рейсовый самолет, идущий на большой высоте, сверкает над этой ночью, как медленно летящая звезда, — потому что там, на той высоте, где пролегает его путь, уже светит солнце.

Когда я вернулся домой, исцарапанный шиповником и весь в ожогах от крапивы, Маша прибивала к калитке листок бумаги. На нем было вырисовано печатными буквами:

Много пыли на дороге,
Много грязи на пути, —
Вытирай почище ноги,
Если хочешь в дом войти.

— Ага! — сказал я. — Ты, значит, была в аптеке и видела там такую же записку на дверях?

— Ой, какие цветы! — закричала Маша. — Прямо прелесть! Да, я была в аптеке. И еще я видела там прямо замечательного человека. Его зовут Иван Степанович Крышкин.

— Кто ж он такой?

— Мальчишка. Прямо необыкновенный.

Я только усмехнулся. Уж кого-кого, а деревенских мальчишек я знал насквозь. По многолетнему опыту в этом деле я смело могу утверждать,

что у этих беспокойных и шумливых наших соотечественников есть одно действительно необыкновенное свойство. Физик определил бы его словом «всепроницаемость». Мальчишки эти «всепроницаемы», вернее «всепроницающи», или, говоря старинным тяжеловесным языком, «вездесущи».

В какую бы лесную, озерную или болотную глухомань я ни попадал, всюду я заставал мальчишек, предававшихся самым разнообразным и порой удивительным занятиям.

Я, конечно, не говорю о том, что в сентябре месяце на ледяной и туманной утренней заре заставал их, трясущихся от холода, в мокрых зарослях ольхи на берегу глухого озера в двадцати километрах от жилья. Они сидели, притаившись в кустах, с самодельными удочками, и только характерный звук, который называется «шмыганье носом», выдавал их присутствие. Иногда они так затаивались, что я их вовсе не видел и вздрагивал, когда у себя за спиной вдруг слышал умоляющий хриплый шепот:

— Дяденькя, дай червячкя!

Во все эти глухие места, где, как любили выражаться авторы романов о приключениях на суше и на море, «редко ступала нога человека»,

мальчиков приводило неистовое воображение и любопытство.

Мне кажется, что если бы я попал на Северный полюс или, скажем, на полюс Магнитный, то и там обязательно бы сидел и шмыгал носом мальчишка с удочкой, караулил бы у проруби треску, а на Магнитном полюсе выковыривал бы из земли сломанным ножом кусочек магнита.

Других особо примечательных свойств за мальчишками я не знал и потому спросил у Маши:

— Чем же он такой прямо необыкновенный, твой Иван Степанович Крышкин?

— Ему восемь лет, — ответила Маша, — а он разыскивает и собирает для аптекаря разные лечебные травы. Например, валериану.

Из дальнейшего рассказа выяснилось, что Иван Степанович Крышкин до удивительности похож на того мальчишку, которого я подсаживал на старого мерина. Но все сомнения рассеялись, когда я узнал, что упомянутый Крышкин появился около аптеки вместе с гнедым мерином и что этот самый мерин, будучи привязан к изгороди, тотчас уснул. А Иван Степанович Крышкин вошел в аптеку и передал аптекарю мешок с собранной за Бобровой протокой травой валерианой.

Оставалось неясным только одно — как это

Иван Степанович Крышкин словчился нарвать валериану, не слезая с мерина. Но когда я узнал, что Иван Степанович привел мерина на поводу, то догадался, что на мерине он доехал только до зарослей валерианы, а оттуда вернулся пешком.

В этом месте рассказа пора уже перейти к тому, о чем я и хотел рассказать, — к аптекарю Дмитрию Сергеевичу, и, пожалуй, не столько к нему, сколько к давно занимавшей меня теме об отношении человека к своему делу.

Дмитрий Сергеевич был беззаветно предан фармации. Из разговоров с ним я убедился, что распространенное мнение о том, что существуют неинтересные профессии, — предрассудок, вызванный нашим невежеством. С тех пор мне начало нравиться в сельской аптеке все, начиная от свежего запаха всегда вымытых дощатых полов и можжевельника и кончая запотевшими бутылками пузырящегося боржома и белыми фаянсовыми банками на полках с черной надписью: «венена» — яд!

По словам Дмитрия Сергеевича, почти каждое растение содержит в себе или целебные, или смертоносные соки. Задача в том, чтобы извлечь эти растительные соки, узнать их свойства и употребить на благо человеку.

Многое, конечно, было уже открыто с давних времен, например действие ландыша или наперстянки на сердце или что-нибудь иное в этом роде, но тысячи растений были еще не исследованы, и этот труд представлялся Дмитрию Сергеевичу самым увлекательным из всех занятий в мире.

В то лето Дмитрий Сергеевич был занят извлечением витаминов из молоденькой сосновой хвои. Он заставлял всех нас пить зеленый жгучий настой из этой хвои, и хотя мы морщились и ругались, но все же должны были согласиться, что действует он превосходно.

Однажды Дмитрий Сергеевич принес мне почитать толстую книгу — фармакопею. Я не запомнил точного ее названия. Книга эта была не менее увлекательна, чем самый свободный и мастерски написанный роман. В ней были описаны все, подчас совершенно удивительные и неожиданные, качества многих растений — не только трав и деревьев, но и мхов, лишайников и грибов. Кроме того, в ней было подробно рассказано, как изготовлять из этих растений лекарства.

Каждую неделю Дмитрий Сергеевич печатал в местной районной газете «Знамя труда» маленькие статьи о целебной силе растений,

какого-нибудь скромнейшего подорожника или табачного гриба. Статьи эти, которые Дмитрий Сергеевич почему-то называл фельетонами, печатались под общим заголовком «В мире друзей».

В некоторых избах я видел вырезанные из газеты и прибитые гвоздиками к стене эти статьи Дмитрия Сергеевича и по этому признаку узнавал, с какой болезнью боролся обитатель избы.

В аптеке постоянно толклись мальчишки. Они были главными поставщиками трав для Дмитрия Сергеевича. Работали мальчишки самоотверженно и забирались в такие глухие места, как, например, болото по названию «Хвощи», или даже за отдаленную речку со странным названием «Казенная», где редко кто бывал, а кто бывал, тот рассказывал о пустошах, покрытых мелкими илистыми озерами и заросших высоким конятником.

За доставку травы мальчишки ничего не требовали, кроме детских резиновых сосок. Соски эти они надували ртом, тужась и краснея, завязывали тесемочкой и делали из них подобие воздушных шаров, так называемые «летучие пузыри». Пузыри эти, конечно, не летали, но мальчишки постоянно таскали их с собой и то быстро вертели их на веревочке вокруг пальца,

издавая угрожающее жужжание, то просто били этими пузырями друг друга по голове, наслаждаясь восхитительным треском, сопровождавшим это занятие.

Несправедливо было бы думать, что мальчишки проводили большую часть дня в праздности и развлечениях. Развлекались они только утром, во время школьных каникул, да и то не каждый день. Большей частью они помогали взрослым — пасли телят, возили хворост, резали лозу, окучивали картошку, чинили изгороди и приглядывали в отсутствие взрослых за маленькими детьми. Хуже всего было, конечно, то, что маленькие едва умели ходить и их приходилось всюду таскать с собой на закорках.

Больше всего мальчишки любили в деревне двух человек — Дмитрия Сергеевича и старика по прозвищу Утиль.

Утиль появлялся в деревне не часто — раз в месяц, а то и реже. Он лениво ковылял в пыльном балахоне рядом с мухортой лошаденкой, старательно тащившей телегу, волочил за собой по песку веревочный кнут и заунывно кричал:

— Тряпье, старые калоши, рога, копыта принимаем!

На передке телеги у Утиля стоял волшебный

ящик, сколоченный из простой фанеры. На откинутой крышке ящика висели на гвоздиках пестрые игрушки: свистульки, шарики на резинке, целлулоидовые куколки, переводные картинки и мотки ярких бумажных ниток для вышивания.

Как только Утиль въезжал в деревню, тотчас к нему, как цыплята на зов хозяйки, бежали со всех дворов, торопясь и спотыкаясь, мальчишки и девочки, волоча своих «младшеньких» братишек и сестренок и прижимая свободной рукой к груди старые мешки, стоптанные чуни, поломанные коровьи рога и всякую ветошь.

Утиль обменивал тряпье и рога на новенькие, еще липкие от краски игрушки и по поводу каждой игрушки вступал в длительные разговоры, а порой и распри со своими маленькими поставщиками.

Взрослые никогда ничего не выносили Утилю. Это было исключительное право детей.

Очевидно, общение с детьми развивает в человеке многие добрые свойства. Утиль был человек по внешности суровый, даже, как говорится, «страховидный» — косматый, заросший седой щетиной, с багровым от солнца и ветра облупленным носом. Голос у него, несмотря на хрипоту,

был зычный и грубый. Но несмотря на эти угрожающие признаки, Утиль никогда не отказывал детям. Один только раз он не принял у девочки в красном выцветшем сарафане совершенно истлевшие голенища от отцовских сапог.

Девочка как-то вся сжалась, втянула голову в плечи и, будто побитая, медленно пошла от телеги Утиля к своей избе. Дети, окружавшие Утиля, вдруг притихли, наморщили лбы, а кое-кто и засопел носом.

Утиль свертывал из махорки толстую «козью ножку» и, казалось, не замечал ни плачущей девочки, ни пораженных его жестоким поступком детей.

Он не спеша заклеил «козью ножку», закурил, потом сплюнул. Дети молчали.

— Вы что? — сердито спросил Утиль. — Ай не понимаете? Я государственное поручение сполняю. Ты мне грязь не носи. Ты мне носи предмет для дальнейшего производства. Понятно?

Дети молчали. Утиль затянулся и, не глядя на детей, сказал:

— Сбегайте-ка за ней. Мигом! Сбычились на меня, будто я душегуб!

Вся стая детей, как вспугнутые воробьи, кинулась к избе девочки в красном сарафане.

Ее приволокли румяную и смущенную, с не высохшими еще слезинками на глазах, и Утиль важно и строго осмотрел ее голенища, бросил их на телегу и протянул девочке взамен самую лучшую, самую пеструю куклу с круглыми пунцовыми щечками, восторженно вытаращенными водянисто-голубыми глазами и пухлыми растопыренными пальцами.

Девочка робко взяла куклу, прижала к худенькой груди и засмеялась. Утиль дернул за вожжи, лошаденка прижала уши и влегла в оглобли, и телега, скрипя по песку, двинулась дальше.

Утиль шел рядом с ней, не оглядываясь, все такой же суровый и как будто бы грубый, и молчал. Только пройдя двадцать изб, он прокашлялся и протяжно закричал:

— Ветошь, рога, копыта, рваные калоши принимаем!

Глядя ему вслед, я подумал, что вот нет как будто на свете занятия менее приятного, чем быть ветошником, а между тем сумел же этот человек сделать из него радость для колхозной детворы.

Любопытно, что Утиль работал даже, я бы сказал, с некоторым вдохновением, с выдумкой, с заботой о своих шумливых поставщиках. Он добивался от своего начальства, чтобы на каждую

поездку по деревням ему каждый раз выдавали другие игрушки. Ассортимент игрушек (по воле хозяйственников, очевидно не знающих и не любящих свой родной язык, тяжеловесное иностранное слово «ассортимент» совершенно вытеснило простые русские слова «подбор» или «выбор») у Утиля был разнообразный и увлекательный.

Величайшим событием в деревне был тот случай, когда Утиль по заказу Дмитрия Сергеевича привез из города бронзированные рыболовные крюки и расплатился ими по особому списку на четвертушке бумаги с теми мальчишками, которые собирали для аптеки лекарственные травы. Иван Степанович Крышкин получил по заслугам целых десять крючков.

Раздача крючков происходила в благоговейной тишине. Мальчишки, как по команде, сняли свои видавшие виды кепки и, сопя, с необыкновенной сосредоточенностью и тщательностью начали закалывать крючки в подкладку кепок — в самое верное хранилище всех мальчишеских ценностей.

Все мы привыкли к тому, что у нас в России самый с виду непримечательный и скромный человек может оказаться на поверку человеком

очень незаурядным и значительным. Особенно понимал это писатель Лесков. Понимал, конечно, потому, что досконально знал и любил Россию, изъездил ее вдоль и поперек и был наперсником, закадычным другом сотен простых наших людей.

Под скромной внешностью Дмитрия Сергеевича, который, в шутку говоря, отличался только тем, что в нем не было ничего примечательного, скрывался неутомимый искатель нового в своем деле, требовательный к себе и окружающим гуманист.

Под грубой внешностью Утиля билось широкое и доброе сердце, и, кроме того, это был человек воображения, которое он применял к своему как будто мизерному делу.

Я подумал об этом и вспомнил одно забавное происшествие в наших местах, случившееся с моим приятелем и со мной.

Однажды мы поехали рыбачить на Старую Канаву. Так в этих местах зовут узкую лесную речку с быстрым течением и коричневой водой. Речка эта протекает в большом отдалении от человеческого жилья, в глубине леса, и попасть на нее не так-то просто. Сначала нужно ехать сорок километров по узкоколейке, потом километров

тридцать идти пешком.

На Старой Канаве в ямах с водоворотами обитали крупные язи, и за ними-то мы и поехали.

Возвращались мы на следующий день. В лесные тихие сумерки мы вышли к разъезду на узкоколейку. Сильно пахло скипидаром, опилками и гвоздикой. Был уже август, кое-где на березах висели первые пожелтевшие листья. То один, то другой такой лист загорался по очереди золотым пламенем от луча закатного солнца.

Подошел маленький поезд весь из пустых товарных вагонов. Мы влезли в тот вагон, где было побольше народа. Женщины везли кошелки с брусникой и грибами. Два оборванных и небритых охотника сидели, свесив ноги, в открытых дверях и курили.

Сначала женщины разговаривали о своих сельских делах, но вскоре таинственная прелесть лесных сумерек вошла в вагон, и женщины, вздохнув, замолчали.

Поезд вышел в луга, и стал виден во всю ширь тихий закат. Солнце садилось в травы, в туманы и росы, и шум поезда не мог заглушить птичьего щелканья и перелива в кустах по сторонам полотна.

Тогда самая молодая женщина запела, глядя на

закат, и глаза ее казались золочеными. Пела она простую рязанскую песню, и кое-кто из женщин начал ей подпевать.

Когда женщины замолкли, оборванный охотник в обмотках из солдатской шинели сказал вполголоса своему спутнику:

— Споем и мы, Ваня? Как думаешь?

— Ну что ж, споем! — согласился спутник.

Оборванцы запели. У одного был густой и мягкий бас. Он лился свободно, широко, и мы все сидели, пораженные этим необыкновенным голосом.

Как всегда, пение вызывало зримые образы, у каждого свои, разные. У меня голос певца вызвал картину деревенские вечера, затянутого дымком далекого костра, вечерней зари над полями.

Женщины слушали певцов, покачивая головами от удивления, потом самая молодая женщина тихонько заплакала, но никто не обернулся в ее сторону, потому что это были слезы не боли и горечи, а переполняющего сердце восхищения.

Певцы замолкли. Женщины начали благословлять их и желать им счастья и долгой жизни за доставленную редкую радость.

Потом мы расспросили певца, кто он такой. Он назвал себя колхозным счетоводом из-за Оки.

Мы начали уговаривать его приехать в Москву, чтобы кто-нибудь из крупных московских певцов и профессоров консерватории послушал его голос. Преступно, говорили мы, сидеть здесь в глуши с таким голосом и зарывать талант свой в землю. Но охотник только застенчиво улыбался и упорно отнекивался.

— Да что вы! — говорил он. — Какая же опера с моим любительским голосом! Да и возраст у меня не такой, чтобы так рисковать и ломать свою жизнь. У меня в селе сад, жена, дети учатся в школе. Что это вы придумали — ехать в Москву! Я в Москве был три года назад, так у меня от тамошней сутолоки голова с утра до ночи кружилась и так болела, что я не чаял, как мне поскорее удрать к себе на Оку.

Маленький паровоз засвистел тонким голосом. Мы подъезжали к своей станции.

— Вот что! — решительно сказал мой приятель охотнику. — Нам сейчас выходить. Я оставлю вам свой московский адрес и телефон. Приезжайте в Москву непременно. И поскорей. Я вас сведу с нужными людьми.

Он вырвал из записной книжки листок и торопливо набросал на нем свой адрес. Поезд уже подошел к станции, остановился и тяжело отду-

вался, готовясь тронуться дальше.

Охотник при слабом свете заката прочел записку моего приятеля и сказал:

— Вы писатель?

— Да.

— Как же, знаю. Читал. Очень рад познакомиться. Но позвольте и мне, в свою очередь, представиться, — солист Большого театра Пирогов. Ради всего святого, не обижайтесь на меня за этот небольшой «розыгрыш». Одно только могу сказать на основании этого розыгрыша, — счастлива страна, где люди так горячо относятся друг к другу.

Он засмеялся.

— Я говорю, конечно, о том, с каким жаром вы хотели помочь колхозному счетоводу стать оперным певцом. И уверен, что если бы я действительно был счетоводом, то вы бы не дали погибнуть моему голосу. Вот за это спасибо!

Он крепко потряс нам руки. Поезд тронулся, и мы остались, озадаченные, на дощатой платформе. Тогда только мы вспомнили рассказ Дмитрия Сергеевича о том, что певец Пирогов каждое лето отдыхает у себя на родине, в большом заокском селе неподалеку от нас.

Пора, однако, кончать этот рассказ. Я ловлю

себя на том, что заразился словоохотливостью от здешних стариков и разболтался, как паромщик Василий. У него одна история неизбежно вызывает в памяти другую, а та — третью, третья — четвертую, и потому нет его рассказам конца.

Задача у меня была самая скромная — рассказать хотя бы и незначительные случаи, свидетельствующие о талантливости и простосердечии русского человека. А о значительных случаях мы поговорим потом.

Синева

Хромой человек в маленькой кепке шел по гальке вдоль морского берега и смеялся.

Мальчишки удили со скал бычков и зеленух и перекрикивались насчет того, что рыжий Жорка занял у «Витьки-капитана» большого краба для наживки и вот уже который день не отдает.

Заметив на пляже смеющегося человека, мальчишки насторожились и замолкли. Они, видимо, соображали: оставаться ли им на скалах или лучше удрать.

— Тикайте все! — крикнул отчаянным голосом «Витька-капитан». — Тот дядя безумный! Он сам по себе смеется.

— Да нет же! — закричал, заикаясь от торопливости, самый маленький мальчик. — Совсем вовсе нет! Это шахтер с Горловки. Тот, что стоит в доме отдыха.

Вдруг мальчишки заслонили глаза ладонями от солнца:

— Трех камбал несет! С Тихой бухты. Он от удачи смеется. А Витька орет — «безумный!». Сам он псих, Витька.

Мальчишки, торопясь и толкаясь, полезли со

скал на берег и побежали навстречу хромому человеку. Еще на бегу они кричали:

— Дядя, где вы их поймали? На что? На соленую камсу или на свежую? Ой, дядя, дайте нам их понести. А ты не тяни! Он мне дал нести, не тебе. Какой хваткий!

Окруженный мальчишками, шахтер подошел к нам. Это был высокий, немного сутулый человек, с худощавым лицом и прищуренными глазами. Он улыбался, был горд своей добычей и, очевидно, ждал расспросов.

И мы — украинский писатель Горленко и я — расспросили его, стараясь скрыть свою зависть, как он поймал этих камбал, трогали колючие наросты у них на спинах и вообще удивлялись необыкновенным, как бы сплющенным наискось рыбам. Мальчишки шумели вокруг.

То было веселое и беспокойное племя маленьких черноморцев. Занятия в школе окончились, и мальчишки все дни напролет пропадали в пустынных бухтах, отрезанных от поселка отвесными скалами.

В скалах, заросших оранжевыми лишаями, гнездились дикие голуби. Стаи дроздов взлетали над цветущим шиповником. Горьковато пахло чабрецом и прохладой морских глубин. Дель-

фины, посапывая, кувыркались у самого берега, гоняли камсу.

Мальчишки отсиживались в этих диких бухтах от справедливого гнева матерей и многочисленных тетушек, от наскучивших угроз и упреков: «Вот, погоди, я до тебя доберусь!» «Смотри, какой Петя чистенький хлопчик. А ты на кого только похож!..»

Мальчишки знали все, что случалось на двадцать километров вокруг. Все было им досконально известно: когда пойдет кефаль, как рыбаки поймали черноморскую акулу — катрана (высохший хвост этой акулы служил у мальчишек предметом оживленного обмена на рыболовные шнуры, крючки и грузила), кто приехал в дом отдыха, сколько сил у рыбацкой моторки «Голубка», где можно накопать кусочки серного колчедана, «блискучего, как золото», и в какой полосе пляжа больше всего обкатанных морем сердоликов.

Они были очень расположены к нам, отдыхающим, эти маленькие черноморцы, и просто напрашивались на разные услуги, вроде того, чтобы поймать и засушить для нас морского конька или отцепить засевший среди подводных камней рыболовный шнур с крючками, так называемый самолов.

Стоило кому-нибудь из нас во время рыбной ловли зацепить самолов, как по берегу проносился непонятный клич: «Мерекоп!» — и все мальчишки бросались в воду, чтобы отцепить (или, как они выражались на рыбацком жаргоне, «отмерекопить») самолов.

Мерекоп! Зацеп! Это слово веселило приезжих. Мальчишек даже стали звать «мерекопщиками». Изыскания, предпринятые, чтобы найти корень слова «мерекоп», ничего не дали. Не удалась и попытка выяснить, откуда у мальчишек взялось слово «бонация», означавшее на их языке полный штиль.

В те дни «бонация» стояла над берегами Восточного Крыма. Особенно хорош был штиль на рассветах. Казалось, небо за ночь опустилось до самой земли и накрыло горы, обрывистые мысы, дальние берега и отдохнувшее море своей синевой. Дышалось прохладно и легко. Всходило огромное солнце, и в легкой мгле то тут, то там загорался и тотчас погасал дрожащий блеск: то солнечный луч вспыхивал на омытой прибоем скале, сверкал в стеклах горной сторожки, крытой черепицей, или насквозь просвечивал куст розового тамариска.

Восточный Крым был полон цветения и ти-

шины. Он не был похож на все остальные части Крыма, этот край сухих пепельных гор, полей, пылавших красными венчиками мака, густой морской сини и безмолвия.

К шуму моря слух привыкал очень быстро. Его вскоре переставали замечать. Тогда здесь оставался, пожалуй, только единственный звук — шелест травы под ветром.

Восточный Крым — богатая земля. О том, что скрыто под тамошней почвой и в недрах единственного в Крыму, погасшего вулкана Карадага, можно было догадываться по множеству камней, вымытых морем из подводных пещер.

Там было все: синий гранит, мрамор — то желтый, как слоновая кость, то розовый, то снежно-белый; дымчатые халцедоны, пестрые агаты, целебные сердолики, хризопразы, камни со странным названием «фернонпиксы», разрисованные узорами, зеленая яшма, горный хрусталь, пемза, лава и много других камней, сверкавших на сырых после шторма песках.

Восточный Крым — земля истории. Здесь волны, бывает, выбрасывают скифские серьги, черепки греческих ваз, монеты времен Екатерины, штыки защитников Севастополя, осколки глубинных бомб и ржавые гитлеровские каски.

Рыбаки кипятят теперь в касках вар для засмолки шаланд.

В эту древнюю и богатую землю съехались сейчас на отдых люди из самых разных частей Союза. Отдых сближает людей не меньше, чем работа. Все мы быстро сдружились, и нам казалось, что мы знаем друг друга давно. Только шахтер из Горловки по своей застенчивости держался пока особняком.

Но сейчас он подсел к нам и рассказал, что впервые приехал отдыхать к Черному морю со своей женой Фросей — работницей детских яслей — и просто слепнет здесь от синевы и солнца. До тех пор он видел только одно море — Азовское, да и то во время войны, когда был ранен в бою под Чонгаром.

Рассказывая, он несколько раз глубоко вздохнул и засмеялся. Было видно, что он отдыхает здесь безраздельно.

— Фрося моя все отстает, — заметил он и показал на молодую худенькую женщину. Она шла по пляжу и читала книгу. — Все зачитывается. Я закину шнуры в море, а она сядет в тени от скалы и читает. Я место переменю, а она, бывает, и не заметит. Да и то сказать, книга хорошая — «Белеет парус» Катаева.

Фрося подошла к нам, поздоровалась, достала платок и вытерла пот на лбу у шахтера.

— Да мне хорошо, не беспокойся, — пробормотал шахтер, а Фрося слабо улыбнулась нам, как бы оправдываясь, и сказала:

— Ему перегреваться нельзя. А он со своей камбалой с ума сходит. С самого рассвета до темноты сидит по-над морем. Обедать — и то я его силой тащу. Что на работе в шахте, что у моря — характер у моего Степы один.

Она положила на раскрытую книгу морской голыш, чтобы ветер не переворачивал страницы, помолчала и снова улыбнулась:

— Я заметила, что когда человек отдыхает, то, сколько бы ему ни было лет, он делается просто как маленький. Вот вы тоже, — она обернулась к Горленко, — каждый день меняете у мальчишек крючки на крабов. А один раз я даже видела, как вы помогали жуку.

Горленко покраснел и согласился, что да, действительно, был такой случай.

Жук долго трудился, скатал из всяких семян, навоза и остатков сухой камсы большой шар и покатил его вверх по крутой тропе в свою нору. Жук кряхтел, надрывался, мучился, несколько раз падал, но шара не выпускал. Только у самой норы

жук, очевидно, выбился из сил, шар выскользнул из его цепких лапок, покатился с горы и упал в глубокий овраг.

Жук заметался в отчаянии. Тогда Горленко спустился в овраг, нашел шар, принес его и положил около норы.

Жук пошевелил усиками, обежал несколько раз вокруг шара и закатил его наконец в нору…

— Пропащего труда всегда жалко, — заметила Фрося. — А вас я читала. И понаслышке тоже знаю. Мне про вас сестра рассказывала. Она садовод, работает в колхозе под Сумами.

— Что же она такое про меня рассказывала? — с опаской спросил Горленко.

— Будто вы всю Харьковщину и Полтавщину пешком обошли. С железной палкой и с мешком за спиной. Правда это?

Писатель пробормотал что-то неясное. Он был застигнут врасплох.

— И еще сестра рассказывала, как вы в одном селе косили сено для старушек, для матерей наших погибших солдат.

Я тоже слышал об этом. Слышал и о том, что Горленко каждое лето обходит пешком многие колхозы Украины и что таких знатоков колхозной жизни не так уж много среди наших

писателей.

В колхозах его хорошо знали — худого, запыленного, черного от солнца человека с серыми зоркими глазами. У него было множество друзей среди крестьян — от сивых дедов до молодиц и «малесеньких хлопчиков», тех самых всем известных хлопчиков, что от застенчивости в ответ на вопросы только чешут одной босой ногой другую и в исключительных случаях отвечают сиплым шепотом.

С Горленко колхозники советовались о всех своих житейских делах. И женщины, вздыхая, говорили:

— Вот мает же человек золотое сердце на радость людям.

Знания Горленко в сельском хозяйстве были обширны и накоплены опытом. О чем бы он ни говорил: о сортах пшеницы, водяных мельницах — «млынах», нехватке воды в реках, баштанах и сахаристости свеклы, — все это благодаря каким-то неуловимым чертам, рожденным любовью к делу, к людям, к своей удивительной южной земле, приобретало в его передаче черты настоящей поэзии.

Колхозная жизнь не была для него только материалом для книг. Она была его прямым делом,

его биографией. Он «болел» за «найкраще життя» для своих земляков не только в статьях и книгах, но и на деле. Труд был для него святыней, почетным долгом, будь то многолетнее выращивание новой породы молочного скота или разведение зеркального карпа.

Всюду он вносил пленительный украинский юмор. Нельзя сказать, чтобы его путь был усыпан барвинками и бархатцами. Все хищное, что еще пряталось кое-где в колхозах, — жулики-счетоводы, дутые «герои», втиравшие очки советской власти, — все это боялось его и мстило ему. Заносчивые и несправедливо обласканные доверчивыми руководителями председатели иных колхозов подсмеивались над тем, что он обходил Украину пешком, а не приезжал на своей личной блестящей машине, как это полагалось делать, по их представлению, «настоящему писателю». Да и из писателей кое-кто посмеивался над Горленко.

С кем бы Горленко ни встречался, он незаметно для собеседника выпытывал у него все, что касалось его работы, жизни, его познаний. Не было такой малости, из какой он не старался бы извлечь жизненный опыт.

Сейчас в Крыму его интересовало все: уход за виноградниками, сорта крымских табаков,

разноцветные лишаи на скалах, йодистые водоросли, местные названия каждого ветра и даже устройство легких у нырков, прятавшихся надолго под воду при первом же свисте пущенного в них «мерекопщиками» камня.

Иногда мы говорили с Горленко о будущем. Разговор этот чаще всего возникал по утрам на берегу. Быть может, потому, что тишина и блеск света над еще не проснувшимся морем всегда вызывали мысли о новых прекрасных днях.

Через несколько дней мы четверо (не считая всевидящих и вездесущих мальчишек) так сдружились, что почти всюду ходили вместе. И вот оказалось, что у нас, людей совершенно разных, много общих мыслей и интересных друг для друга рассказов — о шахтах, прошлом Донбасса, степных курганах, недавней Отечественной войне, городке Геническе, где выросла Фрося, колхозных лесах, рыбачьих традициях, стихах, писательском мастерстве и других не менее замечательных вещах.

Фрося больше всего любила стихи. Однажды, когда Горленко, лежа на пляже, начал читать вполголоса пушкинские строки: «Редеет облаков летучая гряда…», она отвернулась и заплакала. Но тут же она рассмеялась, и блеск благодарных

слез в ее глазах и сияние ее улыбки как бы осветили новой теплотой знакомые слова: «Звезда печальная, вечерняя звезда, твой луч осеребрил увядшие равнины...»

Мы сделали вид, что не заметили Фросиных слез, а шахтер сказал:

— Вот удивительно! Что ни день, то интереснее жить на свете.

Вскоре мы с Горленко уехали на машине к себе на север.

Тополя шумели по обочинам дороги. Листва лесов неслась за окнами машины. Внезапно в этой зелени возникали сиреневые гранитные скалы, увитые плющом. Струились и позванивали, пересекая шоссе, прозрачные ручьи. Каждый раз перед такими ручьями машина замедляла ход, будто хотела напиться.

Лепестки маков летели по ветру легкими стаями, как мотыльки. Отвесный каменный порог вставал вдали в дрожащем горячем воздухе, и шофер всерьез рассказывал, что он видел на этой гладкой горной стене ввинченные в камни причальные кольца, так как здесь, говорят, было в незапамятные времена море.

На утреннем базаре в Симферополе все блестело от росы: кувшины с молоком, холодная

редиска, пучки лука и огромные пионы.

Мы уезжали, но отдых продолжался. Благодатный Крым никак не хотел отпускать нас на север. Долго еще синели в степной дали мягкие гребни его гор.

С Крымом мы попрощались только у берегов Сиваша, за Чонгарским мостом.

Горячая машина отдыхала на пригорке в перистой тени акаций. Оттуда было видно Азовское море, разлитое густой лазурью между рыжих глинистых берегов. На мысу над морем белел поселок, как будто чайки сели отдохнуть среди кудрявой зелени низкорослых садов. Это был рыбачий городок Геническ — родина Фроси.

Может быть, поэтому Горленко вспомнил о Фросе и шахтере из Горловки и рассказал мне историю их любви и жизни. Оказывается, он уже успел все это узнать, опередив меня. Я тоже заметил почти детскую нежность в обращении Фроси с шахтером.

История их была удивительной и совершенно простой.

В бою под Чонгаром шахтер был тяжело ранен. К нему подползла санитарка. Это была Фрося. Она перевязала его, но тут же сама была ранена осколком снаряда. Тогда шахтер, почти теряя

сознание, перевязал свою спасительницу.

Потом они долго лежали в степи, пока их не подобрали и не отправили в санбат. Фрося говорила Горленко, что она выросла сиротой, жила одна, а тут этой ветреной ночью она услышала, как тяжело дышит рядом спасенный ею человек, и поняла, что он ей теперь не чужой, что их породнила великая сила сострадания.

Мутные звезды светились над Сивашем, отражались в его мертвой воде, и Фрося думала, что вот сейчас в ледяной степи, среди колючих трав у берега гнилого этого моря, освещенного вспышками орудийного огня, она нашла то, что сильнее смерти, сильнее горя, сильнее всего на свете, — родную человеческую душу.

— Вот и все, — сказал Горленко. — Никаких украшений жизнь не прибавила к их любви. Украшения пусть придумывают писатели. Но я считаю, что это совершенно лишнее.

Я согласился с ним.

Потом, когда машина неслась по широкому шоссе и в сумерках тонули по сторонам, кутаясь в туманы и дымы, запорожские степи, я думал о том, что ничего особенного не случилось за эти дни отдыха на берегу моря, кроме того, что там встретились самые простые советские люди. И в

их простоте открылось столько взаимного доброжелательства, веселья, душевной чистоты и преданности своему делу, что не нужно никаких необыкновенных поступков, чтобы оценить и полюбить это высокое племя людей.

Так иногда звук пастушьего рожка ближе сердцу, чем торжественные раскаты оркестра, а скромная ромашка дороже, чем вся пахучая пышность тропических садов.

Корзина с еловыми шишками

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена.

Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается с веток зелеными прядями до самой земли.

Кроме того, в горных лесах живет, как птица пересмешник, веселое эхо. Оно только и ждет, чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками — дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки.

Стояла осень. Если бы можно было собрать все золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них тысячи тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал на горах. К тому же кованые листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от

птичьего свиста.

— Как тебя зовут, девочка? — спросил Григ.

— Дагни Педерсен, — вполголоса ответила девочка.

Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись.

— Вот беда! — сказал Григ. — Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев.

— У меня есть старая мамина кукла, — ответила девочка. — Когда-то она закрывала глаза. Вот так!

Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Григ заметил, что зрачки у нее зеленоватые и в них поблескивает огоньками золотая листва.

— А теперь она спит с открытыми глазами, — печально добавила Дагни. — У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит.

— Слушай, Дагни, — сказал Григ, — я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.

Дагни даже всплеснула руками.

— Ой, как долго!

— Понимаешь, мне нужно ее еще сделать.

— А что это такое?

— Узнаешь потом.

— Разве за всю свою жизнь, — строго спросила Дагни, — вы можете сделать всего пять или шесть игрушек?

Григ смутился.

— Да нет, это не так, — неуверенно возразил он. — Я сделаю ее, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых.

— Я не разобью, — умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав. — И не сломаю. Вот увидите! У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с нее пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка.

«Она совсем меня запутала, эта Дагни», — подумал с досадой Григ и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми:

— Ты еще маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты ее едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чем-нибудь другом.

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжелая. В еловых шишках много смолы, и потому они весят гораздо

больше сосновых.

Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал:

— Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?

— Хагеруп, — ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила: — Разве вы не зайдете к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять ее в руки.

— Спасибо. Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни!

Григ пригладил волосы девочки и пошел в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из нее вываливались шишки.

«Я напишу музыку, — решил Григ. — На заглавном листе я прикажу напечатать: «Дагни Педерсен — дочери лесника Хагерупа Педерсена, когда ей исполнится восемнадцать лет».

В Бергене все было по-старому. Все, что могло приглушить звуки, — ковры, портьеры и мягкую мебель, — Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нем могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его выбросить.

Друзья говорили, что дом композитора похож

на жилище дровосека. Его украшал только рояль. Если человек был наделен воображением, то он мог услышать среди этих белых стен волшебные вещи — от рокота северного океана, что катил волны из мглы, и ветра, что высвистывал над ними свою дикую сагу, до песни девочки, баюкающей тряпичную куклу.

Рояль мог петь обо всем — о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и черные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали.

Тогда в тишине еще долго звучала только одна маленькая струна, будто это плакала Золушка, обиженная сестрами.

Григ, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок.

Становилось слышно, как, отсчитывая секунды с точностью метронома, капает из крана вода. Капли твердили, что время не ждет и надо бы поторопиться, чтобы сделать все, что задумано. Григ писал музыку для Дагни Педерсен больше месяца.

Началась зима. Туман закутал город по горло. Заржавленные пароходы приходили из разных

стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посапывая паром.

Вскоре пошел снег. Григ видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки деревьев.

Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык.

Григ писал о глубочайшей прелести девичества и счастья.

Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелеными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. «Спасибо», — говорит она, сама еще не зная, за что она благодарит его.

«Ты как солнце, — говорит ей Григ. — Как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвел белый цветок и наполнил все твое существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодежи жизнь, работу, талант. Отдал все без возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни.

Ты — белая ночь с ее загадочным светом. Ты — счастье. Ты — блеск зари. От твоего голоса

вздрагивает сердце.

Да будет благословенно все, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься».

Григ думал так и играл обо всем, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается. Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье.

Каждый слушал по-своему.

Синицы волновались. Как они ни вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля.

Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибала спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и подглядывал в щелку за Григом.

Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся золотыми ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь, на пол. Около ее босых ног стояли хрустальные туфельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из комнаты Грига.

Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов.

В восемнадцать лет Дагни окончила школу.

По этому случаю отец отправил ее в Христианию погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка (отец считал ее еще девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой, с тяжелыми русыми косами) посмотрит, как устроен свет, как живут люди и немного повеселится.

Кто знает, что ждет Дагни в будущем? Может быть, честный и любящий, но скуповатый и скучный муж? Или работа продавщицы в деревенской лавке? Или служба в одной из многочисленных пароходных контор в Бергене?

Магда работала театральной портнихой. Муж ее Нильс служил в том же театре парикмахером.

Жили они в комнатушке под крышей театра. Оттуда был виден пестрый от морских флагов залив и памятник Ибсену.

Пароходы весь день покрикивали в открытые окна. Дядюшка Нильс так изучил их голоса, что, по его словам, безошибочно знал, кто гудит — «Нордерней» из Копенгагена, «Шотландский певец» из Глазго или «Жанна Д'Арк» из Бордо.

В комнате у тетушки Магды было множество театральных вещей: парчи, шелка, тюля, лент,

кружев, старинных фетровых шляп с черными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфорт с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потертых на сгибе. Все это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить.

На стенах висели картинки, вырезанные из книг и журналов: кавалеры времен Людовика XIV, красавицы в кринолинах, рыцари, русские женщины в сарафанах, матросы и викинги с дубовыми венками на головах.

В комнату надо было подыматься по крутой лестнице. Там всегда пахло краской и лаком от позолоты.

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели.

Напуганная этим тетушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс обозвал Магду за это «наседкой» и сказал, что, наоборот, в театре надо верить всему. Иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила.

Но все же тетушка Магда настояла на том, что-

бы пойти для разнообразия в концерт.

Нильс против этого не спорил. «Музыка, — сказал он, — это зеркало гения».

Нильс любил выражаться возвышенно и туманно. О Дагни он говорил, что она похожа на первый аккорд увертюры. А у Магды, по его словам, была колдовская власть над людьми. Выражалась она в том, что Магда шила театральные костюмы. А кто же не знает, что человек каждый раз, когда надевает новый костюм, совершенно меняется. Вот так оно и выходит, что один и тот же актер вчера был гнусным убийцей, сегодня стал пылким любовником, завтра будет королевским шутом, а послезавтра — народным героем.

— Дагни, — кричала в таких случаях тетушка Магда, — заткни уши и не слушай эту ужасную болтовню! Он сам не понимает, что говорит, этот чердачный философ!

Был теплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке под открытым небом.

Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть свое единственное белое платье. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем, длинная

его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в черном и, наоборот, в темные сверкать белизной платья.

Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела черное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной.

Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав — ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и ее длинные, с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат.

— Посмотри, Магда, — сказал вполголоса дядюшка Нильс, — Дагни так хороша, будто идет на первое свидание.

— Вот именно! — ответила Магда. — Что-то я не видела около себя безумного красавца, когда ты пришел на первое свидание со мной. Ты у меня просто болтун.

И Магда поцеловала дядюшку Нильса в голову.

Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой пушки в порту. Выстрел означал заход солнца.

Несмотря на вечер, ни дирижер, ни оркестранты не включили лампочек над пультами. Вечер был настолько светлый, что фонари, горевшие в

листве лип, были зажжены, очевидно, только для того, чтобы придать нарядность концерту.

Дагни впервые слышала симфоническую музыку. Она произвела на нее странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны.

Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал ее имя.

— Это ты меня звал, Нильс? — спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась.

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И так же смотрела на нее, прижав ко рту платок, тетушка Магда.

— Что случилось? — спросила Дагни.

Магда схватила ее за руку и прошептала:

— Слушай!

Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал:

— Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвященная дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет!

Дагни вздохнула так глубоко, что у нее заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступавшие к горлу слезы, но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями.

Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом она наконец услышала, как поет ранним утром пастуший рожок и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается, как эхо, струнный оркестр.

Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться.

Да! Это был ее лес, ее родина! Ее горы, песни рожков, шум ее моря!

Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке — в ее окно любимый бросил на рассвете горсть песку. Дагни слышала эту песню у себя в горах.

Так, значит, это был он! Тот седой высокий человек, что помог ей донести до дому корзину

с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник и великий музыкант! И она его укоряла, что он не умеет быстро работать.

Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет.

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила все пространство между землей и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась легкая рябь. Сквозь нее светили звезды.

Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимает друг у друга счастья, где солнце горит, как золотая корона в волосах сказочной доброй волшебницы.

В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты — счастье, — говорил он. — Ты — блеск зари!»

Музыка стихла. Сначала медленно, потом все разрастаясь, загремели аплодисменты.

Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на нее. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Григ посвятил свою бессмертную вещь.

«Он умер! — думала Дагни. — Зачем?» Если бы можно было увидеть его! Если бы он появился здесь! С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы за шею, прижалась мокрой от слез щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: «Спасибо!» — «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю… — ответила бы Дагни. — За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек».

Дагни шла по пустынным улицам. Она не замечала, что следом за ней, стараясь не попадаться ей на глаза, шел Нильс, посланный Магдой. Он покачивался, как пьяный, и что-то бормотал о чуде, случившемся в их маленькой жизни.

Сумрак ночи еще лежал над городом. Но в окнах слабой позолотой уже занимался северный рассвет.

Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком сне, без единого всплеска.

Дагни сжала руки и застонала от не ясного еще ей самой, но охватившего все ее существо чувства красоты этого мира.

— Слушай, жизнь, — тихо сказала Дагни, — я люблю тебя.

И она засмеялась, глядя широко открытыми

глазами на огни пароходов. Они медленно качались в прозрачной серой воде.

Нильс, стоявший поодаль, услышал ее смех и пошел домой. Теперь он был спокоен за Дагни. Теперь он знал, что ее жизнь не пройдет даром.

Великий сказочник

Мне было всего семь лет, когда я познакомился с писателем Христианом Андерсеном.

Случилось это в зимний вечер 31 декабря 1899 года — всего за несколько часов до наступления двадцатого столетия. Веселый датский сказочник встретил меня на пороге нового века.

Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал из кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка вдруг выпала большая белая роза. Сразу же вся комната наполнилась ее серебряным светом и непонятным медленным звоном. Оказалось, что это звенят лепестки розы, ударившись о кирпичный пол подвала, где жила тогда наша семья.

Случай с Андерсеном был тем явлением, которое старомодные писатели называли «сном наяву». Просто это мне, должно быть, привиделось.

В тот зимний вечер, о котором я рассказываю, у нас в семье украшали елку. По этому случаю взрослые отправили меня на улицу, чтобы я раньше времени не радовался елке.

Я никак не мог понять, почему нельзя радоваться раньше какого-то твердого срока. По-моему, радость была не такая частая гостья в нашей семье, чтобы заставлять нас, детей, томиться, дожидаясь ее прихода.

Но как бы там ни было, меня услали на улицу. Наступило то время сумерек, когда фонари еще не горели, но могли вот-вот зажечься. И от этого «вот-вот», от ожидания внезапно вспыхивающих фонарей у меня замирало сердце. Я хорошо знал, что в зеленоватом газовом свете тотчас появятся в глубине зеркальных магазинных витрин разные волшебные вещи: коньки «снегурки», витые свечи всех цветов радуги, маски клоунов в маленьких белых цилиндрах, оловянные кавалеристы на горячих гнедых лошадях, хлопушки и золотые бумажные цепи. Непонятно почему, но от этих вещей сильно пахло клейстером и скипидаром.

Я знал со слов взрослых, что вечер 31 декабря 1899 года был совершенно особенный. Чтобы дождаться такого же вечера, нужно было прожить еще сто лет. А это, конечно, почти никому не удастся.

Я спросил у отца, что значит «особенный вечер». Отец объяснил мне, что этот вечер называется

так потому, что он не похож на все остальные.

Действительно, тот зимний вечер в последний день 1899 года не был похож на все остальные. Снег падал медленно и важно, и хлопья его были такие большие, что, казалось, с неба слетают на город легкие белые розы. И по всем улицам слышался глухой перезвон извозчичьих бубенцов.

Когда я вернулся домой, елку тотчас зажгли, и в комнате началось такое веселое потрескиванье свечей, будто вокруг беспрерывно лопались сухие стручки акации.

Около елки лежала толстая книга — подарок от мамы. Это были сказки Христиана Андерсена.

Я сел под елку и раскрыл книгу. В ней было много цветных картинок, прикрытых папиросной бумагой. Приходилось осторожно отдувать эту бумагу, чтобы увидеть эти картинки, еще липкие от краски.

Там сверкали бенгальским огнем стены снежных дворцов, дикие лебеди летели над морем, в котором, как лепестки цветов, отражались розовые облака и оловянные солдатики стояли на часах на одной ноге, сжимая длинные ружья.

Я начал читать и зачитался так, что, к огорчению взрослых, почти не обратил внимания на нарядную елку.

Прежде всего я прочел сказку о стойком оловянном солдатике и маленькой прелестной плясунье, потом — сказку о снежной королеве. Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом.

Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту дремоту увидел Андерсена, когда он обронил белую розу. С тех пор мое представление о нем всегда было связано с этим приятным сном.

Тогда я еще не знал, конечно, двойного смысла андерсеновских сказок. Я не знал, что в каждой детской сказке заключена вторая, которую в полной мере могут понять только взрослые.

Это я понял гораздо позже. Понял, что мне просто повезло, когда в канун трудового и великого двадцатого века мне встретился милый чудак и поэт Андерсен и научил меня светлой вере в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злом. Тогда я уже знал пушкинские слова «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» и был почему-то уверен, что Пушкин и Андерсен были закадычными друзьями и, встречаясь, долго хлопали друг друга по плечу и хохотали.

Биографию Андерсена я узнал значительно позже. С тех пор она всегда представлялась мне в виде интересных картин, похожих на рисунки к его рассказам.

Андерсен всю свою жизнь умел радоваться, хотя детство его не давало для этого никаких оснований. Родился он в 1805 году, во времена наполеоновских войн, в старом датском городе Одензе в семье сапожника.

Одензе лежит в одной из котловин среди низких холмов на острове Фюн. В котловинах на этом острове почти всегда застаивался туман, а на вершинах холмов цвел вереск и уныло шумели сосны.

Если хорошенько подумать, на что был похож Одензе, то, пожалуй, можно сказать, что он больше всего напоминал игрушечный город, вырезанный из почернелого дуба.

Недаром Одензе славился своими резчиками по дереву. Один из них, средневековый мастер Клаус Берг, вырезал из черного дерева огромный алтарь для собора в Одензе. Алтарь этот — величественный и грозный — наводил оторопь не только на детвору, но даже на взрослых.

Но датские резчики делали не только алтари и статуи святых. Они предпочитали вырезать из

больших кусков дерева те фигуры, что, по морскому обычаю, украшали форштевни парусных кораблей. То были грубые, но выразительные статуи мадонн, морского бога Нептуна, нереид, дельфинов и изогнувшихся морских коньков. Эти статуи раскрашивали золотом, охрой и кобальтом, причем клали краску так густо, что морская волна не могла в течение многих лет смыть ее или повредить.

По существу, эти резчики корабельных статуй были поэтами моря и своего ремесла. Не зря же из семьи такого резчика вышел один из величайших скульпторов XIX века, друг Андерсена, датчанин Альберт Торвальдсен.

Маленький Андерсен видел замысловатые работы резчиков не только на кораблях, но и на домах Одензе. Должно быть, он знал в Одензе тот старый-престарый дом, где год постройки был вырезан на деревянном толстом щите в рамке из тюльпанов и роз. Там же было вырезано целое стихотворение, и дети выучивали его наизусть. (Он даже описал этот дом в одной из сказок.)

А у отца Андерсена висела над дверью, как у всех башмачников, деревянная вывеска с изображением орла с парой голов в знак того, что башмачники всегда шьют только парную обувь.

Дед Андерсена тоже был резчиком по дереву. В старости он занимался тем, что вырезал всякие причудливые игрушки — людей с птичьими головами или коров с крыльями — и раздаривал эти фигурки соседским мальчишкам. Дети радовались, а родители, как водится, считали старого резчика слабоумным и дружно насмехались над ним.

Андерсен вырос в бедности. Единственной гордостью семьи Андерсенов была необыкновенная чистота в их доме, ящик с землей, где густо разрастался лук, и несколько вазонов на окнах.

В них цвели тюльпаны. Их запах сливался с дребезжащим перезвоном колоколов, стуком отцовского сапожного молотка, лихой дробью барабанщиков около казармы, свистом флейты бродячего музыканта и хриплыми песнями матросов, выводивших по каналу неуклюжие барки в соседний фиорд.

По праздникам матросы устраивали борьбу на узкой доске, перекинутой с борта одного корабля на другой. Побежденный падал в воду под хохот зрителей.

Во всем этом разнообразии людей, небольших событий, красок и звуков, окружавших тихого мальчика, он находил повод для того, чтобы

радоваться и выдумывать всякие невероятные истории.

Пока он был еще слишком мал, чтобы решиться рассказывать эти истории взрослым. Решимость пришла позже. Тогда оказалось, что эти истории называются сказками и приносят людям раздумья и радости.

В доме Андерсенов был у мальчика только один благодарный слушатель — старый кот по имени Карл. Но у Карла был крупный недостаток — кот часто засыпал, не дослушав до конца какую-нибудь интересную сказку. Кошачьи годы, как говорится, брали свое.

Но мальчик не сердился на старого кота. Он все ему прощал за то, что Карл никогда не позволял себе сомневаться в существовании колдуний, хитреца Клумпе-Думпе, догадливых трубочистов, говорящих цветов и лягушек с бриллиантовыми коронами на голове.

Первые сказки мальчик услышал от отца и старух из соседней богадельни. Весь день эти старухи пряли, сгорбившись, серую шерсть и бормотали свои нехитрые рассказы. Мальчик переделывал эти рассказы по-своему, украшал их, как бы раскрашивал свежими красками и в неузнаваемом виде снова рассказывал их, но уже

от себя, богаделкам. А те только ахали и шептали между собой, что маленький Христиан слишком умен и потому не заживется на свете.

Прежде чем рассказывать дальше, надо остановиться на том свойстве Андерсена, о котором я уже вскользь говорил, — на его умении радоваться всему интересному и хорошему, что попадает на каждой тропинке и на каждом шагу.

Пожалуй, неправильно называть это свойство умением. Гораздо вернее назвать его талантом, редкой способностью замечать то, что ускользает от ленивых человеческих глаз.

Мы ходим по земле, но часто ли нам приходит желание нагнуться и тщательно рассмотреть эту землю, рассмотреть все, что находится у нас под ногами? А если бы мы нагнулись или, даже больше — легли бы на землю и начали рассматривать ее, то на каждой пяди бы нашли много любопытных и прекрасных вещей.

Разве не прекрасен сухой мох, рассыпающий из своих кувшинчиков изумрудную пыльцу, или цветок подорожника, похожий на сиреневый пышный султан? Или обломок перламутровой ракушки — такой крошечный, что из него нельзя сделать даже карманное зеркальце для куклы, но достаточно большой, чтобы бесконечно пе-

реливаться и блестеть таким же множеством опаловых красок, каким горит на утренней заре небо над Балтикой.

Разве не прекрасна каждая травинка, наполненная пахучим соком, и каждое летучее семечко липы? Из него обязательно вырастет могучее дерево. Однажды тень от его листвы стремительно рванется от порывистого ветра и разбудит девушку, уснувшую в саду. И она медленно откроет глаза, полные свежей синевы и восхищения перед зрелищем поздней весны.

Да мало ли что увидишь у себя под ногами! Обо всем этом можно писать поэмы, рассказы и сказки — такие сказки, что люди будут только качать головами от удивления и говорить друг другу:

— Откуда только взялся такой благословенный дар у этого долговязого сына башмачника из Одензе? Должно быть, он все-таки колдун.

Но детей вводит в волшебный мир сказки не только народная поэзия, но и театр. Спектакль дети почти всегда принимают как сказку.

Яркие декорации, свет масляных ламп, бряцанье рыцарских доспехов, гром музыки, подобный грому сражения, слезы принцесс с синими ресницами, рыжебородые злодеи, сжимающие рукоятки зазубренных мечей, пляски девушек в

воздушных нарядах — все это никак не походит на действительность и, конечно, может происходить только в сказке.

В Одензе был свой театр. Там маленький Христиан впервые увидел пьесу с романтическим названием «Дунайская дева». Он был ошеломлен этим спектаклем и с тех пор стал ярым театралом на всю свою жизнь, до самой смерти.

Но на театр не было денег. Тогда мальчик заменил подлинные спектакли воображаемыми. Он подружился с городским расклейщиком афиш Петером, начал помогать ему, а за это Петер дарил Христиану по одной афише каждого нового спектакля.

Христиан приносил афишу домой, забивался в угол и, прочитав название пьесы и имена действующих лиц, тут же выдумывал свою, захватывающую дух пьесу под тем же названием, которое стояло на афише.

Выдумывание это длилось по нескольку дней. Так создавался тайный репертуар детского воображаемого театра, где мальчик был всем: автором и актером, музыкантом и художником, осветителем и певцом.

Андерсен был единственным ребенком в семье и, несмотря на бедность родителей, жил вольно

и беззаботно. Его никогда не наказывали. Он занимался только тем, что мечтал. Это обстоятельство даже помешало ему вовремя научиться грамоте. Он одолел ее позже, чем все мальчики его возраста, и до пожилых лет писал не совсем уверенно и делал орфографические ошибки.

Больше всего времени Христиан проводил на старой мельнице на реке Одензе. Мельница эта вся тряслась от старости, окруженная обильными брызгами и потоками воды. Зеленые бороды тяжелой тины свешивались с ее дырявых лотков. У берегов запруды плавали в ряске ленивые рыбы.

Кто-то рассказал мальчику, что прямо под мельницей на другом конце земного шара находится Китай и что китайцы довольно легко могут прокопать подземный ход в Одензе и внезапно появиться на улицах заплесневелого датского городка в красных атласных халатах, расшитых золотыми драконами и с изящными веерами в руках.

Мальчик долго ждал этого чуда, но оно почему-то не произошло.

Кроме мельницы, еще одно место в Одензе привлекало маленького Христиана. На берегу канала была расположена усадьба старого отставного моряка. В своем саду моряк установил несколько

маленьких деревянных пушек и рядом с ними — высокого, тоже деревянного солдата.

Когда по каналу проходил корабль, пушки стреляли холостыми зарядами, а солдат палил в небо из деревянного ружья. Так старый моряк салютовал своим счастливым товарищам — капитанам, еще не ушедшим на пенсию.

Несколько лет спустя Андерсен попал в эту усадьбу уже студентом. Моряка не было в живых, но юного поэта встретил среди цветочных клумб рой красивых и задорных девушек — внучек старого капитана.

Впервые тогда Андерсен почувствовал любовь к одной из этих девушек — любовь, к сожалению, безответную и туманную. Такими же были все увлечения женщинами, случавшиеся в его беспокойной жизни.

Христиан мечтал обо всем, что только могло прийти ему в голову. Родители же мечтали сделать из мальчика хорошего портного. Мать учила его кроить и шить. Но мальчик если что-либо и шил, то только пестрые платья из шелковых лоскутков для своих театральных кукол. У него уже был свой собственный домашний театр. А вместо кройки он научился виртуозно вырезать из бумаги замысловатые узоры и маленьких танцовщиц,

делающих пируэты. Этим своим искусством он поражал всех даже в годы своей старости.

Уменье шить пригодилось впоследствии Андерсену как писателю. Он так перемарывал рукописи, что на них не оставалось места для поправок. Тогда Андерсен выписывал эти поправки на отдельных листках бумаги и тщательно вшивал их нитками в рукопись — ставил на ней заплатки.

Когда Андерсену исполнилось четырнадцать лет, умер его отец. Вспоминая об этом, Андерсен говорил, что всю ночь над умершим пел сверчок, в то время как мальчик всю ночь проплакал.

Так под песню запечного сверчка ушел из жизни застенчивый башмачник, ничем не замечательный, кроме того, что подарил миру своего сына — сказочника и поэта.

Вскоре после смерти отца Христиан отпросился у матери и на жалкие сбереженные гроши уехал из Одензе в столицу Копенгаген — завоевывать счастье, хотя он сам еще толком не знал, в чем оно заключается.

В сложной биографии Андерсена нелегко установить то время, когда он начал рассказывать свои первые прелестные сказки.

С раннего детства его память была полна раз-

ных волшебных историй. Но они лежали под спудом. Юноша Андерсен долго считал себя кем угодно — певцом, танцором, декламатором, поэтом, сатириком и драматургом, но только не сказочником. Несмотря на это, отдаленный голос сказки давно слышался то в одном, то в другом из его произведений, как звук чуть затронутой, но тотчас же отпущенной струны.

Не помню, кто из писателей сказал, что сказки делаются из того же вещества, из которого состоят сны.

Во сне частности нашей реальной жизни свободно и причудливо соединяются во множество комбинаций, как разноцветные стеклышки в калейдоскопе.

Ту работу, которую проводит во сне сумеречное сознание, во время бодрствования совершает наше безграничное воображение. Отсюда, очевидно, и возникла мысль о сходстве снов и сказок.

Свободное воображение ловит в окружающей нас жизни сотни частностей и соединяет их в стройный и мудрый рассказ. Нет ничего, чем пренебрег бы сказочник, — будь то горлышко пивной бутылки, капля росы на пере, потерянном иволгой, или заржавленный уличный фонарь.

Любая мысль — самая могучая и великолепная — может быть выражена при дружеском содействии этих незаметных и скромных вещей.

Что толкнуло Андерсена в область сказок?

Сам он говорил, что легче всего писал сказки, оставаясь наедине с природой, «слушая ее голос», особенно в то время, когда он отдыхал в лесах Зеландии, почти всегда окутанных неплотным туманом, дремлющим под слабым мерцанием звезд. Далекий ропот моря, долетавший в чащу этих лесов, придавал им таинственность.

Но мы также знаем, что многие свои сказки Андерсен писал среди зимы, в разгар детских елочных праздников, и придавал им нарядную и простую форму, свойственную елочным украшениям.

Что говорить! Приморская зима, ковры снегов, треск огня в печах и сияние зимней ночи — все это располагает к сказке.

А может быть, толчком к тому, что Андерсен стал сказочником, послужил один случай на улице в Копенгагене.

Маленький мальчик играл на подоконнике в старом копенгагенском доме. Игрушек было не так уж много — несколько кубиков, старая бесхвостая лошадь из папье-маше, много раз

уже выкупанная и потому потерявшая масть, и сломанный оловянный солдатик.

Мать мальчика — молодая женщина — сидела у окна и вышивала.

В это время в глубине пустынной улицы со стороны Старого порта, где усыпительно и монотонно покачивались в небе реи кораблей, показался высокий и очень худой человек в черном. Он быстро шел несколько скачущей, неуверенной походкой, размахивая длинными руками, и говорил сам с собой.

Шляпу он нес в руке, и потому был хорошо виден его большой покатый лоб, орлиный тонкий нос и серые сощуренные глаза.

Он был некрасив, но изящен и производил впечатление иностранца. Душистая веточка мяты была воткнута в петлицу его сюртука.

Если бы можно было прислушаться к бормотанию этого незнакомца, то мы бы услышали, как он чуть нараспев читает стихи:

Я сохранил тебя в своей груди,
О роза нежная моих воспоминаний…

Женщина за пяльцами подняла голову и сказала мальчику:

— Вот идет наш поэт, господин Андерсен. Под

его колыбельную песню ты так хорошо засыпаешь.

Мальчик посмотрел исподлобья на незнакомца в черном, схватил своего единственного хромого солдатика, выбежал на улицу, сунул солдатика в руку Андерсену и тотчас убежал.

Это был неслыханно щедрый подарок. Андерсен понял это. Он воткнул солдатика в петлицу сюртука рядом с веточкой мяты, как драгоценный орден, потом вынул платок и слегка прижал его к глазам, — очевидно, недаром друзья обвиняли его в чрезмерной чувствительности.

А женщина, подняв голову от вышивания, подумала, как хорошо и вместе с тем трудно было бы ей жить с этим поэтом, если бы она могла полюбить его. Вот, говорят, что даже ради молодой певицы Дженни Лунд, в которую он был влюблен, — все звали ее «ослепительной Дженни», — Андерсен не захотел отказаться ни от одной из своих поэтических привычек и выдумок.

А этих выдумок было много. Однажды он даже придумал прикрепить к мачте рыбачьей шхуны Эолову арфу, чтобы слушать ее жалобное пение во время угрюмых северо-западных ветров, постоянно дующих в Дании.

Андерсен считал свою жизнь прекрасной и почти безоблачной, но, конечно, лишь в силу детской своей жизнерадостности. Эта незлобивость по отношению к жизни обычно бывает верным признаком внутреннего богатства. Таким людям, как Андерсен, нет охоты растрачивать время и силы на борьбу с житейскими неудачами, когда вокруг так явственно сверкает поэзия и нужно жить только в ней, жить только ею и не пропустить то мгновение, когда весна прикоснется губами к деревьям. Как бы хорошо никогда не думать о житейских невзгодах! Что они стоят по сравнению с этой, благодатной, душистой, ослепляющей весной!

Андерсену хотелось так думать и так жить, но действительность совсем не была милостива к нему, как он того заслуживал.

Было много, слишком много огорчений и обид, особенно в первые годы в Копенгагене, в годы нищеты и пренебрежительного покровительства со стороны признанных поэтов, писателей и музыкантов.

Слишком часто, даже в старости, Андерсену давали понять, что он «бедный родственник» в датской литературе и что ему — сыну сапожника и бедняка — следует знать свое место среди гос-

под советников и профессоров.

Андерсен говорил о себе, что за всю жизнь он выпил не одну чашу горечи. Его замалчивали, на него клеветали, над ним насмехались. За что?

За то, что в нем текла «мужицкая кровь», что он не был похож на спесивых и благополучных обывателей, за то, что он был истинный поэт, поэт «божьей милостью», был беден, и, наконец, за то, что он не умел жить.

Неумение жить считалось самым тяжким пороком в филистерском обществе Дании. Андерсен был просто неудобен в этом обществе — этот чудак, этот, по словам философа Кьеркегора, оживший смешной поэтический персонаж, внезапно появившийся из книги стихов и забывший секрет, как вернуться обратно на пыльную полку библиотеки.

«Все хорошее во мне топтали в грязь», — говорил о себе Андерсен. Говорил он и более горькие вещи, сравнивая себя с тонущей собакой, в которую мальчишки швыряют камни, но не из злости, а ради пустой забавы.

Да, жизненный путь этого человека, умевшего видеть по ночам свечение шиповника, похожее на мерцание белой ночи, и умевшего услышать воркотню старого пня в лесу, не был усыпан

венками.

Андерсен страдал, страдал жестоко, и можно только преклониться перед мужеством этого человека, не растерявшего на своем житейском пути ни доброжелательства к людям, ни жажды справедливости, ни способности видеть поэзию всюду, где она есть.

Он страдал, но он не покорялся. Он негодовал. Он гордился своей кровной близостью к беднякам — крестьянам и рабочим. Он вошел в «Рабочий союз» и первый из датских писателей начал читать рабочим свои удивительные сказки.

Он становился ироничен и беспощаден, когда дело касалось пренебрежения к простому человеку, несправедливости и лжи. Рядом с детской сердечностью в нем жил едкий сарказм. С полной силой он выразил его в своей великой сказке о голом короле.

Когда умер скульптор Торвальдсен, сын бедняка и друг Андерсена, то Андерсену была невыносима мысль, что за гробом великого мастера впереди всех будет напыщенно шествовать датская знать.

Андерсен написал кантату на смерть Торвальдсена. Он собрал на похороны детей бедняков со всего Амстердама. Эти дети шли цепью по сто-

ронам похоронной процессии и пели кантату Андерсена, начинавшуюся словами:

Дорогу дайте к гробу беднякам, —
Из их среды почивший вышел сам...

Андерсен писал о своем друге поэте Ингемане, что тот разыскивал семена поэзии на крестьянской земле. С гораздо большим правом эти слова относятся к самому Андерсену. Он собирал зерна поэзии с крестьянских полей, согревал их у своего сердца, сеял в низких хижинах, и из этих семян вырастали и расцветали невиданные и великолепные цветы поэзии, радовавшие сердца бедняков.

Были годы трудного и унизительного учения, когда Андерсену приходилось сидеть в школе за одной партой с мальчиками, бывшими моложе его на много лет.

Были годы душевной путаницы и мучительных поисков своей настоящей дороги. Сам Андерсен долго не знал, какие области искусства сродни его таланту.

«Как горец вырубает ступеньки в гранитной скале, — говорит о себе под старость Андерсен, — так я медленно и тяжело завоевывал свое место в литературе».

Он толком не знал своей силы, пока поэт Ингеман не сказал ему шутя:

«Вы обладаете драгоценной способностью находить жемчуг в любой сточной канаве».

Эти слова открыли Андерсену самого себя.

И вот — на двадцать третьем году жизни — вышла первая подлинно андерсеновская книга «Прогулка на остров Амагер». В этой книге Андерсен решил наконец выпустить в мир «пестрый рой своих фантазий».

Первый легкий трепет восхищения перед неведомым до тех пор поэтом прошел по Дании. Будущее становилось ясным.

На первый же скудный гонорар от своих книг Андерсен устремился в путешествие по Европе.

Беспрерывные поездки Андерсена можно с полным правом назвать путешествиями не только по земле, но и по своим великим современникам. Потому что, где бы Андерсен ни был, он всегда знакомился со своими любимыми писателями, поэтами, музыкантами и художниками.

Такие знакомства Андерсен считал не только естественными, но просто необходимыми. Блеск ума и таланта великих современников Андерсена наполнили его ощущением свежести и собственной силы.

В длительном светлом волнении, в постоянной смене стран, городов, народов и попутчиков, в волнах «дорожной поэзии», в удивительных встречах и не менее удивительных размышлениях прошла вся жизнь Андерсена.

Он писал всюду, где его заставала жажда писать. Кто сочтет, сколько царапин оставило его острое торопливое перо на оловянных чернильницах в гостиницах Рима и Парижа, Афин и Константинополя, Лондона и Амстердама!

Я сознательно упомянул о торопливом пере Андерсена. Придется на минуту отложить рассказ о его путешествиях, чтобы объяснить это выражение.

Андерсен писал очень быстро, хотя потом долго и придирчиво правил свои рукописи.

Писал же он быстро потому, что обладал даром импровизации. Андерсен был чистым образцом поэта и писателя-импровизатора. Бесчисленные мысли и образы роились у него во время работы. Нужно было спешить, чтобы записать их, пока они еще не ускользнули из памяти, не погасли и не скрылись из глаз. Нужно было обладать необыкновенной зоркостью, чтобы ловить на лету и закреплять те картины, что вспыхивали и мгновенно гасли, как ветвистый узор молнии на

грозовом небе.

Импровизация — это стремительная отзывчивость поэта на любую чужую мысль, на любой толчок извне, немедленное превращение этой мысли в потоки образов и гармонических картин. Она возможна лишь при огромном запасе наблюдений и великолепной памяти.

Свою повесть об Италии Андерсен написал как импровизатор. Поэтому он и назвал ее этим словом — «Импровизатор». И может быть, глубокая и почтительная любовь Андерсена к Гейне объяснялась отчасти тем, что в немецком поэте Андерсен видел своего собрата по импровизации.

Но вернемся к путешествиям Христиана Андерсена.

Первое путешествие он совершил по Каттегату, заполненному сотнями парусных кораблей. Это была очень веселая поездка. В то время в Каттегате появились первые пароходы «Дания» и «Каледония». Они вызвали целый ураган негодования среди шкиперов парусных кораблей.

Когда пароходы, надымив на весь пролив, смущенно проходили сквозь строй парусников, их подвергали неслыханным насмешкам и оскорблениям. Шкипера посылали им в рупор самые

отборные проклятия. Их обзывали «трубочистами», «дымовозами», «копчеными хвостами» и «вонючими лоханками». Эта жестокая морская распря очень забавляла Андерсена.

Но плавание по Каттегату было не в счет. После него начались «настоящие путешествия» Андерсена. Он много раз объездил всю Европу, был в Малой Азии и даже в Африке.

Он познакомился в Париже с Викто́ром Гюго и великой артисткой Рашель, беседовал с Бальзаком, был в гостях у Гейне. Он застал немецкого поэта в обществе молоденькой прелестной жены-парижанки, окруженной кучей шумных детей. Заметив растерянность Андерсена (сказочник втайне побаивался детей), Гейне сказал:

— Не пугайтесь. Это не наши дети. Мы их занимаем у соседей.

Дюма водил Андерсена по дешевым парижским театрам, а однажды Андерсен видел, как Дюма писал свой очередной роман, то громко ссорясь с его героями, то покатываясь от хохота.

Вагнер, Шуман, Мендельсон, Россини и Лист играли для Андерсена свои вещи. Листа Андерсен называл «духом бури над струнами».

В Лондоне Андерсен встретился с Диккенсом. Они пристально посмотрели друг другу в глаза.

Андерсен не выдержал, отвернулся и заплакал. То были слезы восхищения перед великим сердцем Диккенса.

Потом Андерсен был в гостях у Диккенса в его маленьком доме на взморье. Во дворе заунывно играл шарманщик-итальянец, за окном в сумерках блестел огонь маяка, мимо дома проплывали, выходя из Темзы в море, неуклюжие пароходы, а отдаленный берег реки, казалось, горел, как торф, — то дымили лондонские заводы и доки.

— У нас полон дом детей, — сказал Диккенс Андерсену, хлопнул в ладоши, и тотчас несколько мальчиков и девочек — сыновей и дочерей Диккенса — вбежали в комнату, окружили Андерсена и расцеловали его в благодарность за сказки.

Но чаще всего и дольше всего Андерсен бывал в Италии.

Рим стал для него, как и для многих иностранных писателей и художников, второй родиной.

Однажды по пути в Италию Андерсен проезжал в дилижансе через Швейцарию.

Была весенняя ночь, полная крупных звезд. В дилижанс село несколько деревенских девушек. Было так темно, что пассажиры не могли рассмотреть друг друга. Но, несмотря на это, между ними начался шутливый разговор. Да, было так темно,

что Андерсен заметил только, как поблескивали влажные зубы девушек.

Он начал рассказывать девушкам о них самих. Он говорил о них, как о прекрасных сказочных принцессах. Он увлекся. Он восхвалял их зеленые загадочные глаза, душистые косы, рдеющие губы и тяжелые ресницы.

Каждая девушка была по-своему прелестна в описании Андерсена. И по-своему счастлива.

Девушки смущенно смеялись, но, несмотря на темноту, Андерсен заметил, как у некоторых из них блестели на глазах слезы. То были слезы благодарности доброму и странному попутчику.

Одна из девушек попросила Андерсена, чтобы он описал им самого себя.

Андерсен был некрасив. Он знал это. Но сейчас он изобразил себя стройным, бледным и обаятельным молодым человеком с душой, трепещущей от ожидания любви.

Наконец дилижанс остановился в глухом городке, куда ехали девушки. Ночь стала еще темнее. Девушки расстались с Андерсеном, причем каждая горячо и нежно поцеловала на прощанье удивительного незнакомца.

Дилижанс тронулся. Лес шумел за его окнами. Фыркали лошади, и низкие, уже итальянские,

созвездия пылали над головой. И Андерсен был счастлив так, как, может быть, еще никогда не был счастлив в жизни. Он благословлял дорожные неожиданности, мимолетные и милые встречи.

Италия покорила Андерсена. Он полюбил в ней все: каменные мосты, заросшие плющом, обветшалые мраморные фасады зданий, оборванных смуглых детей, померанцевые рощи, «отцветающий лотос» — Венецию, статуи Латерана, осенний воздух, холодноватый и пьянящий, мерцание куполов над Римом, старинные холсты, ласкающее солнце и то множество плодотворных мыслей, которые рождала Италия в его сердце.

Умер Андерсен в 1875 году.

Несмотря на частые невзгоды, ему выпало на долю подлинное счастье быть обласканным своим народом.

Я не перечисляю тут всего, что написал Андерсен. Вряд ли это нужно. Я хотел только набросать беглый облик этого поэта и сказочника, этого обаятельного чудака, оставшегося до самой своей смерти чистосердечным ребенком, этого вдохновенного импровизатора и ловца человеческих душ — и детских и взрослых.

Он был поэтом бедняков, несмотря на то, что

короли считали за честь пожать его сухощавую руку.

Он был простонародным певцом. Вся его жизнь свидетельствует о том, что сокровища подлинного искусства заключены только в сознании народа и нигде больше.

Поэзия насыщает сердце народа подобно тому, как мириады капелек влаги насыщают воздух над Данией. Поэтому, говорят, нигде нет таких широких и ярких радуг, как там.

Пусть же эти радуги почаще сверкают, как многоцветные триумфальные арки, над могилой сказочника Андерсена и над кустами его любимых белых роз.

Повести

Далекие годы
Смерть отца

Я был гимназистом последнего класса киевской гимназии, когда пришла телеграмма, что в усадьбе Городище, около Белой Церкви, умирает мой отец.

На следующий день я приехал в Белую Церковь и остановился у старинного приятеля отца, начальника почтовой конторы Феоктистова. Это был длиннобородый близорукий старик в толстых очках, в потертой тужурке почтового ведомства со скрещенными медными рожками и молниями на петлицах.

Кончался март. Моросил дождь. Голые тополя стояли в тумане.

Феоктистов рассказал мне, что ночью пошел лед на бурной реке Рось. Усадьба, где умирал отец, стояла на острове среди этой реки, в двадцати верстах от Белой Церкви. В усадьбу вела через реку каменная плотина — гребля.

Полая вода идет сейчас через греблю валом, и никто, конечно, не согласится переправить меня на остров, даже самый отчаянный балагула

— извозчик.

Феоктистов долго соображал, кто же из белоцерковских извозчиков самый отчаянный. В полутемной гостиной дочь Феоктистова, гимназистка Зина, старательно играла на рояле. От музыки дрожали листья фикусов. Я смотрел на бледный, выжатый ломтик лимона на блюдечке и молчал.

— Ну что ж, позовем Брегмана, отпетого старика, — решил наконец Феоктистов. — Ему сам черт не брат.

Вскоре в кабинет Феоктистова, заваленный томами «Нивы» в тисненных золотом переплетах, вошел извозчик Брегман — «самый отпетый старик» в Белой Церкви. Это был плотный карлик-еврей с редкой бородкой и голубыми кошачьими глазами. Обветренные его щечки краснели, как райские яблоки. Он вертел в руке маленький кнут и насмешливо слушал Феоктистова.

— Ой, несчастье! — сказал он наконец фальцетом. — Ой, беда, пане Феоктистов! У меня файтон легкий, а кони слабые. Цыганские кони! Они не перетянут нас через греблю. Утопятся и кони, и файтон, и молодой человек, и старый балагула. И никто даже не напечатает про эту смерть в «Киевской мысли». Вот что мне невыносимо, пане

Феоктистов. А поехать, конечно, можно. Отчего не поехать? Вы же сами знаете, что жизнь балагулы стоит всего три карбованца, — я не побожусь, что пять или, положим, десять.

— Спасибо, Брегман, — сказал Феоктистов. — Я знал, что вы согласитесь. Вы же самый храбрый человек в Белой Церкви. За это я вам выпишу «Ниву» до конца года.

— Ну, уж если я такой храбрый, — пропищал, усмехаясь, Брегман, — так вы мне лучше выпишите «Русский инвалид». Там я, по крайности, почитаю про кантонистов и георгиевских кавалеров. Через час кони будут у крыльца, пане.

Брегман ушел.

В телеграмме, полученной мною в Киеве, была странная фраза: «Привези из Белой Церкви священника или ксендза — все равно кого, лишь бы согласился ехать».

Я знал отца, и потому эта фраза тревожила меня и смущала. Отец был атеист. У него происходили вечные столкновения из-за насмешек над ксендзами и священниками с моей бабкой, полькой, фанатичной, как почти все польские женщины.

Я догадался, что на приезде священника настояла сестра моего отца, Феодосия Максимовна, или, как все ее звали, тетушка Дозя.

Она отрицала все церковные обряды, кроме отпущения грехов. Библию ей заменял спрятанный в окованном сундуке «Кобзарь» Шевченко, такой же пожелтевший и закапанный воском, как Библия. Тетушка Дозя доставала его изредка по ночам, читала при свече «Катерину» и поминутно вытирала темным платком глаза.

Она оплакивала судьбу Катерины, похожую на свою собственную. В сырой роще-леваде за хатой зеленела могила ее сына, «малесенького хлопчика», умершего много лет назад, когда тетушка Дозя была еще совсем молодой. Этот хлопчик был, как тогда говорили, «незаконным» ее сыном.

Любимый человек обманул тетушку Дозю. Он бросил ее, но она была ему верна до смерти и все ждала, что он возвратится к ней, почему-то непременно больной, нищий, обиженный жизнью, и она, отругав его как следует, приютит наконец и пригреет.

Никто из священников не согласился ехать в Городище, отговариваясь болезнями и делами. Согласился только молодой ксендз. Он предупредил меня, что мы заедем в костел за святыми дарами для причащения умирающего и что с человеком, который везет святые дары, нельзя разговаривать.

На ксендзе было черное длиннополое пальто с бархатным воротником и странная, тоже черная, круглая шляпа.

В костеле было сумрачно, холодно. Поникнув, висели у подножия распятия очень красные бумажные розы. Без свечей, без звона колокольчиков, без органных раскатов костел напоминал театральные кулисы при скучном дневном освещении.

Сначала мы ехали молча. Только Брегман чмокал и понукал костлявых гнедых лошадей. Он покрикивал на них, как кричат все балагулы: не «но», а «вье!». Дождь шумел в низких садах. Ксендз держал завернутую в черную саржу дароносицу. Моя серая гимназическая шинель промокла и почернела.

В дыму дождя подымались, казалось — до самого неба, знаменитые Александрийские сады графини Браницкой. Это были обширные сады, равные по величине, как говорил мне Феоктистов, Версалю. В них таял снег, заволакивая холодным паром деревья. Брегман, обернувшись, сказал, что в этих садах водятся дикие олени.

— Эти сады очень любил Мицкевич, — сказал я ксендзу, забыв, что он должен молчать всю дорогу.

Мне хотелось сказать ему что-нибудь приятное в благодарность за то, что он согласился на эту трудную и опасную поездку. Ксендз улыбнулся в ответ.

В раскисших полях стояла дождевая вода. В ней отражались пролетавшие галки. Я поднял воротник шинели и думал об отце, о том, как мало я его знал. Он был статистиком и прослужил почти всю жизнь на разных железных дорогах — Московско-Брестской, Петербургско-Варшавской, Харьковско-Севастопольской и Юго-Западной.

Мы часто переезжали из города в город — из Москвы в Псков, потом в Вильно, потом в Киев. Всюду отец не уживался с начальством. Он был очень самолюбивый, горячий и добрый человек.

Год назад отец уехал из Киева и поступил статистиком на Брянский завод в Орловской губернии. Прослужив недолго, отец неожиданно, без всякой видимой причины, бросил службу и уехал в старую дедовскую усадьбу Городище. Там жили его брат Илько, сельский учитель, и тетушка Дозя.

Необъяснимый поступок отца смутил всех родственников, но больше всего мою мать. Она жила в то время с моим старшим братом в Москве.

Через месяц после приезда в Городище отец заболел и вот теперь умирает.



Дорога пошла вниз по оврагу. В конце его был слышен настойчивый шум воды. Брегман заерзал на козлах.

— Гребля! — сказал он упавшим голосом. — Теперь молитесь богу, пассажиры!

Гребля открылась внезапно за поворотом. Ксендз привстал и схватил Брегмана за красный вылинявший кушак.

Вода легко неслась, зажатая гранитными скалами. В этом месте река Рось прорывалась, беснуясь, через Авратынские горы. Вода шла через каменную плотину прозрачным валом, с грохотом падала вниз и моросила холодной пылью.

За рекой, по ту сторону гребли, как бы взлетали к небу огромные тополя и белел маленький дом. Я узнал усадьбу на острове, где жил в раннем детстве, — ее левады и плетни, коромысла колодцев-журавлей и скалы у берега. Они разрезали речную воду на отдельные могучие потоки. С этих скал мы когда-то с отцом ловили усатых пескарей.

Брегман остановил коней около гребли, слез, поправил кнутовищем сбрую, недоверчиво осмотрел свой экипаж и покачал головой. Тогда впервые ксендз нарушил обет молчания.

— Езус Мария! — сказал он тихим голосом. —

Как же мы переедем?

— Э-э! — ответил Брегман. — Откуда я знаю как? Сидите спокойно. Потому что кони уже трясутся.

Гнедые лошади, задрав морды, храпя, вошли в стремительную воду. Она ревела и сбивала легкую коляску к неогороженному краю гребли. Коляска шла боком, косо, скрежетала железными шинами. Лошади дрожали, упирались, почти ложились на воду, чтобы она не сбила их с ног. Брегман вертел кнутом над головой.

Посередине гребли, где вода шла сильнее всего и даже звенела, лошади остановились. Пенистые водопады бились около их тонких ног. Брегман закричал плачущим голосом и начал немилосердно хлестать лошадей. Они попятились и сдвинули коляску к самому краю гребли.

Тогда я увидел дядю Илько. Он скакал на серой лошади от усадьбы к гребле. Он что-то кричал и размахивал над головой связкой тонкого каната.

Он въехал на греблю и швырнул Брегману канат. Брегман торопливо привязал его где-то под козлами, и трое коней — два гнедых и серый — выволокли наконец коляску на остров.

Ксендз перекрестился широким католическим крестом. Брегман подмигнул дяде Илько и сказал, что долго еще люди будут помнить такого бала-

гулу, как старый Брегман, а я спросил, как отец.

— Еще жив, — ответил Илько и поцеловал меня, исцарапав бородой. — Ждет. А где мама — Мария Григорьевна?

— Я послал ей телеграмму в Москву. Должно быть, приедет завтра.

Дядя Илько посмотрел на реку.

— Прибывает, — сказал он. — Плохо, милый мой Костик. Ну, может быть, пронесет. Пойдемте!

На крыльце нас встретила тетушка Дозя, вся в черном, с сухими, выплаканными глазами.

В душных комнатах пахло мятой. Я не сразу узнал отца в желтом старике, заросшем серой щетиной. Отцу было всего пятьдесят лет. Я всегда помнил его немного сутулым, но стройным, изящным, темноволосым, с необыкновенной его печальной улыбкой и серыми внимательными глазами.

Сейчас он сидел в кресле, трудно дышал, смотрел, не отрываясь, на меня, и по сухой его щеке сползла слеза. Она застряла в бороде, и тетушка Дозя вытерла ее чистым платком.

Отец не мог говорить. Он умирал от рака гортани.

Всю ночь я просидел около отца. Все спали.

Дождь кончился. Звезды угрюмо горели за окнами. Все громче шумела река. Вода быстро подымалась. Брегман с ксендзом не смогли переправиться обратно и застряли на острове.

Среди ночи отец зашевелился, открыл глаза. Я наклонился к нему. Он попытался обнять меня за шею, но не смог и сказал свистящим шепотом:

— Боюсь… погубит тебя… бесхарактерность.

— Нет, — тихо возразил я. — Этого не будет.

— Маму увидишь, — прошептал отец. — Я виноват перед ней… Пусть простит…

Он замолчал и слабо стиснул мою руку.

Я не понял тогда его слов, и только гораздо позже, через много лет, мне стало ясно их горькое значение. Также намного позже я понял, что мой отец был, по существу, совсем не статистиком, а поэтом.

На рассвете он умер, но я не сразу об этом догадался. Мне показалось, что он спокойно уснул.

На острове у нас жил старый дед Нечипор. Его позвали читать над отцом псалтырь.

Нечипор часто прерывал чтение, чтобы выйти в сени покурить махорку. Там он шепотом рассказывал мне незамысловатые истории, потрясшие его воображение: о бутылке вина, выпитой им прошлым летом в Белой Церкви, о том, что он

видел под Плевной самого Скобелева так близко, «як до того плетня», и об удивительной американской веялке, работающей от громоотвода. Дед Нечипор был, как говорили на острове, «легкий человек» — враль и болтун.

Он читал псалтырь весь день и всю следующую ночь, отщипывая черными ногтями нагар со свечи, засыпал стоя, всхрапывал и, очнувшись, снова бормотал невнятные молитвы.

Ночью на другом берегу реки кто-то начал махать фонарем и протяжно кричать. Я вышел с дядей Илько на берег. Река ревела. Вода шла через греблю холодным водопадом. Ночь стояла поздняя, глухая, ни единой звезды не было над головой. В лицо дуло дикой свежестью разлива, оттаявшей земли. И все время кто-то махал на том берегу фонарем и кричал, но слов за шумом реки нельзя было разобрать.

— Должно быть, мама, — сказал я дяде Илько.

Но он мне ничего не ответил.

— Пойдем, — сказал он, помолчав. — Холодно на берегу. Простудишься.

Я не захотел идти в дом. Дядя Илько помолчал еще немного и ушел, а я стоял и смотрел на далекий фонарь. Ветер дул все сильнее, качал тополя, нес откуда-то сладковатый дым соломы.

Утром отца хоронили. Нечипор и дядя Илько выкопали могилу в роще на краю оврага. Оттуда были далеко видны леса за Росью и белесое мартовское небо.

Гроб вынесли из дома на широких вышитых рушниках. Впереди шел ксендз. Он смотрел серыми спокойными глазами прямо перед собой и говорил вполголоса латинские молитвы.

Когда гроб вынесли на крыльцо, я увидел на том берегу реки старую коляску, распряженных и привязанных к ней лошадей и маленькую женщину в черном — маму. Она стояла неподвижно на берегу. Она видела оттуда, как выносили отца. Потом она опустилась на колени и упала головой на песок.

К ней подошел высокий, тощий извозчик, наклонился над ней и что-то говорил, но она все так же лежала неподвижно.

Потом она вскочила и побежала вдоль берега к гребле. Извозчик схватил ее. Она бессильно опустилась на землю и закрыла лицо руками.

Отца несли по дороге в рощу. На повороте я оглянулся. Мать сидела все так же, закрыв лицо руками.

Все молчали. Только Брегман похлопывал кнутовищем по сапогу.

Около могилы ксендз поднял серые глаза к холодному небу и внятно и медленно сказал по-латыни:

— Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis!

«Вечный покой и вечный свет даруй им, господи!»

Ксендз замолчал, прислушался. Шумела река, и над головой в ветвях старых вязов пересвистывались синицы. Ксендз вздохнул и снова заговорил о вечной тоске по счастью и о долине слез. Слова эти удивительно подходили к жизни отца. У меня от них сжалось сердце. Потом я часто испытывал это стеснение сердца, сталкиваясь с жаждой счастья и с несовершенством человеческих отношений.

Шумела река, осторожно свистели птицы, и гроб, осыпая сырую землю и шурша, медленно опускался на рушниках в могилу.

Мне было тогда семнадцать лет.

Дедушка мой Максим Григорьевич

После похорон отца я прожил еще несколько дней в Городище.

Только на третий день, когда сошла вода, мать

смогла переехать через плотину.

Мать осунулась, почернела, но уже не плакала, только часами сидела на отцовской могиле.

Живых цветов еще не было, и могилу убрали бумажными пионами. Их делали девушки из соседней деревни. Они любили вплетать эти пионы в свои косы вместе с шелковыми разноцветными лентами.

Тетушка Дозя старалась утешить меня и развлечь. Она вытащила из чулана — каморы — сундук, полный старинных вещей. Крышка его открывалась с громким звоном.

В сундуке я нашел пожелтевшую, написанную по-латыни гетманскую грамоту — «универсал», медную печать с гербом, Георгиевскую медаль за турецкую войну, «Сонник», несколько обкуренных трубок и черные кружева тончайшей работы.

«Универсал» и печать остались у нас в семье от гетмана Сагайдачного, нашего отдаленного предка. Отец посмеивался над своим «гетманским происхождением» и любил говорить, что наши деды и прадеды пахали землю и были самыми обыкновенными терпеливыми хлеборобами, хотя и считались потомками запорожских казаков.

Когда Запорожская Сечь при Екатерине Вто-

рой была разогнана, часть казаков поселили по берегам реки Рось, около Белой Церкви. Казаки неохотно сели на землю. Буйное их прошлое еще долго докипало в крови. Даже я, родившийся в конце девятнадцатого века, слышал от стариков рассказы о кровавых сечах с поляками, походах «на Туретчину», об уманской резне и Чигиринских гетманах.

Наслушавшись этих рассказов, я играл с братьями в запорожские битвы. Играли мы в овраге за усадьбой, где густо рос около плетня чертополох — будяк. Красные его цветы и листья с колючками издавали в жару приторный запах. Облака останавливались в небе над оврагом — ленивые и пышные, настоящие украинские облака. И такова сила детских впечатлений, что с тех пор все битвы с поляками и турками были связаны в моем воображении с диким полем, заросшим чертополохом, с пыльным его дурманом. А самые цветы чертополоха были похожи на сгустки казацкой крови.

С годами запорожская буйность потускнела. Во времена моего детства она сказывалась только в многолетних и разорительных тяжбах с графиней Браницкой из-за каждого клочка земли, в упорном браконьерстве и казачьих песнях

— думках. Их пел нам, своим внучатам, дед мой Максим Григорьевич.

Маленький, седой, с бесцветными добрыми глазами, он все лето жил на пасеке за левадой — отсиживался там от гневного характера моей бабки — турчанки.

В давние времена дед был чумаком. Он ходил на волах в Перекоп и Армянск за солью и сушеной рыбой. От него я впервые услышал, что где-то за голубыми и золотыми степями Катеринославщины и Херсонщины лежит райская крымская земля.

До того как дед стал чумаком, он служил в николаевской армии, был на турецкой войне, попал в плен и привез из плена, из города Казанлыка во Фракии, жену — красавицу турчанку. Звали ее Фатьма. Выйдя за деда, она приняла христианство и новое имя — Гонората.

Бабушку-турчанку мы боялись не меньше, чем дед, и старались не попадаться ей на глаза.

Дед, сидя около шалаша, среди желтых цветов тыквы, напевал дребезжащим тенорком казачьи думки и чумацкие песни или рассказывал всяческие истории.

Я любил чумацкие песни за их заунывность. Такие песни можно было петь часами под скрип

колес, валяясь на возу и глядя в небо. Казацкие же песни всегда вызывали непонятную грусть. Они казались мне то плачем невольников, закованных в турецкие цепи — кайданы, то широким походным напевом под топот лошадиных копыт.

Чего только не пел дед! Чаще всего он пел любимую нашу песню:

Засвистали казаченьки
В поход с полуночи.
Заплакала Марусенька
Свои ясны очи.

А из дедовских рассказов нам больше всего нравилась история лирника Остапа.

Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь украинскую лиру. Сейчас, должно быть, ее можно найти только в музее. Но в те времена не только на базарах в маленьких городках, но и на улицах самого Киева часто встречались слепцы-лирники.

Они шли, держась за плечо босоногого маленького поводыря в посконной рубахе. В холщовой торбе у них за спиной были спрятаны хлеб, лук, соль в чистой тряпочке, а на груди висела лира. Она напоминала скрипку, но к ней были приделаны рукоятка и деревянный стержень с колесиком.

Лирник вертел рукоятку, колесико кружилось, терлось о струны, и они жужжали на разные лады, будто вокруг лирника гудели, аккомпанируя ему, добрые ручные шмели.

Лирники почти никогда не пели. Они говорили певучим речитативом свои думки, «псальмы» и песни. Потом замолкали, долго слушали, как жужжит-затихает лира, и, глядя перед собой незрячими глазами, просили милостыню.

Просили они ее совсем не так, как обыкновенные нищие. Я помню одного лирника в городе Черкассах. «Киньте грошик, — говорил он, — слепцу и хлопчику, потому что без того хлопчика слепец заплутается и не найдет дорогу после своей кончины в божий рай».

Я не помню ни одного базара, где бы не было лирника. Он сидел, прислонившись к пыльному тополю. Вокруг него теснились и вздыхали жалостливые бабы, бросали в деревянную миску позеленевшие медяки.

Представление о лирниках навсегда связалось у меня с памятью об украинских базарах — ранних базарах, когда роса еще блестит на траве, холодные тени лежат поперек пыльных дорог и синеватый дым струится над землей, уже освещенной солнцем.

Запотевшие кувшины — глечики — с ледяным молоком, мокрые бархатцы в ведрах с водой, гречишный мед в макотрах, горячие ватрушки с изюмом, решета с вишнями, запах тарани, ленивый церковный перезвон, стремительные перебранки баб-«покотух», кружевные зонтики молодых провинциальных щеголих и внезапный гром медного котла — его тащил на плечах какой-нибудь румын с дикими глазами. Все «дядьки» считали своей обязанностью постучать по котлу кнутовищем, попробовать, хороша ли румынская медь.

Историю лирника Остапа я знал почти наизусть.

— Случилось то в селе Замошье, под городом Васильковом, — рассказывал дед. — Остап был в том селе ковалем. Кузня его стояла на выезде под черными-пречерными вербами по-над самой рекой. Не знал Остап неудачи — ковал коней, гвозди, ковал оси для чумацких возов.

Как-то к летнему вечеру раздувал Остап угли в кузне, а на дворе прошла в тот час гроза, раскидала по лужам листья, повалила трухлявую вербу. Раздувал Остап угли и вдруг слышит — топают ногами горячие кони, останавливаются около кузни. И чей-то голос — женский, молодой — зо-

вет коваля.

Вышел Остап и замер: у самых дверей кузни пляшет черный конь, а на нем женщина небесной красоты, в длинном бархатном платье, с хлыстом, с вуалькой. Глаза ее смеются из-под вуальки. И зубы смеются. А бархат на платье мягкий, синий и блискавятся на нем капли — падают после дождя с черных верб на ту женщину. И рядом с ней на другом коне — молодой офицер. В ту пору в Василькове стоял полк улан.

«Коваль, голубчик, — говорит женщина, — подкуй мне коня, потеряла подкову. Очень скользкая дорога после грозы».

Женщина сошла с седла, села на колоду, а Остап начал ковать коня. Кует и все поглядывает на женщину, а она вдруг сделалась такая смутная, откинула вуаль и тоже смотрит на Остапа.

«Не встречал я вас до сей поры, — говорит ей Остап. — Не из наших вы, мабудь, мест?»

«Я из Петербурга, — отвечает женщина. — Очень хорошо ты куешь».

«Что подковы! — говорит ей тихо Остап. — Пустое дело! Я для вас могу сковать из железа такую вещь, что нету ее ни у одной царицы на свете».

«Какую же это вещь?» — спрашивает женщина.

«Что хотите. Вот, к примеру, я могу сковать самую тонкую розу с листьями и шипами».

«Хорошо! — так же тихо отвечает женщина. — Спасибо, коваль. Я за ней через неделю приеду».

Остап помог ей сесть в седло. Она подала ему руку в перчатке, чтобы опереться, и Остап не удержался — жарко прильнул к той руке. Но не успела она отдернуть руку, как офицер ударил Остапа наотмашь хлыстом поперек лица и крикнул: «Знай свое место, мужик!»

Кони взвились, поскакали. Остап схватил молот, чтобы кинуть в того офицера. Но не сдюжил. Ничего не видит кругом, кровь по лицу льется. Повредил ему офицер один глаз.

Однако перемогся Остап, шесть дней работал и сковал розу. Смотрели ее разные люди, говорили, что такой работы не было, должно быть, даже в итальянской земле.

А на седьмой день ночью кто-то тихо подъехал к кузне, сошел с коня, привязал его к пряслу.

Остап боялся выйти, показать свое лицо — закрыл руками глаза и ждал.

И слышит легкие шаги и дыхание, и чьи-то теплые руки обнимают его, и падает ему на плечо одна-единственная ее слеза.

«Знаю, все знаю, — говорит женщина. — Сердце

у меня изболелось за эти дни. Прости, Остап. Из-за меня случилась твоя великая беда. Я прогнала его, моего жениха, и уезжаю теперь в Петербург».

«Зачем?» — спрашивает Остап тихо.

«Милый мой, сердце мое, — говорит женщина, — все равно не дадут нам люди счастья».

«Ваша воля, — отвечает Остап. — Я простой человек, коваль. Мне о вас думать — и то радость».

Взяла женщина розу, поцеловала Остапа и уехала шагом. А Остап вышел на порог, глядел ей вслед, слушал. Два раза останавливала женщина коня. Два раза хотела вернуться. Но не вернулась. Звезды играли над ярами, падали в степь, будто само небо плакало над их любовью. Так-то, хлопчик!

В этом месте дед всегда замолкал. Я сидел, боясь пошевелиться. Потом я спрашивал шепотом:

— Так они и не виделись больше?

— Нет, — отвечал дед. — Это верно, не виделись. Остап начал слепнуть. Надумал он дойти тогда до Петербурга, чтобы увидеть ту женщину, пока он еще не совсем ослеп. Дошел он до царской столицы и узнал, что она умерла, — мабудь, не выдержала разлуки. Нашел Остап на кладбище ее могилу из белого мрамора-камня, глянул, и сердце у него сорвалось — на камне лежала его

железная роза. Завещала та женщина положить розу на ее могилу. Навеки. А Остап начал лирничать и, мабудь, так и помер на шляху или на базаре под возом. Аминь!

Косматый пес Рябчик с репьями на морде громко зевал, слушая дедовский рассказ. Я толкал его от негодования в бок, а Рябчик ничуть не обижался и лез ко мне ласкаться, высунув горячий язык.

В пасти у Рябчика торчали обломки зубов. Прошлой осенью, когда мы уезжали из Городища, он вцепился в колесо — хотел остановить коляску — и поломал зубы.

Ах, дед Максим Григорьевич! Ему я отчасти обязан чрезмерной впечатлительностью и романтизмом. Они превратили мою молодость в ряд столкновений с действительностью. Я страдал от этого, но все же знал, что дед прав и что жизнь, созданная из трезвости и благоразумия, может быть, и хороша, но тягостна для меня и бесплодна. «На всякого человека, — как говаривал дед, — другая препорция».

Может быть, поэтому дед и не уживался с бабкой. Вернее, прятался от нее. Ее турецкая кровь не дала ей ни одной привлекательной черты, кроме красивой, но грозной наружности.

Бабка была деспотична, придирчива. Она вы-

куривала в день не меньше фунта крепчайшего черного табака. Курила она его в коротких раскаленных трубках. Она ведала хозяйством. Ее черный глаз замечал малейший непорядок в доме.

По праздникам она надевала атласное платье, отороченное черными кружевами, выходила из дому, садилась на завалинку, дымила трубкой и смотрела на быструю реку Рось. Изредка она громко смеялась своим мыслям, но никто не решался спросить ее, чему она смеется.

Единственной вещью, которая немного примиряла нас с бабкой, был твердый розовый брусок, похожий на мыло. Он был спрятан у нее в комоде. Она изредка вынимала его и с гордостью давала нам нюхать. Брусок издавал тончайший запах роз.

Отец рассказал мне, что долина вокруг Казанлыка — родного города бабки — называется Долиной роз, что там добывают розовое масло и чудесный брусок — это какой-то состав, пропитанный этим маслом.

Долина роз! Самые эти слова меня волновали. Я не понимал, как в таких поэтических местах мог появиться человек с такой суровой душой, как у моей бабки.

Караси

Сейчас, задержавшись в Городище после смерти отца, я вспомнил раннее свое детство, то время, когда мы, веселые и счастливые, приезжали сюда на лето из Киева. Тогда отец и мать были еще молоды и еще не умерли дед и турчанка-бабка. Тогда и я был еще совсем маленьким мальчиком и выдумывал всякие небылицы.

Поезд из Киева приходил в Белую Церковь вечером. Отец тотчас нанимал на вокзальной площади крикливых извозчиков.

В Городище мы добирались ночью. Сквозь дремоту я слышал надоедливое дребезжание рессоры, потом шум воды около мельницы, лай собак. Фыркали лошади и скрипели плетни. Ночь сияла незакатными звездами. Из сырой темноты тянуло бурьяном.

Тетушка Дозя вносила меня, сонного, в теплую хату, устланную разноцветными половиками. В хате пахло топленым молоком. Я открывал на минуту глаза и видел около своего лица пышную вышивку на белоснежных рукавах тетушки.

Утром я просыпался от жаркого солнца, бившего в белые стены. Красные и желтые мальвы-мо-

нашки покачивались за открытым окном. Вместе с ними заглядывал в комнату цветок настурции; в нем сидела мохнатая пчела. Я, замерев, следил, как она сердито пятится и выбирается из тесного цветка. По потолку без конца бежали светлые струи, легкие волны — отражения реки. Река шумела тут же, рядом.

Потом я слышал, как насмешливый дядя Илько говорил кому-то:

— Ну, конечно, солнце не успело пригреть, а уже появилась процессия! Дозя, ставь на стол вишневку и пироги!

Я вскакивал, подбегал босиком к окну и видел: с того берега по гребле, постукивая суковатыми посохами, медленно надвигались на усадьбу старики в больших соломенных шляпах — брилях. Медали бренчали и поблескивали на их коричневых свитках.

Это шли приветствовать нас и поздравить с благополучным приездом почтенные деды из соседней деревни Пилипчи. Впереди шел щербатый староста Трофим с медной бляхой на шее.

В хате начиналась суета. Тетушка Дозя взмахивала над столом скатертью. Ветер проносился по комнате. Мама торопливо накладывала на блюдо пироги, резала колбасу. Отец откупоривал

бутылки с домашней вишневкой, а дядя Илько расставлял граненые стаканчики.

Потом тетушка Дозя и мама убегали переодеваться, а отец и дядя Илько выходили на крыльцо, навстречу старикам, приближавшимся торжественно и неотвратимо, как судьба.

Старики наконец подходили, молча целовались с отцом и дядей, садились на завалинку, все сразу вздыхали, и тогда староста Трофим, предварительно откашлявшись, произносил свою знаменитую фразу:

— Честь имею покорнейше вас поздравить, Георгий Максимович, с приездом до нас, в нашу тихую местность.

— Спасибо! — говорил отец.

— Да-а! — отвечали сразу все старики и облегченно вздыхали. — Оно так, конечно…

— Да-а! — повторял Трофим и поглядывал через окно на стол, где поблескивали бутылки.

— Вот оно, значит, как слагается, — произносил старый николаевский солдат с бугристым носом.

— Понятное дело! — вступал в разговор маленький и очень любопытный старик Недоля, отец двенадцати дочерей.

От старости он позабыл их имена и мог насчитать по пальцам не больше пяти: Ганна, Парася,

Горпына, Олеся, Фрося… Потом старик сбивался и начинал счет сначала.

— Так! — говорили старики и надолго замолкали.

В это время из хаты выходил дедушка Максим Григорьевич. Старики вставали, низко кланялись ему. Дедушка кланялся им в ответ, и старики, шумно вздохнув, снова садились на завалинку, крякали, молчали и смотрели в землю. Наконец по каким-то неуловимым признакам дядя Илько догадывался, что в хате все готово для угощения, и говорил:

— Ну, спасибо вам за разговор, добрые люди. Пожалуйте теперь откушать чем бог послал.

В хате стариков встречала мама в летнем нарядном платье. Старики целовали ей руку, а она в ответ целовала их коричневые руки — таков был обычай. Тетушка Дозя в синем платье и в шали с пунцовыми розами, румяная, красивая, рано поседевшая, кланялась старикам в пояс.

После первого стаканчика липкой вишневки Недоля, мучимый любопытством, приступал к расспросам. Все вещи, привезенные нами из Киева, вызывали его недоумение, и он, показывая на них, спрашивал:

— Що воно, для чого воно и яка в нем словес-

ность?

Отец объяснял ему, что вот это — духовой утюг, а это — мороженица, а там на комоде — складное зеркало. Недоля с восхищением крутил головой:

— На всячину свое средствие!

— Оно так, конечно! — соглашались старики, выпивая.

Лето в Городище вступало в свои права, — жаркое лето с его страшными грозами, шумом деревьев, прохладными струями речной воды, рыбной ловлей, зарослями ежевики, с его сладостным ощущением беззаботных и разнообразных дней.

Остров, на котором стояла дедовская хата, был, конечно, самым таинственным местом на свете.

За домом лежали два огромных глубоких пруда. Там всегда было сумрачно от старых ив и темной воды.

За прудами, вверх по склону, подымалась роща с непролазным орешником. За рощей начинались поляны, заросшие по пояс цветами и такие душистые, что от них в знойный день разбаливалась голова.

За полянами на пасеке курился слабый дымок около дедовского шалаша. А за дедовским шалашом шли неизведанные земли — красные

гранитные скалы, покрытые ползучими кустами и сухой земляникой.

В углублениях этих скал стояли маленькие озера дождевой воды. Трясогузки, подрагивая пестрыми хвостами, пили теплую воду из этих озер. Неуклюжие и нахальные шмели, свалившись с размаху в озера, кружились и гудели, тщетно взывая о помощи.

Скалы обрывались отвесной стеной в реку Рось. Туда нам запретили ходить. Но мы изредка подползали к краю скал и смотрели вниз. Тугим прозрачным потоком, кружа голову, неслась внизу Рось. Под водой, навстречу течению, медленно шли, вздрагивая, узкие рыбы.

На том берегу подымался по скату заповедный лес графини Браницкой. Солнце не могло прорваться сквозь мощную зелень этого леса. Лишь изредка одинокий луч прорезал наискось чащу и открывал перед нами потрясающую силу растительности. Как сверкающие пылинки, влетали в этот луч маленькие птицы. Они с писком гонялись друг за другом и ныряли в листву, будто в зеленую воду.

Но самым любимым моим местом были пруды.

Каждое утро отец ходил туда удить рыбу. Он брал меня с собой.

Мы выходили из дому очень рано и осторожно шагали по тяжелой мокрой траве. Тихими золотеющими пятнами светились среди темной, еще ночной листвы ветки ив, озаренные первым солнцем. В глухой воде плескались караси. Заросли кувшинок, рдеста, стрелолиста и водяной гречихи висели, казалось, над черной бездной.

Таинственный мир воды и растений раскрывался передо мной. Очарование этого мира было так велико, что я мог просиживать на берегу пруда с восхода до захода солнца.

Отец бесшумно закидывал удочки и закуривал. Табачный дым плыл над водой и запутывался среди прибрежных веток.

Я набирал в ведро воды из пруда, бросал в эту воду траву и ждал. Красные поплавки неподвижно стояли в воде. Потом один из них начинал вздрагивать, пускал легкие круги, внезапно нырял или быстро плыл в сторону. Отец подсекал, леска натягивалась, ореховое удилище сгибалось в дугу, и в тумане над прудом начиналось бульканье, плеск, возня. Вода разбегалась, качая кувшинки, торопливо удирали во все стороны жуки-водомеры, и, наконец, в загадочной глубине появлялся бьющийся золотой блеск. Нельзя было разобрать, что это такое, пока отец не выволакивал на при-

мятую траву тяжелого карася. Он лежал на боку, отдувался и шевелил плавниками. От его чешуи шел удивительный запах подводного царства.

Я пускал карася в ведро. Он ворочался там среди травы, неожиданно бил хвостом и обдавал меня брызгами. Я слизывал эти брызги со своих губ, и мне очень хотелось напиться из ведра, но отец не позволял этого.

Мне казалось, что вода в ведре с карасем и травой должна быть такой же душистой и вкусной, как вода грозовых дождей. Мы, мальчишки, жадно пили ее и верили, что от этого человек будет жить до ста двадцати лет. Так, по крайней мере, уверял Нечипор.

Плеврит

Грозы в Городище бывали часто. Они начинались на Ивана Купала и длились весь июль, обкладывали остров разноцветными громадами туч, блистали и гремели, сотрясая наш дом, и пугали до обморока тетушку Дозю.

С этими грозами связано воспоминание о моей первой детской любви. Мне было тогда девять лет.

В день Ивана Купала девушки из Пилипчи

приходили нарядной стайкой к нам на остров, чтобы пускать по реке венки. Они плели венки из полевых цветов. Внутрь каждого венка они вставляли крестовину из щепочек и прилепляли к ней восковой огарок. В сумерки девушки зажигали огарки и пускали венки по реке.

Девушки гадали, чья свеча заплывет дальше, та девушка будет счастливее всех. Но самыми счастливыми считались те, чей венок попадал в водоворот и медленно кружился над омутом. Омут был под крутояром. Там всегда стояло затишье, свечи горели на таких венках очень ярко, и даже с берега было слышно, как трещат их фитили.

И взрослые, и мы, дети, очень любили эти венки на Ивана Купала. Один Нечипор пренебрежительно крякал и говорил:

— Глупство! Нема в тех венках ниякой рации!

С девушками приходила Ганна, моя троюродная сестра. Ей было шестнадцать лет. В рыжеватые пышные косы она вплетала оранжевые и черные ленты. На шее у нее висело тусклое коралловое монисто. Глаза у Ганны были зеленоватые, блестящие. Каждый раз, когда Ганна улыбалась, она опускала глаза и подымала их уже не скоро, будто ей было тяжело их поднять. Со щек ее не сходил

горячий румянец.

Я слышал, как мама и тетушка Дозя жалели Ганну за что-то. Мне хотелось узнать, что они говорят, но они всегда замолкали, как только я подходил.

На Ивана Купала меня отпустили с Ганной на реку к девушкам. По дороге Ганна спросила:

— Кем же ты будешь, Костик, когда вырастешь большой?

— Моряком, — ответил я.

— Не надо, — сказала Ганна. — Моряки тонут в пучине. Кто-нибудь да проплачет по тебе ясные свои очи.

Я не обратил внимания на слова Ганны. Я держал ее за горячую смуглую руку и рассказывал о своей первой поездке к морю.

Ранней весной отец ездил на три дня в командировку в Новороссийск и взял меня с собой. Море появилось вдали, как синяя стена. Я долго не мог понять, что это такое. Потом я увидел зеленую бухту, маяк, услышал шум волн у мола, и море вошло в меня, как входит в память великолепный, но не очень ясный сон.

На рейде стояли черные броненосцы с желтыми трубами — «Двенадцать апостолов» и «Три святителя». Мы ездили с отцом на эти корабли.

Меня поразили загорелые офицеры в белых кителях с золотыми кортиками, маслянистое тепло машинных отделений. Но больше всего удивил меня отец. Я таким никогда его не видел. Он смеялся, шутил, оживленно говорил с офицерами. Мы даже зашли в каюту к одному корабельному механику. Отец пил с ним коньяк и курил турецкие папиросы из розовой бумаги с золотыми арабскими буквами.

Ганна слушала, опустив глаза. Мне стало почему-то жаль ее, и я сказал, что когда сделаюсь моряком, то непременно возьму ее к себе на корабль.

— Кем же ты меня возьмешь? — спросила Ганна. — Стряпкой? Или прачкой?

— Нет! — ответил я, загорясь мальчишеским воодушевлением. — Ты будешь моей женой.

Ганна остановилась и строго посмотрела мне в глаза.

— Побожись! — прошептала она. — Поклянись сердцем матери!

— Клянусь! — ответил я, не задумываясь.

Ганна улыбнулась, зрачки ее сделались зелеными, как морская вода, и она крепко поцеловала меня в глаза. Я почувствовал жар ее рдеющих губ. Всю остальную дорогу до реки мы молчали.

Свеча Ганны погасла первой. Из-за леса графини Браницкой подымалась дымная туча. Но мы, увлеченные венками, ее не заметили, пока не ударил ветер, не засвистели, нагибаясь к земле, ракиты и не хлестнула, взорвавшись ослепительным громом, первая молния.

Девушки с визгом бросились под деревья. Ганна сорвала с плеч платок, обвязала им меня, схватила за руку, и мы побежали.

Она тащила меня, ливень настигал нас, и я знал, что до дому мы добежать все равно не успеем.

Ливень догнал нас невдалеке от дедовского шалаша. До шалаша мы добежали промокшие насквозь. Деда на пасеке не было.

Мы сидели в шалаше, прижавшись друг к другу. Ганна растирала мои руки. От нее пахло мокрым ситцем. Она все время испуганно спрашивала:

— Тебе холодно? Ой, заболеешь ты, что я тогда буду делать!

Я дрожал. Мне было действительно очень холодно. В глазах Ганны сменялись страх, отчаяние, любовь.

Потом она схватилась за горло и закашлялась. Я видел, как билась жилка на ее нежной и чистой шее. Я обнял Ганну и прижался головой к ее мокрому плечу. Мне захотелось, чтобы у меня была

такая молодая и добрая мама.

— Что ты? — растерянно спрашивала Ганна, не переставая кашлять, и гладила меня по голове. — Что ты? Ты не бойся… Нас громом не убьет. Я же с тобой. Не бойся.

Потом она слегка оттолкнула меня, прижала ко рту рукав рубахи, вышитый красными дубовыми листьями, и рядом с ними по полотну расползлось маленькое кровавое пятно, похожее на вышитый дубовый листок.

— Не надо мне твоей клятвы! — прошептала Ганна, виновато взглянула на меня исподлобья и усмехнулась: — Это я пошутила.

Гром гремел уже за краем огромной земли. Ливень прошел. Только шумели по деревьям частые капли.

Ночью у меня начался жар. Через день приехал из Белой Церкви на велосипеде молодой доктор Напельбаум, осмотрел меня и нашел, что у меня плеврит.

От нас Напельбаум ходил в Пилипчу к Ганне, вернулся и сказал в соседней комнате моей матери тихим голосом:

— У нее, Мария Григорьевна, скоротечная чахотка. Она не доживет до весны.

Я заплакал, позвал маму, обнял ее и заметил,

что у мамы на шее бьется такая же нежная жилка, как и у Ганны. Тогда я заплакал сильнее и долго не мог остановиться, а мама гладила меня по голове и говорила:

— Что ты? Я же с тобой. Не бойся.

Я выздоровел, а Ганна умерла зимой, в феврале.

На следующее лето я пошел с мамой на ее могилу и положил на зеленый маленький холмик цветы ромашки, перевязанные черной лентой. Такие цветы Ганна вплетала в свои косы. И мне было почему-то неловко, что рядом со мной стоит мама с красным зонтиком от солнца и что я пришел к Ганне не один.

Поездка в Ченстохов

В Черкассах, на Днепре, жила другая моя бабушка — Викентия Ивановна, высокая старуха, полька.

У нее было много дочерей, моих тетушек. Одна из этих тетушек, Евфросиния Григорьевна, была начальницей женской гимназии в Черкассах. Бабушка жила у этой тетушки в большом деревянном доме.

Викентия Ивановна всегда ходила в трауре и

черной наколке. Впервые она надела траур после разгрома польского восстания в 1863 году и с тех пор ни разу его не снимала.

Мы были уверены, что во время восстания у бабушки убили жениха — какого-нибудь гордого польского мятежника, совсем непохожего на угрюмого бабушкиного мужа, а моего деда — бывшего нотариуса в городе Черкассах.

Деда я помню плохо. Он жил в маленьком мезонине и редко оттуда спускался. Бабушка поселила его отдельно от всех из-за невыносимой страсти деда к курению.

Изредка мы пробирались к нему в комнату, горькую и мутную от дыма. На столе горами лежал табак, высыпанный из коробок. Дед, сидя в кресле, набивал трясущимися жилистыми руками папиросу за папиросой.

С нами он не разговаривал, только взъерошивал тяжелой рукой волосы у нас на затылке и дарил лиловую глянцевую бумагу из табачных коробок.

Мы часто приезжали из Киева погостить к Викентии Ивановне. У нее существовал твердый порядок. Каждую весну Великим постом она ездила на богомолье по католическим святым местам в Варшаву, Вильно или Ченстохов.

Но иногда ей приходило в голову посетить православные святыни, и она уезжала в Троице-Сергиеву лавру или в Почаев.

Все ее дочери и сыновья посмеивались над этим и говорили, что если так пойдет дальше, то Викентия Ивановна начнет навещать знаменитых еврейских цадиков и закончит свои дни паломничеством в Мекку к гробу Магомета.

Самое крупное столкновение между бабушкой и отцом произошло, когда бабушка воспользовалась тем, что отец уехал в Вену на конгресс статистиков, и взяла меня с собой в одно из религиозных путешествий. Я был счастлив этим и не понимал негодования отца. Мне было тогда восемь лет.

Я помню прозрачную виленскую весну и каплицу Острая Брама, куда бабушка ходила к причастию.

Весь город был в зеленоватом и золотистом блеске первых листьев. В полдень на Замковой горе стреляла пушка времен Наполеона.

Бабушка была очень начитанная женщина. Она без конца мне все объясняла.

Религиозность удивительно уживалась в ней с передовыми идеями. Она увлекалась Герценом и одновременно Генрихом Сенкевичем. Порт-

реты Пушкина и Мицкевича всегда висели в ее комнате рядом с иконой Ченстоховской божьей матери. В революцию 1905 года она прятала у себя революционеров-студентов и евреев во время погромов.

Из Вильно мы поехали в Варшаву. Я запомнил только памятник Копернику и Кавярни, где бабушка угощала меня «пшевруцоной кавой» — «перевернутым кофе»: в нем было больше молока, чем кофе. Она угощала меня и пирожными — меренгами, таявшими во рту с маслянистой холодной сладостью. Нам подавали вертлявые девушки в гофрированных передниках.

Из Варшавы мы поехали в Ченстохов, в знаменитый католический монастырь Ясна Гура, где хранилась «чудотворная» икона божьей матери.

Впервые я тогда столкнулся с религиозным фанатизмом. Он потряс меня и напугал. С тех пор страх перед фанатизмом и отвращение к нему вошли в мое сознание. Я долго не мог избавиться от этого страха.

Поезд пришел в Ченстохов рано утром. От вокзала до монастыря, стоявшего на высоком зеленом холме, было далеко.

Из вагона вышли богомольцы — польские крестьяне и крестьянки. Среди них были и городские

обыватели в пыльных котелках. Старый тучный ксендз и мальчики-причетники в кружевных одеяниях ждали богомольцев на вокзале.

Тут же, около вокзала, процессия богомольцев выстроилась на пыльной дороге. Ксендз благословил ее и пробормотал в нос молитву. Толпа рухнула на колени и поползла к монастырю, распевая псалмы.

Толпа ползла на коленях до самого монастырского собора. Впереди ползла седая женщина с белым исступленным лицом. Она держала в руках черное деревянное распятие.

Ксендз медленно и равнодушно шел впереди этой толпы. Было жарко, пыльно, пот катился по лицам. Люди хрипло дышали, гневно оглядываясь на отстающих.

Я схватил бабушку за руку.

— Зачем это? — спросил я шепотом.

— Не бойся, — ответила бабушка по-польски. — Они грешники. Они хотят вымолить прощение у пана бога.

— Уедем отсюда, — сказал я бабушке.

Но она сделала вид, что не расслышала моих слов.

Ченстоховский монастырь оказался средневековым замком. В стенах его торчали ржавые

шведские ядра. В крепостных рвах гнила зеленая вода. На валах шумели густые деревья.

Подъемные мосты на железных цепях были опущены. Мы въехали в извозчичьем экипаже по такому мосту в путаницу монастырских дворов, переходов, закоулков и аркад.

Служка-монах, подпоясанный веревкой, провел нас в монастырскую гостиницу. Нам отвели холодную сводчатую комнату. Неизменное распятие висело на стене. На пробитые гвоздями латунные ноги Христа кто-то повесил венок из бумажных цветов.

Монах спросил бабушку, не страдает ли она болезнями, требующими исцеления. Бабушка была очень мнительная и тотчас пожаловалась на боли в сердце. Монах достал из кармана коричневой рясы горсть маленьких, сделанных из серебра сердец, рук, голов и даже игрушечных младенцев и высыпал их горкой на стол.

— Есть сердца, — сказал он, — на пять рублей, на десять и на двадцать. Они уже освященные. Остается только повесить их с молитвой на икону божьей матери.

Бабушка купила маленькое пухлое сердце за десять рублей.

Бабушка сказала, что ночью мы пойдем в ко-

стел на торжественную службу, напоила меня чаем с варшавскими черствыми булочками и прилегла отдохнуть. Она уснула. Я смотрел в низкое окно. Прошел монах в блестящей выгоревшей рясе. Потом два польских крестьянина сели в тени у стены, достали из узелков серый хлеб и чеснок и начали есть. У них были синие глаза и крепкие зубы.

Мне стало скучно, и я осторожно вышел на улицу. Бабушка велела, чтобы в монастыре я не разговаривал по-русски. От этого мне было страшно. По-польски я знал всего несколько слов.

Я заблудился, попал в узкий проход между стенами. Он был вымощен треснувшими плитами. В трещинах цвел подорожник. К стенам были привинчены чугунные фонари. Их, должно быть, давно не зажигали — в одном фонаре я разглядел птичье гнездо.

Узкая калитка в стене была приоткрыта. Я заглянул в нее. Яблоневый сад, весь в солнечных пятнах, спускался по склону холма. Я осторожно вошел. Сад отцветал. Часто падали пожелтевшие лепестки. Жидкий, но мелодичный звон долетал с костельной колокольни.

Под старой яблоней сидела на траве молоденькая польская крестьянка и кормила грудью

ребенка. Ребенок морщился и хрипел. Рядом с женщиной стоял бледный, опухший крестьянский парень в новой фетровой шляпе. На шляпе была нашита синяя атласная лента и за нее заткнуто павлинье перо. Парень смотрел себе под ноги круглыми глазами и не шевелился.

Низенький плешивый монах с садовыми ножницами в руке присел на пне против женщины. Он внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Нех бендзи похвалены Езус Христус!

— На веки векув! — ответил я так, как меня учила бабушка.

Сердце у меня остановилось от страха.

Монах отвернулся и снова стал слушать женщину. Пряди белых волос падали ей на лицо. Она отбрасывала их нежной рукой и жалобно говорила:

— Как сыночку пошел пятый месяц, Михась застрелил аиста. Он принес его в нашу халупку. Я заплакала и сказала: «Что ты наделал, глупец! Ты же знаешь, что за каждого убитого аиста бог отнимает у людей по одному ребенку. Зачем же ты его застрелил, Михась?»

Парень в фетровой шляпе все так же безразлично рассматривал землю.

— И с того дня, — продолжала крестьянка, — сы-

ночек наш посинел и болезнь начала его душить за горло. Поможет ему божья матка?

Монах уклончиво смотрел в сторону и ничего не отвечал.

— Ох, тенскнота! — сказала женщина и начала царапать себя рукой по горлу. — Ох, тенскнота! — закричала она и прижала к груди ребенка.

Ребенок таращил глаза и хрипел.

Я вспомнил про игрушечных серебряных младенцев, которых показывал бабушке служка в монастырской гостинице. Мне было жаль эту женщину. Я хотел сказать ей, чтобы она купила за двадцать рублей такого младенца и подвесила его к ченстоховской иконе. Но у меня не хватало польских слов, чтобы дать такой сложный совет. Кроме того, я боялся монаха-садовника. Я ушел из сада.

Когда я вернулся, бабушка еще спала. Я лег, не раздеваясь, на жесткую койку и тотчас уснул.

Бабушка меня разбудила среди ночи. Я умылся холодной водой в большом фаянсовом тазу. Я дрожал от возбуждения. За окнами проплывали ручные фонари, слышалось шарканье ног, перезванивали колокола.

— Сегодня, — сказала бабушка, — будет служить кардинал, папский нунций.

С трудом мы добрались в темноте до костела.

— Держись за меня! — сказала бабушка в неосвещенном притворе.

Мы ощупью вошли в костел. Я ничего не увидел. Не было ни одной свечи, никакого проблеска света среди душного мрака, скованного высокими костельными стенами и наполненного дыханием сотен людей. Кромешная эта темнота сладковато пахла цветами.

Я почувствовал под ногой стертый чугунный пол, сделал шаг и тотчас наткнулся на что-то.

— Стой спокойно! — сказала шепотом бабушка. — Люди лежат крестом на полу. Ты наступишь на них.

Она начала читать молитву, а я ждал, держась за ее локоть. Мне было страшно. Люди, лежавшие крестом на полу, тихо вздыхали. Печальный шелест разносился вокруг.

Внезапно в этом тяжелом мраке раздался, сотрясая стены, рыдающий гром органа. В ту же минуту вспыхнули сотни свечей. Я вскрикнул, ослепленный и испуганный.

Большая золотая завеса, закрывавшая икону Ченстоховской божьей матери, начала медленно раздвигаться. Шесть старых ксендзов в кружевном облачении стояли на коленях перед иконой,

спиной к толпе. Их руки были воздеты к небу. Только худой кардинал в пурпурной сутане с широким фиолетовым кушаком, стягивавшим его тонкую талию, стоял во весь рост — тоже спиной к молящимся, — как бы прислушиваясь к затихающей буре органа и всхлипыванью толпы.

Я еще никогда не видал такого театрального и непонятного зрелища.

После ночной службы мы прошли с бабушкой в длинный сводчатый коридор. Светало. Под стенами стояли на коленях молящиеся. Бабушка тоже опустилась на колени и заставила опуститься и меня. Я боялся спросить ее, чего ждут эти люди с безумными глазами.

В конце коридора показался кардинал. Он шел легко и стремительно. Пурпурная его сутана развевалась и задевала молящихся по лицу. Они ловили край сутаны и целовали его страстно и униженно.

— Поцелуй сутану, — сказала мне бабушка быстрым шепотом.

Но я не послушался. Я побледнел от обиды и прямо посмотрел в лицо кардиналу. Должно быть, у меня были слезы на глазах. Он остановился, положил на мгновенье сухую маленькую руку мне на голову и сказал по-польски:

— Слезы ребенка — лучшая молитва господу.

Я смотрел на него. Острое его лицо было стянуто коричневой кожей. Как будто тусклое зарево освещало это лицо. Черные прищуренные глаза смотрели на меня выжидательно.

Я упрямо молчал.

Кардинал резко отвернулся и так же легко, подымая ветер, пошел дальше.

Бабушка схватила меня за руку так сильно, что я чуть не вскрикнул от боли, и вывела из коридора.

— Весь в отца! — сказала она, когда мы вышли во двор. — Весь в отца! Матерь божья Ченстоховская! Что же с тобой будет в жизни?!

Розовые олеандры

На галерее в бабушкином доме в Черкассах стояли в зеленых кадках олеандры. Они цвели розовыми цветами. Мне очень нравились сероватые листья олеандров и бледные их цветы. С ними соединялось почему-то представление о море — далеком, теплом, омывающем цветущие олеандрами страны.

Бабушка хорошо выращивала цветы. Зимой у нее в комнате всегда цвели фуксии. Летом в саду,

заросшем около заборов лопухом, распускалось столько цветов, что сад казался сплошным букетом. Запах цветов проникал даже в дедушкин мезонин и вытеснял оттуда табачный перегар. Дедушка сердито захлопывал окна. Он говорил, что от этого запаха у него разыгрывается застарелая астма.

Цветы чудились мне тогда живыми существами. Резеда была бедной девушкой в сером заштопанном платье. Только удивительный запах выдавал ее сказочное происхождение. Желтые чайные розы казались молодыми красавицами, потерявшими румянец от злоупотребления чаем.

Клумба с анютиными глазками походила на маскарад. Это были не цветы, а веселые и лукавые цыганки в черных бархатных масках, пестрые танцовщицы — то синие, то лиловые, то желтые.

Маргаритки я не любил. Они напоминали своими розовыми скучными платьицами девочек бабушкиного соседа учителя Циммера. Девочки были безбровые и белобрысые. При каждой встрече они делали книксен, придерживая кисейные юбочки.

Самым интересным цветком был, конечно, портулак — ползучий, пылающий всеми чистыми

красками. Вместо листьев у портулака торчали мягкие и сочные иглы. Стоило чуть нажать их, и в лицо брызгал зеленый сок.

Бабушкин сад и все эти цветы с необыкновенной силой действовали на мое воображение. Должно быть, в этом саду и родилось мое пристрастие к путешествиям. В детстве я представлял себе далекую страну, куда непременно поеду, как холмистую равнину, заросшую до горизонта травой и цветами. В них тонули деревни и города. Когда скорые поезда пересекали эту равнину, на стенках вагонов толстым слоем налипала пыльца.

Я рассказал об этом братьям, сестре и маме, но никто меня не хотел понять. В ответ я впервые услышал от старшего брата презрительную кличку «Фантазер».

Понимала меня, пожалуй, одна тетя Надя, самая младшая из бабушкиных дочерей.

Ей было тогда двадцать три года. Она училась пению в Московской консерватории. У нее было прекрасное контральто.

Тетя Надя приезжала на пасху и летом к бабушке в Черкассы. Сразу же в тихом просторном доме делалось шумно и тесно. Она играла с нами и носилась с хохотом по навощенным полам

— стройная, тоненькая, с растрепанными белокурыми волосами и чуть приоткрытым свежим ртом.

В серых ее глазах сверкали всегда крупинки золота. Глаза эти смеялись в ответ на все: на любую шутку, веселое слово, даже в ответ на брезгливую морду кота Антона, недовольного нашим весельем.

— Для Нади все трын-трава! — говорила с легким осуждением мама.

Беспечность тети Нади вошла в нашей семье в поговорку. Она часто теряла перчатки, пудру, деньги, но никогда этим не огорчалась.

В день ее приезда мы подымали крышку рояля, и он стоял открытым до тех пор, пока тетя Надя не возвращалась в свою веселую и хлебосольную Москву.

Груды нот валялись на креслах. Дымили свечи. Рокотал рояль, и я иногда просыпался ночью от грудного и нежного голоса, певшего баркаролу:

Плыви, моя гондола,
Озарена луной.
Раздайся, баркарола,
Над сонною волной.

А утром меня будило вкрадчивое пение, почти

шепот, около самого уха и щекочущие мои щеки волосы тети Нади. «Вставай скорей, — пела она, — не стыдно ль спать, закрыв глаза, предавшись грезам? Давно малиновки звенят, и для тебя раскрылись розы!»

Я открывал глаза, она целовала меня, тотчас исчезала, а через минуту я слышал, как она уже кружилась по залу в быстром вальсе со своим братом — юнкером дядей Колей. Он тоже иногда приезжал к бабушке на Пасху из Петербурга.

Я вскакивал, предчувствуя бурный, веселый, неожиданный день.

Когда тетя Надя пела, даже дедушка открывал настежь дверь на лестницу из мезонина и говорил потом бабушке:

— Откуда только у Нади эта цыганская кровь?

Бабушка уверяла, что у Нади кровь не цыганская, а польская. Ссылаясь на литературные примеры и историю Речи Посполитой, она доказывала, что среди полек часто бывали такие неудержимо веселые, взбалмошные и беспечные женщины.

— Вот именно! — отвечал язвительно дедушка и плотно затворял за собой дверь. — Вот именно! — громко повторял он за закрытой дверью, садясь набивать папиросы.

Однажды, я помню, была поздняя Пасха. В Черкассах уже зацвели сады. Мы приехали из Киева на пароходе. Потом из Москвы приехала тетя Надя.

Я любил Пасху, но боялся предпасхальных дней, потому что меня заставляли часами растирать миндальные зерна или взбивать ложкой белки. Я уставал от этого и даже втихомолку плакал.

Кроме того, перед Пасхой в бабушкином доме начинался беспорядок. Женщины в подоткнутых юбках мыли фикусы, рододендроны, окна и полы, выбивали ковры и мебель, чистили медные ручки на дверях и окнах. Нас вечно гоняли из комнаты в комнату.

После уборки происходило священнодействие — бабушка делала тесто для куличей, или, как их называли у нас в семье, для «атласных баб». Кадку с желтым пузырчатым тестом укутывали ватными одеялами, и пока тесто не всходило, нельзя было бегать по комнатам, хлопать дверьми и громко разговаривать. Когда по улице проезжал извозчик, бабушка очень пугалась: от малейшего сотрясения тесто могло «сесть», и тогда прощай высокие ноздреватые куличи, пахнущие шафраном и покрытые сахарной глазурью!

Кроме куличей, бабушка пекла множество

разных «мазурок» — сухих пирожных с изюмом и миндалем. Когда противни с горячими мазурками вынимали из печки, дом наполнялся такими запахами, что даже дедушка начинал нервничать в своем мезонине. Он открывал дверь и заглядывал вниз, в гостиную, где был уже накрыт тяжелыми скатертями длинный мраморный стол.

В страстную субботу в доме наконец воцарялись прохладная чистота и тишина. Утром нам давали по стакану жидкого чая с сухарями, и потом уже весь день до разговения после заутрени мы ничего не ели. Этот легкий голод нам нравился. День казался очень длинным, в голове чуть позванивало, а требование бабушки поменьше болтать настраивало нас на торжественный лад.

В полночь мы отправлялись к заутрене. Меня одевали в матросские длинные брюки, в матросскую курточку с золотыми пуговицами и больно причесывали щеткой волосы. Я смотрел на себя в зеркало, видел страшно взволнованного румяного мальчика и был очень доволен.

Из своих комнат выходила тетушка Евфросиния Григорьевна. Она одна не принимала участия в праздничных приготовлениях. Она всегда болела, редко разговаривала и только ласково

улыбалась в ответ на нашу веселую болтовню.

Она выходила в глухом синем платье, с золотой цепочкой от часов на шее и красивым бантом, приколотым к плечу. Мама объяснила мне, что этот бант называется «шифром», что это награда за образцовое окончание института, где тетушка Евфросиния Григорьевна когда-то училась.

Мама надевала свое праздничное серое платье, а отец — черный костюм с белым жилетом.

Потом появлялась бабушка — торжественная и красивая, вся в черном шелку, с искусственным цветком гелиотропа, приколотым к корсажу. Ее седые гладкие волосы были видны из-под кружевной наколки. Платье ее шуршало, и двигалась она легко, — бабушка молодела в эту ночь.

Она зажигала лампадки, после этого натягивала черные кружевные перчатки, и отец подавал ей мантилью с широкими завязками из лент.

— Вы, конечно, не пойдете к заутрене? — любезно, но холодно спрашивала его бабушка.

— Нет, Викентия Ивановна, — отвечал отец, улыбаясь. — Я прилягу немного. Меня разбудят, когда вы вернетесь из церкви.

— Ох, — говорила бабушка и вздергивала плечами, поправляя мантилью. — У меня одна надежда, что богу надоели ваши шутки и он мах-

нул на вас рукой.

— Я тоже сильно рассчитываю на это, — учтиво отвечал отец.

Бабушка подымалась на минуту в мезонин попрощаться с дедом. Когда она спускалась от деда, в зал входила тетя Надя. Она всегда опаздывала.

Она не входила — она влетала, как тонкая сверкающая птица, в белом платье из легкого шелка с треном и буфами. Она тяжело дышала, и желтая роза трепетала у нее на груди.

Казалось, весь свет, вся радость мира сияли в ее потемневших глазах.

Бабушка останавливалась на лестнице и подносила платок к глазам. Она не могла сдержать слез при виде красоты своей младшей дочери. Каждый раз бабушка, очевидно, думала о судьбе тети Нади, о том, что будет с ней в суровой этой жизни, и мысли эти невольно заставляли бабушку прослезиться.

На этот раз, когда мы возвратились из церкви, отец не спал. Он открыл настежь окна из гостиной в сад. Было очень тепло.

Мы сели за стол разговляться. Ночь стояла рядом с нами. Звезды мерцали прямо в глаза. Из сада долетало попискиванье бессонной птицы. Все говорили мало и прислушивались к то

возникавшему, то затихавшему в темноте колокольному звону.

Тетя Надя сидела бледная, усталая. Я заметил, как отец передал ей в передней, когда помогал снять пелерину, синюю телеграмму.

Тетя Надя вспыхнула и скомкала телеграмму.

После разговения меня тотчас послали спать. Проснулся я поздно, когда в столовой звенели чашки и взрослые уже пили кофе.

За обедом тетя Надя сказала, что получила телеграмму из соседнего городка Смелы от своей подруги Лизы Яворской. Лиза приглашает тетю Надю приехать погостить на один день к себе в усадьбу около Смелы.

— Я хочу поехать завтра, — сказала тетя Надя, взглянула на бабушку и добавила: — И возьму с собой Костика.

Я покраснел от счастья.

— Бог с тобой, — ответила бабушка, — поезжайте, но смотрите не простудитесь.

— Они вышлют за нами лошадей, — сказала тетя Надя.

От Черкасс до Смелы был час езды поездом. На станции в Смеле нас встретила Лиза Яворская, толстая и смешливая девица. В пароконном экипаже мы проехали через чистый и красивый

городок. Под зелеными обрывами тихими омутами разлилась река Тясмин. Только посредине омутов серебрилось ее медленное течение. Было жарко. Над рекой летали стрекозы.

Когда мы въехали в пустынный парк за городом, Лиза Яворская сказала, что здесь любил гулять Пушкин. Я не мог поверить, что Пушкин бывал в этих местах и что я нахожусь там, где бывал он. В то время Пушкин казался мне существом легендарным. Его блестящая жизнь должна была, конечно, проходить в стороне от этих украинских захолустий.

— Рядом Каменка, бывшее имение Раевских, — сказала Лиза Яворская. — Он подолгу гостил у них и написал здесь чудные стихи.

— Какие? — спросила тетя Надя.

Играй, Адель,
Не знай печали;
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали…

Я не знал, что значит «хариты» и «Лель», но певучая сила этих стихов, высокий парк, столет-

ние липы и небо, где плыли облака, — все это настроило меня на сказочный лад. Весь этот день остался у меня в памяти как праздник тихой и пустынной весны.

Лиза Яворская остановила экипаж в широкой аллее. Мы вышли и пошли к дому по боковой дорожке среди густого шиповника.

Неожиданно из-за поворота дорожки вышел загорелый бородатый человек без шапки. Охотничья двустволка висела у него на плече. В руке он нес двух убитых уток. Куртка его была расстегнута. Виднелась крепкая коричневая шея.

Тетя Надя остановилась, и я заметил, как сильно она побледнела.

Загорелый человек сломал большую ветку шиповника с бутонами, исцарапал в кровь руки и подал эту ветку тете Наде. Она осторожно взяла колючий шиповник, протянула бородатому руку, и он поцеловал ее.

— У вас волосы пахнут порохом, — сказала тетя Надя. — И руки исцарапаны. Надо вынуть колючки.

— Пустое! — сказал он и улыбнулся.

У него были ровные зубы. Сейчас, вблизи, я увидел, что он совсем еще нестарый человек.

Мы пошли к дому. Бородатый говорил очень

странно, обо всем сразу — о том, что он приехал из Москвы два дня назад, что здесь чудесно, что послезавтра он должен везти свои картины на выставку в Венецию, что его околдовала цыганка — натурщица художника Врубеля — и что он вообще человек пропащий и спасти его может только голос тети Нади.

Тетя Надя улыбалась. Я смотрел на него. Он очень мне нравился. Я догадался, что это был художник. От него действительно пахло порохом. Руки его были покрыты липкой сосновой смолой. Из черных утиных клювов изредка капала на дорожку яркая кровь.

В густых волосах у художника запуталась паутина, застряла хвоя и даже сухая веточка. Тетя Надя взяла его за локоть, остановила и вынула эту веточку.

— Неисправимый! — сказала она. — Совсем мальчишка, — добавила она и грустно улыбнулась.

— Вы поймите, — умоляющим голосом пробормотал он, — как это замечательно! Я продирался через молодой сосняк, изодрался вконец, но какой запах, какие сухие белые гвоздики, рыжая хвоя, какая паутина! Какая прелесть!

— Вот за это я вас и люблю, — тихо сказала

тетя Надя.



Художник вдруг снял ружье с плеча и выстрелил из обоих стволов в воздух. Вырвалась струя синего порохового дыма. Залаяли и понеслись к нам собаки. Где-то вскрикнула и закудахтала испуганная курица.

— Салют жизни! — сказал художник. — Чертовски чудесно жить!

Мы подошли к дому, окруженные взволнованными лающими собаками.

Дом был белый, с колоннами и полосатыми шторами на окнах. К нам вышла маленькая пожилая женщина в бледно-лиловом платье, с лорнетом, вся в седых кудряшках — мать Лизы Яворской. Она щурилась и долго, сжимая руки, восхищалась красотой тети Нади.

В прохладных комнатах дул ветер, туго натягивал шторы, сбрасывал со стола газеты «Русское слово» и «Киевскую мысль». Всюду бродили, принюхиваясь, собаки. Услышав какие-нибудь подозрительные звуки из парка, они сразу срывались и с громким лаем, налетая друг на друга, мчались из комнат наружу.

Солнечные пятна бегали от ветра по комнатам, перебирали всякие вещи — вазы, медные колесики на ножках рояля, золотые рамы, брошенную на столик соломенную шляпку тети Нади и си-

ние стволы ружья: его бородатый положил на подоконник.

Мы пили в столовой густой кофе. Художник рассказывал мне, как он удил рыбу в Париже прямо с набережной напротив собора Богоматери. Тетя Надя смотрела на него и ласково усмехалась. А мать Лизы все повторяла:

— Ах, Саша! Когда же вы будете взрослым! Пора уже наконец!

После кофе художник взял тетю Надю и меня за руки и повел в свою комнату. Там валялись кисти, раздавленные тюбики с краской и вообще царил беспорядок. Он начал торопливо собирать разбросанные рубахи, ботинки, куски холста, сунул все это под тахту, потом набил трубку маслянистым табаком из синей жестянки, закурил и велел, чтобы мы с тетей Надей сели на подоконник.

Мы сели. Солнце сильно грело нам спины. Художник подошел к картине, висевшей на стене и закрытой холстом, и снял холст.

— Ну вот! — пробормотал он растерянным голосом. — Ни черта у меня не вышло.

На картине была изображена тетя Надя. Тогда я еще ничего не понимал в живописи. Я слышал споры отца с дядей Колей о Верещагине и Врубеле. Но я не знал ни одной хорошей картины. Те,

что висели у бабушки, изображали угрюмые пейзажи со скучными деревьями и оленями у ручья или висящих вниз головой коричневых уток.

Когда художник открыл портрет, я невольно засмеялся от радости. Портрет был неотделим от сияющей весенней красоты тети Нади, от солнца, что лилось в старый парк золотыми водопадами, от ветра, сквозившего по комнатам, и зеленоватого отблеска листьев.

Тетя Надя долго смотрела на портрет, потом слегка взъерошила художнику волосы и быстро вышла из комнаты, не сказав ни слова.

— Ну, слава богу! — вздохнул художник. — Значит, можно везти этот холст на выставку в Венецию.

Днем мы катались на лодке по Тясмину. Тени от парка лежали на воде зеленой зубчатой стеной. В глубине были видны не успевшие еще дотянуться до поверхности воды круглые листики кувшинок.

Вечером перед отъездом тетя Надя пела в низком зале. Художник аккомпанировал ей и сбивался из-за того, что его пальцы, измазанные смолой, прилипали к клавишам.

Первые встречи, последние встречи,

Милого голоса звуки любимые…

А потом мы снова ехали в пароконном экипаже в Смелу. Художник с Лизой нас провожали. Лошади стучали копытами по твердой дороге. С реки несло сыростью, квакали лягушки. Высоко в небе горела звезда.

На станции Лиза повела меня в буфет купить мороженого, а тетя Надя и художник остались на скамейке в станционном палисаднике. Мороженого в буфете, конечно, не было, и, когда мы вернулись, тетя Надя и художник все так же сидели, задумавшись, на скамейке.

Вскоре тетя Надя уехала в Москву, и я ее больше не видел. На следующий год на масленой она ездила на тройке в Петровский парк, пела на морозе, у нее началось воспаление легких, и перед самой Пасхой она умерла. На похороны ее ездили бабушка, мама и даже отец.

Я очень тосковал тогда. И до сих пор я не могу забыть тетю Надю. Она навсегда осталась для меня воплощением всей прелести девичества, сердечности и счастья.

Шарики из бузины

В коробке перекатывались белые мягкие шарики. Я бросал такой шарик в таз с водой. Шарик начинал набухать, потом раскрывался и превращался то в черного слона с красными глазами, то в оранжевого дракона или цветок розы с зелеными листьями.

Эти сказочные китайские шарики из бузины привез мне из Пекина мой дядя и крестный отец Иосиф Григорьевич, или попросту дядя Юзя.

— Авантюрист чистой воды! — говорил о нем мой отец, но не с осуждением, а даже с некоторой завистью.

Он завидовал дяде Юзе потому, что тот изъездил всю Африку, Азию и Европу, но совсем не как благонравный турист, а как завоеватель — с шумом, треском, дерзкими выходками и неистребимой жаждой заводить всякие невероятные дела в любом уголке земли: в Шанхае и Аддис-Абебе, в Харбине и Мешхеде.

Все эти дела кончались крахом.

— Мне бы дорваться до Клондайка, — говаривал дядя Юзя. — Я бы им показал, американцам!

Что именно собирался он показать клондайк-

ским отпетым золотоискателям, оставалось неизвестным. Но было совершенно ясно, что он действительно показал бы им что-нибудь такое, что слава о нем прогремела бы по всему Юкону и Аляске.

Может быть, он был рожден для того, чтобы сделаться знаменитым исследователем и путешественником, равным Николаю Пржевальскому или Ливингстону. Но жизнь в тогдашней России и в то время — его мой отец называл безвременьем — исковеркала дядю Юзю. Благородная страсть к путешествиям вылилась у него в беспорядочное и бесплодное скитальчество. Но дяде Юзе я все же обязан тем, что земля после его рассказов стала казаться мне смертельно интересной, и это ощущение я сохранил на всю жизнь.

Бабушка Викентия Ивановна считала дядю Юзю «божьим наказанием», белой вороной в нашей семье. Когда она сердилась на меня за шалости и непослушание, она говорила:

— Смотри, чтобы из тебя не вышел второй дядя Юзя!

Бедная бабушка! Она не подозревала, что жизнь этого дяди казалась мне совершенно великолепной. Я только и мечтал быть «вторым дядей Юзей».

Дядя Юзя всегда появлялся у нас в Киеве или у бабушки в Черкассах внезапно и так же внезапно исчезал, чтобы через год-полтора снова оглушительно позвонить у дверей и наполнить квартиру хрипучим голосом, кашлем, клятвами и заразительным смехом. И каждый раз вслед за дядей Юзей извозчик втаскивал по полу тяжелые чемоданы со всякими редкостями.

Дядя Юзя был высокий бородатый человек с продавленным носом, с железными пальцами — ими он гнул серебряные рубли, — с подозрительно спокойными глазами, в глубине которых никогда не исчезало лукавство.

Он, как говорил отец, «не боялся ни бога, ни черта, ни смерти», но жалко терялся и размякал от женских слез и детских капризов.

Первый раз я увидел его после англо-бурской войны.

Дядя Юзя пошел добровольцем к бурам. Этот поступок — героический и бескорыстный — сильно возвысил его в глазах родственников.

Мы, дети, были потрясены этой войной. Мы жалели буров, дравшихся за свою независимость, и ненавидели англичан. Мы знали во всех подробностях каждый бой, происходивший на другом конце земли, — осаду Ледисмита, сражение под

Блюмфонтейном и штурм горы Маюбы. Самыми популярными людьми были у нас бурские генералы Деветт, Жубер и Бота. Мы презирали надменного лорда Китченера и издевались над тем, что английские солдаты воюют в красных мундирах. Мы зачитывались книгой «Питер Мариц, молодой бур из Трансвааля».

Но не только мы — весь культурный мир с замиранием сердца следил за трагедией, разыгравшейся в степях между Ваалем и Оранжевой рекой, за неравной схваткой маленького народа с могучей мировой державой. Даже киевские шарманщики, игравшие до тех пор только «Разлуку», начали играть новую песню: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне». За это мы отдавали им пятаки, припрятанные на мороженое.

Англо-бурская война была для мальчиков, вроде меня, крушением детской экзотики. Африка оказалась совсем не такой, какой мы воображали ее себе по романам из «Вокруг света» или по дому инженера Городецкого на Банковской улице в Киеве.

В стены этого серого дома, похожего на замок, были вмурованы скульптурные изображения носорогов, жирафов, львов, крокодилов, антилоп

и прочих зверей, населявших Африку. Бетонные слоновые хоботы свисали над тротуарами и заменяли водосточные трубы. Из пасти носорогов капала вода. Серые каменные удавы поднимали головы из темных ниш.

Владелец этого дома, инженер Городецкий, был страстным охотником. Он ездил охотиться даже в Африку. В память этих охот он разукрасил свой дом каменными фигурами зверей. Взрослые говорили, что Городецкий чудак, но мы, мальчишки, любили этот странный дом. Он помогал нашим мечтам об Африке.

Но сейчас, хотя мы и были мальчишками, мы понимали, что страдания и борьба за человеческие права вторглись на огромный черный материк, где до тех пор, по нашим понятиям, только трубили мудрые слоны, дышали миазмами тропические леса, и бегемоты сопели в жирной тине великих неисследованных рек. До тех пор Африка существовала как земля путешественников, разных Стенли и Ливингстонов.

Мне, как и другим мальчикам, было жалко расставаться с той Африкой, где мы бродили в мечтах, — расставаться с охотой на львов, с рассветами в песках Сахары, плотами на Нигере, свистом стрел, неистовым гамом обезьян и мра-

ком непроходимых лесов. Там опасности ждали нас на каждом шагу. Мысленно мы уже много раз умирали от лихорадки или от ран за бревенчатыми стенами форта, слушая жужжание одинокой пули, вдыхая запах мокрой ядовитой травы, глядя воспаленными глазами в черное бархатное небо, где догорал Южный Крест.

Сколько раз я так умирал, жалея о своей молодой и короткой жизни, о том, что таинственная Африка не пройдена мной от Алжира до мыса Доброй Надежды и от Конго до Занзибара!

Но все же это представление об Африке нельзя было целиком выбросить из памяти. Оно оказалось живучим. Поэтому трудно передать то ошеломление, тот немой восторг, которые я испытал, когда в нашей скучной квартире в Киеве появился бородатый, сожженный африканским солнцем человек в широкополой бурской шляпе, в рубахе с открытой шеей, с патронташем на поясе — дядя Юзя.

Я ходил за ним следом, я смотрел ему в глаза. Мне не верилось, что вот эти глаза видели Оранжевую реку, зулусские краали, английских кавалеристов и бури Тихого океана.

В то время президент Трансвааля, старый и грузный Крюгер, приезжал в Россию просить о

помощи бурам. Дядя Юзя приехал вместе с ним. Он пробыл в Киеве всего один день и уехал в Петербург вслед за Крюгером.

Дядя Юзя был уверен, что Россия поможет бурам. Но из Петербурга он написал отцу: «Высшие государственные соображения вынудили русское правительство сделать подлость — бурам мы помогать не будем. Значит, все кончено, и я опять уезжаю к себе на Дальний Восток».

Дед мой — отец моей матери — был человек небогатый. У него не хватило бы средств дать образование многочисленным детям — пятерым девочкам и троим сыновьям, если бы он не отдал всех сыновей в Киевский кадетский корпус. Обучение в корпусе было бесплатное.

Дядя Юзя учился со своими братьями в этом корпусе. Четыре года прошли благополучно, но на пятый год дядя Юзя был переведен из Киева в штрафной, «каторжный», корпус в город Вольск, на Волге. В Вольск кадет ссылали за «тяжкие преступления». Дядя Юзя совершил такое преступление.

Кухня в Киевском корпусе помещалась в подвале. К одному из праздников в кухне напекли много сдобных булочек. Они остывали на длинном кухонном столе. Дядя Юзя достал шест,

привязал к нему гвоздь, натаскал с помощью этого приспособления через открытое окно кухни несколько десятков румяных булочек и устроил пышный пир в своем классе.

В Вольске дядя Юзя пробыл два года. На третий год его исключили из корпуса и разжаловали в солдаты за то, что он ударил офицера: офицер остановил его на улице и грубо изругал за мелкий непорядок в одежде.

На дядю Юзю надели солдатскую шинель, дали ему винтовку и отправили пешим порядком из Вольска в город Кутно, около Варшавы, в артиллерийскую часть.

Он прошел зимой страну с востока на запад, являясь к начальникам гарнизонов, выпрашивая по деревням хлеб, ночуя где попало.

Из Вольска он вышел вспыльчивым мальчиком, а в Кутно пришел озлобленным солдатом.

В Кутно он дослужился до первого офицерского чина. Его произвели в прапорщики.

На военной службе дяде Юзе не везло самым роковым образом. Из артиллерии его перевели в пехоту. Полк дяди Юзи был вызван в Москву нести охрану во время коронации Николая Второго. Рота дяди Юзи охраняла Кремлевскую набережную.

Ранним утром в день коронации дядя увидел, как его солдаты бросились к берегу реки и там началась жестокая свалка. Придерживая шашку, дядя побежал к солдатам.

Он увидел валявшееся в грязи на берегу страшное существо с медной головой, опутанной проводами. Существо это солдаты сбили с ног, навалились на него, а оно неуклюже отбрыкивалось от них огромными свинцовыми бутсами. Один из солдат зажал резиновую ребристую трубку около медной головы этого существа, и оно, захрипев, перестало сопротивляться. Дядя увидел, что это водолаз, крикнул на солдат, быстро отвинтил медный шлем, но водолаз был уже мертв.

Дядю и солдат не предупредили, что в это утро водолазы из Кронштадта осматривали дно Москвы-реки, разыскивая адские машины.

После этого случая дядя Юзя был уволен из армии. Он уехал в Среднюю Азию и служил некоторое время начальником верблюжьих караванов, ходивших из Уральска в Хиву и Бухару. В то время Средняя Азия еще не была связана с Россией железной дорогой, все товары перегружались в Уральске на верблюдов и шли дальше караванным путем.

Во время этих караванных путешествий дядя

Юзя сдружился с исследователями Средней Азии братьями Грум-Гржимайло и охотился с ними на тигров. Он прислал в подарок бабушке тигровую шкуру с таким свирепым выражением на морде убитого тигра, что бабушка тотчас спрятала эту шкуру в подвал, предварительно пересыпав ее нафталином.

Дядя Юзя любил рассказывать, как одним своим чихом он убивал на месте шакалов. На бивуаках в пустыне дядя ложился, подкладывал под голову сумку с продуктами и притворялся спящим. Шакалы подползали, поджав хвосты. Когда самый наглый из них начинал осторожно вытаскивать зубами сумку из-под дядиной головы, дядя оглушительно чихал, и трусливый шакал, даже не взвизгнув, тут же на месте умирал от разрыва сердца.

Мы верили этому, потому что хорошо знали, как чихал по утрам дядя Юзя, готовясь к новому дню. В ответ на этот чих звенели стекла в окнах и кошка, обезумев, металась по комнате в поисках спасения.

Рассказы дяди Юзи были для нас интереснее похождений барона Мюнхгаузена. Мюнхгаузена надо было себе представлять, а дядя Юзя был рядом — живой, тонущий в облаках табачного

дыма, сотрясающий своим хохотом диван.

Потом в жизни дяди Юзи наступила неясная полоса. Он скитался по Европе, играл, говорят, в рулетку в Монте-Карло, очутился в Абиссинии и вернулся оттуда с огромным золотым орденом, пожалованным ему за что-то негусом Менеликом. Орден был похож на дворницкую бляху.

Дядя Юзя не находил себе места в жизни, пока взоры его не обратились на туманный Дальний Восток, на Маньчжурию и Уссурийский край. Эта страна как будто нарочно существовала для таких людей, как дядя. Там можно было жить широко, шумно, не подчиняясь никаким «дурацким законам», — во всю силу необузданного характера и своей предприимчивости.

Это была русская Аляска — необжитая, богатая и опасная. Лучшего места на свете нельзя было и придумать для дяди Юзи. Амур, тайга, золото, Тихий океан, Корея, а дальше — Камчатка, Япония, Полинезия. Обширный неизученный мир шумел, как прибой, у берегов Дальнего Востока и тревожил воображение.

Дядя Юзя, захватив с собой молодую жену-подвижницу, — так как никто, кроме подвижницы, по мнению моей мамы, не мог быть женой такого ужасного человека, как дядя Юзя, — уехал на

Дальний Восток.

Там он участвовал в обороне Харбина во время китайского восстания, в стычках с хунхузами, в постройке Китайско-Восточной железной дороги. Занятие это он прервал только для того, чтобы поехать в Трансвааль.

После англо-бурской войны он вернулся на Дальний Восток, но уже не в Маньчжурию, а в Порт-Артур. Там он работал агентом Добровольного флота. Дядя Юзя писал, что очень полюбил пароходное дело и жалеет, что в молодости не стал моряком.

К тому времени жена его умерла. На руках у дяди Юзи остались две девочки, его дочери. Он трогательно и неумело воспитывал их вместе со старым китайцем-слугой, которого называл Сам Пью-чай. Этого преданного ему китайца дядя Юзя любил, пожалуй, не меньше, чем своих дочерей. Вообще он очень любил китайцев и говорил, что это великолепный, добрый и мудрый народ и единственный его недостаток — это боязнь дождей.

Во время японской войны дядя Юзя был призван, как старый офицер, в армию. Дочерей вместе с Сам Пью-чаем он отправил в Харбин.

После войны он приезжал в Киев навестить род-

ных. Это был последний раз, когда я его видел.

Он был уже седой, спокойный, но бешеные веселые искорки, хоть и изредка, все еще перебегали в его глазах.

Он рассказывал нам о Пекине, о садах китайских императоров, Шанхае и Желтой реке.

После этих рассказов Китай представлялся мне страной, где вечно стоит теплый и ясный вечер. Может быть, это впечатление объяснялось тем, что дядя Юзя уже ничего не выдумывал, не вращал глазами и не хохотал, а говорил усталым голосом, поминутно стряхивая пепел с папиросы.

Это было в 1905 году. Дядя Юзя плохо разбирался в политике. Он считал себя старым солдатом и действительно был им — честным, верным присяге. Когда мой отец начинал резкие и опасные свои речи, дядя Юзя отмалчивался, уходил в сад, садился на скамейку и там курил в одиночестве. Отца он считал «левее левых».

Осенью пятого года в Киеве восстали саперный батальон и понтонная рота. Саперы прошли с боем через город, отбиваясь от наседавшей на них казачьей сотни.

К саперам присоединились рабочие Южно-Русского машиностроительного завода. Впереди

мятежников бежало множество детей. На Галицком базаре Азовский саперный полк открыл по восставшим огонь. Залпами было убито много детей и рабочих. Саперы не могли отвечать на огонь, так как между ними и азовцами были толпы жителей. В этот день дядя Юзя, узнав о событиях, очень нервничал, без конца курил, бродя по саду, и вполголоса бранился.

— Азовцы, — бормотал он. — Дурачье. Позор! А те тоже хороши, саперы, — не стрелки, а куроцапы!

Потом он незаметно исчез из дому и к вечеру не вернулся. Он не вернулся ни ночью, ни на следующий день. Он вообще не вернулся. Только через полгода пришло от его дочери письмо из Харбина. Она сообщала, что дядя Юзя поселился в Японии и просит его простить за внезапное исчезновение.

Гораздо позже мы узнали, что дядя Юзя пробрался к саперам, увидел убитых детей, пришел в ярость, вместе с руководителем восстания поручиком Жадановским собрал часть саперов и открыл с ними такой огонь по правительственным войскам, что те были вынуждены отойти. Дяде Юзе, естественно, пришлось бежать. Он уехал в Японию, где вскоре и умер в городе Кобе

от сердечной астмы и страшной болезни — ностальгии — тоски по родине.

Перед смертью этот огромный и неистовый человек плакал при малейшем напоминании о России. А в последнем, как будто шутливом, письме он просил прислать ему в конверте самый драгоценный для него подарок — засушенный лист киевского каштана.

Святославская улица

Поездки в Черкассы и Городище были в моем детстве праздниками, а будни начинались в Киеве, на Святославской улице, где в сумрачной и неуютной квартире проходили длинные зимы.

Святославская улица, застроенная скучными доходными домами из желтого киевского кирпича, с такими же кирпичным и тротуарами, упиралась в огромный пустырь, изрезанный оврагами. Таких пустырей среди города было несколько. Назывались они «ярами».

Весь день мимо нашего дома тянулись к Святославскому яру обозы каламашек с глиной. Каламашками в Киеве назывались тележки для перевозки земли. Каламашники засыпали овраги в яру и ровняли его для постройки новых домов.

Земля высыпалась из каламашек, на мостовой всегда было грязно, и потому я не любил Святославскую улицу.

В яр нам строго запретили ходить. Это было страшное место, приют воров и нищих. Но все же мы, мальчишки, собирались иногда отрядами и шли в яр. Мы брали с собой на всякий случай полицейский свисток. Он казался нам таким же верным оружием, как револьвер.

Сначала мы с опаской смотрели сверху в овраги. Там блестело битое стекло, валялись ржавые тазы и рылись в мусоре собаки. Они не обращали на нас внимания.

Потом мы настолько осмелели, что начали спускаться в овраги, откуда тянуло дрянным желтым дымком. Дымок этот шел от землянок и лачуг. Лачуги были слеплены из чего попало — ломаной фанеры, старой жести, разбитых ящиков, сидений от венских стульев, матрасов, из которых торчали пружины. Вместо дверей висели грязные мешки.

У очагов сидели простоволосые женщины в отрепьях. Они обзывали нас «барчуками» или просили «на монополькy». Только одна из них — седая косматая старуха с львиным лицом — улыбалась нам единственным зубом.

Это была известная в Киеве нищенка-итальянка. Она ходила по дворам и играла на гармонике. За особую плату она играла «Марсельезу». В этих случаях кого-нибудь из мальчишек высылали к воротам, чтобы предупредить, если появится околоточный надзиратель.

Нищенка не только играла «Марсельезу» на гармонике — она кричала ее яростным хриплым голосом. «Марсельеза» в ее исполнении звучала как гневный призыв, как проклятье обитателей Святославского яра.

Среди жильцов этих лачуг мы узнавали старых знакомых. Вот Яшка Падучий — нищий с белыми водочными глазами. Он постоянно сидел на паперти Владимирского собора и выкрикивал одну и ту же фразу: «Господа милосердные, обратите внимание на мое калецство-овецство!»

В яру Яшка Падучий был совсем не таким гнусавым и тихим, как на паперти. Он выпивал одним духом четвертинку водки, с размаху бил себя в грудь и вопил со слезой: «Приидите ко мне все страждущие и обремененные, и аз упокою вы!»

Вот лысый старик, торгующий зубочистками на Фундуклеевской улице около кафе Франсуа, а рядом — шарманщик с попугаем.

Около лачуг дымили глиняные очаги с дырявы-

ми самоварными трубами.

Больше других мне нравилась лачуга шарманщика. Днем шарманщика никогда не было — он ходил по дворам. Около лачуги сидела на земле босая девушка с землистым лицом и красивыми хмурыми глазами. Она чистила картошку. Одна нога у нее была обмотана тряпками.

Это была дочь шарманщика, гимнастка, «человек без костей». Она ходила раньше с отцом по дворам, раскладывала коврик и показывала на нем — худая, в голубом трико — разные акробатические трюки. Сейчас она повредила ноги и не могла «работать».

Иногда она читала все одну и ту же книгу с оторванным переплетом. По картинкам я догадался, что это были «Три мушкетера» Дюма.

Девушка недовольно кричала на нас:

— Чего вы тут ходите! Не видели, что ли, как люди живут?

Но потом она привыкла к нам и перестала кричать. Ее отец, низенький, седой шарманщик, застав нас в яру, сказал:

— Пусть видят, как мается наше общество. Может быть, это им пригодится, когда будут студентами.

Сначала мы ходили в яр целой ватагой. Потом

я привык к обитателям яра и начал ходить туда один.

Я долго скрывал это от мамы, но меня выдала дочь шарманщика. Я принес ей почитать «Хижину дяди Тома», но заболел и долго не приходил за книгой. Она забеспокоилась и сама принесла книгу к нам на квартиру. Мама открыла ей дверь, и все обнаружилось. Я понял это по сжатым губам мамы и по ее ледяному молчанию.

Вечером между мамой и отцом происходил в столовой разговор о моем поведении. Я слышал его из-за двери. Мама волновалась и сердилась, но отец сказал, что ничего нет страшного, что меня трудно испортить и что он предпочитает, чтобы я дружил с этими обездоленными людьми, а не с сыновьями киевских купцов и чиновников. Мама возразила, что в моем возрасте меня надо оберегать от тяжелых житейских впечатлений.

— Пойми, — сказал отец, — что эти люди на человеческое отношение отвечают такой преданностью, какую не найдешь в нашем кругу. При чем же тут тяжелые житейские впечатления?

Мама помолчала и ответила:

— Да, может быть, ты прав…

Когда я выздоровел, она принесла мне «Принца и нищего» Марка Твена и сказала:

— Вот… отнеси это сам… дочери шарманщика. Я не знаю, как ее зовут.

— Лиза, — ответил я робко.

— Ну вот, отнеси эту книгу Лизе. В подарок.

С тех пор никто в доме больше не возмущался моими посещениями Святославского яра. Теперь мне не надо было тайком таскать из буфета сахар для моих новых друзей или китайские орешки для подслеповатого попугая Митьки. Я открыто просил все это у мамы. Она мне никогда не отказывала.

Я был благодарен маме за это, и на душе у меня было так легко, как только может быть у мальчика с чистой совестью.

Однажды ранней осенью шарманщик пришел к нам во двор без попугая. Он равнодушно крутил ручку шарманки. Она высвистывала польку «Пойдем, пойдем, ангел милый, пойдем танцевать со мной». Шарманщик обводил глазами балконы и открытые окна, дожидаясь, когда наконец полетит во двор медная монета, завернутая в бумажку.

Я выбежал к шарманщику. Он сказал мне, не переставая вертеть шарманку:

— У Митьки хвороба. Сидит, как еж. Твои орешки и то лущить бросил. Видать, подыхает.

Шарманщик снял черную пыльную шляпу и вытер ею лицо.

— Пропащее существование! — сказал он. — Одной шарманкой, без Митьки, не то что на хлеб — на водку не заработаешь. Кому теперь вытягивать «счастье»?

Попугай за пять копеек вытаскивал желающим зеленые, синие и красные билетики с напечатанными на них предсказаниями. Билетики эти назывались почему-то «счастьем». Они были свернуты в трубочки и уложены, как папиросы, в коробку от гильз. Прежде чем вытащить билетик, Митька долго топтался по жердочке и недовольно кричал.

Предсказания были написаны весьма темным языком.

«Вы родились под знаком Меркурия, и камень ваш есть изумруд, иначе смарагд, что означает нерасположение и окончательное нахождение житейского устройства в годы, убеленные сединой. Бойтесь блондинок и блондинов и предпочитайте не выходить на улицу в день усекновения главы Иоанна Предтечи».

Иногда в билетиках были короткие и зловещие фразы: «Завтра к вечеру» или «Если хочешь остаться живым, никогда не оглядывайся».

Через сутки Митька издох, я похоронил его в яру в картонной коробке от ботинок. Шарманщик напился и исчез.

Я рассказал маме о смерти попугая. Губы у меня дрожали, но я сдерживался.

— Одевайся, — строго сказала мама. — Пойдем к Бурмистрову.

Бурмистров был старичок с зеленой от старости бородой. Он держал темный и тесный магазин на Бессарабке. Там глуховатый этот человек, похожий на гнома, торговал великолепными вещами — удочками, разноцветными поплавками, аквариумами, золотыми рыбками, птицами, муравьиными яйцами и даже переводными картинками.

Мама купила у Бурмистрова пожилого зеленого попугая с оловянным кольцом на ноге. Мы одолжили у Бурмистрова клетку. Я нес в ней попугая. По дороге он изловчился и прокусил мне палец до самой кости. Мы зашли в аптеку. Мне перевязали палец, но я был так взволнован, что почти не почувствовал боли.

Мне очень хотелось поскорее отнести попугая к шарманщику, но мама сказала:

— Я пойду вместе с тобой. Я должна это видеть сама.

Она ушла к себе переодеться. Мне было стыдно, что мама переодевается, чтобы пойти к нищим, оборванным людям, но я не смел ей ничего сказать.

Через несколько минут она вышла. На ней было старенькое платье, заштопанное на локтях. На голову она накинула платок. На этот раз она даже не натянула на руки свои элегантные лайковые перчатки. И туфли она надела со стоптанными каблуками.

Я с благодарностью взглянул на нее, и мы пошли.

Мама мужественно спустилась в овраг, прошла мимо онемевших от изумления растрепанных женщин и даже ни разу не приподняла юбку, чтобы не запачкать ее о кучи мусора и золы.

Лиза, увидев нас с попугаем, вспыхнула, серое ее лицо покрылось жарким румянцем, и она неожиданно сделала маме реверанс. Шарманщика не было дома — он все еще заливал свое горе с приятелями на Демиевке.

Лиза взяла попугая и, все больше краснея, повторяла одни и те же слова:

— Ну, зачем это вы! Зачем это вы!

— Его можно будет выучить вытаскивать «счастье»? — спросила мама.

— Да в два дня! — радостно ответила Лиза. — Но зачем это вы! Господи! Зачем? Это же таких денег стоит!

Дома отец, узнав об этом случае, усмехнулся и сказал:

— Дамская филантропия! Сентиментальное воспитание!

— Ах, господи! — воскликнула с досадой мама. — Не знаю, почему ты обязательно хочешь противоречить самому себе. Удивительный у тебя характер. На моем месте ты бы сделал то же самое.

— Нет, — ответил отец, — я бы сделал большее.

— Большее? — переспросила мама, и в голосе ее послышалась угроза. — Ну, хорошо! Посмотрим!

— Посмотрим!

Я не догадывался, что отец говорил все это нарочно, чтобы раздразнить маму.

На следующий день после этой стычки мама отослала Лизе в Святославский яр черное платье моей сестры и свои коричневые ботинки.

Но отец не остался в долгу перед мамой. Он дождался, когда шарманщик пришел к нам во двор с новым попугаем.

Красный шарф был завязан у шарманщика на шее. Нос его победно блестел от водки. В честь

мамы шарманщик проиграл все, что могла насвистывать его шарманка: марш «Тоска по родине», вальс «Дунайские волны», польку «Разлука» и песню «Эх, полным-полна коробушка».

Попугай снова вытягивал «счастье». Медяки в бумажках щедро сыпались из окон. Некоторые из них шарманщик ловко ловил шляпой.

Потом он вскинул шарманку на спину и, как всегда сильно согнувшись, пошел не на улицу, а вверх по парадной лестнице и позвонил у наших дверей.

Сняв шляпу и держа ее в вытянутой руке так, что шляпа касалась пола, он поблагодарил маму и поцеловал ей руку. Отец вышел и пригласил шарманщика к себе в кабинет. Шарманщик прислонил шарманку к стене в передней и, осторожно шагая, пошел за отцом.

Отец угостил шарманщика коньяком, сказал, что знает, какая трудная у него и неверная жизнь, и предложил ему место путевого сторожа на Юго-Западной дороге. Будет свой маленький дом, огород.

— Не обессудьте, Георгий Максимович, — тихо ответил шарманщик и покраснел. — Загорюю я будочником. Мне, видно, век бедовать с шарманкой.

Он ушел. Мама не могла скрыть своего торжества, хотя и молчала.

Через несколько дней полиция неожиданно выселила из Святославского яра всех его обитателей. Шарманщик с Лизой исчезли, — очевидно, они перекочевали в другой город.

Но до этого я успел еще раз побывать в яру. Шарманщик пригласил меня к себе «повечерять».

На перевернутом ящике стояла тарелка с печеными помидорами и черным хлебом, бутылка вишневой наливки и лежали грязные конфеты — толстые, в розовую и белую полоску, сахарные палочки.

Лиза была в новом платье, с туго заплетенными косами. Она обидчиво следила за тем, чтобы я ел, «как у мамы». Попугай спал, прикрыв глаза кожаной пленкой. Шарманка изредка сама по себе издавала певучий вздох. Шарманщик объяснил, что это из каких-то трубок выходит застоявшийся воздух.

Был уже сентябрь. Приближались сумерки. Кто не видел киевской осени, тот никогда не поймет нежной прелести этих часов.

Первая звезда зажигается в вышине. Осенние пышные сады молча ждут ночи, зная, что звезды обязательно будут падать на землю и сады пойма-

ют эти звезды, как в гамак, в гущу своей листвы и опустят на землю так осторожно, что никто в городе даже не проснется и не узнает об этом.

Лиза проводила меня до дому, сунула мне на прощанье розовую липкую конфету и быстро сбежала по лестнице. А я долго не решался позвонить, боясь, что мне попадет за позднее возвращение.

Зимние зрелища

На Рождество отец подарил мне коньки «Галифакс».

Теперешние мальчики долго бы смеялись, увидев эти коньки. Но тогда не было на свете лучших коньков, чем коньки из города Галифакса.

Где этот город? Я расспрашивал всех. Где этот старый город Галифакс, заваленный снегом? Там все мальчики бегают на таких коньках. Где эта зимняя страна, населенная отставными моряками и шустрыми школьниками? Никто мне не мог ответить.

Старший брат Боря предполагал, что Галифакс — это вовсе не город, а фамилия изобретателя коньков. Отец сказал, что, кажется, Галифакс — это, правда, городок на острове Нью-Фаундленде

у северных берегов Америки и знаменит он не только коньками, но и собаками-водолазами.

Коньки лежали у меня на столе. Я смотрел на них и думал о городе Галифаксе. Получив коньки, я тотчас выдумал этот город и уже видел его так ясно, что мог бы нарисовать подробный план его улиц и площадей.

Я мог долго сидеть за столом над задачником Малинина и Буренина — я готовился в эту зиму к экзаменам в гимназию — и думать о Галифаксе.

Это мое свойство пугало маму. Она боялась моих «фантазий» и говорила, что таких мальчиков, как я, ждет нищета и смерть под забором.

Это мрачное предсказание «ты умрешь под забором» было очень распространено в то время. Почему-то смерть под забором считалась особенно позорной.

Я часто слышал это предсказание. Но гораздо чаще мама говорила, что у меня «вывихнутые мозги и все не так, как у людей», и боялась, как бы из меня не вышел неудачник.

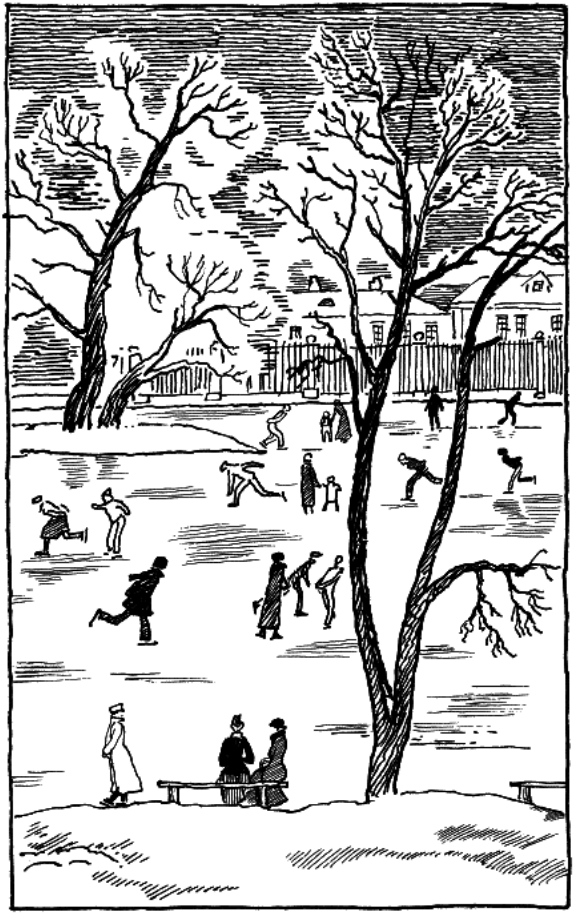
Отец очень сердился, когда слышал это, и говорил маме:

— Пусть будет неудачником, нищим, бродягой, кем угодно, но только не проклятым киевским обывателем!

В конце концов я сам начал побаиваться и стесняться своего воображения. Мне казалось, что я занимаюсь чепухой, тогда как вокруг все заняты серьезными делами: братья и сестра ходят в гимназию, зубрят уроки, отец служит в управлении Юго-Западных железных дорог, мама шьет и распоряжается по дому. Только я один живу в оторванном от общих интересов мире и напрасно трачу время.

— Ты бы лучше пошел на каток, чем бессмысленно сидеть и что-то выдумывать, — говорила мама. — Что это за мальчик! На что ты похож!

Я уходил на каток. Зимние дни были короткие. Сумерки заставали меня на катке. Приходил военный оркестр. Зажигались разноцветные лампочки. Гимназистки в шубках катались по кругу, раскачиваясь и пряча руки в маленькие муфты. Гимназисты ездили задом наперед или «пистолетом» — присев на одну ногу и далеко выставив другую. Это считалось высшим шиком. Я им завидовал.



Домой я возвращался раскрасневшийся и усталый. Но тревога не покидала мое сердце. Потому что и после катания на коньках я чувствовал прежнюю опасную склонность к выдумкам.

На катке я часто встречал подругу моей сестры Гали — Катюшу Весницкую, гимназистку старших классов Фундуклеевской женской гимназии. Она тоже каталась на коньках «Галифакс», но сделанных из черной вороненой стали.

Мой старший брат Боря, ученик реального училища и знаток математики, ухаживал за Катюшей. Он танцевал с ней на коньках вальс.

Конькобежцы очищали широкий круг на льду. Уличным мальчишкам, шнырявшим под ногами на самодельных коньках, давали подзатыльники, чтобы они успокоились, и начинался скользящий и медленный танец.

Даже капельмейстер военного оркестра, рыжий чех Коваржик поворачивался лицом к катку, чтобы видеть этот танец. На красном лице капельмейстера (мы называли его «капельдудкиным») бродила сладкая улыбка.

Длинные косы Весницкой разлетались в такт вальсу. Они ей мешали, и она, не переставая танцевать, перекидывала их к себе на грудь. Она надменно смотрела из-под полуопущенных век

на восхищенных зрителей.

Я со злорадством следил за Борей. Он танцевал хуже Катюши. Иногда он даже поскальзывался на своих хваленых коньках «Яхт-клуб».

Мог ли я думать тогда на катке, что жизнь Весницкой окажется гораздо неожиданнее всех моих фантазий.

В Пажеском корпусе в Петербурге воспитывался один из сыновей сиамского короля Чакрабон. Во время возвращения на родину принц заболел в дороге около Киева воспалением легких. Путешествие было прервано. Принца привезли в Киев, поместили в царский дворец и окружили заботами киевских докторов.

Принц выздоровел. Но прежде чем продолжать путешествие в Сиам, ему надо было отдохнуть и поправиться. Принц прожил в Киеве два месяца. Ему было скучно. Его старались развлекать — возили на балы в Купеческое собрание, на лотереи-аллегри, в цирк и театры.

На одном балу желтолицый принц увидел Весницкую. Она танцевала вальс, так же как на катке, перекинув косы себе на грудь и надменно поглядывая из-под полуопущенных век синими глазами. Принц был очарован. Маленький, раскосый, с блестящими, как вакса, волосами, он

влюбился в Катюшу. Он уехал в Сиам, но вскоре вернулся в Киев инкогнито и предложил Катюше стать его женой. Она согласилась.

Смятение охватило киевских гимназисток. Все в один голос говорили, что на ее месте они бы ни за что не могли выйти замуж за азиата, хотя бы и сына короля.

Катюша уехала в Сиам. Сиамский король вскоре умер от какой-то тропической болезни. Вслед за ним умер от той же болезни первый наследный принц.

Муж Катюши был вторым сыном короля. У него было очень мало надежды на сиамский престол. Но после смерти брата он оказался единственным наследником и неожиданно стал королем. Так веселая киевская гимназистка Весницкая сделалась сиамской королевой.

Придворные ненавидели королеву-иностранку. Ее существование нарушало традиции сиамского двора.

В Бангкоке по требованию Катюши провели электрическое освещение. Это переполнило чашу ненависти придворных. Они решили отравить королеву, поправшую древние привычки народа. В пищу королеве начали постепенно подсыпать истертое в тончайший порошок стекло от разби-

тых электрических лампочек. Через полгода она умерла от кровотечения в кишечнике. На могиле ее король поставил памятник. Высокий слон из черного мрамора с золотой короной на голове стоял, печально опустив хобот, в густой траве, доходившей ему до колен. Под этой травой лежала Катюша Весницкая — молодая королева Сиама.

С тех пор каждый раз, когда я попадал на каток, я вспоминал Катюшу и капельмейстера, игравшего вальс «Невозвратное лето», и как она стряхивала варежкой снег со своего лба и бровей, и ее коньки из синей стали — коньки из города Галифакса. В нем жили простодушные отставные моряки. Вот рассказать бы этим старикам историю Весницкой. Сначала они открыли бы от изумления рты, потом покраснели бы от гнева на придворных и долго бы качали головами, сокрушаясь над превратностью человеческой судьбы.

Зимой меня водили в театры.

Первая пьеса, которую я увидел, была «Штурм Измаила». Мне она не понравилась, потому что я заметил у кулисы человека в очках и потертых бархатных брюках. Он стоял рядом с Суворовым, потом сильно толкнул Суворова в спину, тот вприпрыжку вылетел на сцену и запел петухом.

Но зато вторая пьеса, «Принцесса Греза» Роста-

на, меня ошеломила. Там было все, чтобы потрясти мое воображение: палуба корабля, огромные паруса, трубадуры, рыцари, принцесса.

Я полюбил драматический Соловцовский театр, его голубую бархатную обивку и маленькие ложи. После спектакля меня нельзя было увести из театра никакими силами, пока не гасили свет. Темнота театрального зала, запах духов и апельсиновых корок — все это казалось мне настолько заманчивым, что я мечтал спрятаться под креслом и провести всю ночь в пустом театре.

В детстве я не мог отделить театральное зрелище от действительности и по-настоящему мучился и даже болел после каждого спектакля.

Моя страсть к чтению усилилась после театра. Стоило мне посмотреть хотя бы «Мадам Сан-Жен», и я начинал с жадностью перечитывать все книги о Наполеоне. Эпохи и люди, увиденные в театре, оживали чудесным образом и наполнялись необыкновенным интересом и прелестью.

Я полюбил не только самые спектакли. Мне нравились театральные коридоры с зеркалами в тусклых золотых рамах, темные вешалки, где пахло мехом от шуб, перламутровые бинокли, топот застоявшихся лошадей у театрального

подъезда. В антрактах я бегал в конец коридора и смотрел через окно наружу. Там лежала кромешная тьма. Только снег белел на деревьях. Я быстро оборачивался и видел свет нарядного зала, люстры, блеск женских волос, браслетов, серег и бархатный театральный занавес. В антрактах занавес качало теплым ветром. Я повторял это занятие по нескольку раз — то смотрел в окно, то на зал, — и оно мне очень нравилось.

Оперу я не любил. Очевидно, потому, что первой оперой, которую мне показали, был «Демон» Рубинштейна. Жирный, с нахальным и брыластым лицом актер лениво и как-то вразвалку пел Демона. Он играл почти без грима. Было смешно, что на этого солидного человека с брюшком надели длинную черную рубаху из кисеи, обшитую блестками, и привязали к спине крылья. Актер сильно картавил, и, когда он пел «Проклятый мир, презренный мир», я не мог удержаться от смеха. Мама была возмущена и перестала водить меня в оперу.

Каждую зиму к нам приезжала из Городища тетя Дозя. Мама любила водить ее в театр.

Перед этим тетя Дозя плохо спала ночь. За несколько часов до спектакля она уже надевала широкое шумящее платье из коричневого атласа,

вытканное желтыми цветами и листьями, накидывала коричневую шаль на шею, зажимала в руке кружевной платочек и потом, помолодевшая на десять лет и немного испуганная, ехала на извозчике с мамой в театр. Голову тетя Дозя повязывала, как все украинские бабы, черным платком с маленькими розами.

В театре все смотрели на тетю Дозю, но она так была увлечена спектаклем, что ни на кого не обращала внимания.

Возили ее главным образом на украинские пьесы — «Наталка Полтавка», «Запорожец за Дунаем» и «Шельменко-денщик». Один раз среди действия тетя Дозя вскочила и крикнула по-украински театральному злодею:

— Что же ты делаешь, подлюга, бесстыжие твои глаза!

Публика неистово хохотала. Дали занавес. Тетя Дозя проплакала весь следующий день от стыда, просила у отца прощения, и мы не знали, как ее успокоить.

С тетей Дозей мы впервые ходили в кино. Тогда кино называли «иллюзионом» или «синематографом Люмьера».

Первый сеанс был устроен в Оперном театре. Отец был в восхищении от иллюзиона и привет-

ствовал его как одно из великолепных новшеств двадцатого века.

На сцене натянули серое мокрое полотно. Потом погасили люстры. По полотну замигал зловещий зеленоватый свет и забегали черные пятна. Прямо над нашими головами струился дымный луч света. Он страшно шипел, будто у нас за спиной жарили целого вепря. Тетушка Дозя спросила маму:

— Почему он так скворчит, этот иллюзион? Мы от него не сгорим, как в курятнике?

После долгого мигания на полотне появилась надпись: «Извержение на острове Мартинике. Видовая картина».

Экран задрожал, и на нем, как бы сквозь ливень пыли, возникла огнедышащая гора. Из недр ее лилась горящая лава. Зрительный зал зашумел, потрясенный этим зрелищем.

После видовой показывали комическую картину из жизни французской казармы. Барабанщик бил в барабан, солдаты просыпались, вскакивали, натягивали брюки. Из штанины у одного солдата вываливалась большая крыса. Она бегала по казарме, а солдаты в ужасе, неправдоподобно тараща глаза, лезли на койки, на двери и окна. На этом картина кончалась.

— Балаган! — сказала мама. — Только с той разницей, что на Контрактовой ярмарке балаганы гораздо интереснее.

Отец заметил, что точно так же недальновидные люди смеялись над паровозом Стефенсона, а тетушка Дозя, стараясь примирить отца с мамой, сказала:

— Бог с ним, с иллюзионом! Не нашего это женского ума дело.

На Контрактовой ярмарке балаганы действительно были интересные. Мы любили эту ярмарку и с нетерпением ждали всю зиму, когда она откроется.

Открывалась она в конце зимы в старинном Контрактовом доме на Подоле и в дощатых палатках вокруг этого дома.

Обычно ко дню ее открытия наступала распутица. Острые запахи ярмарочных товаров были слышны издалека. Пахло новыми бочками, кожей, пряниками и коленкором.

Мне нравились на ярмарке каруселі, игрушки и паноптикум.

Маслянистые глыбы белой и шоколадной халвы хрустели под ножами продавцов. Прозрачный розовый и лимонный рахат-лукум заклеивал рот. На огромных глиняных блюдах были навалены

пирамиды засахаренных груш, слив и вишен — изделия знаменитого киевского кондитера Балабухи.

На разостланных в грязи рогожах стояли рядами грубо вырезанные из дерева и раскрашенные липкой краской солдатики — казаки в папахах и шароварах с малиновыми лампасами, барабанщики со зверски выпученными глазами и трубачи с пышными кистями на трубах. Кучами были свалены глиняные свистульки.

Веселые старики толкались в толпе, выхваляя «тещины языки» и «морского жителя». Это была заманчивая игрушка. В стеклянной узкой банке нырял и переворачивался в воде черный мохнатый чертик.

Множество звуков оглушало нас — выкрики продавцов, лязг кованых дрог, великопостный звон из Братского монастыря, писк резиновых чертиков, свист свистулек и вопли мальчишек на карусели.

За приплату карусель вертели так быстро, что все превращалось в пеструю смесь оскаленных лошадиных морд из папье-маше, галстуков, сапог, вздувшихся юбок, разноцветных подвязок, кружев, платков. Иногда в лицо зрителям летели, как пули, стеклянные бусы от чьего-нибудь разо-

рванного стремительным вращением мониста.

Паноптикума я побаивался, особенно восковых фигур. Убитый французский президент Карно лежал, улыбаясь, на полу во фраке со звездой. Неестественно густая кровь, похожая на красный вазелин, стекала у него по пластрону. Казалось, Карно был доволен, что умер так эффектно.

Восковая царица Клеопатра прижимала к твердой зеленоватой груди черную змею.

Русалка с лиловыми глазами лежала в цинковой ванне. В грязной чешуе русалки отражалась тусклая электрическая лампочка. Вода в ванне была мутная.

В открытом сундуке, обтянутом проволочной сеткой, среди ватных одеял спал удав. Он изредка перебирал мускулами, и зрители шарахались.

Чучело гориллы, окруженное листвой из крашеных стружек, уносило в лесную чащу бесчувственную девушку с распущенными золотыми волосами.

Каждый желающий мог за три копейки выстрелить в эту гориллу из «монте-кристо» и спасти девушку. Если он попадал в кружок на груди у обезьяны, она роняла тряпичную девушку на пол. От девушки густо подымалась пыль.

После этого гориллу на минуту задергивали

ситцевой занавеской, и потом она опять появлялась, все так же свирепо уволакивая девушку в те же самые выцветшие лесные чащи.

Мы любили Контрактовую ярмарку еще и за то, что она предвещала близкую Пасху, поездку к бабушке в Черкассы, а потом — всегда прекрасную и необыкновенную киевскую нашу весну.

Гардемарин

Весна в Киеве начиналась с разлива Днепра. Стоило только выйти из города на Владимирскую горку, и тотчас перед глазами распахивалось голубоватое море.

Но, кроме разлива Днепра, в Киеве начинался и другой разлив — солнечного сияния, свежести, теплого и душистого ветра.

На Бибиковском бульваре распускались клейкие пирамидальные тополя. Они наполняли окрестные улицы запахом ладана. Каштаны выбрасывали первые листья — прозрачные, измятые, покрытые рыжеватым пухом.

Когда на каштанах расцветали желтые и розовые свечи, весна достигала разгара. Из вековых садов вливались в улицы волны прохлады, сыроватое дыхание молодой травы, шум недавно

распустившихся листьев.

Гусеницы ползали по тротуарам даже на Крещатике. Ветер сдувал в кучи высохшие лепестки. Майские жуки и бабочки залетали в вагоны трамваев. По ночам в палисадниках пели соловьи. Тополевый пух, как черноморская пена, накатывался прибоем на панели. По краям мостовых желтели одуванчики.

Над открытыми настежь окнами кондитерской и кофеен натягивали полосатые тенты от солнца. Сирень, обрызганная водой, стояла на ресторанных столиках. Молодые киевлянки искали в гроздьях сирени цветы из пяти лепестков. Их лица под соломенными летними шляпками приобретали желтоватый матовый цвет.

Наступало время киевских садов. Весной я все дни напролет пропадал в садах. Я играл там, учил уроки, читал. Домой приходил только обедать и ночевать.

Я знал каждый уголок огромного Ботанического сада с его оврагами, прудом и густой тенью столетних липовых аллей.

Но больше всего я любил Мариинский парк в Липках около дворца. Он нависал над Днепром. Стены лиловой и белой сирени высотой в три человеческих роста звенели и качались от мно-

жества пчел. Среди лужаек били фонтаны.

Широкий пояс садов тянулся над красными глинистыми обрывами Днепра — Мариинский и Дворцовый парки, Царский и Купеческий сады. Из Купеческого сада открывался прославленный вид на Подол. Киевляне очень гордились этим видом. В Купеческом саду все лето играл симфонический оркестр. Ничто не мешало слушать музыку, кроме протяжных пароходных гудков, доносившихся с Днепра.

Последним садом на днепровском берегу была Владимирская горка. Там стоял памятник князю Владимиру с большим бронзовым крестом в руке. В крест ввинтили электрические лампочки. По вечерам их зажигали, и огненный крест висел высоко в небе над киевскими кручами.

Город был так хорош весной, что я не понимал маминого пристрастия к обязательным воскресным поездкам в дачные места — Боярку, Пущу Водицу или Дарницу. Я скучал среди однообразных дачных участков Пущи Водицы, равнодушно смотрел в боярском лесу на чахлую аллею поэта Надсона и не любил Дарницу за вытоптанную землю около сосен и сыпучий песок, перемешанный с окурками.

Однажды весной я сидел в Мариинском парке и

читал «Остров сокровищ» Стивенсона. Сестра Галя сидела рядом и тоже читала. Ее летняя шляпа с зелеными лентами лежала на скамейке. Ветер шевелил ленты.

Галя была близорукая, очень доверчивая, и вывести ее из добродушного состояния было почти невозможно.

Утром прошел дождь, но сейчас над нами блистало чистое небо весны. Только с сирени слетали запоздалые капли дождя.

Девочка с бантами в волосах остановилась против нас и начала прыгать через веревочку. Она мне мешала читать. Я потряс сирень. Маленький дождь шумно посыпался на девочку и на Галю. Девочка показала мне язык и убежала, а Галя стряхнула с книги капли дождя и продолжала читать.

И вот в эту минуту я увидел человека, который надолго отравил меня мечтами о несбыточном моем будущем.

По аллее легко шел высокий гардемарин с загорелым спокойным лицом. Прямой черный палаш висел у него на лакированном поясе. Черные ленточки с бронзовыми якорями развевались от тихого ветра. Он был весь в черном. Только яркое золото нашивок оттеняло его строгую форму.

В сухопутном Киеве, где мы почти не видели моряков, это был пришелец из далекого легендарного мира крылатых кораблей, фрегата «Паллада», из мира всех океанов, морей, всех портовых городов, всех ветров и всех очарований, какие связаны были с живописным трудом мореплавателей. Старинный палаш с черным эфесом как будто появился в Мариинском парке прямо со страниц Стивенсона.

Гардемарин прошел мимо, хрустя по песку. Я поднялся и пошел за ним. Галя по близорукости не заметила моего исчезновения.

Вся моя мечта о море воплотилась в этом человеке. Я часто воображал себе моря, туманные и золотые от вечернего штиля, далекие плаванья, когда весь мир сменяется, как быстрый калейдоскоп, за стеклами иллюминатора. Боже мой, если бы кто-нибудь догадался подарить мне хотя бы кусок окаменелой ржавчины, отбитой от старого якоря! Я бы хранил его, как драгоценность.

Гардемарин оглянулся. На черной ленточке его бескозырки я прочел загадочное слово: «Азимут». Позже я узнал, что так назывался учебный корабль Балтийского флота.

Я шел за ним по Елизаветинской улице, потом по Институтской и Николаевской. Гардемарин

изящно и небрежно отдавал честь пехотным офицерам. Мне было стыдно перед ним за этих мешковатых киевских вояк.

Несколько раз гардемарин оглядывался, а на углу Меринговской остановился и подозвал меня.

— Мальчик, — спросил он насмешливо, — почему вы тащитесь за мной на буксире?

Я покраснел и ничего не ответил.

— Все ясно: он мечтает быть моряком, — догадался гардемарин, говоря почему-то обо мне в третьем лице.

— Я близорукий, — ответил я упавшим голосом.

Гардемарин положил мне на плечо худую руку:

— Дойдем до Крещатика.

Мы пошли рядом. Я боялся поднять глаза и видел только начищенные до невероятного блеска крепкие ботинки гардемарина.

На Крещатике гардемарин зашел со мной в кофейную Семадени, заказал две порции фисташкового мороженого и два стакана воды. Нам подали мороженое на маленький трехногий столик из мрамора. Он был очень холодный и весь исписан цифрами: у Семадени собирались биржевые дельцы и подсчитывали на столиках

свои прибыли и убытки.

Мы молча съели мороженое. Гардемарин достал из бумажника фотографию великолепного корвета с парусной оснасткой и широкой трубой и протянул мне:

— Возьмите на память. Это мой корабль. Я ходил на нем в Ливерпуль.

Он крепко пожал мне руку и ушел. Я посидел еще немного, пока на меня не начали оглядываться потные соседи в канотье. Тогда я неловко вышел и побежал в Мариинский парк. Скамейка была пуста. Галя ушла. Я догадался, что гардемарин меня пожалел, и впервые узнал, что жалость оставляет в душе горький осадок.

После этой встречи желание сделаться моряком мучило меня много лет. Я рвался к морю. Первый раз я видел его мельком в Новороссийске, куда ездил на несколько дней с отцом. Но этого было, конечно, недостаточно.

Часами я просиживал над Атласом, рассматривал побережья океанов, выискивал неизвестные приморские городки, мысы, острова, устья рек.

Я придумал сложную игру. Я составил длинный список пароходов со звучными именами: «Полярная звезда», «Вальтер Скотт», «Хинган», «Сириус». Список этот разбухал с каждым днем. Я

был владельцем самого большого флота в мире.

Конечно, я сидел у себя в пароходной конторе, в дыму сигар, среди пестрых плакатов и расписаний. Широкие окна выходили, естественно, на набережную. Желтые мачты пароходов торчали около самых окон, а за стенами шумели добродушные вязы. Пароходный дым развязно влетал в окна, смешиваясь с запахом гнилого рассола и новеньких, веселых рогож.

Я придумал для своих пароходов список удивительнейших рейсов. Не было самого забытого уголка земли, куда бы они не заходили. Они посещали даже остров Тристан д'Акунью.

Я снимал пароходы с одного рейса и посылал в другой. Я следил за плаваньем своих кораблей и безошибочно знал, где находится сегодня «Адмирал Истомин», а где — «Летучий голландец»: «Истомин» грузит бананы в Сингапуре, а «Летучий голландец» разгружает муку на Фаррерских островах.

Для того чтобы руководить таким обширным пароходным предприятием, мне понадобилось много знаний. Я зачитывался путеводителями, судовыми справочниками и всем, что имело хотя бы отдаленное касательство к морю.

Тогда впервые я услышал от мамы слово «ме-

нингит».

— Он дойдет бог знает до чего со своими играми, — сказала однажды мама. — Как бы все это не кончилось менингитом.

Я слышал, что менингит — это болезнь мальчиков, которые слишком рано научились читать. Поэтому я только усмехнулся на мамины страхи.

Все окончилось тем, что родители решили поехать всей семьей на лето к морю.

Теперь я догадываюсь, что мама надеялась вылечить меня этой поездкой от чрезмерного увлечения морем. Она думала, что я буду, как это обычно случается, разочарован от непосредственного столкновения с тем, к чему я так страстно стремился в мечтах. И она была права, но только отчасти.

Как выглядит рай

Однажды мама торжественно объявила, что на днях мы на все лето уезжаем на Черное море, в маленький городок Геленджик, вблизи Новороссийска.

Нельзя было, пожалуй, выбрать лучшего места, чем Геленджик, для того, чтобы разочаровать меня в моем увлечении морем и югом.

Геленджик был тогда очень пыльным и жарким городком без всякой растительности. Вся зелень на много километров вокруг была уничтожена жестокими новороссийскими ветрами — норд-остами. Только колючие кусты держи-дерева и чахлая акация с желтыми сухими цветочками росли в палисадниках. От высоких гор тянуло зноем. В конце бухты дымил цементный завод.

Но геленджикская бухта была очень хороша. В прозрачной и теплой ее воде плавали, как розовые и голубые цветы, большие медузы. На песчаном дне лежали пятнистые камбалы и пучеглазые бычки. Прибой выбрасывал на берег красные водоросли, гнилые поплавки-балберки от рыбачьих сетей и обкатанные волнами куски темно-зеленых бутылок.

Море после Геленджика не потеряло для меня своей прелести. Оно сделалось только более простым и тем самым более прекрасным, чем в моих нарядных мечтах.

В Геленджике я подружился с пожилым лодочником Анастасом. Он был грек, родом из города Воло. У него была новая парусная шлюпка, белая с красным килем и вымытым до седины решетчатым настилом.

Анастас катал на шлюпке дачников. Он славил-

ся ловкостью и хладнокровием, и мама иногда отпускала меня одного с Анастасом.

Однажды Анастас вышел со мной из бухты в открытое море. Я никогда не забуду того ужаса и восторга, какие я испытал, когда парус, надувшись, накренил шлюпку так низко, что вода понеслась на уровне борта. Шумящие огромные валы покатились навстречу, просвечивая зеленью и обдавая лицо соленой пылью.

Я схватился за ванты, мне хотелось обратно на берег, но Анастас, зажав трубку зубами, что-то мурлыкал, а потом спросил:

— Почем твоя мама отдала за эти чувяки? Ай, хороши чувяки!

Он кивнул на мои мягкие кавказские туфли — чувяки. Ноги мои дрожали. Я ничего не ответил. Анастас зевнул и сказал:

— Ничего! Маленький душ, теплый душ. Обедать будешь с аппетитом. Не надо будет просить — скушай за папу-маму!

Он небрежно и уверенно повернул шлюпку. Она зачерпнула воду, и мы помчались в бухту, ныряя и выскакивая на гребни волн. Они уходили из-под кормы с грозным шумом. Сердце у меня падало и обмирало.

Неожиданно Анастас запел. Я перестал дрожать

и с недоумением слушал эту песню:

От Батума до Сухума —
Ай-вай-вай!
От Сухума до Батума —
Ай-вай-вай!
Бежал мальчик, тащил ящик —
Ай-вай-вай!
Упал мальчик, разбил ящик —
Ай-вай-вай!

Под эту песню мы спустили парус и с разгона быстро подошли к пристани, где ждала бледная мама. Анастас поднял меня на руки, поставил на пристань и сказал:

— Теперь он у вас соленый, мадам. Уже имеет к морю привычку.

Однажды отец нанял линейку, и мы поехали из Геленджика на Михайловский перевал.

Сначала щебенчатая дорога шла по склону голых и пыльных гор. Мы проезжали мосты через овраги, где не было ни капли воды. На горах весь день лежали, зацепившись за вершины, одни и те же облака из серой сухой ваты.

Мне хотелось пить. Рыжий извозчик-казак

оборачивался и говорил, чтобы я повременил до перевала, — там я напьюсь вкусной и холодной воды. Но я не верил извозчику. Сухость гор и отсутствие воды пугали меня. Я с тоской смотрел на темную и свежую полоску моря. Из него нельзя было напиться, но, по крайней мере, можно было выкупаться в его прохладной воде.

Дорога подымалась все выше. Вдруг в лицо нам потянуло свежестью.

— Самый перевал! — сказал извозчик, остановил лошадей, слез и подложил под колеса железные тормоза.

С гребня горы мы увидели огромные и густые леса. Они волнами тянулись по горам до горизонта. Кое-где из зелени торчали красные гранитные утесы, а вдали я увидел вершину, горевшую льдом и снегом.

— Норд-ост сюда не достигает, — сказал извозчик. — Тут рай!

Линейка начала спускаться. Тотчас густая тень накрыла нас. Мы услышали в непролазной чаще деревьев журчание воды, свист птиц и шелест листвы, взволнованной полуденным ветром.

Чем ниже спускались, тем гуще делался лес и тенистее дорога. Прозрачный ручей уже бежал по ее обочине. Он перемывал разноцветные камни,

задевал своей струей лиловые цветы и заставлял их кланяться и дрожать, но не мог оторвать от каменистой земли и унести с собою вниз, в ущелье.

Мама набрала воды из ручья в кружку и дала мне напиться. Вода была такая холодная, что кружка тотчас покрылась потом.

— Пахнет озоном, — сказал отец.

Я глубоко вздохнул. Я не знал, чем пахло вокруг, но мне казалось, что меня завалили ворохом веток, смоченных душистым дождем.

Лианы цеплялись за наши головы. И то тут, то там на откосах дороги высовывался из-за камня какой-нибудь мохнатый цветок и с любопытством смотрел на нашу линейку и на серых лошадей, задравших головы и выступавших торжественно, как на параде, чтобы не сорваться вскачь и не раскатить линейку.

— Вон ящерица! — сказала мама.

— Где?

— Вон там. Видишь орешник? А налево — красный камень в траве. Смотри выше. Видишь желтый венчик? Это азалия. Чуть правее азалии, на поваленном буке, около самого корня. Вон, видишь такой мохнатый рыжий корень в сухой земле и каких-то крошечных синих цветах? Так вот рядом с ним.

Я увидел ящерицу. Но пока я ее нашел, я проделал чудесное путешествие по орешнику, красному камню, цветку азалии и поваленному буку.

«Так вот он какой, Кавказ!» — подумал я.

— Тут рай! — повторил извозчик, сворачивая с шоссе на травянистую узкую просеку в лесу. — Сейчас распряжем коней, будем купаться.

Мы въехали в такую чащу и ветки так били нас по лицу, что пришлось остановить лошадей, слезть с линейки и идти дальше пешком. Линейка медленно ехала следом за нами.

Мы вышли на поляну в зеленом ущелье. Как белые острова, стояли в сочной траве толпы высоких одуванчиков. Под густыми буками мы увидели старый пустой сарай. Он стоял на берегу шумной горной речонки. Она туго переливала через камни прозрачную воду, шипела и увлекала вместе с водой множество воздушных пузырей.

Пока извозчик распрягал лошадей и ходил с отцом за хворостом для костра, мы умылись в реке. Лица наши после умывания горели жаром.

Мы хотели тотчас идти вверх по реке, но мама расстелила на траве скатерть, достала провизию и сказала, что, пока мы не поедим, она никуда

нас не пустит.

Я, давясь, съел бутерброды с ветчиной и холодную рисовую кашу с изюмом, но оказалось, что я совершенно напрасно торопился — упрямый медный чайник никак не хотел закипать на костре. Должно быть, потому, что вода из речушки была совершенно ледяная.

Потом чайник вскипел так неожиданно и бурно, что залил костер. Мы напились крепкого чая и начали торопить отца, чтобы идти в лес. Извозчик сказал, что надо быть настороже, потому что в лесу много диких кабанов. Он объяснил нам, что если мы увидим вырытые в земле маленькие ямы, то это и есть места, где кабаны спят по ночам.

Мама заволновалась — идти с нами она не могла, у нее была одышка, — но извозчик успокоил ее, заметив, что кабана нужно нарочно раздразнить, чтобы он бросился на человека.

Мы ушли вверх по реке. Мы продирались сквозь чащу, поминутно останавливались и звали друг друга, чтобы показать гранитные бассейны, выбитые рекой, — в них синими искрами проносилась форель, — огромных зеленых жуков с длинными усами, пенистые ворчливые водопады, хвощи выше нашего роста, заросли лесной

анемоны и полянки с пионами.

Боря наткнулся на маленькую пыльную яму, похожую на детскую ванну. Мы осторожно обошли ее. Очевидно, это было место ночевки дикого кабана.

Отец ушел вперед. Он начал звать нас. Мы пробрались к нему сквозь крушину, обходя огромные мшистые валуны.

Отец стоял около странного сооружения, заросшего ежевикой. Четыре гладко обтесанных исполинских камня были накрыты, как крышей, пятым обтесанным камнем. Получался каменный дом. В одном из боковых камней было пробито отверстие, но такое маленькое, что даже я не мог в него пролезть. Вокруг было несколько таких каменных построек.

— Это долмены, — сказал отец. — Древние могильники скифов. А может быть, это вовсе и не могильники. До сих пор ученые не могут узнать, кто, для чего и как строил эти долмены.

Я был уверен, что долмены — это жилища давно вымерших карликовых людей. Но я не сказал об этом отцу, так как с нами был Боря: он поднял бы меня на смех.

В Геленджик мы возвращались совершенно сожженные солнцем, пьяные от усталости и лес-

ного воздуха. Я уснул и сквозь сон почувствовал, как на меня дохнуло жаром, и услышал отдаленный ропот моря.

С тех пор я сделался в своем воображении владельцем еще одной великолепной страны — Кавказа. Началось увлечение Лермонтовым, абреками, Шамилем. Мама опять встревожилась.

Сейчас, в зрелом возрасте, я с благодарностью вспоминаю о детских своих увлечениях. Они научили меня многому.

Но я был совсем не похож на захлебывающихся слюной от волнения шумных и увлекающихся мальчиков, никому не дающих покоя. Наоборот, я был очень застенчивый и со своими увлечениями ни к кому не приставал.

Брянские леса

Осенью 1902 года я должен был поступить в приготовительный класс Первой киевской гимназии. В ней учился мой средний брат, Вадим. После его рассказов я начал бояться гимназии, иногда даже плакал и просил маму оставить меня дома.

— Неужели ты хочешь быть экстерном? — ис-

пуганно спрашивала мама.

Экстернами назывались те мальчики, что учились дома и только каждый год сдавали экзамены при гимназии.

Со слов братьев я хорошо представлял себе кошмарную судьбу этих экстернов. Их нарочно проваливали на экзаменах, всячески издевались над ними, требовали от них гораздо больше знаний, чем от обыкновенных гимназистов. Ниоткуда экстернам не было помощи. Им даже не подсказывали.

Я представлял себе этих истощенных от зубрежки, заплаканных мальчиков с красными от волнения, оттопыренными ушами. Зрелище было жалкое. Я сдавался и говорил:

— Ну хорошо, я не буду экстерном.

— Кисейная барышня! — кричал из своей комнаты Боря. — Нюня!

— Не смей его обижать! — вскипала мама.

Она считала Борю бессердечным и все удивлялась, откуда у него такой черствый характер. Очевидно, от бабки-турчанки. Вся остальная наша семья отличалась необыкновенной отзывчивостью, привязчивостью к людям и непрактичностью.

Отец знал о моих страхах, слезах и волнениях

и нашел, как всегда, неожиданное лекарство от этих бед. Он решил после легкой стычки с мамой отправить меня одного к моему дяде, маминому брату Николаю Григорьевичу.

Это был тот самый веселый юнкер, дядя Коля, что приезжал к бабушке в Черкассы из Петербурга и любил танцевать вальс с тетей Надей. Сейчас он уже сделался военным инженером, женился и служил в городе Брянске Орловской губернии на старинном артиллерийском лафетном заводе. Завод этот назывался арсеналом.

На лето дядя Коля снял дачу около Брянска, в старом, запущенном имении Ревны в Брянских лесах, и звал нас всех приехать туда же. Родители согласились. Но они не могли уехать раньше, чем у сестры и братьев окончатся экзамены. Меня послали вперед одного.

— Пусть привыкает, — сказал отец. — Это полезно для таких стеснительных мальчиков.

Отец написал дяде Коле письмо. Что он в нем писал, я не знаю. Мама, украдкой вытирая слезы, сложила мне маленький чемодан, где ничего не было забыто и лежала записка со всякими наставлениями.

Мне взяли билет во втором классе до станции Синезерки. Дядина дача была в десяти верстах от

этой станции.

На вокзал меня провожали все, даже Боря. Отец о чем-то поговорил с седоусым проводником и дал ему денег.

— Довезу, как пушинку, — сказал проводник маме. — Не извольте волноваться, сударыня.

Мама попросила соседей по купе присматривать за мной и не позволять мне выходить на станциях. Соседи охотно согласились. Я очень стеснялся и осторожно тянул маму за рукав.

После второго звонка все расцеловали меня, даже Боря, хотя он тут же, незаметно для остальных, дал мне так называемую «грушу» — больно ковырнул меня большим пальцем по макушке.

Все вышли из вагона на платформу. Но мама все не могла уйти. Она держала меня за руки и говорила:

— Будь хорошим. Слышишь? Будь умным мальчиком. И очень осторожным.

Она смотрела на меня испытующими глазами. Пробил третий звонок. Она обняла меня и быстро, шурша платьем, пошла к выходу. Она соскочила почти на ходу. Отец подхватил ее и покачал головой.

Я стоял у закрытого окна, смотрел, как мама впереди всех быстро шла по платформе, и только

сейчас увидел, какая она красивая, маленькая, ласковая. Мои слезы капали на пыльную раму.

Я долго смотрел в окно, хотя уже не видно было ни мамы, ни платформы, а за окном проносились товарные пути, крикливые маневровые паровозы и проплывал, как бы вращаясь, готический новый костел на Васильковской улице. Я боялся оглянуться, чтобы соседи в купе не заметили моих заплаканных глаз. Потом я вспомнил, что дяде Коле послали телеграмму о моем приезде. Легкая гордость оттого, что обо мне послали настоящую телеграмму, немного успокоила меня, и я обернулся.

Купе было обито красным бархатом. В нем было тесно и уютно. Пыльные зайчики от солнца все сразу, будто по команде, начинали быстро переползать из одного угла купе в другой, а потом так же быстро ползли обратно — поезд вырывался из путаницы киевских предместий и шел по закруглениям.

Меня устроили в дамское купе. На этом настояла мама. Я осторожно осмотрел своих спутниц. Одна из них, черная, сухая француженка, быстро закивала мне, улыбнулась, показав лошадиные зубы, и протянула коробку с мармеладом. Я не знал, что делать, но поблагодарил и взял марме-

лад, испачкав руки.

— Клади его скорей в рот! — сказала вторая спутница — гимназистка лет шестнадцати, в коричневом форменном платье, с раскосыми веселыми глазами. — Жуй, не задумывайся!

Француженка, очевидно гувернантка, что-то строго сказала гимназистке по-французски. Гимназистка тотчас сгримасничала, и тогда француженка начала говорить по-французски быстро, сердито и долго. Гимназистка, не дослушав, встала и вышла в коридор.

— Ох, молодежь! — сказала третья моя спутница, маленькая толстая старушка со ртом, похожим на баранку. За ее спиной в плетеной сумочке висели баранки, посыпанные маком. — Ох, уж эта мне молодежь!

— О-о! — закивала француженка. — Это одно непослушание. Один фиф! Один каприз!

Что значило слово «фиф», я не знал, но догадался, что это что-то плохое, потому что старушка подняла глаза к потолку и так тяжело вздохнула, что даже француженка взглянула на нее с интересом.

Мне хотелось смотреть в окно, и я вышел в коридор. Гимназистка уже стояла у открытого окна.

— А, Витя! — сказала она мне. — Становись рядом, будем смотреть.

— Я не Витя, — ответил я, краснея.

— Все равно становись.

Я влез на карниз отопления и высунулся в окно. Поезд шел по мосту через Днепр. Я увидел Лавру, далекий Киев и мелкий Днепр, успевший намыть около устоев моста песчаные острова.

— Чертова хрычовка! — сказала гимназистка. — Мадам Демифам! Но, в общем, ты ее не бойся. Она добрая старушенция.

Я очень устал от этой своей первой поездки, потому что всю дорогу, кроме ночей, простоял около открытого окна. Но я был счастлив. Я впервые испытывал ту путевую беззаботность, когда ни о чем не надо думать, а только смотреть за окно на ржаные поля, рощи, маленькие станции, где босые бабы продают молоко, на речонки, стрелочников, начальников станций в пыльных красных фуражках, гусей, деревенских ребят, что бегут за поездом и кричат: «Дяденька, кинь копейку!»

Дорога на Брянск была тогда круговая и длинная — через Львов и Навлю. Только на третий день поезд пришел в Синезерки. Он шел не торопясь, подолгу стоял на станциях, отдувался около

водокачек. Пассажиры выскакивали, бежали за кипятком и в буфет, покупали у баб землянику и жареных цыплят. Потом все успокаивались. Давно было пора ехать, на станции воцарялась сонная тишина, жгло солнце, плыли облака, волоча по земле синюю тень, пассажиры дремали, а поезд все стоял и стоял. Только паровоз громко вздыхал, и из него капала на песок горячая маслянистая вода.

Наконец из станции выходил толстый обер-кондуктор в парусиновом сюртуке, вытирал усы, прикладывал ко рту свисток и заливисто свистел. Паровоз не отвечал, все так же отдуваясь. Тогда обер-кондуктор лениво шел к паровозу и снова свистел. Паровоз не откликался. Только на третий или четвертый свисток он наконец огрызался коротким недовольным гудком и медленно трогался.

Я высовывался из окна, потому что знал — сейчас же за семафором пойдут откосы, заросшие клевером и колокольчиками, а потом сосновый лес. Когда поезд входил в него, стук колес делался гораздо громче, его подхватывало эхо, будто по всему лесу начинали стучать молотками веселые кузнецы.

Я впервые видел Среднюю Россию. Она мне

нравилась больше Украины. Она была пустыннее, просторнее и глуше. Мне нравились ее леса, заросшие дороги, разговоры крестьян.

Старушка-соседка все время спала. Француженка успокоилась и вязала кружево, а гимназистка пела, высунувшись из окна, и ловко срывала листья с деревьев, пролетавших около поезда.

Через каждые два часа она доставала корзину с едой, долго ела и заставляла есть и меня. Мы ели крутые яйца, жареную курицу, пирожки с рисом и пили чай.

Потом мы снова висели в окне, дурея от запаха цветущей гречихи. Тень от поезда бежала, постукивая, по полям, а вагон был залит таким оранжевым заходящим солнцем, что в нашем купе, как в огненном тумане, ничего нельзя было разобрать.

В Синезерки поезд пришел в сумерки. Проводник вынес мой чемодан на платформу. Я ждал, что меня встретит дядя Коля или его жена, тетя Маруся. Но на платформе никого не было. Мои соседки встревожились.

Поезд стоял в Синезерках одну минуту. Он ушел, а я остался около своего чемодана. Я был уверен, что дядя Коля опоздал и сейчас приедет.

Ко мне подошел, ковыляя, бородатый кре-

стьянин в пиджаке, в черном картузе, с кнутом, засунутым за голенище. От него пахло лошадиным потом и сеном.

— Это ты и есть Костик? — спросил он меня. — А я тебя дожидаюсь. Дядя-капитан приказали тебя встретить и доставить в сохранности. Давай сундучок, пойдем.

Это было последнее испытание, приготовленное мне отцом. Он написал дяде Коле, чтобы никто меня не встречал в Синезерках.

Возница — его звали Никитой, — что-то бормоча о дяде моем, капитане, усадил меня в телегу, в мягкое сено, покрытое рядном, отвязал торбу с овсом, сел на облучок, и мы поехали.

Сначала мы долго ехали по вечереющему полю. Потом дорога пошла по взгорью среди лесов. Иногда телега скатывалась на деревянный мост, и под ним блестела черная болотная вода. Тянуло сыростью, запахом осоки. За лесами и низкими чащами поднялась багровая мертвая луна, прогудела выпь, и Никита сказал:

— Наша сторона лесистая, безлюдная. Здесь корья и воды много. Самая это духовитая местность во всей Орловской губернии.

Мы въехали в сосновый бор, стали спускаться по крутому изволоку к какой-то реке. Сосны

закрыли луну, совсем стемнело. На дороге послышались голоса. Мне стало немного страшно.

— Ты, Никита? — крикнул из темноты знакомый дядин голос.

— Тпру-у! — отчаянно закричал Никита, сдерживая лошадей. — Известно, мы! Тпру, леший тебя раздери!

Кто-то схватил меня, снял с телеги, и я увидел в неясном свете заката смеющиеся глаза дяди Коли и белые его зубы. Он поцеловал меня и тотчас передал тете Марусе.

Она тормошила меня, смеялась своим грудным смехом, и от нее пахло ванилью, — должно быть, она недавно возилась со сладким тестом.

Мы сели на телегу, а Никита пошел рядом.

Мы проехали старый черный мост через чистую, глубокую реку, всю в зарослях, потом второй мост. Под ним тяжело ударила рыба. Наконец телега въехала, зацепившись за каменный столб у ворот, в такой темный и высокий парк, что казалось, деревья запутались своими вершинами среди звезд.

В самой гуще парка, под шатрами непроглядных лип, телега остановилась около маленького деревянного дома с освещенными окнами. Две собаки, белая и черная — Мордан и Четвер-

так, — начали лаять на меня и прыгать, стараясь лизнуть в лицо.

Все лето я прожил в Ревнах, в бывшем потемкинском поместье, среди дремучих Брянских лесов, рек, кротких орловских крестьян, в старинном и таком обширном парке, что никто не знал, где он кончается и переходит в лес.

Это было последнее лето моего настоящего детства. Потом началась гимназия. Семья наша распалась. Я рано остался один и в последних классах гимназии уже сам зарабатывал на жизнь и чувствовал себя совершенно взрослым.

С этого лета я навсегда и всем сердцем привязался к Средней России. Я не знаю страны, обладающей такой огромной лирической силой и такой трогательно живописной — со всей своей грустью, спокойствием и простором, — как средняя полоса России. Величину этой любви трудно измерить. Каждый знает это по себе. Любишь каждую травинку, поникшую от росы или согретую солнцем, каждую кружку воды из лесного колодца, каждое деревцо над озером, трепещущее в безветрии листьями, каждый крик петуха и каждое облако, плывущее по бледному и высокому небу.

И если мне хочется иногда жить до ста двадца-

ти лет, как предсказывал дед Нечипор, то только потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца все очарование и всю исцеляющую силу нашей русской природы.

Детство кончалось. Очень жаль, что всю прелесть детства мы начинаем понимать, когда делаемся взрослыми. В детстве все было другим. Светлыми и чистыми глазами мы смотрели на мир, и все нам казалось гораздо более ярким.

Ярче было солнце, сильнее пахли поля, громче был гром, обильнее дожди и выше трава. И шире было человеческое сердце, острее горе и в тысячу раз загадочнее была земля, родная земля — самое великолепное, что нам дано для жизни. Ее мы должны возделывать, беречь и охранять всеми силами своего существа.

Кишата

Я не завидовал, как другие мальчики, тому, что киевские кадеты носили белые погоны с желтыми вензелями и становились во фронт перед генералами. Не завидовал я и гимназистам, хотя их шинели из серого офицерского сукна, с серебряными пуговицами считались очень красивыми. С детства я был равнодушен ко всякой

форменной одежде, кроме морской.

Когда осенью 1902 года я впервые надел длинные брюки и гимназическую курточку, мне было неловко, неудобно, и я на время перестал чувствовать себя самим собой. Я стал для себя чужим мальчиком с тяжелой фуражкой на голове. Я невзлюбил эти твердые синие фуражки с огромным гербом, потому что у всех моих товарищей — учеников приготовительного класса — всегда торчали из-под фуражек оттопыренные уши. Когда они снимали фуражку, уши у них делались обыкновенными. Но стоило им надеть фуражку, как уши тотчас оттопыривались. Будто нарочно для того, чтобы инспектор Бодянский, взяв приготовишку за ухо, мог сказать страшным своим голосом:

— Опять опоздал, мизерабль! Становись в угол и думай о своей горькой судьбе!

Поэтому, как только мама купила мне фуражку, я, подражая старшим братьям, вытащил из нее маленький железный обруч и вырвал атласную подкладку. Такова была традиция — чем больше потрепана фуражка, тем выше гимназическая доблесть. «Только зубрилы и подлизы ходят в новых фуражках», — говорили братья.

На фуражке полагалось сидеть, носить ее в

кармане и сбивать ею созревшие каштаны. После этого она приобретала тот боевой вид, который был гордостью настоящего гимназиста.

Мне купили еще ранец с шелковистой спинкой из оленьей шкурки, пенал, тетради в клетку, тонкие учебники для приготовительного класса, и мама повела меня в гимназию.

Бабушка Викентия Ивановна в это время гостила у нас в Киеве. Она перекрестила меня и повесила мне на шею крестик на холодной цепочке. Трясущимися руками она расстегнула ворот моей черной курточки, засунула крестик мне под рубаху, отвернулась и прижала платок к глазам.

— Ну, иди! — сказала она глухим голосом и слегка оттолкнула меня. — Будь умным. Трудись!

Я ушел с мамой. Все время я оглядывался на наш дом, будто меня уводили из него навсегда.

Мы жили тогда на тенистой и тихой Никольско-Ботанической улице. Вокруг нашего дома стояли, задумавшись, огромные каштаны. С них уже начали падать сухие пятипалые листья. День был солнечный, очень синий, теплый, но с прохладной тенью — обыкновенный день киевской осени. Бабушка стояла у окна и все время кивала мне, пока мы не повернули на Тарасовскую улицу. Мама шла молча.

Когда мы дошли до Николаевского сквера и я увидел сквозь его зелень желтое здание гимназии, я заплакал. Я, должно быть, понял, что окончено детство, что теперь я должен трудиться и что труд мой будет горек и долог и совсем не будет похож на те спокойные дни, какие я проводил у себя дома…

Я остановился, прижался к маме головой и плакал так сильно, что в ранце за моей спиной подпрыгивал и постукивал пенал, как бы спрашивая, что случилось с его маленьким хозяином. Мама сняла с меня фуражку и вытерла слезы душистым платком.

— Перестань, — сказала она. — Ты думаешь, мне самой легко? Но так надо.

Так надо! Никакие слова не входили до тех пор в мое сознание с такой силой, как эти два слова, сказанные мамой: «Так надо».

Чем старше я становился, тем чаще я слышал от взрослых, что следует жить «так, как надо, а не так, как тебе хочется или нравится». Я долго не мог примириться с этим и спрашивал взрослых: неужели человек не имеет права жить так, как он хочет, а должен жить только так, как хотят другие? Но в ответ мне говорили, чтобы я не рассуждал о том, чего не понимаю. А мама одна-

жды сказала отцу: «Это все твое анархическое воспитание!» Отец притянул меня к себе, прижал мою голову к своему белому жилету и шутливо сказал:

— Не понимают нас с тобой, Костик, в этом доме.

Когда я успокоился и перестал плакать, мы вошли с мамой в здание гимназии. Широкая чугунная лестница, стертая каблуками до свинцового блеска, вела вверх, где был слышен грозный гул, похожий на жужжание пчелиного роя.

— Не пугайся, — сказала мне мама. — Это большая перемена.

Мы поднялись по лестнице. Впервые мама не держала меня за руку. Сверху быстро спускались два старшеклассника. Они уступили нам дорогу. Один из них сказал мне в спину:

— Привели еще одного несчастного кишонка!

Так я вступил в беспокойное и беспомощное общество приготовишек, или, как их презрительно звали старые гимназисты, в общество кишат. Кишатами нас прозвали за то, что мы, маленькие и юркие, кишели и путались на переменах у взрослых под ногами.

Мы прошли с мамой через белый актовый зал с портретами императоров. Особенно запомнился

мне Александр Первый. Он прижимал к бедру зеленую треуголку. Рыжеватые баки торчали по сторонам его кошачьего лица. Он мне не понравился, хотя за его спиной скакали по холмам кавалеристы с плюмажами.

Мы прошли через зал в кабинет к инспектору Бодянскому — тучному человеку в просторном, как дамский капот, форменном сюртуке.

Бодянский положил мне на голову пухлую руку, долго думал, потом сказал:

— Учись хорошо, а то съем!

Мама принужденно улыбнулась, Бодянский позвал сторожа Казимира и приказал ему отвести меня в приготовительный класс.

Мама кивнула мне, а Казимир взял меня за плечо и повел по длинным коридорам. Казимир так крепко стискивал мое плечо, будто боялся, что я вырвусь и убегу к маме.

В классах шли уроки. В коридоре было пусто и тихо. Тишина казалась особенно удивительной после неистового гама большой перемены. От перемены осталась пыль. Она плавала в лучах солнца, падавших из сада. Это был знаменитый сад киевской Первой гимназии — столетний парк, занимавший среди города целый квартал.

Я взглянул за окно в сад, и мне опять захоте-

лось заплакать. В саду, просвеченные насквозь солнцем, стояли каштаны. Подсыхающие бледно-лиловые листочки тополей шевелились от ветра.

Уже тогда, мальчиком, я любил сады, деревья. Я не ломал веток и не разорял птичьих гнезд. Может быть, потому, что бабушка Викентия Ивановна всегда говорила мне, что «мир чудо как хорош и человек должен жить в нем и трудиться, как в большом саду».

Казимир заметил, что я собираюсь заплакать, достал из заднего кармана старого, но чистенького сюртука липкую конфету «зубровку» и сказал с польским акцентом:

— Съешь этот цукерок на следующей перемене.

Я поблагодарил его шепотом и взял конфету.

Первые дни в гимназии я вообще говорил шепотом и боялся поднять голову. Все подавляло меня: бородатые преподаватели в синих сюртуках, старинные своды, эхо в бесконечных коридорах и, наконец, директор Бессмертный — пожилой красавец с золотой бородкой, в новеньком форменном фраке.

Он был мягкий, просвещенный человек, но его почему-то полагалось бояться. Может быть, пото-

му, что он сидел в высоком кабинете с портретом хирурга Пирогова, лепными потолками и красным ковром. Директор редко выходил оттуда. Ему мы кланялись по всем правилам, остановившись, тогда как с учителями мы здоровались на ходу.

Казимир вел меня по гулким коридорам. По ним бродили, заглядывая в классы через застекленный верх дверей, надзиратели «Дыня», «Шпонька», «Нюхательный табак» и единственный надзиратель, которого гимназисты любили, — Платон Федорович. Тот коридор, где был приготовительный класс, находился под властью Платона Федоровича. Это спасло меня на первое время от многих неприятностей.

Надзирателям полагалось следить за поведением гимназистов и сообщать инспектору о всяческих их проступках. За этим следовали кары — оставление на час или два «без обеда» (иначе говоря, томительное сидение в пустом классе после конца уроков), четверка по поведению и, наконец, вызов родителей к директору. Мы больше всего боялись этой последней кары.

В старших классах существовали и другие наказания: временное исключение из гимназии, исключение с правом дальнейшего обучения и самое страшное — исключение с «волчьим биле-

том», без права поступить потом в какую бы то ни было среднюю школу.

Я видел только одного гимназиста-старшеклассника, исключенного с «волчьим билетом». Это было, когда я учился уже в первом классе. Рассказывали, что он дал пощечину преподавателю немецкого языка Ягорскому, грубому человеку с зеленым лицом. Ягорский обозвал его при всем классе болваном. Гимназист потребовал, чтобы Ягорский извинился. Ягорский отказался. Тогда гимназист ударил его. За это он и был исключен с «волчьим билетом».

На следующий день после исключения гимназист пришел в гимназию. Никто из надзирателей не решился его остановить. Он открыл дверь класса, достал из кармана браунинг и направил его на Ягорского.

Ягорский вскочил из-за стола и, закрывшись журналом, побежал между партами, стараясь спрятаться за спинами гимназистов. «Трус!» — крикнул гимназист, повернулся, вышел на площадку лестницы и выстрелил себе в сердце.

Дверь нашего класса выходила на площадку. Мы услышали сухой треск и звон стекла. Что-то упало и покатилось по лестнице. Классный наставник бросился к двери. Мы выбежали вслед

за ним.

На лестнице лежал веснушчатый гимназист. Он поднял руку, схватился за лестничную балясину, потом рука разжалась, и он затих. Глаза его смотрели на нас с удивленной улыбкой.

Около гимназиста засуетились надзиратели. Потом быстро вошел директор Бессмертный. Он стал на колени перед гимназистом, расстегнул его куртку, и тогда мы увидели кровь на рубахе. По лестнице уже подымались санитары «Скорой помощи», в коричневой форме, с французскими кепи на головах. Они быстро положили гимназиста на носилки.

— Уведите сейчас же детей! — сказал директор нашему классному наставнику.

Но тот, должно быть, не расслышал, и мы остались.

Из класса вышел Ягорский и, сгорбившись, пошел в учительскую комнату.

— Прочь! — вдруг сказал ему в спину директор.

Ягорский обернулся.

— Прочь из моей гимназии! — тихо сказал директор.

И Ягорский вдруг побежал, приседая, по коридору.

На следующий день мама не хотела пускать меня в гимназию, но потом раздумала, и я пошел. В гимназии нас распустили после второго урока. Нам сказали, что те из нас, кто хочет, могут пойти на похороны гимназиста.

И мы пошли все — маленькие, испуганные, в длиннополых шинелях, таща за плечами твердые ранцы.

Стоял холодный, туманный день. За гробом шла вся гимназия. Было много цветов в гробу. Директор вел под руку седую, плохо одетую женщину — мать этого гимназиста.

Тогда я еще плохо разбирался в таких житейских случаях, но все же понял, что жизнь дала нам первый урок товарищества. Мы по очереди подходили к могиле и бросали в нее по горсти земли, будто клялись, что всегда будем доброжелательны и справедливы друг к другу.

Но это было гораздо позже, а сейчас Казимир ввел меня в приготовительный класс.

За столом сидел классный наставник Назаренко — громогласный человек с волнистой синей бородой, как у ассирийского царя. Старшеклассники прозвали Назаренко «Науходоносором». Они уверяли, что он служил в охранке.

Весь год, до перехода в первый класс, Наза-

ренко мучил нас, малышей, зычным голосом, насмешками, двойками и рассказами, как ему вырезали на ноге ногти, вросшие в мясо. Я боялся его и ненавидел. Больше всего я ненавидел его за рассказы об этой операции.

Я сел на низенькую парту, изрезанную перочинным ножом. Мне было трудно дышать. Кисло пахло чернилами. Назаренко диктовал: «Однажды лебедь, рак да щука…» За открытым окном на ветке сидел воробей и держал в клюве сухой лист клена. Мне хотелось поменяться с воробьем судьбой. Воробей посмотрел через окно в класс, жалобно пискнул и уронил лист клена.

— Новичок, — прогремел Назаренко, — достань тетрадь, пиши и не засматривайся по сторонам, если не хочешь остаться без обеда!

Я достал тетрадку и начал писать. Слеза капнула на промокашку. Тогда мой сосед, черный мальчик с веселыми глазами, Эмма Шмуклер, шепнул:

— Проглоти слюну, тогда пройдет.

Я проглотил слюну, но ничего не прошло. Я долго еще не мог вздохнуть всей грудью.

Так начался первый гимназический год. Пыль, беготня на переменах, постоянный страх, что тебя вызовут к доске, пальцы в чернилах, тяжелый

ранец и, как отзвуки потерянной жизни, мелодичные звонки киевских трамваев за окнами, отдаленный свист шарманки и гудки паровозов, долетавшие с вокзала. Оттуда отходили тяжелые поезда и неслись, попыхивая паром, через рощи и скошенные поля, в то время как мы, согнувшись над партами, задыхались от меловой пыли, стертой сухой губкой с классной доски.

Против приготовительного класса был физический кабинет. В него вела узкая дверь. Мы часто заглядывали на переменах в этот кабинет. Там скамьи подымались амфитеатром к потолку.

В физический кабинет водили на уроки старшеклассников. Мы, конечно, кишели в коридоре у них под ногами, и это им, должно быть, надоело. Однажды один из старшеклассников, высокий бледный гимназист, протяжно свистнул. Старшеклассники тотчас начали хватать нас, кишат, и затаскивать в физический кабинет. Они рассаживались на скамьях и держали нас, зажав коленями.

Вначале нам это понравилось. Мы с любопытством рассматривали таинственные приборы на полках — черные диски, колбы и медные шары. Потом в коридоре затрещал первый звонок. Мы начали вырываться. Старшеклассники нас не

пускали. Они крепко держали нас, а самым буйным давали так называемые «груши». Для этого надо было винтообразно и сильно ковырнуть большим пальцем по темени. Это было очень больно.

Зловеще затрещал второй звонок. Мы начали рваться изо всех сил, просить и плакать. Но старшеклассники были неумолимы. Бледный гимназист стал около двери.

— Смотри, — кричали ему старшеклассники, — рассчитай точно!

Мы ничего не понимали. Мы выли от ужаса. Сейчас будет третий звонок. Назаренко ворвется в пустой приготовительный класс. Гнев его будет страшен. Реки наших слез не смогут смягчить этот гнев.

Затрещал третий звонок. Мы ревели на разные голоса. Бледный гимназист поднял руку. Это значило, что в конце коридора появился физик. Он шел неторопливо, с опаской прислушиваясь к воплям из физического кабинета.

Физик был очень толстый. Он протискивался в узкую дверь боком. На этом и был построен расчет старшеклассников. Когда физик заклинился в дверях, бледный гимназист махнул рукой. Нас отпустили, и мы, обезумевшие, помчались, ни-

чего не видя, не понимая и оглашая рыданиями физический кабинет, к себе в класс. Мы с размаху налетели на испуганного физика. На мгновение у двери закипел водоворот из стриженых детских голов. Потом мы вытолкнули физика, как пробку, из дверей в коридор, прорвались у него между ногами и помчались к себе. К счастью, Назаренко задержался в учительской комнате и ничего не заметил.

Старшеклассникам удалось всего раз проделать над нами эту предательскую штуку. Потом мы были настороже. Когда старшеклассники появлялись в коридоре, мы тотчас прятались к себе в класс, закрывали двери и загораживали их партами.

Развлечение это, стоившее нам стольких слез, придумал бледный гимназист. Его звали Багров. Несколько лет спустя он стрелял из револьвера в Киевском оперном театре в царского министра Столыпина, убил его и был повешен.

На суде Багров держался лениво и спокойно. Когда ему прочли приговор, он сказал:

— Мне совершенно все равно, съем ли я еще две тысячи котлет в своей жизни или не съем.

Взрослые много говорили о Багрове и гадали, был ли он действительно революционером или

агентом охранки, устроившей убийство Столыпина в угоду царю (Николай ненавидел Столыпина за то, что не мог сопротивляться его воле). Мой отец утверждал, что человек, произнесший перед смертью такие циничные слова, какие сказал Багров, не мог быть революционером.

Вода из реки Лимпопо

На столе в классе стояли залитые сургучом бутылки с желтоватой водой. На каждой бутылке была наклейка. На наклейках неровным старческим почерком было написано: «Вода из Нила», «Вода из реки Лимпопо», «Вода из Средиземного моря».

Бутылок было много. В них была вода из Волги, Рейна, Темзы, озера Мичиган, Мертвого моря и Амазонки. Но сколько мы ни разглядывали эту воду, во всех бутылках она была одинаково желтая и скучная на вид.

Мы приставали к учителю географии Черпунову, чтобы он разрешил нам попробовать воду из Мертвого моря. Нам хотелось узнать, действительно ли она такая соленая. Но пробовать воду Черпунов не позволял.

Низенький, с длинной, почти до колен, серой

бородой и узкими глазами, Черпунов напоминал колдуна. Недаром и прозвище у него было «Черномор».

Черпунов всегда притаскивал на уроки всяческие редкости. Больше всего он любил приносить бутылки с водой. Он рассказывал, как сам набирал нильскую воду около Каира.

— Смотрите, — он взбалтывал бутылку, — сколько в ней ила. Нильский ил богаче алмазов. На нем расцвела культура Египта. Марковский, объясни классу, что такое культура.

Марковский вставал и говорил, что культура — это выращивание хлебных злаков, изюма и риса.

— Глупо, но похоже на правду! — замечал Черпунов и начинал показывать нам разные бутылки.

Он очень гордился водой из реки Лимпопо. Ее прислал Черпунову в подарок бывший его ученик.

Чтобы мы лучше запоминали всякие географические вещи, Черпунов придумывал разные наглядные способы. Так, он рисовал на классной доске большую букву А. В правом углу он вписывал в эту букву второе А, поменьше, в него — третье, а в третье — четвертое. Потом он говорил:

— Запомните: это — Азия, в Азии — Аравия, в Аравии — город Аден, а в Адене сидит англичанин.

Мы запоминали это сразу и на всю жизнь.

Старшеклассники рассказывали, что на квартире у Черпунова устроен небольшой географический музей, но старик к себе никого не пускает. Там были будто бы чучела колибри, коллекция бабочек, телескоп и даже самородок золота.

Наслушавшись об этом музее, я начал собирать свой музей. Он был, конечно, небогатый, но расцветал в моем воображении, как царство удивительных вещей. Разнообразные истории были связаны с каждой вещью — будь то пуговица румынского солдата или засушенный жук-богомол.

Однажды я встретил Черпунова в Ботаническом саду. Он сидел на мокрой от дождя скамейке и ковырял тростью землю. Я снял фуражку и поклонился.

— Пойди сюда! — подозвал меня Черпунов и протянул мне толстую руку. — Садись, рассказывай. Ты, говорят, собрал маленький музей. Что же у тебя есть?

Я робко перечислил свои незамысловатые ценности. Черпунов усмехнулся.

— Похвально! — сказал он. — Приходи ко мне

в воскресенье утром. Посмотришь мой музей. Допускаю, что коль скоро ты этим увлекаешься, то из тебя выйдет географ или путешественник.

— С мамой? — спросил я.

— Что — с мамой?

— Прийти к вам с мамой?

— Нет, зачем же, приходи один. Мамы не понимают в географии.

В воскресенье я надел новенький гимназический костюм и пошел к Черпунову. Он жил на Печерске, в низеньком флигеле во дворе. Флигель так густо оброс сиренью, что в комнатах было темно.

Была поздняя осень, но сирень еще не пожелтела. С листьев стекал туман. Внизу на Днепре трубили пароходы. Они уходили зимовать в затоны и прощались с Киевом.

Я поднялся на крыльцо и увидел вделанную в стену медную чашечку с круглой рукояткой от звонка. Я потянул рукоятку. Внутри флигеля пропел колокольчик.

Открыл мне сам Черпунов. На нем была серая теплая куртка и войлочные туфли.

Чудеса начались тут же в передней. В овальном зеркале отражался красный от смущения маленький гимназист, пытавшийся расстегнуть

озябшими пальцами шинель. Я не сразу понял, что этот гимназист — я сам. Я долго не мог справиться с пуговицами. Я расстегивал их и смотрел на раму от зеркала.

Это была не рама, а венок из стеклянных, бледно окрашенных листьев, цветов и гроздьев винограда.

— Венецианское стекло, — сказал Черпунов, помог мне расстегнуть шинель, снял ее и повесил на вешалку. — Посмотри поближе. Можешь даже потрогать.

Я осторожно прикоснулся к стеклянной розе. Стекло было матовое, будто присыпанное пудрой. В полоске света, падавшей из соседней комнаты, оно просвечивало красноватым огнем.

— Совсем как рахат-лукум, — заметил я.

— Глупо, но похоже на правду, — пробормотал Черпунов.

Я покраснел так, что у меня зажгло в глазах. Черпунов похлопал меня по плечу:

— Не обижайся. Это у меня такая поговорка. Ну, пойдем. Выпьешь с нами чаю.

Я начал отказываться, но Черпунов взял меня за локоть и повел в столовую. Мы вошли в комнату, похожую на сад. Нужно было осторожно отводить листья филодендрона и свисавшие с

потолка ветки с красными пахучими шишками, чтобы добраться до своего места за столом. Веерная пальма нависала над белой скатертью. На подоконниках теснились вазоны с розовыми, желтыми и белыми цветами.

Я сел за стол, но тотчас вскочил. В столовую быстро вошла, шурша платьем, невысокая молодая женщина с блестящими серыми глазами.

— Вот, Маша, — кивнул на меня Черпунов, — это тот гимназистик, про которого я рассказывал. Сын Георгия Максимовича. Конфузится, конечно.

Женщина протянула мне руку. Зазвенел браслет.

— Неужели вы ему будете все объяснять, Петр Петрович? — спросила она, разглядывая меня и усмехаясь.

— Да, после чая.

— Тогда я схожу на это время в город. В кондитерскую. К Кирхгейму. Мне надо кое-что купить.

— Как хочешь.

Женщина налила мне чаю с лимоном и пододвинула вазу с венскими булочками:

— Набирайтесь сил перед лекцией.

После чая Черпунов закурил папиросу. Пепел он стряхивал в раковину, покрытую окаменелой

пеной нежнейшего розового цвета. Вторая такая же раковина стояла рядом.

— Это раковина из Новой Гвинеи, — заметил Черпунов.

— Ну, прощайте! — громко сказала молодая женщина, встала и вышла.

— Итак, — промолвил Черпунов, проводил ее глазами, а потом показал мне на портрет на стене. Он изображал бородатого человека с изможденным лицом. — Ты знаешь, кто это? Один из лучших русских людей. Путешественник Миклухо-Маклай. Он был великим гуманистом. Ты, должно быть, не понимаешь, что означает это слово. Не важно. Поймешь потом. Он был великий ученый и верил в добрую волю людей. Он жил один среди людоедов на Новой Гвинее. Безоружный, умирающий от лихорадки. Но он сумел сделать столько добра дикарям и проявить столько терпения, что, когда за ним пришел наш корвет «Изумруд», чтобы увезти его в Россию, толпы дикарей плакали на берегу, протягивали к корвету руки и кричали: «Маклай, Маклай!» Так вот, запомни: добротой можно добиться всего.

Женщина вошла в столовую и остановилась в дверях. На ней была черная маленькая шляпка. Она натягивала на левую руку перчатку.

— Между прочим, что такое поэзия? — неожиданно спросил Черпунов. — Пожалуйста, не собирайся мне отвечать. Это определить нельзя. Вот раковина с острова, где жил Маклай. Если ты долго будешь смотреть на нее, то вдруг тебе придет в голову, что как-то утром солнечный свет упал на эту раковину и так на ней и остался на вечные времена.

Женщина села на стул около двери и начала стаскивать с руки перчатку.

Я уставился на раковину. На минуту мне показалось, что я на самом деле уснул и вижу медленный восход солнца над прозрачными массами океанской воды и вспышки розовых лучей.

— Если ты прижмешь раковину к уху, — говорил где-то далеко Черпунов, — то услышишь гул. Я не могу тебе объяснить, почему это происходит. И никто тебе этого не объяснит. Это тайна. Все, что человек не может понять, называется тайной.

Женщина сняла шляпку и положила ее себе на колени.

— Возьми, послушай, — предложил Черпунов.

Я прижал раковину к уху и услышал сонный шум — будто далеко-далеко набегали на берег равномерные волны. Женщина протянула руку:

— Дайте и мне. Я уже давно не слушала.

Я отдал ей раковину. Она прижала ее к уху, улыбнулась и приоткрыла рот так, что стали видны ее маленькие, очень белые и влажные зубы.

— Что же ты, Маша, не идешь к Кирхгейму? — неожиданно спросил Черпунов.

Женщина встала.

— Я раздумала. Мне скучно одной идти к Кирхгейму. Извините, если я помешала.

Она вышла из столовой.

— Ну, что же, — сказал Черпунов, — продолжим нашу беседу, молодой человек. Вон там в углу стоят черные ящики. Принеси-ка сюда верхний ящик. Только неси осторожно.

Я взял ящик и поставил его на стол перед Черпуновым. Ящик оказался совсем легким.

Черпунов не торопясь открыл крышку. Я заглянул через его плечо и невольно вскрикнул. Огромная бабочка, больше, чем лист клена, лежала в ящике на темном шелку и переливалась, как радуга.

— Не так смотришь! — рассердился Черпунов. — Надо вот так!

Он взял меня за макушку и начал поворачивать мою голову то вправо, то влево. Каждый раз бабочка вспыхивала разными цветами — то белым, то золотым, то пурпурным, то синим. Казалось,

что крылья ее горели чудесным огнем, но никак не сгорали.

— Редчайшая бабочка с острова Борнео! — с гордостью произнес Черпунов и закрыл крышку ящика.

Потом Черпунов показал мне звездный глобус, старые карты с «розой ветров», чучела колибри с длинными, как маленькие шила, клювами.

— Ну, на сегодня довольно, — сказал Черпунов. — Ты устал. Можешь приходить ко мне по воскресеньям.

— Вы всегда дома?

— Да. Я уже стар, чтобы бродить и путешествовать, мой друг. Вот я и странствую по стенам и столам. — Он показал на книжные полки и на мертвых колибри.

— А вы много путешествовали? — спросил я робко.

— Не меньше, чем Миклухо-Маклай.

Когда, торопясь и не попадая в рукава, я натягивал в передней шинель, вошла молодая женщина. Она была в коротком узком жакете, в шляпе и перчатках. Маленькая темная вуаль была опущена у нее на глаза. От этого они казались совсем синими.

— Вы где живете? — спросила она.

Я ответил.

— Значит, до Крещатика нам по пути. Пойдемте вместе.

Мы вышли. Черпунов стоял в дверях и смотрел нам вслед. Потом он громко сказал:

— Маша, прошу тебя, будь осторожна. И возвращайся скорей.

— Я слышу, — ответила женщина, но не оглянулась.

Мы миновали Никольский форт с бронзовыми мордами львов на крепостных воротах, прошли через Мариинский парк, где я встретил когда-то гардемарина, и повернули на Институтскую улицу. Женщина молчала. Я тоже молчал. Я боялся, что она о чем-нибудь спросит и мне придется отвечать.

На Институтской она наконец спросила:

— Что вам больше всего понравилось в нашем музее?

— Бабочка, — ответил я, помолчав, и добавил: — Только жалко эту бабочку.

— Да? — удивилась женщина. — Почему же вам ее жалко?

Мне в то время никто не говорил «вы», и от этого я еще больше смущался.

— Она очень красивая, — ответил я, — а ее по-

чти никто не видит.

— А еще что вам понравилось?

На Крещатике мы остановились около кондитерской Кирхгейма. Женщина спросила:

— Вам позволяют пить какао в кондитерской? И есть пирожные?

Я не знал, позволяют ли мне это или нет, но вспомнил, что один раз я был с мамой и сестрой Галей у Кирхгейма и мы действительно пили какао. Поэтому я ответил, что, конечно, мне позволяют бывать у Кирхгейма.

— Вот и хорошо! Тогда пойдемте.

Мы сели в глубине кондитерской. Женщина отодвинула на край столика вазон с гортензией и заказала две чашки какао и маленький торт.

— Вы в каком классе? — спросила она, когда нам подали какао.

— Во втором.

— А сколько вам лет?

— Двенадцать.

— А мне двадцать восемь. В двенадцать лет, конечно, можно верить всему.

— Что? — переспросил я.

— У вас есть какие-нибудь любимые игры и выдумки?

— Да, есть.

— И у Петра Петровича есть. А у меня нет. Вот вы бы и приняли меня в свои игры. Мы бы хорошо играли.

— А во что? — полюбопытствовал я. Разговор становился интересным.

— Во что? Ну хотя бы в Золушку или в бегство от злого короля. Или мы придумали бы новую игру. Она называлась бы «Бабочка острова Борнео».

— Да! — сказал я, загораясь. — Мы бы разыскали в заколдованном лесу колодец с живой водой.

— С опасностью для жизни, конечно?

— Ну да, с опасностью для жизни!



— Мы бы несли эту воду, — сказала она и подняла на лоб вуаль, — в ладонях. Когда один уставал бы нести, он осторожно переливал бы воду в ладонь к другому.

— Когда мы будем переливать воду, — заметил я, — одна или две капли обязательно упадут на землю, и в тех местах…

— В тех местах, — перебила она, — вырастут кусты с большими белыми цветами. А что случится потом, как вы думаете?

— Мы побрызгаем бабочку этой водой, и она оживет.

— И превратится в прекрасную девушку? — спросила женщина и засмеялась. — Ну, пора идти. Вас, наверное, ждут дома.

Мы вышли. Она проводила меня до угла Фундуклеевской, а оттуда пошла обратно. Я оглянулся. Она переходила Крещатик, тоже оглянулась, улыбнулась и помахала мне маленькой рукой в черной перчатке.

Дома я не рассказал никому, даже маме, что был в кондитерской Кирхгейма. Мама все удивлялась, почему я ничего не ем за обедом. Я упорно молчал. Я думал об этой женщине, но ничего не понимал.

На следующий день я спросил у одного из стар-

шеклассников, кто эта женщина.

— А ты разве был у Черпунова? — спросил старшеклассник.

— Был.

— И видел музей?

— Видел.

— Повезло, — сказал старшеклассник. — Это его жена. Он старше ее на тридцать пять лет.

В следующее воскресенье я не пошел к Черпунову, потому что среди недели он заболел и перестал ходить в гимназию. А через несколько дней мама вдруг спросила меня за вечерним чаем, не видел ли я у Черпунова молодую женщину.

— Видел, — сказал я и покраснел.

— Ну, значит, правда, — обернулась мама к отцу. — А он был с ней, говорят, так добр! Она жила, как принцесса в золотой клетке.

Отец ничего не ответил.

— Костик, — сказала мама, — ты уже выпил чай. Иди к себе, скоро пора ложиться.

Она услала меня, чтобы поговорить с отцом о Черпунове. Но я не стал подслушивать, хотя мне очень хотелось знать, что случилось.

Вскоре я узнал об этом в гимназии. Жена ушла от Черпунова, уехала в Петербург. Старик заболел от горя и никого к себе не пускал.

— Так и надо Черпунову, — сказал гимназист Литтауэр. — Не женись на молодой!

Мы возмутились этими словами. Мы любили старика Черпунова. Поэтому на следующем же уроке, когда француз Сэрму влетел в класс, мы отомстили Литтауэру.

— Литтауэр! — громовым хором крикнул весь класс. — Иттауэр! Тауэр! Ауэр! Эр!

Потом сразу наступила тишина.

Сэрму вспылил и, как всегда, не разобрав, в чем дело, крикнул:

— Литтауэр, вон из класса!

И поставил Литтауэру четверку по поведению.

Больше мы не видели Черпунова. Он не вернулся в гимназию.

Через год я встретил его на улице. Он едва брел — желтый, опухший, опираясь на толстую трость. Он остановил меня, расспросил, как я учусь, и сказал:

— Бабочку помнишь? С острова Борнео? Так вот, нет у меня уже этой бабочки.

Я молчал. Черпунов внимательно посмотрел на меня.

— Я подарил ее университету. И ее, и всю свою коллекцию бабочек. Ну, будь здоров. Рад был встретить тебя.

Черпунов вскоре умер. Я долго помнил о нем и о молодой женщине. Непонятная тоска охватывала меня, когда я вспоминал ее вуаль и то, как она, переходя Крещатик, улыбнулась и помахала рукой.

Когда я был уже в старшем классе, преподаватель психологии, говоря нам о плодотворной силе воображения, неожиданно спросил:

— Вы помните Черпунова с его водой из разных рек и морей?

— Ну как же! — ответили мы. — Великолепно помним.

— Так вот, могу вам сообщить, что в бутылках была самая обыкновенная водопроводная вода. Вы спросите, зачем Черпунов вас обманывал? Он справедливо полагал, что таким путем дает толчок развитию вашего воображения. Черпунов очень ценил его. Несколько раз он упоминал при мне, что человек отличается от животного способностью к воображению. Воображение создало искусство. Оно раздвинуло границы мира и сознания и сообщило жизни то свойство, что мы называем поэзией.

Первая заповедь

На каждый день недели у нашего законоучителя, соборного протоиерея Трегубова, были рясы разного цвета. Серая, синяя, лиловая, черная, коричневая, зеленая и, наконец, кремовая, чесучовая. По цвету рясы можно было определить, какой сегодня день — вторник или суббота.

Как только Трегубов появился у нас в третьем классе, он тотчас уничтожил вековые традиции в преподавании Закона Божьего. Обыкновенно по этому предмету гимназисты во всех гимназиях получали пятерки. Объяснялось это, очевидно, тем, что законоучители по обязанности своей должны были проявлять человеколюбие и старались не огорчать гимназистов. А может быть, и тем, что и законоучители и гимназисты не относились к этому предмету всерьез.

Трегубов одним ударом разрушил наше пренебрежение к Закону Божьему.

— Алтухов, — сказал он, — прочти первую заповедь.

— «Аз есмь господь бог твой да не будет тебе бози иний разве мене!» — выпалил Алтухов и усмехнулся. Придраться к этому ответу было

невозможно.

— Садись! — сказал Трегубов и поставил Алтухову единицу. — Боримович, теперь ты прочти первую заповедь.

Боримович, бледнея, прочел первую заповедь так же правильно, как Алтухов, и тоже получил единицу.

Трегубов вызывал всех по алфавиту. Все читали первую заповедь правильно, и всем Трегубов, злорадно улыбаясь, ставил единицы. Мы ничего не понимали. Весь журнал от А до Щ украсился единицами. Это грозило великими бедами.

Окончив ставить единицы, Трегубов разгладил надушенными руками бороду и произнес:

— Пренебрежительно относитесь к знакам препинания. За это и понесли заслуженную кару. Невнимательны к божественным текстам и легкомысленны, как ягнята. После речения «Аз есмь господь бог твой» стоит запятая. Что это означает? Это означает, что в месте сем следует сделать короткую остановку, иначе говоря, паузу, дабы выделить значительность последующего утверждения. А вы сыплете священные слова одним духом, как горох об стенку. Срам!

Он говорил тихо, глядя на нас узкими презрительными глазами. Золотой значок академика

поблескивал на его шелковой рясе.

До Трегубова законоучителем у нас был протоиерей Златоверховников, дряхлый, шепелявый и глухой. С тем было проще. Можно было нести любую галиматью, но требовалось только говорить быстро и монотонно. От этого Златоверховников на второй-третьей минуте начинал дремать, а потом и совсем засыпал. Тогда мы могли заниматься чем угодно, лишь бы не разбудить престарелого иерея.

На задних партах играли в железку и жарили на спичках копченых маленьких рыбок. На передних зачитывались «Приключениями знаменитого американского сыщика Ника Картера».

Иерей посапывал, а класс тихо веселился, пока наконец, минуты за две до звонка, не надо было будить Златоверховникова. Для этого роняли на пол связку книг или весь класс по команде чихал.

После Златоверховникова Трегубов явился к нам, как карающий бог Саваоф. Он и вправду был похож на бога Саваофа с церковного купола — огромный, с широкой бородой и гневными бровями.

Трегубова боялись не только гимназисты, но и учителя. Он был монархистом, членом Государ-

ственного совета и гонителем свободомыслия. Он стоял на равной ноге с киевским митрополитом и приводил в полное безгласие захудалых сельских батюшек, когда они являлись к нему получать разнос за недостойные поступки.

Трегубов любил выступать на модных в то время религиозно-философских диспутах. Он говорил гладко и сладко, распространяя запах одеколона.

Мы ненавидели его так же холодно, как он ненавидел нас. Но церковные тексты мы заучивали на всю жизнь.

Мы пользовались любым поводом, чтобы удрать с Закона Божьего. Надежным убежищем в этих случаях были уроки католического «закона». Они шли одновременно с нашими, но в другом классе. Мы пробирались туда и только там чувствовали себя в безопасности. То уже была территория, как бы подчиненная апостолической церкви и римскому папе Льву XIII. Трегубов терял всякую власть на пороге этого обыкновенного пыльного класса. В нем властвовал ксендз-каноник Олендский.

Высокий, тучный, с белой головой, с черными четками на руке, он нисколько не удивлялся, когда в дверях его класса показывался смущенный

«российский» гимназист.

— Сбежал? — сурово спрашивал Олендский.

— Нет, пан каноник, я только хотел немного посидеть у вас на уроке.

— Немного посидеть? Ах, лайдак, лайдак! — Олендский начинал трястись от смеха. — Подойди сюда!

Гимназист подходил к Олендскому. Ксендз громко хлопал его табакеркой по голове. Этот жест обозначал отпущение грехов.

— Садись! — говорил после этого Олендский. — Вон туда, в угол, за спину Хоржевского (Хоржевский был очень высокий гимназист, поляк), чтобы тебя не увидели из коридора и не повлекли в геенну огненную. Сиди и читай газету. На!

Олендский вытаскивал из кармана сутаны сложенную вчетверо «Киевскую мысль» и протягивал беглецу.

— Спасибо, пан каноник! — говорил беглец.

— Благодари не меня, а бога, — отвечал Олендский. — Я только жалкое орудие его рук. Он вывел тебя из дома неволи, как евреев из египетской земли.

Трегубов, конечно, знал, что Олендский прячет нас у себя на уроках. Но перед Олендским даже Трегубов терялся. Добродушный ксендз при

встречах с Трегубовым становился изысканно вежлив и ядовит. Достоинство иерея православной церкви не позволяло Трегубову вступать в пререкания с Олендским. Мы же пользовались этим сколько могли. В конце концов мы так понаторели в католическом «законе божьем», что знали его лучше многих поляков.

— Станишевский Тадеуш, — говорил ксендз-каноник, — скажи мне «Магнификат».

Станишевский Тадеуш вставал, поправлял кушак, откашливался, громко глотал слюну, смотрел сначала за окно, потом на потолок и, наконец, признавался:

— Забыл, пан каноник.

— Забыл? Однако ты не забываешь приходить в костел каждый раз, когда там бывает панна Гжибовская. Садись! Кто знает «Магнификат»? Ну? Кто? О, святая дева над девами, королева апостолов! Что же это такое? Все молчат! Кто знает «Магнификат», пусть подымет руку.

Поляки рук не подымали. Но случалось иногда так, что поднимал руку кто-нибудь из православных, какой-нибудь несчастный беглец от Трегубова.

— Ну, — говорил в изнеможении Олендский, — скажи хоть ты «Магнификат»! И если после

этого бог не покарает их, — ксендз показывал на поляков, — то только из-за своего великого милосердия.

Тогда беглец вставал и говорил без запинки «Магнификат».

— Подойди сюда! — говорил Олендский.

Беглец подходил. Олендский доставал из кармана сутаны горсть конфет, похожих на кофейные зерна, и щедро высыпал их на ладонь беглецу. Потом Олендский нюхал табак, быстро успокаивался и начинал рассказывать любимую свою историю, как он служил в Варшаве панихиду над сердцем Шопена, запаянным в серебряную урну.

После уроков Олендский шел из школы к себе в костельный дом. Он останавливал на улице детей и щелкал их пальцем по лбу. Его хорошо знали в Киеве — высокого ксендза со смеющимися глазами.

Обучение Закону Божьему и соприкосновение с церковными делами было для нас постоянным мучением. Единственное, что мы любили, — это великопостные каникулы. Нас распускали на неделю, чтобы мы могли говеть — исповедоваться и причащаться. Мы выбирали для говения окраинные церкви — священники этих церквей не очень следили за тем, чтобы говеющий гимна-

зист посещал все великопостные службы.

Почти всегда великопостные каникулы приходились на март, сырой и туманный месяц. Снег уже начинал темнеть. И все чаще можно было увидеть в разрывах туч синее небо недалекой весны.

На голых тополях кричали галки. На Днепре сизыми пятнами проступала на льду талая вода, а на базарах уже продавали веточки вербы с пушистыми «зайчиками».

Мы мечтали каким-нибудь способом насолить Трегубову. Но Трегубов был неуязвим.

Отомстить ему за все мучения и страхи нам удалось только один раз. Но месть эта была безжалостной.

Когда мы были уже в четвертом классе, мы узнали от старых гимназистов, что Трегубов боится крыс. Мы принесли на урок Трегубова рыжую крысу — пасюка — и выпустили из-под парты в то время, когда Трегубов рассказывал какую-то историю из Нового Завета.

Гимназист Жданович взвизгнул и вскочил на парту.

— Что такое? — грозно спросил Трегубов.

— Крыса, батюшка! — ответил, трясясь, Жданович.

Мы повскакивали с мест. Испуганная крыса метнулась под ноги Трегубову. Тогда отец Трегубов с необыкновенной легкостью вскочил на стул и подобрал до колен рясу. Из-под нее появились полосатые штаны и мягкие башмаки с ушками.

Мы начали бросать в крысу книгами. Она завизжала и забегала около классной доски. Отец Трегубов поспешно переступил со стула на стол.

— Двери отомкните! — ревел он со стола протодиаконским басом. — Двери! Выпустите ее в коридор!

Мы делали вид, что боимся крысы, и не хотели открывать дверей. Тогда отец Трегубов закричал так, что звякнули стекла в рамах:

— Платон Федорович! Сюда!

И он с размаху бросил в крысу классным журналом.

Испуганный надзиратель Платон Федорович распахнул дверь. Из-за его спины выглядывал сторож Казимир. Потом появился инспектор Бодянский. Нахмурившись и сдерживая улыбку, он начал командовать изгнанием крысы.

Отец Трегубов не слезал со стола. Он только опустил рясу. Он стоял перед нами, как собственный памятник в два человеческих роста.

Когда крыса была изгнана, Трегубов при по-

мощи Бодянского слез со стола. Дежурный услужливо подал ему журнал, и отец Трегубов, приняв обычный величественный вид, удалился из класса.

Задним числом Трегубов сообразил, что крыса появилась в классе неспроста. Он потребовал дознания. Оно не привело ни к чему. Гимназия ликовала, а инспектор Бодянский говорил:

— Не радуйтесь слабости человеческой! Смотрите лучше за собой. А то я опять замечаю у некоторых господ гимназистов гербы с выломанным вензелем гимназии. Буду за это беспощадно сажать «без обеда».

Мне придется нарушить правильный ход повествования и забежать вперед, чтобы рассказать, как мы наконец избавились от Трегубова.

Это было в восьмом классе. Я жил тогда уже один, без семьи, и снимал комнату в Диком переулке, у пехотного поручика Ромуальда Козловского. Он жил вместе с молчаливой и доброй своей матерью, старушкой пани Козловской.

Была осень 1910 года — промозглая, тусклая, с обледенелыми ветками, оловянным небом и шелестом не успевшей облететь, но уже подмерзшей листвы. В такие дни у меня часто бывали головные боли. Тогда я не ходил в гимназию, оста-

вался у себя в каморке в Диком переулке, лежал, закутав голову, и старался не стонать, чтобы не беспокоить пани Козловскую.

Я согревался, и боль постепенно утихала. Тогда я начинал читать, не вставая, желтые книжки «Универсальной библиотеки». Трещал огонь в печах. В маленькой квартире было тихо. Изредка за окном пролетал робкий снежок. После недавней боли голова была очень свежей, и все казалось мне хорошим: и цвет сизого неба, и дымок поленьев, и снег, прилипший к стеклу.

Вот в такой день пани Козловская открыла дверь на звонок почтальона, взяла газету, охнула и засеменила ко мне в комнату.

— Костик, — сказала она, — несчастье с графом Толстым!

Я вскочил, выхватил у нее газету, пахнувшую керосином, и начал читать первые телеграммы об уходе Толстого.

Пани Козловская с испугом смотрела на меня и повторяла:

— Боже, спаси его! Боже, спаси его!

Я тотчас оделся, натянул шинель и вышел на улицу. Мне казалось, что все в городе должно было сразу перемениться с той минуты, когда пришло ошеломляющее известие. Но все было

по-старому. Ехали ломовики с дровами, дребезжал вагон старой киевской конки, гуляли с гувернантками дети.

Я не выдержал и пошел в гимназию. На всех партах валялись газеты. Наш классный наставник — латинист Субоч — опоздал на урок. Этого с ним никогда не бывало. Он вошел, опустился на стул, снял пенсне и долго сидел сгорбившись, глядя за окно подслеповатыми выпуклыми глазами. Он как будто чего-то ждал. Потом он сказал мне:

— Сходите, голубчик, к редакции «Киевской мысли». Там вывешиваются последние телеграммы. Узнайте. Мы будем ждать.

Это было неслыханно в истории нашего класса. Но сейчас все отнеслись к этому как к естественному явлению. Я встал и вышел. В коридоре меня поймал Платон Федорович.

— Вы куда? — грозно спросил он и загородил мне дорогу.

Я ответил. Платон Федорович наклонил голову и быстро отступил к стене, чтобы дать мне пройти.

Когда я вернулся, то, прежде чем войти в класс, я заглянул в него через верхнее стекло двери. Субоч читал вслух. Все сидели неподвижно, будто оцепенев. Я тихо открыл дверь и услышал зна-

комые слова:

— «Стало темнеть, ясная серебряная Венера низко на западе уже сияла из-за березок своим нежным блеском, и высоко на востоке уже переливался своими красными огнями мрачный Артур. Над головой у себя Левин ловил и терял звезды Медведицы. Вальдшнепы уже перестали летать…»

Два или три дня занятия в гимназии шли кое-как. Потом таким же промозглым утром я увидел экстренные выпуски газет с траурной каймой, растерянных людей на улицах, толпы студентов около университета. Они стояли молча. На рукавах шинелей у всех студентов были креповые черные повязки. Незнакомый студент приколол и мне на мою серую шинель черную повязку.

Я пошел в гимназию. Казачьи разъезды медленно проезжали вдоль тротуаров. Во дворах стояли кучками городовые. По дороге я догнал своих товарищей по классу — у всех, как и у меня, были траурные повязки. В раздевалке мы откололи эти повязки от шинелей и надели на рукава курток. В гимназии было особенно тихо. Даже малыши не шумели.

Как раз в этот день первым уроком в нашем классе был Закон божий. Трегубов вошел слиш-

ком быстро, не так, как всегда, перекрестился на икону и сел к столу.

Дежурный Матусевич вышел и остановился рядом с Трегубовым. Трегубов тяжело смотрел на него и молчал.

— Вчера, в шесть часов утра, на станции Астапово, — сказал Матусевич, стараясь не волноваться и говорить громко, — умер величайший писатель нашей страны, а может быть, и всего мира, Лев Николаевич Толстой.

Громыхнули крышки парт. Весь класс встал. В глубочайшей тишине был слышен цокот копыт — по улице проезжали патрули.

Трегубов наклонился над столом, сжал его края толстыми пальцами и сидел неподвижно.

— Встаньте, отец протоиерей! — очень тихо сказал ему Матусевич.

Трегубов медленно и грузно встал. Шея его налилась кровью. Он стоял опустив глаза. Прошло несколько минут. Нам они показались часами. Потом все сели бесшумно и медленно. Трегубов взял журнал и пошел из класса. В дверях он остановился и сказал:

— Вы заставили меня почтить память вероотступника, отлученного от церкви. Не будем говорить о том, что он был великим писателем. Я

совершил преступление против своего сана и понесу ответ перед богом и высшими церковными властями. Но с этого дня я уже не преподаватель в вашем классе. Прощайте. И да вразумит вас господь.

Мы молчали. Трегубов вышел.

На следующий урок Закона божьего к нам пришел вместо Трегубова молодой священник с лицом поэта Надсона, любитель философии и литературы. Мы сразу же полюбили его за деликатность и молодость, и дружба эта не прерывалась до окончания гимназии.

Липовый цвет

Никогда я еще не видел таких старых лип. Ночью их вершины терялись в небе. Если начинался ветер, то звезды перелетали среди веток, как светляки. Днем под липами было темно, а наверху, в свежей зелени, шумел, дрался, пересвистывался и перепархивал пестрый птичий народ.

— Вот погодите, — говорил дядя Коля, — скоро все эти липы зацветут, тогда…

Он никогда не договаривал, что будет, когда зацветут липы. Но мы и сами знали, что тогда старый парк в Ревнах превратится в место таких

чудес, какие бывают только в сказках.

Уже второй год после конца занятий в гимназии мы всей семьей приезжали на лето в Брянские леса, в Ревны. Туда же приезжал на время отпуска и отец.

Разорившийся хозяин поместья сдавал на лето две-три деревянные дачи в парке. Поместье было удалено от городов и железной дороги. Никто почти не приезжал туда на лето, кроме дяди Коли и нас.

Чтобы представить себе прелесть этих мест, надо описать их с топографической точностью.

Запущенный липовый парк с непролазной гущей орешника и крушины. Мшистые скамейки среди кустов сирени. Заглохшие аллеи. У них были названия: «Храм Дианы», «Аллея вздохов», «Соловьиный овраг».

Солнечные поляны с одинокими соснами и полевыми цветами, и снова сень могучих и, как нам казалось, тысячелетних лип.

Парк спускался к реке Ревне. За ней поднимались по взгорью дремучие леса. Туда вела единственная песчаная дорога. По этой дороге можно было дойти до ветхой часовни с иконой Тихона Задонского. За часовней дорога терялась в сухой траве.

Ходить дальше часовни в одиночку никто не решался, даже самый смелый из обитателей поместья — студент Петербургского лесного института Володя Румянцев.

Лесная чаща вплотную подступала к бревенчатой часовне. Из чащи тянуло прелью и папоротником. В сумерки оттуда прилетали совы.

Как-то ночью мы слышали далекий крик, долетевший из леса. Это заблудился ярмарочный торговец — офеня. Он шел пешком из Свенского монастыря на ярмарку в Трубчевск. Лесной объездчик нашел его и привел в Ревны. Торговец, худой мужичок с синими глазами, плакал и крестился.

Однажды мы, мальчишки, вместе с Володей Румянцевым отправились в лес и взяли с собой компас.

Мы видели бездонные овраги, заросшие до краев ежевикой и хмелем. В глубине оврагов бормотала вода, но до нее нельзя было добраться. Мы открыли в лесах неизвестную речку с такой прозрачной водой, что она казалась стеклянной. С крутого берега были видны тучи мальков, шнырявших по дну этой речки.

Наконец мы видели сгнивший крест около родника. На перекладине креста висела жестяная

кружка. Вокруг кружки обвился вьюнок и крепко держал ее. Мы оторвали вьюнок и зачерпнули кружкой воды из родника. Вода отдавала ржавчиной.

Курлыкали журавли, свистели иволги, парили ястребы. Облака с синими днищами проходили над нами. Мы поглядывали на них — оттуда, сверху, хорошо был виден весь этот загадочный лесной край. Дятлы деловито долбили сухие стволы, и то тут, то там падали нам на голову шишки.

Володя Румянцев уверял, что в лесах есть заброшенный раскольничий скит. В скиту водились дикие пчелы, и можно было набрать меду.

Но скит мы не нашли. Мы влезали на сосны, чтобы осмотреться и увидеть среди разлива зелени тесовую крышу с кривым восьмиконечным крестом. Вверху на соснах продувал теплый ветерок, руки прилипали к смолистым веткам. Прыгали черноглазые белки. Пахло скипидаром от молодых зеленых шишек. Но сколько мы ни смотрели с сосен, как с маяков, прикрыв глаза рукой от солнца, мы ничего не видели, кроме леса да плывущих облаков. От них кружилась голова.

С высоких сосен облака казались гораздо ближе, чем с земли. Хотелось дотронуться до их

белоснежных громад.

Выше этих облаков пересекала небо светлая рябь. От нее расходились прозрачные перья. Володя Румянцев говорил, что это тоже облака, но такие высокие, что они уже состоят не из водяных паров, а из кристаллов льда. Перья неподвижно висели в холодной и недостижимой вышине.

Кроме лесов, в Ревнах было еще одно таинственное место — река. Она струилась под нависшими ивами, разбивалась на два рукава, обтекала остров и во многих местах от берега до берега заросла кувшинкой и плавающими цветами водокраса.

У острова реку перегораживали деревянные плотины. На острове стоял заброшенный стружечный завод. Горы опилок были навалены около пустых амбаров. В жаркие дни на заводе до одури пахло древесной трухой.

Завод когда-то работал от мельничного колеса. Сейчас все это обрушилось, затянулось косматой паутиной — и колесо, и деревянные зубчатые передачи. На них уже выросли желтые, как сера, грибы.

За плотинами были водяные ямы — жилища огромных щук. Ямы назывались спадами. В спадах вода была черная и медленно вращалась.

В этих ямах мы с дядей Колей засадили десятки

крючков и блесен. Кроме щук, там жили большие, почти синие окуни. Мы удили их с мокрых бревен плотины. Бывало, окуни вырывали у нас из рук удочки и утаскивали под воду. Бамбуковое удилище, как золотая стрела, быстро скользило в глубину. Потом обычно оно всплывало ниже спада, и мы доставали его с лодки вместе с окунем.

Что было еще в Ревнах? Старинный дом с колоннами, построенный, по преданию, Растрелли. На его фронтоне вили гнезда ласточки. Пустые залы, лестницы и переходы заливал радужный свет. Он проникал сквозь выпуклые стекла. Когда кто-нибудь проходил по залам, трещала мебель. Жидко звенели люстры.

В доме никто не жил. Только по семейным праздникам, на именины Марии (Марий в семье было две — моя мама и тетя Маруся, жена дяди Коли), открывали зал с хорами для музыкантов, проветривали его и устраивали бал.

Мы развешивали на балконе круглые фонарики, а поздним вечером пускали в парке ракеты. Они прорывались сквозь гущу деревьев и выбрасывали разноцветные огненные шары. Шары медленно слетали сверху и освещали красноватым пламенем старый дом. Когда ракеты гасли, в парк возвращалась летняя ночь с ее отдален-

ным криком лягушек, блеском звезд и запахом цветущих лип.

На именины приезжали из Брянска товарищи дяди Коли — артиллерийские офицеры. Однажды приехал даже московский певец — тенор Аскоченский. Он устроил концерт в старинном зале.

«О, если б ты ко мне вернулась снова, — пел Аскоченский, — где были мы так счастливы с тобой! В густых ветвях услышала б ты шепот, — знай, это стон души больной».

Мне казалось, что слова этого романса относятся к нашему парку. Он слышал много признаний, видел бледные лица влюбленных, слезы расставания.

«Когда твой сон тревожит звук печальный, — пел Аскоченский, опираясь на рояль, а тетя Маруся, быстро поправляя волосы, аккомпанировала ему, — иль в непогоду слышен бури вой, — знай, это я рыдаю безутешно…»

После бала на даче у дяди Коли устраивался ужин. Свечи в круглых абажурах трещали от сгоравших ночных мотыльков.

Нам, гимназистам, наравне со взрослыми наливали вина. Мы начинали храбриться.

Однажды, выпив вина, мы решили, что каждый из нас поодиночке обежит ночью парк. Чтобы

не было обмана, каждый должен был положить что-нибудь на скамейку в Соловьином овраге. Утром дядя Коля обещал проверить, честно ли мы выполним это условие.

Первым бежал брат тети Маруси, студент Медико-хирургической академии Павел Теннов. Все его звали Павлей. Он был долговяз, курнос, носил курчавую бородку и смахивал на Чехова. Павля отличался доверчивостью и добротой. Поэтому с ним всегда разыгрывали разные штуки.

Павля должен был оставить на скамейке в Соловьином овраге пустую бутылку от вина.

После Павли была моя очередь. Я помчался в глубину аллей. Росистые ветки колотили меня по лицу. Мне чудилось, что кто-то догоняет меня скачками.

Я остановился и прислушался. Кто-то крался в кустах. Я помчался дальше и выбежал на поляну. В глубине ее всходила луна. Впереди был Соловьиный овраг. Непроглядная темнота лежала там, и я с размаху бросился в нее, как в черную воду. Блеснула река. За рекой заунывно кричала выпь.

Около скамейки я остановился. Пахло липовым цветом. Вся ночь до звезд была наполнена этим запахом. Было тихо, и не верилось, что недалеко

отсюда, на ярко освещенной веранде, шумят веселые гости.

Мы заранее сговорились разыграть Павлю. Я схватил бутылку, оставленную Павлей на скамейке, и швырнул ее в реку. Бутылка перевернулась и блеснула под луной. Лунные круги разошлись к берегам.

Я побежал дальше, над обрывом. Оттуда сильно тянуло сыростью и дягилем. Задыхаясь, я выбежал на большую липовую аллею. Впереди заблестели огни.

— Костик! — услышал я встревоженный голос тети Маруси. — Ты?

— Да! — ответил я, подбегая.

— Какие глупости приходят вам всем в голову! — сказала тетя Маруся. Она стояла в аллее и куталась в легкий шерстяной платок. — Мама очень волнуется. Кто это выдумал? Глеб, наверное?

— Нет, не Глеб, — соврал я. — Это мы вместе.

Тетя Маруся угадала. Ночной бег по парку придумал воспитанник дяди Коли, гимназист брянской гимназии Глеб Афанасьев, вихрастый мальчик, неистощимый на выдумки. В его серых глазах постоянно поблескивали лукавые огоньки. Не проходило дня, чтобы Глеб чего-нибудь не

придумал. Поэтому, что бы ни случилось, во всем обвиняли Глеба.

Наутро дядя Коля проверил вещи на скамейке. Там не оказалось бутылки, оставленной Павлей. Все начали издеваться над Павлей и говорить, что он струсил, не добежал до оврага, вернулся, а бутылку выбросил по дороге. Но Павля сразу догадался, в чем дело, и пригрозил:

— Ну погоди, Глеб, ты у меня поплачешь!

Глеб промолчал, но меня не выдал.

В тот же день Павля поймал Глеба в купальне, несколько раз окунул с головой, потом связал в тугой узел глебовские брюки и намочил их в воде. Глеб долго развязывал брюки зубами. В жеваных брюках Глеб выглядел жалко. Это было обидно, потому что на даче в Ревнах жили с матерью две сестры-гимназистки Карелины из Орла. Старшая сестра, Люба, все время читала, прячась в глухих углах парка. Щеки у нее горели. Светлые волосы всегда были растрепаны. Около скамеек, где она сидела, мы постоянно находили черные ленты, которые Люба теряла из своих кос.

Младшая сестра, Саша, капризная и насмешливая, нравилась Глебу. Сейчас ему немыслимо было появиться перед ней в измятых брюках. Я чувствовал себя виноватым перед Глебом и

упросил маму разгладить глебовские брюки. В разглаженных брюках Глеб тотчас приобрел прежний легкомысленный вид.

Не было ничего особенного в ночной беготне по парку, но я долго помнил об этом. Я вспоминал волны липового цвета, хлынувшие в лицо, крик выпи, всю эту ночь, роящуюся звездами и полную отзвуков веселья.

Мне иногда казалось в то лето, что на земле почти не осталось места для человеческого горя.

Но вскоре после именин я поколебался в этом.

Около нашей дачи я увидел босого мальчика в рваном армячке. Мальчик принес продавать землянику. От него пахло ягодами и дымом. Он попросил за кувшин земляники гривенник, но мама дала ему двадцать копеек и кусок пирога.

Мальчик стоял потупясь и чесал одной босой ногой другую. Он сунул пирог за пазуху и молчал.

— Ты чей? — спросила его мама.

— Аниськин, — ответил он неуверенно.

— Чего же ты не ешь пирог?

— Это мамке, — сказал он сипло, не подымая глаз. — Она недужная. Возила лес, брюхо надорвала.

— А отец где?

— Помер.

Мальчик шмыгнул носом, отступил и бросился бежать. Он испуганно оглядывался и зажимал рукой пазуху, чтобы не потерять пирог.

Я долго не мог забыть этого белоголового мальчика и втайне осуждал маму. Она откупилась от укоров совести пирогом и двугривенным. Я хорошо понимал это. Понимал, что горькая несправедливость требует иных поступков, чем жалкие подачки. Но как ее уничтожить, эту несправедливость, — а она все чаще и чаще встречалась мне в жизни, — я еще не знал.

Мы часто слышали споры за чайным столом между отцом и дядей Колей. Они спорили о будущем русского народа. Дядя Коля доказывал, что счастье народа зависит от просвещения. Отец считал, что счастье принесет революция. В споры вмешался Павля. Он называл себя народником. Однажды его даже чуть не исключили из академии за речь на студенческой сходке. Володя Румянцев помалкивал, но потом говорил нам, мальчикам, что ни отец, ни дядя Коля, ни Павля совершенно ничего не понимают.

— А вы понимаете? — спрашивали мы его.

— Ни черта! — с удовольствием отвечал Володя. — И не желаю понимать. Люблю Россию

— и баста!

Володя Румянцев был братом любимого товарища дяди Коли по брянскому арсеналу, капитана Румянцева.

Володя был глуховат. В рыжей его бороде торчало сено — он ночевал на сеновале. Он презирал всякие жизненные удобства. Под голову вместо подушки Володя подкладывал свернутую студенческую тужурку. Ходил он загребая ногами, говорил невнятно. Под тужуркой носил линялую синюю косоворотку и подпоясывал ее черным шелковым шнурком с кистями.

Руки у Володи всегда были сожжены проявителями и фиксажами — Володя занимался фотографией. Человек он был предприимчивый. Он заключил соглашение с московской литографией Шерера и Набгольца — ездил летом по разным глухим городкам, снимал достопримечательности, а литография издавала открытки с видами городов по этим Володиным снимкам. Открытки эти продавались в книжных киосках на вокзалах.

Нам нравилось это Володино занятие. Он часто исчезал из Ревен на несколько дней, а потом возвращался и рассказывал, что был то в Ефремове, то в Ельце, то в Липецке.

— Вот это житуха, господа гимназисты! — говорил он, сидя в купальне и намыливая рыжую голову. — Третьего дня я переплывал Оку, вчера — Мокшу, а сегодня — Ревну.

Он заразил нас любовью к провинциальной России. Он превосходно знал ее — знал ярмарки, монастыри, исторические усадьбы, обычаи. Он ездил в Тарханы, на родину Лермонтова, в усадьбу Фета около Курска, в Лебедянь на конскую ярмарку, на остров Валаам и на поле Куликовской битвы.

Всюду у него были какие-то приятельницы-старушки, бывшие учительницы и чиновницы. Он останавливался у них. Они кормили его щами и пирогами с рыбой, а Володя в благодарность учил старушечьих канареек насвистывать польку или дарил старушкам суперфосфат — подсыпать в вазоны с геранью, чтобы вырастить на диво соседям огромные шарлаховые цветы.

Он не участвовал в спорах о судьбах России, но вмешивался в тех случаях, когда разговор заходил о тамбовской ветчине, рязанских мороженых яблоках или волжской стерляди. В знании этих вещей никто не мог тягаться с Володей. Дядя Коля насмешливо говорил, что один только Володя Румянцев знает, почем лапти в Кинешме и сколько

стоит фунт куриного пуха в Калязине.

Однажды Володя Румянцев ездил в Орел и привез нам печальное известие.

Мы играли в крокет около дачи. Увлечение крокетом было всеобщее. Часто игра затягивалась до темноты. Тогда на крокетную площадку выносили лампы.

Нигде так не ссорились, как на крокете. Особенно со старшим моим братом Борей. Он играл хорошо и быстро становился «разбойником». Тогда он крокировал наши шары и загонял их так далеко, что подчас мы их вовсе не находили. Мы злились и, когда Боря целился, бормотали: «Черт под руку, жаба в рот!» Это заклинание иногда помогало, и Боря промахивался.

Ссорились мы и с Глебом. Когда Глеб играл против Саши, он всегда мазал и нарочно проигрывал, чтобы доставить удовольствие этой девчонке. А играя с Сашей против нас, показывал чудеса ловкости и нахальства и всегда выигрывал. Обычно на крокете собиралось все дачное общество. Даже обе собаки дяди Коли, Мордан и Четвертак, прибегали посмотреть на крокет, но предусмотрительно ложились за соснами, чтобы не подвертываться под шары.

В это утро на крокетной площадке было, как

всегда, очень шумно. Потом послышался стук колес. К даче дяди Коли подкатил тарантас. Кто-то крикнул: «Володя Румянцев приехал!» Никто не обратил на это внимания: все привыкли к частым отъездам и возвращениям Володи.

Через минуту появился Володя. Он шел к нам в пыльном балахоне, в сапогах. Лицо у него было сморщено, будто он собирался заплакать. В руке он держал газету.

— Что такое? — испуганно спросил его дядя Коля.

— Чехов умер.

Володя повернулся и пошел обратно на дачу.

Мы побежали за ним. Дядя Коля отобрал у Володи газету, прочел ее, бросил на стол и ушел к себе в комнату. Встревоженная тетя Маруся ушла вслед за ним. Павля снял пенсне и долго протирал его носовым платком.

— Костик, — сказала мне мама, — пойди на реку, позови папу. Пусть хоть сейчас он бросит эту свою рыбную ловлю.

Она сказала это так, будто отец уже мог знать о смерти Чехова, но по легкомыслию своему не придавал этому значения и не огорчался.

Я обиделся за отца, но все же пошел на реку. Со мной пошел и Глеб Афанасьев. Он неожиданно

стал очень серьезным.

— Да, Костик!.. — сказал он мне по дороге и тяжело вздохнул.

Я сказал отцу, что умер Чехов. Отец сразу осунулся и сгорбился.

— Ну вот, — сказал он растерянно, — как же это так… Не думал я, что переживу Чехова…

Мы возвращались мимо крокетной площадки. На ней валялись брошенные молотки и шары. В липах шумели птицы, сквозило солнце, падало зелеными пятнами на траву.

Я уже читал Чехова и очень его любил. Я шел и думал, что такие люди, как Чехов, никогда не должны умирать.

Через два дня Володя Румянцев уехал в Москву на похороны Чехова. Мы провожали его до станции Синезерки. Володя вез корзину с цветами, чтобы положить их на чеховскую могилу. Это были обыкновенные полевые цветы. Мы собрали их в лугах и в лесу. Мама упаковала их, переложила сырым мхом и прикрыла мокрой холстиной. Мы старались нарвать побольше деревенских цветов, потому что были уверены, что их любил Чехов. Мы собрали много купены, гвоздики, золототысячника и ромашки. Только тетя Маруся нарезала в парке немного жасмина.

Поезд отошел вечером. Из Синезерок мы возвращались в Ревны пешком и пришли домой только на рассвете. Молодой месяц низко висел над лесом, и нежный его свет блестел в дождевых лужах. Недавно прошел дождь. Пахло мокрой травой. В парке куковала запоздалая кукушка. Потом луна зашла, загорелись звезды, но их скоро закрыл рассветный туман. Он долго шуршал, стекая с кустов, пока не взошло и не пригрело землю спокойное солнце.

Я был, конечно, мальчишкой

Инспектор Бодянский быстро вошел к нам в третий класс. Бодянский был в новом форменном сюртуке. Глаза инспектора хитро блестели. Мы встали.

— По случаю высочайшего манифеста о даровании нашему народу гражданских свобод, — сказал Бодянский, — занятия в гимназии прекращаются на три дня. Поздравляю! Складывайте книги и ступайте домой. Но советую не путаться в эти дни у взрослых под ногами.

Мы выбежали из гимназии. В тот год стояла необыкновенная осень. В октябре еще жарко грело солнце. Сады, убранные сухим золотом,

почти не роняли его на дорожки и горели во всей красоте. Мы ходили в летних шинелях.

Мы высыпали на улицу и увидели около длинного здания университета толпы с красными флагами. Под колоннами университета говорили речи. Кричали «ура». Вверх летели шапки.

Мы влезли на ограду Николаевского сквера, тоже кричали «ура» и бросали в воздух фуражки. Падая, они застревали в каштанах. Мы трясли каштаны, листья сыпались на нас трескучим дождем. Мы хохотали и были в восторге. У нас на шинелях были уже приколоты красные банты. Черный бронзовый Николай Первый стоял, выставив ногу, на постаменте среди сквера и надменно смотрел на этот беспорядок.

Толпа затихла, красные флаги склонились, и мы услышали торжественное пение:

Вы жертвою пали в борьбе роковой…

Все начали опускаться на колени. Мы тоже сняли фуражки и пели похоронный марш, хотя и не знали всех слов. Потом толпа поднялась с колен и двинулась мимо ограды Николаевского сквера. Я увидел в толпе старшего брата Борю и нашего жильца, студента-черногорца Марковича.

— Иди сейчас же домой! — сказал мне Боря. — И

не смей один выходить на улицу.

— Я хочу с тобой, — робко сказал я.

— Тебя задавят. Ступай домой. Завтра все увидишь.

Мне очень хотелось идти вместе с этой счастливой и торжественной толпой. Но Боря уже исчез.

Где-то далеко впереди загремел оркестр, и я узнал крылатые, звенящие звуки «Марсельезы»:

Отречемся от старого мира,

Отряхнем его прах с наших ног!

Я перелез через ограду и смешался с толпой. Девушка в каракулевой шапочке, должно быть курсистка, протянула мне руку, и мы пошли. Я ничего не видел перед собой, кроме спин. На крышах стояли люди и махали нам шапками.

Когда мы проходили мимо Оперного театра, я услышал топот копыт. Я влез на тумбу и увидел цепь конных городовых. Они пятились, давая толпе дорогу. Вместе с городовыми пятился и толстый полицмейстер. Он держал руку под козырек и снисходительно улыбался..

Я слез с тумбы и опять уже ничего не видел. Только по вывескам магазинов я узнавал, куда мы идем. Вот мы спускаемся по Фундуклеевской мимо театра Бергопье, вот поворачиваем на Кре-

щатик и идем мимо кондитерской Кирхгейма. Мы миновали Лютеранскую улицу и книжный магазин Идзиковского.

— Куда мы идем? — спросил я девушку в каракулевой шапочке.

— К городской думе. Там будет митинг. Мы теперь свободные, как птицы. Вы понимаете?

— Понимаю, — ответил я.

— Где вы живете? — неожиданно спросила она.

— На Никольско-Ботанической.

— Родители знают, что вы на демонстрации?

— Все сейчас на демонстрации, — ответил я, стараясь обойти разговор о родителях.

Мы прошли магазин сухих фруктов Балабухи и Николаевскую улицу и остановились. Дальше идти было нельзя. До самой думы стояла густая толпа. На крыше думы блестел позолоченный архистратиг Михаил — герб города Киева. Был виден широкий думский балкон. На нем стояли люди без шапок. Один из них начал говорить, но ничего не было слышно. Я видел только, как ветер шевелил его седые волосы.

Кто-то схватил меня за плечо. Я оглянулся. Сзади стоял латинист Субоч.

— Паустовский Константин, — сказал он строго,

но глаза его смеялись, — и ты здесь! Немедленно отправляйся домой.

— Не беспокойтесь, он со мной, — сказала девушка.

— Извините, мадемуазель, я не знал, — вежливо ответил Субоч.

Толпа подалась назад и отделила нас от Субоча. Девушка взяла меня за руку, и мы начали пробираться к тротуару.

— Спокойно, граждане! — крикнул рядом хриплый голос. Стало очень тихо. Девушка выбралась со мной на тротуар.

Она тащила меня к стене желтого дома со сводчатыми воротами. Я узнал здание почтамта.

Я не понимал, почему она так крепко держит меня и тащит в подворотню. Я ничего не видел, кроме человеческих спин и голубей — они носились над толпой, поблескивая на солнце, как листы бумаги. Где-то далеко пропела труба: ти-ти-та-та! ти-ти-та-та! Потом опять стихло.

— Товарищи солдаты! — снова крикнул надорванный голос, и сейчас же после этого сильно треснуло, будто рванули коленкор. На нас посыпалась штукатурка.

Голуби метнулись в сторону, и небо оказалось совершенно пустым. Раздался второй треск, и

толпа бросилась к стенам.

Девушка втащила меня во двор, и последнее, что я видел на Крещатике, был маленький студент в расстегнутой шинели. Он вскочил на подоконник магазина Балабухи и поднял черный браунинг.

— Что это? — спросил я девушку.

— Стреляют! Войска стреляют.

— Зачем?

Она не ответила. Мы бежали с ней через узкие и запутанные дворы. Сзади были слышны крики, выстрелы, топот ног. День сразу потемнел и затянулся желтым дымом. Мне было трудно бежать из-за ранца. В нем гремели книги.

Мы выбежали дворами на Прорезную улицу и поднялись к Золотым Воротам. Мимо нас промчались две лакированные кареты «Скорой помощи». Нас обгоняли, задыхаясь, бледные люди. На Прорезной проскакал отряд казаков. Впереди скакал офицер с обнаженной шашкой. Кто-то пронзительно свистнул вслед казакам, но они не остановились.

— Боже, какая подлость! — повторяла девушка. — Какая западня! Одной рукой дать свободу, а другой — расстреливать!

Мы сделали большой круг и мимо Владимир-

ского собора вышли к Николаевскому скверу — как раз к тому месту, где недавно я висел на ограде, кричал «ура» и махал фуражкой.

— Спасибо, — сказал я девушке. — Отсюда близко. Я дойду сам.

Девушка ушла. Я прислонился к ограде сквера и снял фуражку — она мне давила голову. Голова сильно болела. Мне было страшно. Около меня остановился старик в котелке и спросил, что со мной. Я не мог ничего ответить. Старик покачал головой и ушел.

Я натянул фуражку и пошел к себе на Никольско-Ботаническую. Уже темнело. Багровый закат светился в окнах. В это время обыкновенно загорались фонари. Но сейчас их почему-то не зажигали.

На углу нашей улицы я увидел маму. Она быстро шла мне навстречу. Она схватила меня за плечи, потом вдруг крикнула:

— Где Боря? Ты не видел Борю?

— Там! — показал я в сторону Крещатика.

— Иди домой! — сказала мама и побежала вверх по улице.



Я постоял, посмотрел ей вслед и побрел домой. На нашей улице было, как всегда, пустынно. В окнах уже горел свет. Я увидел лампу с зеленым абажуром на столе в папином кабинете. У открытой калитки стояла горничная Лиза. Она сняла с меня ранец, вытерла мне лицо своим платком и сказала:

— Гулена! С ума сойти из-за вас! Идем, умоешься.

Дома я застал только Галю и Диму. Галя ходила по комнатам, натыкалась на стулья и повторяла: «Где же все? Где же все?» Дима сидел на подоконнике и прислушивался. Он не попал на демонстрацию. Ему хотелось услышать ружейную стрельбу. Он надеялся, что услышит ее, сидя на подоконнике.

Я умылся. Лиза дала мне горячего молока. Я все время всхлипывал.

— Ты видел убитых? — спросил меня Дима.

— Ага! — промычал я, ничего не соображая.

— Не лезь к нему! — сердито сказала Галя. — Видишь, на кого он похож!

Потом наконец пришла мама вместе с Борей. Боря был в пыли и без фуражки. Он странно улыбался, будто его оглушили. Вскоре после мамы вернулся студент Маркович. Он рассказал, что

видел много убитых и раненых.

Мама опустила шторы на окнах и приказала Лизе никому не открывать дверей, не разузнав, кто звонит. Потом мама услала меня спать. Перед тем как лечь, я поднял штору и посмотрел на улицу. Фонари до сих пор не горели. Непонятный серый свет падал на крыши. Было так тихо, будто город вымер. По соседней улице проскакал всадник, и снова все смолкло.

Я опустил штору, разделся и лег. Я смотрел на толстые стены и думал, что этот двухэтажный дом похож на крепость. Никакие пули его не пробьют. Потрескивал зеленый язычок лампадки. Я начал дремать. Сквозь дремоту я услышал звонок, торопливые шаги, потом голос отца. Он ходил по столовой из угла в угол и все время говорил.

Утром мама сказала, чтобы я никуда не смел уходить дальше нашего двора. Я огорчился и решил совсем не выходить из дому. Я накинул шинель, уселся на балконе и начал учить заданные нам стихи Некрасова. Но я успел выучить всего две строчки: «Поздняя осень. Грачи улетели. Лес обнажился, поля опустели». Меня все отвлекало. Проехала пожарная команда. Потом из флигеля вышел штабс-капитан Задорожный, черносотенец и грубиян. На нем была серая шинель,

портупея, а на боку, кроме шашки, висел в кобуре револьвер. За ним на крыльцо вышла его жена — тощая, как гладильная доска, растрепанная женщина с синими подтеками под глазами. На ней качался японский черный халат, вышитый павлинами.

Задорожный недавно вернулся с японской войны с двумя огромными сундуками. В сундуках были куски чесучи, халаты, веера и даже кривой китайский меч. «Герой Мукдена!» — насмешливо называл Задорожного отец.

— Жорж, — жеманно пропищала Задорожная, — имейте в виду, что я беспокоюсь.

— Пустое, мой друг! — браво ответил Задорожный и поцеловал ей руку. — Мы только прикончим весь этот гевалт.

И он ушел не оглядываясь.

Только что окончилась японская война, и мы, дети, наравне со взрослыми огорчались и негодовали.

Мы слышали разговоры взрослых о бездарном командовании, о «тюфяке» Куропаткине, предательстве Стесселя, сдаче Порт-Артура и казнокрадах-интендантах. Самодержавная Россия расползалась в клочья, как прелое рядно.

Но вместе с тем мы слышали и разговоры

взрослых о мужестве и великой выносливости русского солдата, о том, что так дальше продолжаться не может и что пришли сроки народному долготерпению.

Самым страшным ударом для нас была гибель русского флота под Цусимой. Как-то Боря показал мне листок бумаги. На нем были отпечатаны на гектографе бледные лиловые строчки. Их едва можно было прочесть.

— Это прокламация? — спросил я. Мне пришлось уже несколько раз читать прокламации, расклеенные на стенах нашей гимназии.

— Нет, — ответил Боря, — это стихи.

Я с трудом разобрал их начало:

Довольно, довольно, герои Цусимы!
Вы жертвой последней легли.
Она уже близко, она у порога,
Свобода родимой земли!

Свобода! Я тогда еще смутно представлял себе, что это такое. Я представлял ее такой, как на аллегорической картине, висевшей в папином кабинете. Там молодая женщина с гневным и сияющим лицом, с обнаженной крепкой грудью стояла на баррикаде. В одной руке она высоко держала красное знамя, а другой рукой прикла-

дывала к орудию дымящийся фитиль. Это и была Свобода. За ней теснились люди в синих блузах с ружьями в руках, измученные, но радостные женщины, мальчишки и даже молодой поэт в рваном цилиндре. Все люди вдохновенно пели, должно быть, «Марсельезу»: «К оружью, граждане! Час славы настал!»

Били барабаны, пели трубы, Свобода победно шла по стране, и бурные народные клики приветствовали ее появление.

Позади Свободы шел человек, очень похожий на студента Марковича, такой же смуглый, с горящими глазами. Он держал в руке пистолет.

Однажды я заглянул в комнату Марковича через окно, выходившее на наш балкон, и увидел, как Маркович, напевая, чистит стальной черный браунинг. Медные маленькие пули лежали на столе на раскрытом медицинском учебнике.

Маркович заметил меня и тотчас прикрыл браунинг газетой.

На следующее утро Лиза сняла со стен иконы и поставила их на окна. На воротах нашего дома дворник Игнатий нарисовал мелом большой крест. Потом он запер ворота и калитку, и мы очутились как в крепости.

Мама сказала, что в городе начался еврейский

погром. «По приказу из Петербурга», — добавила она. А Лиза шепотом сообщила, что уже громят дома на Васильковской улице и погром приближается к нам.

Маркович ушел вместе с Борей. Маркович надел сапоги, а студенческую тужурку стянул ремнем. Мама не хотела пускать Борю, но отец прикрикнул на нее. Тогда она перекрестила Борю, поцеловала и отпустила. Все время, пока Боря спускался с Марковичем по лестнице, она просила Марковича, чтобы он смотрел за Борей.

— Куда они ушли? — спросил я отца.

— В студенческую боевую дружину. Защищать евреев.

Вслед за Борей и Марковичем ушел и отец. Мы с Димой весь день слонялись по двору. В полдень мы услышали выстрелы. Потом выстрелы стали чаще. На Васильковской начался пожар. У нас во дворе падали хлопья сгоревшей бумаги.

Днем отец привел растерянную старушку-еврейку со сползшим с седой головы платком. Она вела за руку безмолвного мальчика. Это была мать знакомого доктора.

Мама позвала Игнатия, вышла к нему на кухню и дала ему десять рублей. Но Игнатий отдал мне деньги и сказал:

— У меня самого в дворницкой сидит портной Мендель со всем семейством. Поглядывайте лучше, чтобы Задорожная не заметила.

Перед вечером к нашим воротам подошел низенький парень в черном картузе. Мокрый кок торчал из-под его картуза. Весь подбородок был облеплен шелухой от семечек.

За парнем осторожно шагал высокий бритый старик в коротких брючках и канотье, за ним — вертлявый человек без шапки, с заплывшими глазками и тучная старуха в теплой шали, а за ней — несколько вороватого вида молодых людей. Торговку эту мы часто видели раньше на Галицком базаре. Сейчас она несла пустой новый мешок.

— Отчиняй! — крикнул парень и стукнул в калитку ломом.

Из дворницкой вышел Игнатий.

— Жиды есть? — спросил его парень.

— Такие, как ты, — лениво ответил Игнатий.

— Жидов ховаете? — крикнул парень и затряс калитку. — Мы в полной известности. Отчиняй.

— Вот попрошу сюда полковника Задорожного, — пригрозил Игнатий, — он с тобой поговорит по-своему.

— Плевал я на иерусалимских полковников!

Мы из твоего полковника сделаем юшку!

Тогда мадам Задорожная, подслушивавшая этот разговор из флигеля, не выдержала. Она промчалась, как разъяренная курица, через двор. Рукава ее черного халата развевались и хлопали.

— Хам! — крикнула она и плюнула через решетчатую калитку в лицо парню. — Как ты смеешь оскорблять офицера императорской армии? Босяк! Василий! — завизжала она. — Иди сюда, маруда!

Из флигеля выскочил оторопевший денщик. Он подхватил у сарая топор и побежал к калитке. Парень отскочил и побежал вдоль улицы, оглядываясь на денщика. Спутники его засеменили за ним. Денщик пригрозил парню топором.

— Новости! — сказала мадам Задорожная, запахивая халат и возвращаясь во флигель. — Каждый хам будет выдавать себя за истинно русского! Нет, извините! Имейте в виду, что этот номер никому не пройдет!

Так неожиданно жена черносотенца отвела от нашего дома громил. Взрослые потом долго посмеивались над этим.

Парень остановился у соседнего дома и тоже начал колотить в ворота. Тогда Дима потащил меня на чердак над нашей квартирой. Там давно

висела без всякого употребления огромная рогатка. Мы звали ее «катапультой».

Толстая резиновая полоса была наглухо прибита гвоздями к раме выбитого слухового окна. Рогатка эта осталась в наследство от мальчишки, жившего до нас в этом доме.

Я подобрал на чердаке кусок твердого желтого кирпича. Дима заложил его в рогатку и зажал. Мы вдвоем изо всей силы натянули рогатку, прицелились в парня и выстрелили.

Кирпич, сбивая листья и свистя, пронесся через двор, с грохотом ударил у ног высокого старика, проходившего по тротуару, и взорвался — рассыпался на десятки осколков. Мы промахнулись.

Старик присел от неожиданности, потом вскочил и кинулся бежать. За ним, громыхая сапогами, помчался парень.

— Давай второй кирпич! — крикнул мне Дима.

Но я опоздал — парень уже скрылся за угловым домом.

— Ты не так тянул, — сказал Дима, — поэтому мы и промазали. Ты тянул вкось.

Дима всегда любил сваливать ошибки на других и потом долго спорить.

Хотя мы промахнулись, но все же гордились этим выстрелом из «катапульты».

Вечером Лиза понесла в дворницкую к Игнатию пшенную кашу, чтобы накормить семью портного Менделя. Я увязался за Лизой.

Окна в дворницкой были завешены. Игнатий сидел на табурете, тихонько наигрывал на гармонике и напевал вальс «На сопках Маньчжурии» — память о японской войне:

Страшная ночь, только ветер
на сопках рыдает…

Семья Менделя спала, а он сам сидел при керосиновой лампочке и наметывал белыми нитками новый пиджак.

— За тобой гоняются, — сказал он, — чтобы убить, а ты шей и шей. Иначе не с чего жить.

Лиза стояла у дверей и, пригорюнившись, слушала пение Игнатия.

В вышине одиноко томится луна
И могилы солдат озаряет…

Красный фонарик

Я зажег фонарик с красным стеклом. Внутри фонарика была вставлена керосиновая лампочка.

Фонарик осветил багровым светом тесный чу-

лан и пыльную рухлядь, сваленную на полках.

Я начал проявлять пленки, снятые отцом. У отца был маленький «Кодак». Отец любил снимать, но снятые катушки с пленкой валялись потом месяцами в ящике отцовского письменного стола. Перед большими праздниками в доме начиналась уборка. Мама вытаскивала эти катушки, отдавала мне, и я их проявлял.

Это было увлекательное занятие, потому что я никогда не мог угадать, что появится на пленках. Кроме того, мне нравилось, что в чулан, пока я проявлял, никто не смел входить, даже мама. Я был отрезан от мира. Привычные звуки — стук тарелок, бой часов, пронзительный голос горничной Лизы — почти не проникали в чулан.

На стене чулана висела маска из папье-маше. Она изображала курносого клоуна с выпуклыми, как шишки, красными щечками. Из-под маленького белого цилиндра, надетого набекрень, торчал рыжий клок пакли.

В свете красного фонарика маска оживала. Клоун заглядывал в черную ванночку, где лежала в проявителе пленка. Он даже подмигивал мне. От него пахло клейстером. Иногда в квартире все затихало — так случается даже в самых шумных семьях. Тогда мне становилось не по себе с глазу

на глаз с этим клоуном.

Постепенно я изучил его характер. Я знал, что клоун — человек насмешливый, что у него нет ничего святого на свете и что в конце концов он отомстит нам за то, что мы всю жизнь держим его в чулане. Мне даже мерещилось, что клоун, наскучив молчанием, что-то бормотал иногда или напевал песенку:

На заборе чепуха
Жарила варенье.
Куры съели петуха
В это воскресенье.

Но стоило мне открыть дверь чулана и впустить синеватый дневной свет, как клоун тотчас умирал и покрывался пылью.

На этот раз отец сам принес мне несколько катушек с пленкой и попросил проявить.

Отец только что возвратился из поездки в Москву. Было начало января 1906 года. В Москву отец попал в последние дни Декабрьского восстания. Он рассказывал о баррикадах на Пресне, дружинниках, артиллерийском огне. Несмотря на неудачу восстания, отец приехал возбужденный, прохваченный московским морозом. Он был твердо уверен, что не за горами всеобщее

восстание в России и долгожданная свобода.

— Прояви получше, — сказал отец. — Там есть исторические московские снимки. Только я не помню, на каких катушках.

Все катушки были совершенно одинаковые. Отец не делал на них пометок. Пришлось проявлять наугад.

На первой катушке московских снимков не оказалось. Там было только несколько снимков худого маленького человека в коротком пиджаке, с галстуком, завязанным бантом. Человек этот стоял около стены. На ней висела длинная узкая картина.

Долго я ничего не мог разобрать на этой картине. Потом я наконец увидел худое горбоносое лицо с огромными, печальными глазами. Лицо это было завалено птичьими перьями.

Отец подошел к чулану и спросил:

— Ну как? Есть московские снимки?

— Пока нет. Есть какой-то старичок около картины на стене.

— Это же Врубель! Разве ты его не помнишь? Смотри не передержи.

— На картине ничего не проявилось. Только лицо и какие-то перья.

— Так и нужно, — ответил отец. — Это «Де-

мон».

Отец ушел. Тогда я вспомнил, как однажды отец за утренним чаем сказал маме, что в Киев приехал на несколько дней Михаил Александрович Врубель и просил отца зайти к нему в гостиницу.

— Не понимаю я твоего увлечения Врубелем, — недовольно ответила мама. — Декадентщина какая-то! Боюсь я этих одержимых художников.

Но отец все же пошел к Врубелю и взял меня с собой. Мы вошли в гостиницу около Золотых Ворот и поднялись на пятый этаж. В коридоре пахло гостиничным утром — одеколоном и кофе. Отец постучал в низкую дверь. Нам открыл худенький человечек в поношенном пиджаке. Лицо, волосы и глаза у него были такого же цвета, как и пиджак, — серые с желтоватыми пятнами. Это и был художник Врубель.

— Это что за юный субъект? — спросил он и крепко взял меня за подбородок. — Ваш сын? Совершенно акварельный мальчик.

Он схватил отца за руку и повел к столу.

Я боязливо осматривал комнату. Это была мансарда. Несколько рисунков, написанных акварелью, были приколоты булавками к темным обоям.

Врубель налил отцу и себе коньяку, быстро выпил свой коньяк и начал ходить по комнате. Он громко постукивал каблуками. Я заметил, что каблуки у него были очень высокие.

Отец сказал что-то похвальное о пришпиленных к обоям рисунках.

— Тряпье! — отмахнулся Врубель.

Он перестал метаться по комнате и сел к столу.

— Что-то я все время верчусь, как белка, — сказал он. — Самому надоело. Не поехать ли нам на Лукьяновку, Георгий Максимович?

— В Кирилловскую церковь?

— Да. Хочу посмотреть свою работу. Совсем ее позабыл.

Отец согласился. Мы втроем поехали на извозчике на Лукьяновку. Извозчик долго вез нас по бесконечной Львовской улице, потом по такой же бесконечной Дорогожицкой. Врубель и отец курили.

Я смотрел на Врубеля, и мне было его жалко. Он дергался, перебегал глазами, непонятно говорил, закуривал и тотчас бросал папиросу. Отец разговаривал с ним ласково, как с ребенком.

Мы отпустили извозчика около Федоровской церкви и пошли пешком по улицам Лукьяновки, среди садов. Мы вышли к обрыву. Дорога петлями

пошла вниз. Там, внизу, виднелся маленький купол Кирилловской церкви.

— Посидим немного, — предложил Врубель.

Мы сели на землю на обочине дороги. Пыльная трава росла вокруг. Над Днепром синело вялое небо.

— Плохо, Георгий Максимович, — сказал Врубель, ударил себя по дряблой щеке и засмеялся. — Мне надоело таскать эту противную свою оболочку.

Я, конечно, плохо понимал слова Врубеля, да и не запомнил бы весь этот разговор, если бы отец не рассказывал о нем маме, а потом дяде Коле и некоторым знакомым и если бы все они не жалели Врубеля.

В Кирилловской церкви Врубель молча рассматривал собственные фрески. Они казались вылепленными из синей, красной и желтой глины. Мне не верилось, что такие большие картины на стене мог нарисовать этот худенький человек.

— Вот это живопись! — воскликнул Врубель, когда мы вышли из церкви.

Я удивился, что отец отнесся к этим словам спокойно и даже согласился с Врубелем, тогда как ни мне, ни моим братьям он не позволял сказать

ни одного хвастливого слова. Поэтому, когда мы расстались с Врубелем на Рейтарской улице, я сказал отцу, что Врубель мне не понравился.

— Почему? — спросил отец.

— Он хвастун.

— Дурачок! — Отец похлопал меня по спине. — Не горьбся!

— Почему дурачок? — спросил я обиженно.

— Прежде всего надо знать, — ответил отец, — что Врубель замечательный художник. Когда-нибудь ты сам это поймешь. А потом еще надо знать, что он больной человек. Он душевно неуравновешенный. И еще надо знать один золотой закон: никого не осуждать сгоряча. Иначе ты всегда попадешь в глупое положение. Перестань же, наконец, горбиться! Я ничего не сказал тебе обидного.

На картине за спиной Врубеля, хотя пленка уже проявилась, трудно было что-нибудь разобрать. Я только знал, что это «Демон».

Увидел я эту картину впервые гораздо позже, зимой 1911 года, в Третьяковской галерее.

Москва дымилась от стужи. Пар вырывался из набухших дверей трактиров. Среди уютного московского снега, заиндевелых бульваров, заросших льдом окон и зеленоватых газовых фонарей

сверкала, как синий алмаз, как драгоценность, найденная на сияющих вершинах Кавказа, эта картина Врубеля. Она жила в зале галереи холодом прекрасного, величием человеческой тоски.

Я долго стоял перед «Демоном». Впервые я понял, что созерцание таких картин не только дает зрительное наслаждение, но вызывает из глубины сознания такие мысли, о каких человек раньше и не подозревал.

Я вспоминал Лермонтова. Мне представлялось, как он, осторожно позванивая шпорами, входит в Третьяковскую галерею. Входит, ловко скинув внизу, в вестибюле, серую шинель на руки сторожу, и потом долго стоит перед «Демоном» и разглядывает его сумрачными глазами.

Это он написал о себе горькие слова: «Как в ночь звезды падучей пламень, не нужен в мире я». Но боже мой, как он ошибался! И как нужен миру этот мгновенный пламень падучих звезд! Потому что не единым хлебом жив человек.

Он считал себя пленником земли. Он растратил жар души в пустыне. Но пустыня расцвела после этого и наполнилась его поэтической силой, его гневом, тоской, его постижением счастья. Ведь это он застенчиво признался: «Из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает

головой». И кто знает, может быть, острый и режущий воздух горных вершин, забрызганных кровью демона, наполнен очень слабым, очень отдаленным запахом этого приветливого лесного цветка. А он, Лермонтов, как и этот поверженный демон, — просто ребенок, не получивший от жизни того, к чему он страстно стремился: свободы, справедливости и любви.

— Ну что, — снова спросил меня из-за двери отец, — есть уже московские снимки?

Голос отца вывел меня из оцепенения. Я начал проявлять следующую катушку и позабыл о Врубеле. На пленке появились заваленные снегом московские улицы с низкими домами. Поперек улицы были построены из бочек, досок, камней и вывесок невысокие баррикады. Около баррикад стояли штатские люди, но с винтовками и револьверами в руках.

Потом появились высокие дома, пробитые снарядами, Горбатый мост, Зоологический сад, весь в дыму пожара, простреленные вывески трактиров, опрокинутые трамваи.

Все это было затянуто зимней мутью, и тут уже я ничем не мог помочь. Никакой проявитель не мог разъесть эту муть и сообщить ясность снимкам.

Эта муть хорошо передавала самую обстановку восстания. Казалось, что от снимков тянет пороховым дымком.

Восстание! Это слово звучало необычно в тогдашней, как будто патриархальной России. Я читал повести о восстании индусов, знал о восстании коммунаров в Париже, о мятеже декабристов, но Московское восстание казалось мне самым сильным и романтичным.

Я достал карту Москвы. Отец показал мне на ней все места, где были бои и баррикады, — Чистые пруды, Самотеку, Кудринскую площадь, Грузины, Пресню и Горбатый мост. С тех пор самые эти названия были овеяны для меня особой прелестью мест, ставших историческими на моей памяти.

Все, что окружало это восстание, приобрело для меня значительность: московская лохматая зима, чайные, где собирались дружинники, смешение древних московских черт с новой эпохой, связанной с восстанием.

Извозчики в рваных армяках, крендели над булочными, торговки с горячими пирогами, а рядом — свист пуль, перебежки, сталь револьверов, красные флаги, пение «Варшавянки»: «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас

злобно гнетут».

В этом была поэзия борьбы, дыхание недалекой свободы, еще туманной, как чуть забрезживший зимний рассвет. Были бодрость, вера, надежда.

Вся огромная российская равнина следила за заревами, полыхавшими на Пресне, ждала победы дружинников. Это восстание было подобно зимней грозе — предвестнице новых гроз и новых освежающих потрясений.

Сейчас я могу передать то приподнятое состояние, что овладело мною тогда. В то время я все это чувствовал, но не мог объяснить.

На следующий день я отпечатал все снимки и отнес отцу. Уже смеркалось. В кабинете горела лампа. Она освещала на письменном столе знакомые вещи: стальную модель паровоза, статуэтку Пушкина с курчавыми баками и груды сатирических революционных журналов — их много выходило в то время. На самом видном месте стояла открытка с портретом лейтенанта Шмидта в черном плаще с застежками в виде львиных голов.

Отец лежал на диване и читал газету. Он просмотрел все снимки и сказал:

— Невероятная страна! Врубель и восстание! Все уживается вместе, и все ведет к одному.

— К чему к одному?

— Все ведет к лучшему. Ты еще много увидишь интересного, Костик. Если сам, конечно, будешь интересным человеком.

Пустынная Таврида

Через два года, когда мне было уже четырнадцать лет, мама настояла, чтобы мы на этот раз поехали на лето не в Ревны, а в Крым. Она выбрала самый тихий из крымских городков — Алушту.

Ехали мы через Одессу. Гостиницы в Одессе были переполнены. Пришлось остановиться в подворье Афонского монастыря, около вокзала. Монастырские послушники — бледные юноши в рясах и черных лакированных поясах — угощали нас щами из крапивы и сушеной камсы.

Я был в восторге от этих щей, от нарядного белого города, шипучей сельтерской воды и от порта. Над ним сизыми тучами носились голуби и перемешивались с белыми тучами чаек.

Опять я встретился с морем. У этих степных берегов оно было ласковее, чем у берегов Кавказа.

Старый пароход «Пушкин» шел в Ялту. Над морем стоял штиль. Дубовые планширы на-

гревались так сильно, что на них нельзя было положить руку. В салоне все подрагивало и звенело от вращения пароходного винта. Солнце проникало через световой люк, иллюминаторы и открытые двери. Меня поражало обилие южного света. От него сверкало все, что только могло сверкать. Даже грубые парусиновые занавески на иллюминаторах вспыхивали ярким огнем.

Крым поднялся из морской голубизны, как остров сокровищ. Облака лежали на вершинах его сиреневых гор. Белый Севастополь медленно плыл нам навстречу. Он встретил наш старый пароход полуденным пушечным выстрелом и голубыми крестами Андреевских флагов.

«Пушкин» долго бурлил, разворачиваясь в бухте. Со дна взлетали фонтаны пузырей. Вода шипела. Мы носились с борта на борт, чтобы ничего не пропустить. Вон Малахов курган и Братское кладбище, Графская пристань, Константиновский форт, выдвинутый в самые морские буруны, и мятежный крейсер «Очаков», окруженный понтонами. Катера с военных кораблей проносились мимо, отбрасывая на корму малахитовую воду.

Я смотрел как зачарованный на все вокруг. Значит, на самом деле, а не только в книгах суще-

ствует этот город, где умер Нахимов, где рвались на бастионах круглые ядра, где сражался артиллерист Лев Толстой, где клялся в верности народу лейтенант Шмидт. Вот он здесь, этот город, — в горячем дне, в перистой тени акаций.

До Ялты «Пушкин» добрался вечером. Он медленно вплывал в ялтинскую гавань, как в садовую беседку, убранную огнями.

Мы спустились на каменный мол. Первое, что я увидел, была тележка черномазого торговца. Над ней висел на шесте фонарь. Он освещал пушистые персики и большие сливы, покрытые сизым налетом.

Мы купили персиков и пошли в гостиницу «Джалита». Веселые носильщики тащили наши вещи.

Я так устал, что в гостинице тотчас уснул, едва заметив сороконожку, притаившуюся в углу, и черные кипарисы за окнами. Несколько мгновений я еще слышал, как тоненьким голосом напевал фонтан среди двора. Потом сон поднял меня и понес, покачивая, как в каюте, куда-то далеко, в чудесную страну — сестру таинственного Крыма.

После Ялты с ее пышной набережной Алушта показалась мне скучной. Мы поселились на окра-

ине, за Стахеевской набережной.

Каменистая земля, пахучие заросли туи, пустое море и далекие Судакские горы — вот все, что окружало нас в Алуште. Больше в Алуште ничего не было. Но и этого было достаточно, чтобы я постепенно примирился с Алуштой и полюбил ее.

Мы часто ходили с Галей на соседний виноградник и покупали там сладкую шашлу, крупный холодный чауш и розоватый мускат. На винограднике пели цикады. На земле цвели маленькие, с булавочную головку, желтые цветы.

Из белого низкого дома выходила пожилая женщина Анна Петровна, с таким загорелым лицом, что серые ее глаза казались совершенно белыми. Она нарезала нам виноград. Иногда она высылала к нам свою дочь Лену, босоногую семнадцатилетнюю девушку с выгоревшими косами, заложенными венком вокруг головы, и такими же серыми глазами, как у матери.

Эту девушку взрослые прозвали «русалкой». В сумерки Лена часто проходила мимо нашей дачи, спускалась к морю, купалась и долго плавала, а потом возвращалась с полотенцем на плече и пела:

Там, в голубом просторе,

В лазоревой дали,
Забудем мы и горе,
И бедствия земли.

Галя подружилась с Леной и выпытала у нее все. Галя вообще любила подробно расспрашивать людей обо всех обстоятельствах жизни. Она делала это с упорством близорукого и любопытного человека.

Оказалось, что Анна Петровна — вдова, бывшая библиотекарша из Чернигова, что Лена заболела туберкулезом и доктора посоветовали увезти ее в Крым. Анна Петровна приехала в Алушту. В Алуште она вышла замуж за старого украинца, владельца виноградника. Старик вскоре умер, и теперь Анна Петровна и Лена остались единственными хозяевами этого виноградника. Зимой Лена жила в Ялте, училась в ялтинской гимназии, но по воскресеньям приезжала в Алушту к матери. Болезнь Лены совершенно прошла.

Лена собиралась после окончания гимназии стать певицей. Галя отговаривала ее от этого. По мнению Гали, единственным достойным занятием для женщины было преподавание. Сама Галя хотела быть сельской учительницей. Мне все

эти Галины мысли давно наскучили, тем более, что она говорила о своем будущем призвании слишком много и доказывала всем, хотя с ней никто и не спорил, что нет лучшего занятия на свете, чем быть педагогом.

Меня почему-то злило, что Галя отговаривает Лену сделаться певицей. Я любил театр. Назло Гале я восторженно рассказывал Лене обо всех пьесах, какие видел в театре: «Синей птице», «Дворянском гнезде», «Мадам Сан-Жен» и «Горе от ума».

Я многое преувеличивал. Я предсказывал Лене заманчивое будущее. Мне нравилось думать, что загорелая и худенькая эта девушка, плававшая в море лучше любого матроса, когда-нибудь выйдет на сцену в тонком платье с треном, на груди у нее будет вздрагивать от дыхания темный цветок, и даже сквозь пудру будет проступать на ее лице морской загар.

Я окружил Лену своими безудержными мечтами. Она слушала меня, откинув голову, будто косы оттягивали ее назад, и едва заметно краснела. Иногда она спрашивала:

— Ну, сознайтесь, вы все это выдумываете? Правда? Я не буду сердиться.

Она говорила мне «вы», хотя была на три года

старше меня. В то время «ты» говорили друг другу только очень близкие люди.

Я не мог сознаться в этом, потому что искренне верил всему, что выдумывал. Это свойство стало причиной многих моих несчастий. Удивительнее всего было то, что за всю жизнь я не встретил ни одного человека, который захотел бы понять или хотя бы оправдать эта свойство.

Но Лена мне верила. Ей хотелось верить всему, что я выдумывал. Если два-три дня я не приходил с Галей на виноградник, она сама приносила нам виноград, говорила, смущаясь, маме: «Это Анна Петровна прислала вам в подарок», — и, улучив минуту, быстро шептала мне:

— Ей-богу, это свинство! Почему не приходите?

Отец вскоре уехал из Алушты. Ему нужно было по делам в Петербург. Потом уехал Боря — держать экзамен в Киевский политехнический институт.

Мама была почему-то встревожена отъездом отца и не обращала на нас внимания. Она даже была рада, когда мы целыми днями пропадали у моря и ее не тревожили.

Я все время бродил по пояс в воде и ловил под камнями крабов. Кончилось это тем, что как-то, выкупавшись вечером в море, я простудился и

схватил воспаление легких. Вдобавок в первую же ночь, когда я лежал в жару, меня укусила сколопендра.

Шел август. Скоро начинались занятия в гимназии. Надо было возвращаться в Киев. Моя болезнь спутала все карты. В конце концов мама отправила Галю с Димой, а сама осталась со мной.

Я болел тяжело и долго. Все ночи я почти не спал. Было больно дышать. Я старался дышать осторожно и с тоской смотрел на белые стены. Из трещин в стенах выползали сороконожки. Лампа горела на столе. Тени от склянок с лекарствами казались доисторическими чудовищами — они обнюхивали потолок, вытянув длинные шеи.

Я поворачивал голову и смотрел на черное окно. В нем отражалась лампа. За этим отражением гудело море.

Ночная бабочка билась в стекло. Ей хотелось улететь из лекарственной комнатной духоты.

Мама спала в соседней комнате. Я звал ее, просил пить и выпустить бабочку. Мама выпускала ее, и я успокаивался.

Но потом, не знаю как, я видел, что бабочка садилась на сухую траву тут же, за окном, и, немного посидев, возвращалась и опять влетала в комнату, большая, будто сова. Она опускалась

мне на грудь. Я чувствовал, что бабочка тяжелая, как камень, и что вот сейчас она раздавит мне сердце.

Я снова звал маму и просил, чтобы она прогнала бабочку. Мама, сжав губы, снимала с меня тугой горячий компресс и укутывала меня одеялами.

Я потерял счет ночам, наполненным непонятным гулом и сухим жаром простынь.

Однажды днем пришла Лена. Я не сразу сообразил, что это она. На ней было коричневое форменное платье, черный передник и маленькие черные туфли. Светлые ее косы были тщательно заплетены и висели, перекинутые на грудь, по сторонам загорелого лица.

Лена пришла попрощаться перед отъездом в Ялту. Когда мама вышла из комнаты, Лена положила мне руку на лоб. Рука была холодная, как льдинка. Конец косы упал мне на лицо. Я чувствовал теплый и свежий запах волос.

Вошла мама. Лена быстро убрала руку, а мама сказала, что Лена принесла для меня замечательный виноград.

— Лучшего у нас, к сожалению, нет, — ответила Лена.

Отвечая, она смотрела не на маму, а на меня, будто хотела сказать мне что-то важное.

Потом она ушла. Я слышал, как она сбежала по лестнице. В доме, кроме нас, никто уже не жил, все разъехались, и потому каждый звук был хорошо слышен.

С этого дня я начал поправляться. Доктор сказал, что после того, как я встану, мне надо будет прожить в Алуште не меньше двух месяцев, до самого ноября. Надо окрепнуть и отдохнуть. Тогда мама решила выписать из Киева Лизу, чтобы она присматривала за мной и меня кормила. Сама же мама торопилась в Киев — не знаю почему.

Лиза приехала через неделю, и на следующий же день мама уехала на лошадях в Симферополь.

Лиза все время ахала. Она ни разу не видела моря, кипарисов, виноградников — мама вывезла Лизу в Киев из Брянских лесов, из Ревен.

Я остался с Лизой. Я уже начинал вставать. Но выходить мне еще не позволяли. Весь день я сидел на застекленной террасе под осенним и не очень жарким солнцем и читал. Я нашел в комоде «Тристана и Изольду». Я несколько раз прочел эту удивительную легенду, и каждый раз после того, как я ее перечитывал, мне становилось все грустнее.

Потом я решил сам написать что-нибудь вроде «Тристана и Изольды» и несколько дней сочинял

повесть. Но дальше описания морской бури у скалистого берега я не пошел.

В конце сентября доктор позволил мне наконец выходить. Я бродил один по безлюдной Алуште. Я любил ходить на пристань во время прибоев. Волны катились под дырявым настилом. Через щели взлетали струи воды.

Однажды я зашел к Анне Петровне. Она напоила меня кофе и сказала, чтобы я непременно приходил в воскресенье, так как в этот день должна приехать из Ялты Лена. Все время после этого я думал, как я встречусь с Леной.

Это воскресенье я помню ясно, будто оно было вчера, потому что в этот день случилось два события.

Я знал, что Лена приедет из Ялты утренним катером. Я пошел на пристань. Но как только катер показался из-за мыса, я спрятался за дощатый киоск. В нем продавали открытки с видами Крыма. Я сел на камень и просидел там все время, пока катер не подошел к пристани. С него сошла Лена и, поискав кого-то на пристани, медленно пошла домой.

Я боялся, что она меня заметит. Это было бы совсем глупо. Она несколько раз оглянулась, потом возвратилась к пристани и немного постояла у

деревянной тумбы с афишами. Она делала вид, что читает афиши, хотя все они уже были оборваны и висели клочьями.

Украдкой я смотрел на нее. На голову она накинула теплый белый платок. Она побледнела и похудела в Ялте. Она стояла около тумбы, опустив глаза, хотя ей надо было поднять их, если она действительно читала афиши. Потом она ушла, уже совсем.

Я подождал немного и вернулся домой. Мне было стыдно своей трусости.

Я не знал, идти мне теперь к Лене или нет. За обедом я ничего не ел. Лиза пригрозила мне, что пошлет об этом телеграмму маме. Лиза была малограмотная, и я только усмехнулся на ее угрозу.

После обеда я наконец решился, надел шинель и вышел. Лиза крикнула мне вслед, чтобы я застегнул шинель, но я не послушался.

Я подошел к винограднику. Он уже был совсем багровый. Я открыл калитку. Тотчас хлопнула дверь в белом доме, и я увидел Лену. Она бежала мне навстречу в одном платье.

Это был хороший день. Я перестал стесняться и рассказывал о Ревнах, учителе географии Черпунове и тете Наде. Лена незаметно подкладывала мне на тарелку то виноград, то сливы — ренкло-

ды. Потом она сказала:

— Почему вы пришли в расстегнутой шинели в такой холод? Перед кем вы франтите?

— Вы же сами выбежали в одном платье, — ответил я.

— Потому что… — сказала она и замолкла. — Потому что у меня не было воспаления легких.

Румянец проступил у нее под загаром. Анна Петровна посмотрела на Лену из-под очков и покачала головой:

— Лена, не забывай, что тебе уже семнадцать лет.

Она сказала это таким тоном, будто Лена была совершенно взрослой женщиной, а между тем делает глупости.

Анна Петровна и Лена проводили меня до дому и зашли ко мне, чтобы посмотреть, как я живу. Лиза покраснела, как свекла, но быстро успокоилась и пожаловалась Анне Петровне, что я не слушаюсь и хожу в расстегнутой шинели. Анна Петровна сказала, чтобы Лиза, если ей что-нибудь нужно, всегда приходила к ней. Лиза обрадовалась. У нее в Алуште не было знакомых. Изредка она гуляла со мной, собирала полынь и развешивала ее в комнате. Все свободное время она гадала на картах.

Лиза была краснощекая, с заплывшими добрыми глазками и очень доверчивая. Она верила любой чепухе, которую ей рассказывали.

Анна Петровна с Леной ушли. Мне стало скучно. Впереди был длинный вечер. Мне хотелось опять пойти на виноградник, но я знал, что этого нельзя делать.

Я вновь решил писать свою повесть, зажег лампу и сел к столу. Но вместо повести я написал первые стихи. Я их забыл сейчас. В памяти осталась только одна строчка:

О, срывайте цветы на поникших стеблях...

Мне нравились эти стихи. Я собирался писать еще долго, но вошла Лиза, сказала: «Ишь чего выдумал — портить глаза! Давно спать пора», — и задула лампу. Я рассердился, сказал, что я уже взрослый, и обозвал ее дурехой. Лиза ушла к себе, заплакала от обиды и сказала хриплым голосом:

— Вот уйду завтра пешком в Киев, — делай тут один чего хочешь.

Я молчал. Тогда Лиза сказала, что завтра же пошлет маме телеграмму о моем поведении. Она долго что-то ворчала в своей комнате, потом вздохнула:

— Ну, бог с тобой. Спи. Ишь ветер какой забушевал на дворе!

Над головой у меня висели круглые стенные часы. Каждый раз, когда они били два часа ночи, я просыпался. На этот раз я тоже проснулся и долго не мог понять, что случилось. На стене мигал багровый свет. Окно выходило на море. За ним однообразно гудел ветер. Я сел на кровати и выглянул в окно. Над морем качалось зарево. Оно освещало низкие тучи и взволнованную воду.

Я начал торопливо одеваться.

— Лиза! — крикнул я. — Пожар на море!

Лиза зашевелилась, вскочила и тоже начала одеваться.

— Что же это может гореть на воде? — спросила она.

— Не знаю.

— Зачем же ты встал? — спросила Лиза.

Спросонок она плохо соображала.

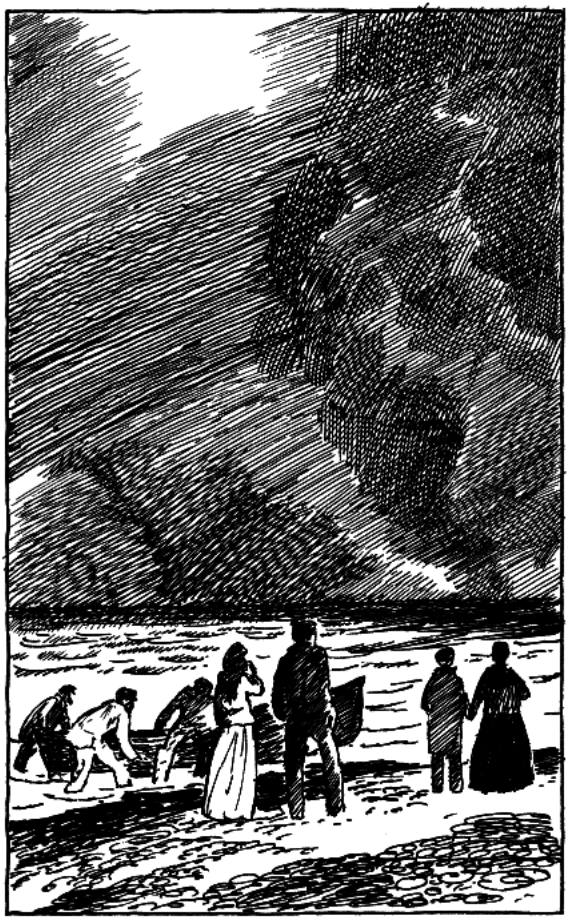
— Пойду на берег.

— Я тоже.

Мы вышли. Ветер рванул из-за угла дома и охватил меня тугим холодом. Зарево подымалось к небу. Около ворот стоял дворник-татарин.

— Пароход горит, — сказал он. — Что сделаешь, а!

Мы сбежали к берегу. Около пристани, очевидно на спасательной станции, звонил колокол. На берегу стояли кучками люди. Я сразу же потерял в темноте Лизу.



Рыбаки в высоких сапогах и штормовых плащах стаскивали по гальке в море бот. Слышны были торопливые голоса: «Пассажирский», «Мили две от берега», «Корму задерживай, слышь, не давай раскатываться». Мокрые рыбаки полезли в бот, разобрали весла. Бот подняло на волну, и он пошел в море.

Кто-то взял меня за локоть. Я обернулся. Рядом стояла Лена. Зарево слабо освещало ее. Я смотрел на Лену, на ее строгое лицо.

Мы молча стояли у края набережной. В море поднялась белая ракета. За ней поднялась вторая.

— Помощь подходит, — сказала Лена. — Если бы не мама, я пошла бы с рыбаками на боте. Непременно пошла бы.

Она помолчала и спросила:

— Когда ты уезжаешь?

У меня заколотилось сердце — так неожиданно она сказала мне «ты».

— Должно быть, через неделю.

— Значит, я увижу тебя. Я постараюсь приехать пораньше.

— Я буду очень ждать, — ответил я, и мне показалось, что после этих страшных слов я сорвался в пропасть.

Лена слегка оттащила меня от края набережной.

— Что же делать? — спросила она тихо. — Мама напугана. Она где-то здесь, около пристани. Ты не сердишься на меня?

— За что?

Она не ответила.

— Лена! — позвала из темноты Анна Петровна. — Где же ты? Идем домой!

— Я завтра уеду утренним дилижансом, — прошептала Лена. — Смотри не вздумай провожать. Прощай.

Она пожала мне руку и ушла. Я смотрел ей вслед. Несколько мгновений — не больше — был виден ее белый платок, накинутый на голову.

Зарево на море тускнело. Над водой лег зеленый луч прожектора. Это подходил на помощь горящему пароходу миноносец «Стремительный». Я разыскал Лизу, и мы вернулись домой.

Мне хотелось скорее лечь и уснуть, чтобы не думать о том удивительном и хорошем, что произошло только что между мной и Леной.

Утром, когда на месте зарева курился слабый дымок, я пошел на пристань и узнал, что в море горел пароход. Говорили, что в трюме парохода взорвалась адская машина, но капитану удалось

посадить пароход на прибрежные скалы.

Узнав эти новости, я ушел далеко по шоссе в сторону Ялты. Всего час назад здесь проезжала на дилижансе Лена. Я сел на парапет над морем и долго просидел, засунув руки в рукава шинели.

Я думал о Лене, и у меня тяжело билось сердце. Я вспоминал запах ее волос, теплоту ее свежего дыхания, встревоженные серые глаза и чуть взлетающие тонкие брови. Я не понимал, что со мной. Страшная тоска сжала мне грудь, и я заплакал.

Мне хотелось только одного — видеть ее все время, слышать только ее голос, быть около нее.

Я было совсем уже решил идти сейчас же пешком в Ялту, но в это время за поворотом шоссе заскрипела мажара. Я быстро вытер глаза, отвернулся и начал смотреть на море. Но опять набежали слезы, и я ничего не увидел, кроме синего режущего блеска.

Я сильно озяб и никак не мог унять дрожь во всем теле.

Проезжавший на мажаре старик в соломенной шляпе остановил лошадей и сказал:

— Садись, друг, подвезу до Алушты.

Я влез в мажару. Старик оглянулся и спросил:

— Ты, часом, не из сиротского дома?

— Нет, я гимназист, — ответил я.

Последние дни в Алуште были необыкновенно грустные и хорошие. Такими всегда бывают последние дни в тех местах, с которыми жаль расставаться.

С моря нахлынул туман. От него отсырела трава перед нашей дачей. Сквозь туман просвечивало солнце. Лиза топила печку желтыми акациевыми дровами.

Падали листья. Но они были не золотые, как у нас в Киеве, а сероватые, с лиловыми жилками.

Волны бесшумно выходили из тумана, набегали на берег и бесшумно уходили в туман. Мертвые морские коньки валялись на прибрежной гальке.

Чатыр-Даг и Бабуган-Яйла закутались в облака. С гор спускались отары овец. Одичалые овчарки бежали позади отар, подозрительно поглядывая по сторонам.

Стало так тихо от тумана и осени, что со своего балкона я слышал голоса внизу, в городке. В чебуречной на заре жарко горели мангалы, пахло пригорелым жиром и жареной кефалью.

Мы должны были уезжать с Лизой в понедельник утром. Лиза уже наняла извозчика до Симферополя.

Я ждал Лену в субботу, но она не приехала. Я

несколько раз проходил мимо виноградника, но никого не заметил. И в воскресенье утром ее тоже не было. Я пошел к станции дилижансов. Там было пусто.

Обеспокоенный, я вернулся домой. Лиза подала мне конверт.

— Какой-то парнишка принес, — сказала она. — Должно быть, от Анны Петровны. — Чтобы ты пришел попрощаться. Ты пойди. Они хорошие люди.

Я ушел в сад, разорвал конверт и вынул полоску бумаги. На ней было написано: «Приходи в шесть часов к трем платанам. Лена».

Я пришел к трем платанам не к шести, а к пяти часам. Это было пустынное место. В каменистом овраге около русла высохшего ручья росли три платана. Все поблекло вокруг. Только кое-где доцветали тюльпаны. Должно быть, на этом месте был когда-то сад. Деревянный мостик был переброшен через ручей. Под одним из платанов стояла ветхая скамья на заржавленных чугунных лапах.

Я пришел раньше назначенного времени, но уже застал Лену. Она сидела на скамье под платаном, зажав руки между коленями. Платок упал у нее с головы на плечи.

Лена обернулась, когда я подошел к самой скамье.

— Ты не поймешь, — сказала она и взяла меня за руку. — Нет, ты не обращай внимания... Я всегда говорю ерунду.

Лена встала и виновато улыбнулась. Она опустила голову и смотрела на меня исподлобья.

— Мама говорит, что я сумасшедшая. Ну что ж! Прощай!

Она притянула меня за плечи и поцеловала в губы, потом отстранила и сказала:

— А теперь иди! И не оглядывайся! Я прошу. Иди!

Слезы появились у нее на глазах, но только одна сползла по щеке, оставив узенький мокрый след.

И я ушел. Но я не выдержал и оглянулся. Лена стояла, прислонившись к стволу платана, закинув голову, будто косы оттягивали ее назад, и смотрела мне вслед.

— Иди! — крикнула она, и голос ее странно изменился. — Все это глупости!

Я ушел. Небо уже померкло. Солнце закатилось за гору Кастель. С Яйлы дул ветер, шумел жесткими листьями.

Я не соображал, что все кончено, совсем все. Гораздо позже я понял, что жизнь по непонятной

причине отняла тогда у меня то, что могло бы быть счастьем.

На следующее утро мы с Лизой уехали в Симферополь.

В лесах за Чатыр-Дагом лил дождь. Всю дорогу до Киева дождь хлестал по вагонным окнам.

Дома моего приезда как будто не заметили. Что-то плохое случилось в нашей семье. Но я еще не знал, что именно.

Я был даже рад, что на меня не обращают внимания. Я все время думал о Лене, но не решался ей написать.

После этой осени я попал в Крым только в 1921 году, когда все, что случилось между мною и Леной, стало воспоминанием, не причиняло боли, а вызывало только раздумья. Но у кого их нет, этих раздумий? Стоит ли о них говорить?

Крушение

После Крыма все сразу переменилось. У отца произошло столкновение с начальником Юго-Западной железной дороги. Отец бросил службу. Благополучие окончилось сразу.

Мы переехали с Никольско-Ботанической улицы на Подвальную. Как будто по насмешке, мы

поселились на этой улице в подвальном этаже.

Мы жили только тем, что мама распродавала вещи. В холодноватой и темной квартире все чаще появлялись безмолвные люди в барашковых шапках. Они шныряли острыми глазками по мебели, картинам, по выставленной на столе посуде, потом тихо и убедительно беседовали с мамой и уходили. А через час-два во двор въезжали дроги и увозили то шкаф, то стол, то трюмо и ковер.

На кухне мы заставали по утрам татарина в черной стеганой тюбетейке. Мы звали его «шурум-бурум». Он сидел на корточках и разглядывал на свет отцовские брюки, пиджаки и простыни.

«Шурум-бурум» долго торговался, уходил, опять приходил, мама сердилась, пока наконец «шурум-бурум» не бил по рукам, не вытаскивал из кармана толстый бумажник и не отсчитывал, деликатно поплевывая на пальцы, рваные деньги.

Отца почти никогда не было дома. Он уходил утром и возвращался поздно, когда мы спали. Где он проводил все дни, никто из нас не знал. Очевидно, он искал службу.

Мама сразу постарела. Седая прядь волос все чаще падала у нее со лба на лицо — мама начала причесываться очень небрежно.

Боря ушел от нас и поселился в меблированных комнатах «Прогресс», около вокзала, якобы потому, что оттуда ближе до Политехнического института. На самом деле он ушел потому, что не ладил с отцом, считал его виновником несчастий в нашей семье и не хотел жить в угрюмой обстановке Подвальной улицы. Боря зарабатывал на себя уроками, но помогать нам не мог. Дима тоже давал уроки, или, как говорили тогда, был репетитором.

Только я был еще молод, чтобы учить других, а Галя так близорука, что не могла ничем заниматься, кроме помощи маме по дому. Лизу пришлось отпустить.

Однажды утром к нам пришел вместе с дворником сухопарый скрипучий старик, судебный пристав, и описал за какие-то отцовские долги почти всю оставшуюся обстановку. Отец скрыл от мамы эти долги. Теперь все обнаружилось. После этого отец взял первое попавшееся и очень плохое место на сахарном заводе вблизи Киева и уехал.

Мы остались одни. Несчастье вошло в семью. Она умирала. Я это понимал. Это было особенно трудно после Крыма, после короткой и грустной любви моей к Лене, после легкого моего детства.

Раз в месяц дядя Коля присылал маме деньги из Брянска. Мама, получив эти деньги, каждый раз плакала от стыда.

Однажды я увидел маму в приемной директора гимназии. Я бросился к ней, но она отвернулась, и я понял, что она не хочет, чтобы я ее заметил.

Я не мог догадаться, зачем мама приходила к директору, но ни о чем ее не спрашивал. Через несколько дней новый наш директор, Терещенко, назначенный вместо Бессмертного, лысый, низенький и круглый, с головой, будто смазанной маслом (за это ему дали прозвище «Маслобой»), остановил меня в коридоре и сказал:

— Передайте вашей мамаше, что педагогический совет уважил ее просьбу и освободил вашего брата и вас от платы за ученье. Но имейте в виду, что освобождаются только хорошие ученики. Поэтому советую подтянуться.

Это было первое унижение, какое я испытал. Дома я сказал маме:

— Диму и меня освободили от платы. Зачем ты ходила к директору?

— Что же я могла сделать другое? — тихо спросила мама. — Взять вас из гимназии?

— Я сам бы заработал на себя.

Тогда впервые я увидел на мамином лице ис-

пуг, как будто ее ударили.

— Не сердись, — сказала мама и опустила голову. Она сидела и шила у стола. — Разве я могу заставлять тебя работать?

Она заплакала.

— Если бы ты знал, как мне тяжело за всех и особенно за тебя! Как он смел, ваш отец, так необдуманно поступать и быть таким легкомысленным! Как он мог!

С некоторых пор мама называла отца «он» или «ваш отец». Она плакала, склонившись над старым платьем. Обрезки материи и белые нитки валялись на полу.

Мама распродала почти все вещи. В квартире стало сыро и пусто. Промозглый свет проникал из окон. За ними были видны шаркающие сапоги, боты, глубокие калоши. Мелькание ног, забрызганных грязью зимней распутицы, мешало сосредоточиться и раздражало. Будто все эти чужие люди ходили по самой квартире, наносили холод и даже не считали нужным взглянуть на нас.

Среди зимы мама получила письмо от дяди Коли. Письмо очень ее взволновало.

Вечером, когда все мы сидели за круглым столом, где горела единственная лампа, и каждый

занимался своим делом, мама сказала, что дядя Коля настаивает, чтобы я переехал на время к нему в Брянск, что он устроит меня в брянскую гимназию и что это совершенно необходимо, пока отец не получит хорошее место и не вернется в семью.

Галя с испугом посмотрела на маму. Дима молчал.

— Отец к нам не вернется, — твердо сказала мама. — У него есть другие привязанности. Ради них он сделал долги и оставил нас нищими. И я не хочу, чтобы он возвращался. Я не хочу об этом слышать ничего, ни одного слова.

Мама долго молчала. Губы у нее были крепко сжаты.

— Ну, хорошо, — сказала она наконец. — Не стоит говорить об этом. Как же быть с Костиком?

— Очень просто, — сказал Дима, не глядя на маму. Для Димы все было просто. — Я в этом году кончаю гимназию и поступлю в Московский технологический институт. Мы продадим все. Ты, мама, с Галей переедешь в Москву и будешь жить со мной. Мы продержимся. А Костик пусть пока поживет у дяди Коли.

— Но как же так! — встревожилась Галя. — Как же он там будет жить? Зачем же нам разлучать-

ся?

Я сидел, опустив голову, и судорожно рисовал на бумаге цветы и завитушки. С некоторых пор каждый раз, когда мне было тяжело, я начинал бессмысленно рисовать на чем попало эти замысловатые завитушки.

— Перестань рисовать! — сказала мама. — Я не понимаю, чему ты улыбаешься! И что ты об этом думаешь?

— Я не улыбаюсь, — пробормотал я, но почувствовал у себя на лице напряженную улыбку. — Это так…

Я замолчал и продолжал рисовать. Я не мог остановиться.

— Костик, милый, — неожиданно сказала мама глухим голосом, — что же ты молчишь?

— Хорошо… — ответил я. — Я поеду… если надо…

— Так будет лучше всего, — сказал Дима.

— Да… будет хорошо… конечно, — согласился я, чтобы не молчать.

Все рушилось в эту минуту. Впереди я видел только жгучее одиночество и свою ненужность.

Я хотел сказать маме, что не надо отправлять меня в Брянск, что я могу давать уроки не хуже, чем Дима, и даже помогать ей, что мне очень

горько и я никак не могу избавиться от мысли, что меня выбрасывают из семьи. Но у меня так болело горло и так сводило челюсти, что я не мог говорить и молчал.

На мгновение у меня мелькнула мысль завтра же уехать к отцу. Но мысль эта тотчас ушла и снова сменилась мыслью о том, что я уже совершенно один.

С трудом я наконец собрал все силы и повторил, запинаясь, что согласен и даже рад поехать в Брянск, но что у меня болит голова и я пойду лягу.

Я ушел в свою холодную комнату, где мы жили вместе с Димой, быстро разделся, лег, натянул на голову одеяло, стиснул зубы и так пролежал почти всю ночь. Мама пришла, окликнула меня, но я притворился спящим. Она укрыла меня поверх одеяла еще моей гимназической шинелью и вышла.

Сборы в Брянск затянулись до декабря. Мне трудно было бросать гимназию, товарищей, начинать новую и, как я знал, невеселую жизнь.

Я написал отцу, что уезжаю в Брянск, но долго не получал ответа. Получил я его за два дня до отъезда.

Обыкновенно, возвращаясь домой из гим-

назии, я проходил через пустынную площадь за Оперным театром. Возвращался я всегда с товарищами-попутчиками Станишевским и Матусевичем.

Однажды нам встретилась на площади за театром молодая женщина — невысокая, в густой вуали. Она прошла мимо, остановилась и посмотрела нам вслед.

На следующий день мы опять встретили эту женщину на том же месте. Она прямо пошла навстречу нам и спросила меня:

— Извините, вы не сын Георгия Максимовича?

— Да. Я его сын.

— Мне надо поговорить с вами.

— Пожалуйста, — ответил я и покраснел.

Станишевский и Матусевич ушли. Они сделали вид, что их совершенно не интересует этот случай, и даже не оглянулись.

— Георгий Максимович, — торопливо сказала женщина, роясь в маленькой сумочке, — просил меня передать вам письмо. Вы понимаете, он хотел, чтобы оно попало непосредственно к вам… Извините, что я это говорю… Я не могла ему отказать. Я вас сразу узнала. Вы похожи на отца. Вот письмо.

Она протянула конверт.

— Вы уезжаете? — спросила она.

— Да. На днях.

— Что ж… Жаль. Могло бы быть все по-другому.

— Вы увидите папу?

Она молча кивнула головой.

— Поцелуйте его за меня, — сказал я неожиданно. — Он очень хороший.

Я хотел сказать, чтобы она очень любила и жалела отца, но сказал только эти три слова: «Он очень хороший».

— Да? — сказала она и вдруг засмеялась, слегка приоткрыв рот. Я увидел ее маленькие, очень белые и влажные зубы. — Спасибо!

Она пожала мне руку и быстро ушла. На руке у нее зазвенел браслет.

До сих пор я не знаю, как звали эту женщину. Мне не удалось это узнать. Знала одна только мама, но тайну этого имени она унесла с собой в могилу.

Мне эта женщина и голосом, и смехом, и браслетом напомнила ту, что я видел у старика Черпунова. Может быть, если бы не густая вуаль, я бы и узнал ее, бабочку с острова Борнео. До сих пор меня иногда мучит мысль, что это была именно та молодая женщина, что угощала меня

какао в кондитерской Кирхгейма.

Письмо отца было короткое. Он писал, чтобы я перенес свои испытания мужественно и с достоинством.

«Может быть, — писал он, — жизнь обернется к нам светлой стороной, и тогда я смогу помочь тебе. Я верю твердо, что ты добьешься в жизни того, чего не мог добиться я, и будешь настоящим. Помни один мой совет (я тебе своими советами никогда не надоедал): не осуждай сгоряча никого, в том числе и меня, пока ты не узнаешь всех обстоятельств и пока не приобретешь достаточный опыт, чтобы понять многое, чего ты сейчас, естественно, не понимаешь. Будь здоров, пиши мне и не волнуйся».

На вокзал меня провожали мама и Галя. Поезд отходил утром. Дима не мог пропускать уроки в гимназии. Уходя в гимназию, он поцеловал меня, но ничего не сказал. Мама и Галя тоже молчали.

Маме было холодно, и она не вынимала рук из муфты. Галя цеплялась за маму. У нее за последний год усилилась близорукость. Она терялась в толпе и пугалась паровозных гудков. Мама перекрестила меня, поцеловала холодными тонкими губами, взяла за рукав, отвела в сторону и сказала:

— Я знаю, тебе трудно и ты сердишься. Но пойми, что хоть тебя одного из нас всех я хочу уберечь от нищеты и от этих мучений. Только ради этого я настояла, чтобы ты поехал к дяде Коле.

Я ответил, что хорошо все понимаю и ничуть не сержусь. Я говорил хорошие слова, но на сердце у меня был холод, и я хотел только, чтобы поезд поскорее отошел и окончилось мучительное прощание.

Должно быть, настоящее прощание с мамой случилось раньше, в ту ночь, когда она в последний раз укрыла меня шинелью. Поезд отошел, но я не видел из окна ни мамы, ни Гали, потому что густой пар от паровоза закрыл платформу и всех провожающих.

На сердце у меня был холод — такой же, как и в вагоне, освещенном жидким светом зимы. В окна пронзительно дуло. Снежные равнины наводили уныние. Ночью шуршала поземка. Мне хотелось уснуть, но сон не приходил. Я смотрел на язычок свечи в фонаре. Ветер отгибал его в сторону и старался задуть. Я загадал, что если свеча не погаснет, то у меня в жизни еще будет что-то хорошее. Свеча упорно боролась с ветром и не погасла до утра. От этого мне стало легче.

Когда я сошел утром в Брянске, был такой мо-

роз, что весь воздух выл от скрипа полозьев. Стужа лежала цепким дымом на земле. В небе пылало багровым огнем обледенелое солнце.

За мною выслали лошадей. В санях лежали тулуп, башлык и рукавицы. Я закутался. Лошади с места взяли вскачь. Мы неслись среди блесткой снеговой пыли — сначала по дамбе, потом по Десне. Неистово колотились под дугой колокольчики. Вдали на горах мерцал, как игрушка из фольги, старый город в мохнатых узорах из инея и сосулек.

Сани остановились около деревянного дома на склоне горы. Я поднялся на крыльцо. Дверь распахнулась. Тетя Маруся схватила меня за рукав, втащила в столовую, где прыгали по потолку солнечные зайчики, и насильно заставила выпить полстакана красного вина. От мороза у меня свело губы. Я не мог говорить.

Все было звонко и весело в доме у дяди Коли. Гудел самовар, лаял Мордан, смеялась тетя Маруся, из печей с треском вылетали искры.

Вскоре пришел из арсенала дядя Коля. Он расцеловал меня и встряхнул за плечи:

— Главное — не скисай! Тогда мы наделаем таких дел, что небу будет жарко.

В доме у дяди Коли я начал постепенно от-

таивать. Как всегда в таких случаях, память отодвинула в сторону все неприятное. Она как будто вырезала из ткани плохой кусок и соединила только хорошие — осень в Крыму и эту звонкоголосую русскую зиму.

Я старался не думать о том, что было недавно в Киеве. Я предпочитал вспоминать об Алуште, о трех платанах, о Лене. Я даже написал ей письмо в Ялту, но так и не решился отправить. Оно казалось мне очень глупым. А более умного письма я написать не мог, сколько я над ним ни бился.

Артиллеристы

Офицеры-артиллеристы из брянского арсенала прозвали дядю Колю «полковником Вершининым». Дядя Коля напоминал Вершинина из чеховских «Трех сестер» даже внешне — черной бородкой и темными живыми глазами. Таким мы все, по крайней мере, представляли себе Вершинина.

Так же как Вершинин, дядя Коля любил говорить о хорошем будущем и верил в него, был мягок и жизнерадостен, но от Вершинина отличался тем, что был хорошим металлургом, автором многочисленных статей о свойствах

разных металлов. Статьи эти он сам переводил на французский язык — им он владел в совершенстве — и печатал в парижском журнале «Ревю де металлуржи». Печатались эти статьи и в России, но гораздо реже, чем во Франции. Когда я приехал в Брянск, дядя Коля с увлечением работал над изготовлением булатной стали.

Жадность дяди Коли к жизни была удивительной. Казалось, не было таких вещей, которые его не интересовали. Он выписывал почти все литературные журналы, прекрасно играл на рояле, знал астрономию и философию, был неистощимым и остроумным собеседником.

Самым преданным другом дяди Коли был бородатый капитан Румянцев. Наружностью он напоминал Фета, но только был совершенно рыжий, подслеповатый и добродушный. Все офицерское сидело на нем криво и косо. Даже брянские гимназисты дразнили его «штафиркой».

Рассмотреть Румянцева с первого взгляда было не очень легко. Его всегда окутывали облака табачного дыма, а по застенчивости своей он выбирал в гостиной самые темные углы. Там он сидел за шахматной доской, углубившись в решение задач. Если ему удавалось решить шах-

матную задачу, он заливался смехом и потирал руки.

Румянцев редко участвовал в общих разговорах. Он только покашливал и посматривал прищуренными глазками. Но как только разговор заходил о политике — Государственной думе или забастовках, — он оживлялся и высказывал самые крайние взгляды.

Румянцев был не женат. С ним жили три его сестры — все одинаково маленькие, стриженые и в пенсне. Все они курили, носили твердые черные юбки, серые кофточки и, будто сговорившись, прикалывали часики английскими булавками к груди на одном и том же месте.

Сестры постоянно прятали на квартире у Румянцева каких-то студентов, стариков в крылатках и таких же строгих женщин, какими были сами. Дядя Коля предупредил меня, чтобы я никому не говорил ни слова, кто живет у Румянцева.

Кроме Румянцева и его сестер, к дяде Коле приходил штабс-капитан Иванов — чистенький, белорукий, с тщательно заостренной светлой бородкой и тонким голосом.

Как большинство холостяков, Иванов прижился в чужой семье у дяди Коли. Он не мог провести ни одного вечера, чтобы не прийти посидеть и по-

болтать. Всякий раз, снимая в передней шинель и отстегивая шашку, он краснел и говорил, что зашел «на огонек» или для того, чтобы посоветоваться с дядей Колей по делу. Потом он, конечно, засиживался до полночи.

Я был благодарен Иванову за то, что он отучил меня от привычки стесняться простых вещей.

Как-то я встретил Иванова на базаре. Он покупал картошку и капусту.

— Помогите мне дотащить все это до извозчика, — попросил он меня. — Мой Петр (Петр был денщиком Иванова) захворал. Приходится все делать самому.

Когда я тащил вместе с ним к извозчику тяжелую кошелку с капустой, нам встретилась молоденькая учительница немецкого языка из брянской гимназии. В ответ на мой поклон она фыркнула и отвернулась. Я покраснел.

— Напрасно смущаетесь, — сказал Иванов. — Вы же не делаете ничего дурного. Чтобы избавиться от насмешливых взглядов, у меня есть прием — смотреть людям прямо в глаза. Очень хорошо действует.

Мы сели на извозчика, заваленного овощами, и поехали по главной Московской улице. Нам встречалось много знакомых. Встретился даже

ехавший в пароконном экипаже начальник арсенала генерал Сарандинаки.

Завидев нас, знакомые усмехались, но Иванов прямо смотрел им в глаза. Под этим взглядом они смущались, переставали усмехаться и в конце концов даже приветливо нам кивали. А Сарандинаки остановил экипаж и предложил Иванову прислать к нему своего денщика. Но Иванов вежливо отказался, заметив, что он прекрасно справляется с этой несложной работой. Генерал поднял брови, слегка толкнул кучера в спину шашкой в черных ножнах, и серые генеральские лошади с места пошли рысью.

— Вот видите, — сказал мне Иванов, — никогда не следует пасовать перед предрассудками.

Я знал, конечно, что Иванов прав, но все же мне было неприятно под обстрелом насмешливых глаз. Сказывалась дурная привычка.

Иногда я ловил себя на том, что боялся поступить не так, как все, стеснялся своей бедности, пытался скрыть ее от товарищей.

Мама относилась к перемене в нашей жизни как к величайшему несчастью. Изо всех сил она скрывала это от знакомых. Все знали, что отец оставил семью, но мама на вопросы знакомых всегда отвечала, что отец уехал ненадолго и у нас

все благополучно. Ночи напролет она штопала и переделывала нашу одежду, боясь, чтобы «люди не заметили» признаков обнищания. Мужество изменило маме. Ее робость передалась и нам.

Когда извозчик подымался на гору к дому Иванова, рассыпалась капуста. Кочаны, подпрыгивая и перегоняя друг друга, покатились по мостовой. Засвистели мальчишки. Извозчик остановился. Мы слезли и начали подбирать кочаны.

Я был, должно быть, совершенно красный от стыда, потому что Иванов, взглянув на меня, предложил:

— Давайте я подберу сам. А вы уж идите лучше домой.

Если раньше мне было стыдно подбирать кочаны на глазах у прохожих, то после этих слов я покраснел до слез от стыда за себя. Я с остервенением подобрал последние кочаны и мимоходом дал оглушительную затрещину мальчишке Самохину, сыну брянского купца. Он приплясывал на тротуаре и дразнился:

Ехал, ехал гимназист,
Потерял капустный лист!

Юный Самохин, ревя и размазывая слезы, скрылся в своем дворе.

Я был уверен, судя по хитрым глазам Иванова, что он рассыпал капусту нарочно.

С этого времени я начал даже бравировать. Каждый день я выходил на улицу с деревянной лопатой и разгребал снег, колол дрова, топил печи и не только не уклонялся от грубой работы, но всячески на нее напрашивался. А мальчишка Самохин еще долго, завидев меня, прятался за калитку и кричал оттуда:

— Синяя говядина!

«Синей говядиной» звали гимназистов за их синие фуражки. Но эти выпады Самохина уже не производили на меня впечатления.

Жизненные уроки Иванова подкрепил подполковник Кузьмин-Караваев, узкогрудый человек с серыми твердыми глазами.

Он основал в Брянске первое потребительское общество и открыл на Волховской улице потребительскую лавку. Он сам доставал товары и торговал ими в тесном амбаре.

Эта затея Караваева вызвала смятение среди брянских купцов. Старшина купеческого сословия посылал на Караваева доносы в Петербург, в Главное артиллерийское управление. Но за Караваева стеной стояли интеллигенция и рабочие арсенала. Доносы не помогли. Потребительская

лавка с каждым днем богатела и расцветала.

Все по очереди помогали Караваеву торговать в лавке, меня же он взял к себе постоянным помощником.

Почти все свободное время я проводил в лавке, откупоривал пахучие ящики с бакалейным товаром, развешивал соль, муку и сахар. Караваев, в грубом фартуке, какие носят кузнецы, надетом поверх щегольской тужурки, работал быстро, шутил с покупателями и рассказывал мне много интересных вещей о происхождении товаров.

В лавке у Караваева были собраны товары со всей страны — табаки из Феодосии, грузинские вина, астраханская икра, вологодские кружева, стеклянная мальцевская посуда, сарептская горчица и сарпинка из Иваново-Вознесенска. В лавке пахло селедочным рассолом, мылом, но все заглушал чудесный запах свежих рогож, сваленных в задней комнате.

Вечером Караваев закрывал амбар на железный засов, и мы пили с ним крепкий чай. Чайник подпрыгивал на чугунной печурке. Караваев колол японским плоским штыком сахар. От сахара летели синие искры. Я доставал из деревянного ларя медовые пряники — жамки.

К чаепитию в лавку всегда приходил кто-ни-

будь из знакомых посидеть и поболтать — то Иванов, то сестры Румянцевы, то тетя Маруся.

Иванов садился на пустой ящик, не снимая шинели и даже перчаток, и начинал доказывать Караваеву, что Россия еще не доросла до потребительских лавок. Караваев удушливо кашлял и отмахивался от Иванова.

Тетя Маруся всегда приносила к чаю домашние коржики или пирожки.

Сестры Румянцевы пили чай из блюдечек, поблескивая пенсне. Они называли Караваева Дон-Кихотом и говорили, что его возня с лавкой — проповедь малых дел и что России нужны не потребительские лавки, а великие потрясения.

Тогда Иванов начинал позванивать шпорой и напевать «Мальбрук в поход собрался». Сестры Румянцевы обзывали Иванова ретроградом и уходили.

Ранней весной потребительская лавка сгорела. Поджог был сделан грубо и откровенно — дверь в лавку взломали, а товары облили керосином.

Весь город знал, что поджог — дело брянских купцов, но следствие тянулось долго и окончилось ничем. Караваев осунулся, начал кашлять еще сильнее и, отмахиваясь от собственного кашля, говорил:

— Finita la comedia![2] Нашу страну может перекроить только потрясение. Вздернуть на дыбы всю Россию, тогда получится толк.

Убытки от пожара были большие. Их с трудом покрыли пайщики потребительского общества — рабочие брянского арсенала и товарищи Караваева, артиллеристы. Удивительнее всего было то, что львиную долю убытков взял на себя штабс-капитан Иванов. Он был бережлив и за годы службы в арсенале скопил несколько тысяч рублей. Почти все эти деньги он отдал Караваеву.

Я провел зиму и лето в дружной семье арсенальцев. Но горечь пережитого в Киеве не проходила. Я постоянно вспоминал о маме, об отце, и мне было временами стыдно, что я живу в теплом и гостеприимном доме, где всегда было ровное и веселое настроение. Я представлял себе холодный киевский подвал, пустой стол с хлебными крошками, озабоченное лицо мамы, усталого от репетиторства Диму.

Мама писала мне редко, а Галя и Дима не писали совсем. Иногда мне казалось, что мама не пишет потому, что у нее нет денег даже на марки. Надо было что-то делать, чтобы ей помочь, но я

---

[2] Примечания: 2
Комедия окончена! (*лат.*)

не знал что.

Я не мог привыкнуть к брянской гимназии. Все гимназисты в моем классе были гораздо старше меня. Я все чаще с сожалением вспоминал киевскую гимназию и задумывался над тем, чтобы вернуться в Киев. В конце концов я написал письмо своему классному наставнику, латинисту Субочу. Я откровенно рассказал ему все, что со мной случилось, и спрашивал, могу ли я вернуться. Вскоре я получил ответ.

«С нового учебного года, то есть с осени, — писал Субоч, — вы уже зачислены обратно в Первую гимназию, в мой класс, и будете освобождены от платы. Что касается материальной стороны дела, то я смогу предложить вам несколько приличных уроков. Это даст возможность существовать хотя и скромно, но самостоятельно и ни для кого не являться обузой. А пережитыми передрягами не огорчайтесь — tempora mutantur et nos mutamur in illis, — надо надеяться, что меняемся мы в лучшую сторону».

Я прочел это как будто деловое письмо, и спазма сжала мне горло. Я понял ласковость письма и еще понял, что с этой минуты я уже сам, ни на кого не надеясь, начинаю строить свою жизнь.

От этого сознания стало страшно, хотя в то вре-

мя мне было уже почти шестнадцать лет.

Великий трагик Кин

На заборах в Брянске были расклеены желтые афиши о гастролях актера Орленева.

Афиши были напечатаны на шершавой и тонкой бумаге. Она насквозь промокала от клейстера. Козы срывали и сжевывали эти афиши. Изо рта у жующих коз торчали обрывки желтой бумаги с черными словами: «Гений… беспутство». Только на немногих уцелевших афишах можно было прочесть, что Орленев выступит в Брянске в роли английского трагика Кина в пьесе «Кин, или Гений и беспутство».

Дядя Коля заранее взял билеты на спектакли Орленева. Несколько дней в доме у дяди Коли говорили только об Орленеве.

Спектакли были назначены в летнем театре в городском саду. Театр был деревянный, старый, покрытый облупившейся розовой краской. На стенах его годами клеили афиши. Выцветшая от дождей бумага висела толстыми клочьями.

Театр был всегда заколочен. В сумерки из-под крыши театра вылетали летучие мыши и шныряли над глухими аллеями. Девицы в белых платьях

визжали от страха — существовало поверье, что летучие мыши вцепляются во все белое и потом их нельзя оторвать.

Заброшенный театр казался таинственным. Я был уверен, что в пустом его зале и актерских уборных до сих пор валяются засохшие цветы, коробочки с гримом, ленты, пожелтевшие ноты. Валяются еще с тех времен, когда в этом театре, по городскому преданию, играла заезжая оперетта.

Нарумяненные юные женщины с подведенными синькой глазами пробегали из уборных по скрипучим доскам на сцену, волоча бархатные шлейфы. Обольстительно звенели гитары под пальцами нагловатых первых любовников, и слова жестоких романсов щемили простодушные сердца горожан:

Мне снился день, который не вернется,
И человек, который не придет...

Этот театр видел все: молодых цыганок с надрывающим сердце голосом, разорившихся помещиков, пахнувших лошадиным потом, — они скакали сто верст, чтобы попасть на концерт какой-нибудь Нины Загорной, — корнетов с черными баками, купцов в коричневых котелках, невест, трепещущих от испуга, в пышных, как

пена, розовых платьях.

Мои мысли об этом театре были связаны с июльскими ночами, когда над шапками лип мигали зарницы, кровь шумела в голове, ничего не было страшно и ничего не было жаль ради забубенной женской песни и мимолетной любви. Когда все — трын-трава, и все счастье — в одном только взгляде из-под милых ресниц. Взгляде под звон бубенцов, под гиканье захмелевшего ямщика. Один только взгляд, как взмах черной зарницы в этих душных ночах, что настоялись на запахе лип и были полны далеким гулом Брянских лесов — бездорожных, непроходимых, врачующих сердце от хандры и измены.

Стены театра хранили в себе отзвуки умолкнувших голосов, память о жизни напропалую, похищениях, дуэлях, заглушенных рыданиях и горячих сердцах.

Казалось, что театр давно умер, затянулся паутиной и никто никогда в нем больше не будет играть.

Но его открыли, прибрали, проветрили, постелили ковровые дорожки, смахнули пыль с бархатной обивки лож, и она из серой снова сделалась вишнево-красной.

Под потолком загорелась люстра. Старенький

ее хрусталь сначала поблескивал неуверенно и тускло, но потом, вздрогнув от первых пассажей оркестра, смело засверкал десятками разноцветных позванивающих звезд.

У дверей появились старые капельдинеры в нитяных белых перчатках. Пахнуло духами, свежестью сада, запахом конфет. Послышался приглушенный гул голосов, бренчанье шпор, скрип кресел, смех, шуршание узких программок — на них была напечатана лира в венке из дубовых листьев.

— Орленев, Орленев, Орленев! — слышалось во всех концах театрального зала.

Дядя Коля сидел в ложе в изящном своем форменном сюртуке с черным бархатным воротом. Тетю Марусю окружал пепельный блеск. Он исходил от ее серого, похожего на дым, нового платья, от ее волос и возбужденных серых глаз — она давно уже не была в театре.

Штабс-капитан Иванов спокойно прошел по ковровым дорожкам. На его остроносых ботинках журчали маленькие шпоры.

Даже капитан Румянцев расчесал рыжую бороду-лопату и пришел в сюртуке. Он поминутно вынимал из заднего кармана носовой платок и вытирал красное лицо.

Сестры Румянцевы сидели тесно рядом, и щеки у них нестерпимо пылали.

На спектакль пришли и мои старые знакомые по Ревнам — Володя Румянцев и Павля Теннов.

Володя Румянцев забрался на галерку, хотя у него было место в ложе, — он был в ссоре с сестрами.

Павля Теннов сидел со снисходительным видом, далеко вытянув перед собой скрещенные ноги. Ему ли, старому петербургскому студенту, было волноваться перед этим спектаклем!

В ложе тетя Маруся притянула меня за руку, сняла пушинку с ворота моей куртки, внимательно посмотрела на мои волосы и пригладила их.

— Ну вот, теперь хорошо.

Я взглянул на себя в тусклое зеркало в аванложе. Я был очень бледен и так еще по-детски худ, что, казалось, вот-вот сломаюсь.

Занавес поднялся, и начался спектакль.

Я видел в Киеве хороших актеров, но сейчас невысокий человек с печальным и резким лицом совершал на сцене великое чудо. Каждый звук его голоса раскрывал больную и прекрасную душу великого Кина. «Оленя ранили стрелой!» — крикнул он звенящим голосом, и в этом возгласе прорвалась вся безысходная тоска по милосер-

дию.

Я весь дрожал, когда в зрительном зале начался разыгранный актерами театральный скандал. Я не мог сдержать слез, когда опустился занавес, на авансцену вышел заплаканный старый режиссер-англичанин и сказал дрожащим голосом, что спектакль не может продолжаться, потому что «солнце Англии — великий трагик Кин сошел с ума».

Тетя Маруся обернулась ко мне, похлопала меня по руке и что-то хотела сказать, должно быть шутливое, но вместо этого изумленно вскрикнула и встала. Дядя Коля тоже обернулся и встал. Весь зал сотрясался от аплодисментов.

Я тоже обернулся. За моей спиной стоял отец, все такой же усталый, с ласковой и печальной улыбкой, но совершенно седой. У меня все завертелось в глазах, потом сразу оборвалось, и стало тихо и темно. Отец подхватил меня.

Я плохо помню, вернее — совсем не помню, что было дальше. Я очнулся на маленьком диване в аванложе. Ворот моей куртки был расстегнут. По подбородку стекала вода, а тетя Маруся смачивала мне виски одеколоном. Отец поднял меня за плечи, посадил и поцеловал.

— Посиди немного, не двигайся, — сказал он. —

Сейчас все пройдет. Неужели вы не получили моей телеграммы?

Пока усталый Орленев выходил кланяться и подбирал цветы, летевшие на сцену, отец наскоро рассказал, что он получил место на вагоностроительном заводе в Бежице. Поселок Бежица был всего в восьми километрах от Брянска.

Отец только что приехал, никого не застал в доме у дяди Коли и пришел за нами в театр.

— А как же мама? — спросил я.

— Мама? — переспросил отец. — Кстати, я привез тебе письмо от нее. Мама не хочет жить в Бежице. Она поедет с Димой в Москву и думает поселиться там навсегда. Конечно, возьмет с собой и Галю.

— А обо мне она что-нибудь говорила?

Отец подумал.

— Кажется, нет. Я ее очень мало видел. Она, должно быть, все тебе написала. Ты прочти.

Он протянул мне письмо. Все еще гремели аплодисменты. Я быстро прочел письмо. Оно было короткое и сухое.

Мама писала, что я должен еще побыть у дяди Коли, пока жизнь не наладится. Сейчас мама ничего мне не может сказать утешительного. В Москву она собирается переезжать через месяц, в

июле. Лето я должен прожить в Брянске, но если хочу, то могу прожить в Бежице с отцом. Но все же было бы лучше и спокойнее, если бы я провел его в Брянске. «На пути из Киева в Москву, — писала мама, — мы, к сожалению, не сможем остановиться в Брянске, но я пришлю телеграмму, ты приедешь на вокзал, мы увидимся и обо всем поговорим».

Когда я кончил читать письмо, тетя Маруся, смеясь, сказала отцу:

— Мы его теперь никому не отдадим. Даже вам, Георгий Максимович.

— Ни за что не отдадим, — сказал дядя Коля. — Но, в общем, мы с тобой об этом поговорим, Георгий.

— Поговорим, — согласился отец.

Мы пошли через городской сад к экипажу. Калильные фонари шипели среди деревьев. Военный оркестр на эстраде играл бравурный марш, будто радовался тому, что спектакль окончился и снова можно греметь во всю силу фанфар и тромбонов.

Мы сели в экипаж. Лошади, перебирая ногами, спускались с крутой горы.

Я был обескуражен маминым письмом. После него все оставалось таким же неясным, как и

было. Очевидно, мама так и не помирилась с отцом. Я не мог понять, почему мама пишет мне так холодно. Неужели она начала забывать обо мне? Неужели я уже никому не нужен?

Отец оживленно говорил с дядей Колей. Почему он не расспросил меня ни о чем? Я мог бы ему рассказать много печального. Может быть, я выплакался бы и мне стало бы легче.

Все любили меня в доме дяди Коли — и он, и тетя Маруся, и даже все товарищи дяди Коли, но все же в груди у меня постоянно стоял тяжелый комок. Я должен был скрывать свою грусть, чтобы не обидеть ею дядю Колю и тетю Марусю.

Я вспомнил слова Субоча, что скоро я уже смогу ни для кого не быть обузой. Я весь сжался. Все стало понятно. Значит, я обуза для всех. У отца своя жизнь. Кто знает, может быть, в Бежице он будет жить не один.

А мама? Почему же мама так легко отказалась от меня? Должно быть, из-за Гали. Галя слепла, врачи ничем не могли ей помочь. Мама была в отчаянии от этого. Страшная судьба Гали поглощала все ее мысли. Должно быть, у мамы ничего уже не оставалось в душе, кроме неистовой жалости к Гале.

Пыльная луна висела над городом. Железные

крыши, залитые лунным светом, казались мокрыми. Тетя Маруся наклонилась ко мне:

— Дай мне, если можно, письмо.

Я протянул ей письмо.

Она сложила его узкой полоской, засунула в прорез лайковой перчатки и застегнула прорез на перламутровую пуговку.

У меня разболелась голова. Она болела так сильно, что на глазах даже выступили слезы.

— Что с тобой? — спросила тетя Маруся.

— Очень болит голова.

— Бедный, все на тебя сразу свалилось!

Дома меня уложили в постель. Я лежал и прислушивался к разговору в столовой и к голосу отца. Я все ждал, когда же он придет ко мне проститься на ночь.

Свежий воздух лился в окно и туманил голову. Засыпая, я слышал, как Орленев крикнул в соседней комнате измученным голосом: «Оленя ранили стрелой!» Тотчас далеко, на самом краю ночи, заиграла нежная музыка. Она уходила вдаль, затихала, как будто оглядывалась и кивала мне головой.

Потом тетя Маруся сказала: «Он слабый у вас. Слишком большое для него волнение». — «У кого это — у вас?» — спросил я. «Спи, — сказал голос

тети Маруси. — Я от тебя не уйду. Вы уж сами налейте себе чаю». Чайные ложечки начали вертеться в стаканах все скорей и скорей. От этого у меня закружилась голова, и я начал падать. Я падал долго и, пока падал, все забыл.

Несколько дней я пролежал в жару, с головной болью. За это время отец уехал в Бежицу.

Как только я поправился, мы с дядей Колей поехали к отцу.

Бежица оказалась сырым и скучным поселком. Земля здесь была перемешана с ноздреватым шлаком из заводских печей. В палисадниках росли кривые березы. Дымил завод.

В бревенчатом доме, в квартире отца, тоже пахло угольным дымом. Обстановка была скудная. Кроме отца, в квартире никто не жил.

Мы застали отца за чтением энциклопедического словаря.

Отец очень обрадовался нам.

— Я понимаю, — сказал он дяде Коле, — что Костику здесь совсем нельзя жить: и скучно, и неустроенно, и одиноко. Да я и сам здесь долго не протяну.

— А что же ты думаешь делать? — строго спросил дядя Коля.

— Уеду куда-нибудь. Жизнь, в общем, не зада-

лась. Теперь мне все равно. Сам виноват.

Я смотрел на отца. Сейчас он был совсем не таким, как был в пятом году или давным-давно — в Городище, Геленджике или в комнате художника Врубеля. Как будто там был действительно он, а здесь его двойник — неудачник.

Один на большой дороге

И вот они пришли наконец, эти дни с первыми признаками увядания.

За домом дяди Коли тянулся по крутому склону оврага старый яблоневый сад. Дуплистые стволы яблонь и кривой забор были покрыты лишаями.

В саду, кроме меня, почти никто не бывал.

Я приходил в сад с тетрадкой, ложился на землю и писал стихи. Насколько я теперь понимаю, это были плохие стихи. В них все тонуло в расплывчатой грусти.

По стихотворным строчкам суетливо бегали муравьи, перетаскивали сухую осу. Гнилые веточки падали на тетрадку с деревьев.

Небо, прозрачное, несмотря на свою густоту, сверкало над садом. По небу тянул ветер, сваливал за Десну облака. Я как-то начал их считать, насчитал двести и бросил. У меня зарябило в

глазах.

Осень предупреждала о своем приходе то сухим листком, невзначай забытым на скамейке, то маленькой зеленой гусеницей, спускавшейся по паутине прямо мне на голову.

Было жалко уходящего лета. Дядя Коля провел его в Брянске. Летом я часто приходил к дяде Коле в арсенал, в его лабораторию или в кузнечную мастерскую.

Я любил смотреть, как работал паровой молот. Около этого молота я услышал от штабс-капитана Иванова рассказ о знаменитом кузнеце Обуховского завода. Он мог так осторожно расколоть стопудовым паровым молотом грецкий орех на донышке перевернутого стакана, что стакан оставался целым. Мне нравился арсенал, его низкие здания, построенные еще при Екатерине, дворы, заросшие муравой и заваленные чугунными отливками, сирень у стен мастерских, цилиндры старых паровых машин, блестевших маслянистой медью, запах спирта в лабораториях, бородатые кузнецы и литейщики и фонтан голубоватой артезианской воды, бившей из-под земли около стены арсенала.

Надо было прощаться со всем этим, с Брянском, с уютным домом дяди Коли, и, может быть, про-

щаться надолго.

Осенью я уезжал обратно в Киев. Так было решено на коротком семейном совете на Брянском вокзале, когда мама с Галей и Димой проезжала в Москву. Я приехал на вокзал с дядей Колей и тетей Марусей, чтобы повидать маму.

Мама постарела и разговаривала с дядей Колей виноватым голосом, будто хотела перед ним оправдаться.

Галя почти совсем ослепла. Кроме того, она начала плохо слышать. Она носила толстые двойные очки. Когда к ней обращались, она долго озиралась, стараясь догадаться, кто с ней разговаривает, и отвечала невпопад. Дима был угрюм и спокоен.

Мама обняла меня, потом осмотрела с ног до головы и заметила, что я выгляжу гораздо лучше, чем в Киеве. В голосе ее послышалась обида.

Я сказал, что хочу вернуться в Киев и что меня приняли обратно в Первую гимназию. Я буду жить с Борей и зарабатывать уроками.

Мама отвернулась и ответила, что она очень хотела бы взять меня в Москву, но сейчас это невозможно. Она сама не знает, как сложится ее жизнь в Москве.

Галя все говорила:

— Костик, ты где? Ах, ты здесь! А я тебя совсем не вижу.

Тетя Маруся быстро начала говорить, что отпускать меня в Киев безумие, что она, может быть, ничего не понимает и не имеет права вмешиваться в наши семейные дела, но…

Она замолчала, заметив предостерегающий взгляд дяди Коли. Мама ничего не ответила. Она смотрела за окно вагона на платформу. Глаза ее потемнели от гнева.

— Наконец-то! — сказала мама. — Лучше поздно, чем никогда.

По платформе шел отец. Он только что приехал рабочим поездом из Бежицы. На отце был черный, лоснившийся от старости пиджак.

Отец вошел в вагон. Тотчас вокзальный колокол ударил два раза.

Мы начали прощаться. Отец поцеловал у мамы руку и сказал:

— Маруся, Костика я беру на себя. Я буду каждый месяц посылать ему на жизнь и на все необходимое.

— Дай-то бог! Хоть этот пустяк ты не забывай делать. Прошу тебя.

Дима холодно попрощался с отцом, а Галя, совсем как слепая, протянула к отцу руку и стара-

лась дотронуться до его лица. Отец так побледнел, что даже глаза у него сделались белыми.

Пробил третий звонок.

Мы вышли на платформу. Мама сказала из окна, что обязательно приедет ко мне зимой в Киев.

Поезд тронулся.

Отец стоял, сняв шляпу, и смотрел на пробегавшие колеса вагона. Он не захотел поехать в город к дяде Коле, сославшись на то, что ему нужно первым же поездом возвращаться в Бежицу, где его ждет срочная работа.

Мы возвращались в экипаже домой. В дороге дядя Коля и тетя Маруся молчали. Тетя Маруся покусывала маленький платок. Потом она посмотрела на дядю Колю и сказала:

— Нет, я все-таки не понимаю. Как же так можно!

Дядя Коля нахмурился и показал ей глазами на меня. Тетя Маруся замолчала.

Мне было стыдно за всю нашу семейную неурядицу, портившую жизнь не одним только нам. Я мечтал о том, чтобы поскорее уехать в Киев и забыть эти беды и неприятности. Лучше одиночество, чем жизнь в клубке взаимных обид, утомительных и непонятных.

Я ждал августа, когда уеду в Киев. Он пришел наконец, с палыми листьями и пасмурными дождями.

В день моего отъезда сеялся дождь, задувал ветер. Вагоны поезда Москва — Киев были исхлестаны дождем. Отец не приехал проводить меня, хотя и обещал.

На вокзале дядя Коля пытался односложно шутить. Тетя Маруся засунула мне в карман шинели конверт и сказала: «Прочтешь в дороге».

Когда поезд тронулся, она отвернулась. Дядя Коля взял ее за локоть и повернул лицом к поезду. Тетя Маруся улыбнулась мне и опять отвернулась.

Дождевые капли бежали по оконному стеклу. Из-за них ничего не было видно. Я опустил окно и высунулся.

Дядя Коля и тетя Маруся стояли на платформе и смотрели вслед поезду. Пар падал на землю. Далеко позади поезда я увидел полосу чистого неба. Там уже светило солнце.

Мне это показалось хорошим предзнаменованием. Я достал из кармана конверт. В нем были деньги и записка:

«Береги себя. Ты выходишь один на большую дорогу, а потому не забывай, что у тебя есть про-

винциальные дядя и тетя. Они тебя крепко любят и всегда готовы помочь».

Дикий переулок

Боря жил в меблированных комнатах «Прогресс» на грязной Жилянской улице, около вокзала.

Он встретил меня приветливо и покровительственно.

— Молодец, — сказал он, — что решил быть самостоятельным! Поживи пока у меня. Потом мы найдем тебе место получше. Здесь тебе жить не стоит.

— Почему?

— Увидишь.

Увидел я это довольно скоро. Как только Боря ушел в Политехнический институт, в комнате немедленно появился одутловатый человек с лицом, похожим на кочан кислой капусты. На одутловатом висела пыльная студенческая тужурка и болтались зеленые брюки с пузырями на коленях. Выпуклые и пустые его глаза медленно вращались, разглядывая комнату, полку с продуктами и меня.

— Граф Потоцкий! — представился одутлова-

тый. — Ближайший друг вашего брата. Бывший студент Политехнического института. Выбыл из него по неизлечимой болезни.

— Чем же вы больны? — спросил я участливо.

— Болезнь моя не поддается описанию, — ответил граф Потоцкий и зачерпнул из коробки на столе горсть Бориных папирос. — Страдаю невыразимо. Благодаря болезни три года подряд проваливался на экзамене у профессора Патона. Вы знаете Патона?

— Нет.

— Зверь! — заметил граф Потоцкий, взял со стола колбасу, повертел ее и сунул в карман. — Гонитель всех, кто жаждет успеха. Лекарство от моей болезни — обыкновенный креозот. Но родители задержали высылку денег, и, натурально, иссякла наличность, чтобы сбегать в аптеку за вышеупомянутым креозотом. Нельзя ли у вас сообразить до завтра?

— Что сообразить? — спросил я, не понимая.

— Ну ладно! — Граф Потоцкий добродушно улыбнулся. — Надоело паясничать! Хотел попросить у Бори три рубля, да вот опоздал. Может быть, у вас найдется зелененькая?

— Да, конечно! — Я поспешно достал из кармана деньги. — Вам три рубля?

— Ах, юноша! — воскликнул с огорчением Потоцкий. — Если просит взаймы нахал, то он преувеличивает, а если порядочный, то преуменьшает. Если бы я был, избави бог, нахалом, я попросил бы двадцать рублей. Я же прошу всего три! Вы спросите, где же истина? Истина, как всегда, посередине. Двадцать минус три равно семнадцати. Мы делим семнадцать на два и получаем восемь с полтиной. Некоторое закругление дает цифру в девять рублей. Удобно и просто.

Я протянул ему вместо девяти десять рублей. Он взял их очень странно. Я даже не заметил, как он их взял. Деньги как бы растаяли в воздухе.

Пока мы разговаривали с графом Потоцким, дверь в номер все время поскрипывала. Но как только деньги растаяли в воздухе, дверь решительно распахнулась и в комнату влетела коротенькая женщина в пеньюаре. При каждом шаге у нее на ногах щелкали туфли. Они были ей велики.

— Зачем?! — закричала она страстным голосом. — Зачем давать этому изуверу деньги? Отдай! — прошипела она сквозь зубы и схватила графа Потоцкого за тужурку.

Рукав тужурки затрещал.

Граф вырвался и метнулся в коридор. Жен-

щина бросилась за ним. Туфли ее стреляли, как пистолеты.

— Отдай! — кричала она. — Хоть три рубля! Хоть два!

Но граф с непостижимой быстротой скатился по лестнице на улицу и исчез. Женщина в пеньюаре прислонилась к стене и зарыдала ненатуральным, противным голосом. Изо всех комнат начали выглядывать жильцы. Это помогло мне увидеть их всех сразу. Первым выглянул прыщавый юноша в лиловой рубахе. Он пристегивал к ней розовый целлулоидовый воротничок.

— Мадам Гуменюк, — сказал он повелительно, — примите меры!

В коридоре показалась владелица меблированных комнат «Прогресс» мадам Гуменюк — полная дама с ласковыми томными глазами. Она подошла к женщине в пеньюаре и сказала неожиданно очень ясным и злым голосом:

— Марш к себе! Без скандала! Вы дождетесь полиции! Даю честное слово женщины!

Женщина в пеньюаре спокойно пошла к себе в комнату. Коридор еще долго шумел, обсуждая происшествие с графом Потоцким.

Когда пришел Боря, я рассказал ему обо всем. Боря заметил, что я дешево отделался, и сказал,

чтобы впредь я не поддавался ни на какие уловки. Граф Потоцкий вовсе не граф и не бывший студент, а судейский чиновник, выгнанный со службы за пьянство.

— Меня они боятся, — заметил Боря. — Но с твоим характером лучше их избегать. Здесь собрались одни подонки.

— Зачем же ты здесь живешь?

— Я привык. Мне они не мешают.

Через месяц Боря нашел мне комнату «на всем готовом» у маминой знакомой старушки, пани Козловской, в Диком переулке.

Я получил деньги от отца и рассчитал, что если даже он больше ничего мне не пришлет, то три месяца я смогу прожить, не занимаясь уроками.

В квартире у пани Козловской, кроме нее и ее сына, пехотного поручика Ромуальда, никто не жил. Это была тесная квартирка с липкими от плохой краски полами. Окна выходили в вырубленный сад. В нем осталось всего два-три дерева. Зимой в этом саду устраивали каток. В кучи снега по краям катка втыкали елочки. Они быстро желтели. Каток был дешевый, для мальчишек с Глубочицы и Львовской улицы. На нем даже не было оркестра, а играл граммофон с огромной лиловой трубой.

Дикий переулок был действительно диким. Он никуда не вел. Он терялся в пустырях, заваленных снегом и кучами золы. Зола курилась сизым дымком. С пустырей всегда несло угаром.

Я украсил свою каморку портретами Байрона, Лермонтова и Гюго. По вечерам я зажигал кухонную лампочку. Она освещала только стол и портрет Гюго. Бородатый писатель сидел, грустно подперев голову рукой в круглой крахмальной манжете, и смотрел на меня. У него было такое выражение, будто он говорил: «Ну-ну, молодой человек, что же вы будете делать дальше?»

Я увлекался в то время «Отверженными» Гюго. Пожалуй, больше, чем самое содержание романа, я любил бурные вылазки старика Гюго в историю.

В ту зиму я вообще много читал. Я никак не мог привыкнуть к одиночеству. Книги помогали мне избавляться от него. Я часто вспоминал нашу жизнь на Никольско-Ботанической, Лену, веселых артиллеристов, фейерверки в старом парке в Ревнах, Брянск. Всюду я был окружен разнообразными и доброжелательными людьми.

Сейчас я ощущал вокруг себя безлюдье. В лампе что-то гудело. Этот звук усиливал одиночество.

Но прошел месяц, второй, и произошел пере-

лом. Я начал замечать, что чем непригляднее выглядела действительность, тем сильнее я чувствовал все хорошее, что было в ней скрыто.

Я догадывался, что в жизни хорошее и плохое лежат рядом. Часто хорошее просвечивает через толщу лжи, нищеты и страданий. Так иногда в конце ненастного дня серые тучи вдруг насквозь просветятся огнем заходящего солнца.

Я старался находить черты хорошего всюду. И часто находил их, конечно. Они могли блеснуть неожиданно, как хрустальная туфелька Золушки из-под ее серого рваного платья, как мог блеснуть где-нибудь на улице внимательный и ласковый взгляд ее глаз. «Это я, — говорил этот взгляд. — Разве ты не узнал меня? Сейчас я обернулась нищенкой, но стоит мне сбросить лохмотья, и я превращусь в принцессу. Жизнь полна неожиданного. Не бойся. Верь в это».

Смутные эти мысли одолевали меня в ту зиму.

Я был в начале жизненного пути, но мне казалось, что я уже знаю этот путь целиком. Я вычитал у Фета стихи. Они, по-моему, подходили к тому, что ожидало меня:

Из царства вьюг, из царства льдов и снега

Как свеж и чист твой вылетает май!

Я читал вслух эти стихи. Пани Козловская слушала из-за стены. Поручик Ромуальд приходил поздно, а иногда и совсем не ночевал дома. Пани Козловской было скучно, и она радовалась звукам любого человеческого голоса.

Осенние бои

В гимназии учителя и товарищи встретили меня после Брянска так же приветливо, как и Боря. Даже протоиерей Трегубов произнес несколько подходящих к случаю назидательных слов о блудном сыне.

Субоч придирчиво расспросил меня, как я устроился, и пообещал через месяц достать мне уроки. Инспектор Бодянский издал страшный звук носом, похожий на храп, — этим звуком он привык пугать кишат — и сказал:

— Виновны, но заслуживаете снисхождения. Ступайте в класс и больше не грешите!

Но согрешить мне все же пришлось.

В нашей гимназии в каждом классе было по два отделения — первое и второе. Первое отделение считалось аристократическим, второе — демо-

кратическим.

В первом отделении учились преимущественно оболтусы — сыновья генералов, помещиков, крупных чиновников и финансистов. В нашем же, втором отделении учились дети интеллигентов, разночинцев, евреи и поляки.

Разделение это производилось, очевидно, сознательно, в силу предписания свыше.

Вражда между первым и вторым отделениями никогда не затихала. Она выражалась во взаимном презрении. Но раз в год, осенью, происходила традиционная драка между первыми и вторыми отделениями во всех классах. В ней не участвовали только кишата и гимназисты последнего класса. Они уже считались взрослыми, почти студентами, и драться им было не к лицу. Случались и пустые осени, когда драк не бывало.

День драки менялся из года в год. Делалось это, чтобы обмануть бдительное наше начальство. Но начальство по некоторым признакам догадывалось о приближении знаменательного дня, начинало нервничать и шло на хитрости, чтобы предотвратить сражение: то неожиданно распускало после первого же урока подозрительный класс, который мог быть зачинщиком боя, то уводило два-три класса на экскурсию в художе-

ственный музей, то внезапно закрывало выходы в сад, где обычно происходила драка.

Но никакие ухищрения не помогали. Бой начинался в назначенный день и всегда на большой перемене.

Некоторых гимназистов класс «освобождал» от драки. Освобождали больных, слабосильных или тех мальчиков, которые чувствовали отвращение не только к драке, но даже к обыкновенной возне друг с другом. Их освобождали охотно: никакого толку от них все равно не было. Меня освобождали по последней причине.

Освобожденные во время боя должны были быть без кушаков. В этом случае, по железным законам гимназической войны, их никто не трогал.

Освобожденные предпочитали все же не выходить в сад и наблюдали бой из окон классов — оттуда было лучше видно. Бой начинался с внезапной и зловещей тишины в здании гимназии. Коридоры мгновенно пустели. Все гимназисты устремлялись в сад.

Потом раздавался глухой и грозный рев. От него бледнел и крестился инспектор Бодянский. В облаках пыли, поднятой наступающими друг на друга рядами, проносились, свистя, как картечь,

сотни каштанов.

Все сторожа — Казимир, Максим Холодная Вода и еще несколько других — бежали рысью в сад. За ними мчались, обгоняя друг друга, испуганные надзиратели. Хлопали двери. В коридорах раздавались встревоженные голоса учителей.

Инспектор Бодянский, натягивая на ходу форменное пальто и нахлобучивая фуражку с кокардой, сбегал по лестнице, торопясь на место боя.

Однажды вслед за Бодянским в сад поспешно спустился и ксендз-каноник Олендский. Мы полезли на подоконники. Нам хотелось увидеть, как Олендский подымет над головой крест и будет призывать враждующих к примирению.

Но вместо этого Олендский, засучив рукава сутаны, начал разнимать дерущихся и расшвыривать их в стороны. Он делал это с необыкновенной ловкостью. Гимназисты отлетали от него, как мячи. Должно быть, Олендский вспомнил свое детство. Ксендз, отдуваясь, вернулся из сада в учительскую. Судя по его разгоряченному и сияющему лицу, участие в этом бою, даже в качестве примирителя, доставило ему большое удовольствие.

Как только вспыхивал бой, все запасные вы-

ходы в сад немедленно открывались. Это было военной хитростью. Выходы открывались для того, чтобы сторожа и надзиратели, разъединяя дерущихся, могли оттеснять их по частям в эти запасные выходы.

— В Первой гимназии началось! — орали на улице мальчишки.

Из окон трудно было разобрать, что происходит и что началось. Летела пыль, трещали ветки деревьев. Были слышны крики и глухой топот, будто в саду наступали друг на друга, отдавливая ноги, стада слонов.

Потом, все сметая, раскатываясь по гулким коридорам, возникал, рос, превращался в громоподобный рев ликующий победный крик — это значило, что второе отделение победило, а первое обращается в бегство.

На моей памяти не было случая, чтобы первое отделение одержало победу.

Почти всегда в первых рядах победителей был гимназист с задорным вздернутым носом — будущий писатель Михаил Булгаков. Он врезался в бой в самые опасные места. Победа носилась следом за ним и венчала его золотым венком из его собственных растрепанных волос.

Оболтусы из первого отделения боялись Бул-

гакова и пытались опорочить его. После боя они распускали слухи, что Булгаков дрался незаконным приемом — металлической пряжкой от пояса. Но никто не верил этой злой клевете, даже инспектор Бодянский.

Но этот раз я участвовал в бою, потому что мне надо было посчитаться с гимназистом Хавиным, сыном биржевого маклера.

Этот высокий развинченный гимназист почти в каждую фразу ухитрялся вставлять слово «сакраментально», несмотря на то что сильно картавил. Сидя в театре, он посылал томные воздушные поцелуи знакомым девушкам. Он приезжал в гимназию в собственном экипаже и был налит презрением к нам, разночинцам.

Все вышло из-за пани Козловской. Старушка плохо видела и боялась одна выходить в город. Почти каждое воскресенье я провожал ее в костел. Пани Козловская смущалась тем, что затрудняет меня, без устали извинялась и от стеснения краснела, как девушка.

Обыкновенно я вел ее под руку, иначе она натыкалась на встречных. Иногда меня сменял в роли поводыря поручик Ромуальд. Но это бывало редко. Я подозревал, что поручик стыдился старушки-матери, ее старомодного пальто и ее

беспомощности. Во всяком случае, по утрам в воскресенье поручик почти всегда бывал «чертовски занят».

В одно из воскресений я вел пани Козловскую в костел по Михайловской улице. Нам встретился Хавин. Он поднял брови и, прищурившись, посмотрел на меня. Лицо его изобразило презрительное недоумение. Потом он медленно с ног до головы осмотрел пани Козловскую, усмехнулся, громко щелкнул пальцами, свистнул и прошел.

Когда начался бой, я вышел в сад. Хавин стоял в стороне. Кушака на нем не было. Он был «освобожденный». Я тоже был «освобожденный» и тоже был без кушака. Но я подошел к Хавину и дал ему оплеуху.

Хавин странно пискнул. Меня схватил за руку надзиратель «Шпонька».

На следующий день инспектор Бодянский вызвал меня к себе.

— Это что ж такое? — сказал Бодянский. — Я еще понимаю, если бы вы дрались в обязательном порядке, как все наши готтентоты. А то извольте — дать человеку пощечину! За что?

— Было за что. Я никогда в жизни не дрался, Павел Петрович. Вы же знаете.

— Так, так! Рискуете все-таки, что во втором

полугодии вам не дадут освобождения от платы. За что вы его ударили?

Я уперся и не хотел сказать, за что я ударил Хавина.

— Стоило. Можете мне верить или нет, Павел Петрович, но больше я ничего не скажу.

— Верю, — сказал Бодянский. — Идите! И пусть этот случай поглотит медленная Лета.

После каждого боя у директора и Бодянского были неприятные объяснения с попечителем учебного округа и с родителями потрепанных оболтусов.

— Вот что значит, если у людей нет царя в голове, — говорил нам с горечью Бодянский. — А еще читаете всяких Ибсенов и Леонидов Андреевых! Просвещенные юноши! Будущие столпы общества! Зулусы и троглодиты!

«Живые» языки

Из «мертвых» языков мы изучали в гимназии только латынь. Она была главным предметом. Преподавал нам латынь наш классный наставник Владимир Фаддеевич Субоч, похожий на высокого, худого кота с оттопыренными светлыми усами. Он был добрый человек, и мы его любили,

хотя он и позволял себе иногда неожиданные и стремительные разгромы по латинскому языку всего нашего класса.

Бодянский тоже строго следил за нашими познаниями в латыни и любил повторять:

— Латинская речь есть величайший феномен языкосложения!

Греческий язык был необязателен. Изучали его немногие. Преподавал этот язык старый, обсыпанный табачным пеплом чех Поспешиль. Он медленно продвигался по коридорам на больных, опухших ногах и всегда опаздывал на уроки. За это мы переименовали его из Поспешиля в Опоздаль.

Из «живых» языков мы изучали французский и немецкий. Это были скучные уроки.

Француз Сэрму, сухорукий, с рыжей острой бородкой времен короля Генриха IV, приносил под мышкой большие олеографии и развешивал их на стене.

На олеографиях была изображена счастливая жизнь поселян неизвестной национальности в разные времена года. Весной эти поселяне в соломенных шляпах с разноцветными лентами пахали землю, в то время как их румяные жены, затянутые в корсажи, кормили желтых цыплят.

Летом поселяне косили сено и плясали вокруг стогов, помахивая ветками розанов. Осенью они молотили хлеб около игрушечных хижин, а зимой, очевидно за неимением других дел, катались на коньках по замерзшей реке.

Но все же картинки с поселянами были гораздо интереснее других картинок, изображавших скучные геометрические комнаты со скудной мебелью и котенком, играющим клубком шерсти.

Сэрму развешивал олеографии, брал в здоровую руку указку, показывал на поселян, танцующих с серпами, или на котенка и спрашивал громовым голосом по-французски:

— Что видим мы на этой интересной картинке?

Мы хором отвечали по-французски, что на этой картинке мы ясно видим добрых пейзан или совсем маленькую кошку, играющую нитками достопочтенной бабушки.

Эта канитель с картинками длилась два года, пока однажды вместо Сэрму инспектор не привел к нам на урок нового учителя, мосье Говаса.

Мосье Говас только что приехал в Россию. Он не знал ни слова по-русски. Первый его урок в этой загадочной стране выпал как раз на наш класс.

Мосье Говас происходил из Бретани. Это был

низенький толстый человечек, настолько равнодушный, что он даже не давал себе труда на нас сердиться.

Инспектор представил нам мосье Говаса и ушел. Тогда встал гимназист-француз Регамэ и на великолепном парижском диалекте учтиво сообщил мосье Говасу, что в России перед уроком принято читать молитву. Мосье Говас снисходительно улыбнулся, очевидно подумав, что каждая страна имеет свои странности.

Тогда наступила очередь гимназиста Литтауэра. Он был еврей, но хорошо знал православное богослужение.

Литтауэр вышел, остановился против иконы, широко перекрестился и начал «молитву перед учением»: «Преблагий Господи, ниспошли нам благодать духа Твоего святаго, дарствующего и укрепляющего душевные наши силы».

Он прочел эту молитву пять раз, потом прочел «Великую ектению». После этого Литтауэр огласил «Символ веры», «Отче наш» и начал читать молитву Ефрема Сирина.

Мосье Говас стоял, вежливо склонив голову и недоумевая.

— Господи, владыко живота моего! — взывал Литтауэр. — Дух праздности, уныния, любонача-

лия и празднословия не даждь ми!

Мы хором повторяли слова молитвы и поглядывали на часы. До конца урока оставалось десять минут. Мы боялись, что у Литтауэра не хватит богослужебных познаний, чтобы дотянуть эти десять минут. Но Литтауэр нас не подвел. Он второй раз прочел «Символ веры» и закончил урок торжественным чтением молитвы «Спаси, Господи, люди Твоя».

Затрещал звонок, и мосье Говас, слегка пожав плечами, ушел в учительскую. Черный его сюртук блеснул в солнечном луче и поплыл, лоснясь, по коридору.

Мы хохотали, прячась за поднятыми крышками парт, но через минуту в класс вкатился, задыхаясь, инспектор Бодянский и крикнул:

— Фигли-мигли! Кощунствовать изволите, лоботрясы! Кто тут устроил молебствие? Наверное, ты, Литтауэр?

— Что вы! — воскликнул, вставая, Литтауэр. — Я же еврей, Павел Петрович.

— Ой-ой-ой! — сказал Бодянский. — Еврей! Интересный резон! Будто я поверю, что если ты перекрестишься, то у тебя отсохнет рука! Собери книги и ступай домой. По дороге можешь обдумывать то печальное обстоятельство, что отныне

ты уже имеешь вторую четверку по поведению.

При мосье Говасе мы погрузились в дебри неправильных глаголов и спряжений. Великолепный язык оборачивался тяжелой схемой. Мы путались среди загадочных ударений, между всеми этими «аксант эгю», «аксан грав» и «аксан сирконфлекс». Постепенно случилось так, что живой язык Флобера и Гюго начал существовать для нас как нечто совершенно оторванное от того, что преподавал нам мосье Говас.

Чем старше мы становились, тем больше любили французскую литературу, стремились читать французов в подлинниках. Для этого мы изучали язык сами или с помощью частных преподавателей, махнув рукой на флегматичного бретонца. А он все спрягал и склонял, поглядывая за окно, где падал с русского неба холодный белый снег. И в глазах у мосье Говаса ничего нельзя было прочесть, кроме тоски по огню камелька.

Мы пытались заговаривать с ним о Бальзаке и Дюма, о Гюго и Доде, но мосье Говас или отмалчивался, или замечал, что это литература для взрослых, а не для русских мальчиков, которые до сих пор не знают разницы между «фютюром» и «кондисионелем».

С течением времени выяснилось, что у мосье

Говаса есть в Бретани, в маленьком городке, каменный домик и старуха-мать и что мосье Говас приехал в Россию только для того, чтобы, заработав за несколько лет кругленькую сумму, вернуться в свой дом, где мать его разводила кроликов, а мосье Говас собирался выращивать шампиньоны и сбывать их в Париж — это было выгодно. Поэтому мосье Говаса совершенно не интересовали ни Россия, ни французская литература.

Один только раз мосье Говас разговорился с нами. Это было весной. Мосье Говас готовился поехать на летние каникулы в Бретань. Этим объяснялось его хорошее настроение.

Он угрюмо шутил и сообщил нам, что человек создан, чтобы жить без всяких волнений. А для этого нужно подчиняться законам и довольствоваться малым.

Потом он рассказал нам, как ловил мальчиком омаров со своим дедом, вздохнул и задумался. За окнами цвели каштаны. Весна бродила вместе с легким сквозным ветром по коридорам, дышала в лицо девичьим своим дыханием. Мосье Говас смотрел на весну и печально покачивал головой — жизнь выбросила его в мир, как ветер сдувает с зеленого листика толстую божью коровку. А все

потому, что он был небогат и должен был скучным своим трудом сколачивать тихое будущее.

— Да, — сказал мосье Говас, — такова жизнь! Будем же терпеливы. Не станем роптать на судьбу и на бога. Терпенье вознаграждается. Не так ли?

Никто ему не ответил, потому что в то время мы были уверены в том, что терпение сродни идиотизму.

Много лет спустя я рассказал своему другу, писателю Аркадию Гайдару, как мосье Сэрму обучал нас французскому языку по олеографиям.

Гайдар обрадовался, потому что и он учился этим же способом. Воспоминания начали одолевать Гайдара. Несколько дней подряд он разговаривал со мной только по методу Сэрму.

Мы жили тогда под Рязанью, много бродили, ловили рыбу в озерах.

— Что мы видим на этой картинке? — спрашивал по-французски Гайдар во время наших скитаний и тут же сам себе отвечал: — Мы видим негостеприимную деревню, покидаемую бедными путниками. Мы видим поселян, не пожелавших обменять путникам три яйца на горсть табаку.

Когда мы возвращались в Москву по пустынной железнодорожной ветке от станции Тума до Вла-

димира, Гайдар разбудил меня ночью и спросил:

— Что мы видим на этой интересной картинке?

Я ничего не видел, потому что свеча в фонаре сильно мигала и по вагону бегали тени.

— Мы видим, — объяснил Гайдар, — одного железнодорожного вора, который вытаскивает из корзинки у почтенной старушки пару теплых русских сапог, называемых валенками.

Сказав это, Гайдар — огромный и добродушный — соскочил со второй полки, схватил за шиворот юркого человека в клетчатой кепке, отобрал у него валенки и сказал:

— Выйди вон! И чтобы я тебя больше не встречал в жизни!

Испуганный вор выскочил на площадку и спрыгнул на ходу с поезда. Это было, пожалуй, единственное практическое применение метода господина Сэрму.

Уроки немецкого языка были интереснее французских. Не потому, что Оскар Федорович Иогансон был образцовым преподавателем, а потому, что на этих уроках мы иногда занимались вещами, далекими от немецкого языка. Чаще всего Оскар Федорович давал нам переписывать партитуру своей оперы «Дух токайского вина».

Иогансон был венец, пожилой и нервный. В класс он приходил с деревянной ножкой, отпиленной от стула. Когда беспорядок достигал недопустимых размеров, Иогансон хватал ножку от стула и начинал изо всей силы колотить по столу. Мы сразу приходили в себя.

Иогансон был знатоком и любителем музыки. Он собирался быть композитором, но какая-то несчастная история в его жизни помешала ему в этом, и он с отвращением занялся преподаванием.

От нас он требовал самых ничтожных познаний в немецком языке. Если кто-нибудь из нас проваливался, Иогансон долго смотрел на него поверх пенсне, вздыхал и медленно ставил тройку с минусом.

Однажды, когда я был уже в шестом классе, Иогансон потерял в трамвае рукопись своей оперы. Это был единственный экземпляр. Он напечатал об этом объявление в газетах. Но никто оперу не возвращал. Целую неделю Иогансон не приходил в гимназию, а когда пришел, мы его почти не узнали — он посерел, и желтая его шея была замотана рваным шарфом. В этот день на уроке у Иогансона стояла глубокая тишина.

— Ну вот, юноши, — заговорил Иогансон, — все

кончено! Эта опера была делом всей моей жизни. Я становился молодым, когда писал ее. С каждой страницей с меня слетало по нескольку лет. Да! Это было так! То была музыка счастья. Я писал о нем. Где оно? Всюду! В том, как шумит лес. В листьях дуба, в запахе винных бочек. В голосах женщин и птиц. Везде и всюду. Я мечтал быть бродячим певцом, а не таскать этот форменный сюртук. Я завидовал цыганам. Я пел бы на деревенских свадьбах и в доме лесника. Пел бы для влюбленных и одиноких, для героев и поэтов, для обманутых и не потерявших веры в добро. Все это было в моей опере. Все! Я надеялся, что умру спокойно, если увижу ее на сцене венского театра. Может быть, думал я, мой друг, старый поэт Альтенберг, придет и сядет, как медведь, в бархатное кресло, и слеза появится у него на глазах. Это было бы для меня лучшей наградой. А может быть, эту музыку услышала бы та, что никогда не верила в мои силы…

Иогансон говорил, рассматривая свои худые пальцы. Он будто опьянел от горя. Он всегда говорил немного пышно и театрально, но сейчас мы этого не замечали. Мы сидели потупясь.

После урока на перемене к нам пришел Субоч.

— Я хотел предупредить вас, — сказал он, когда

мы его окружили, — чтобы вы особенно деликатно вели себя теперь на уроках Оскара Федоровича. Но я подумал, что вы догадаетесь об этом и без моих указаний.

В тот же день по всем классам гимназии пронесся призыв: «Найти оперу! Найти ее во что бы то ни стало!»

Кто бросил этот призыв, я не знаю. Он передавался из уст в уста. Мы собирались кучками и обсуждали пути поисков. Мы ходили, как заговорщики. В душе у каждого бушевало нетерпение.

Поиски начались. Мы опрашивали кондукторов трамваев, обходили базары. Мы рылись у торговцев в оберточной бумаге. Наконец на Лукьяновском базаре опера была найдена.

Увидел ее один гимназист восьмого класса у торговки салом. Торговка жаловалась, что бумага не годится для обертки — чернильные строчки отпечатываются на сале, и покупатели сердятся. Поэтому в рукописи не хватало всего трех страниц.

Рукопись вернули Иогансону на уроке в восьмом классе. Мы не видели, как это произошло. Мы только видели, как Иогансон шел после урока по коридору, окруженный восьмиклассниками. Он был без пенсне. Он шел нетвердо, пошаты-

ваясь. Восьмиклассники поддерживали его. В дверях учительской комнаты стоял инспектор Бодянский, улыбался и кивал головой. Он обнял Иогансона, и они поцеловались.

В гимназии несколько дней длилось нотное безумие. Иогансон приносил партитуру оперы и чистую нотную бумагу. Он раздавал нам эту бумагу, и мы переписывали оперу в нескольких экземплярах.

Это было в конце зимы, а весной я получил по почте кусочек картона. На нем было написано, что Оскар Федорович Иогансон просит меня «почтить своим присутствием» исполнение отрывков из его оперы, которое произойдет на квартире у одного из моих товарищей по классу.

Вечером я пошел в назначенное место, на Бибиковский бульвар. Широкая лестница в доме моего товарища была ярко освещена. Два больших зала были полны народа. Больше всего было гимназистов, но были и гимназистки из Мариинской гимназии, и седовласые музыканты, и актеры.

Иогансона еще не было. Я стоял у входа в зал и видел освещенную лестницу. На ней появился Оскар Федорович. Он взбежал по лестнице — тонкий, помолодевший, в черном элегантном сюртуке. Он быстро вошел в зал. Все зааплоди-

ровали.

Тотчас началась музыка. Играл квартет в сопровождении рояля. Это была действительно музыка о счастье, о страданиях любящих, равных мучениям Тристана и Изольды. Я не могу передать певучесть этой музыки, ее струнную силу.

Когда музыка окончилась и большинство гостей, поздравив Иогансона, разошлись, нас, оставшихся, пригласили к столу.

Поздней ночью мы проводили Иогансона до дому. По дороге он зашел на телеграф и послал телеграмму в Вену. Он вышел из телеграфной конторы погрустневший и сказал, что слишком долго ждал этого дня. А когда слишком долго ждешь, то радость превращается в некоторую печаль.

«Господа гимназисты»

Кто мог знать, что получится из нас, «господ гимназистов», как называл нас Бодянский? Что получится из этих юношей в выгоревших фуражках, всегда готовых ко всяческим выходкам, насмешкам и спорам? Что, например, получится из Булгакова? Никто этого не мог знать.

Булгаков был старше меня, но я хорошо помню

стремительную его живость, беспощадный язык, которого боялись все, и ощущение определенности и силы — оно чувствовалось в каждом его, даже незначительном, слове.

Булгаков был полон выдумок, шуток, мистификаций. Он превращал изученный нами до косточки гимназический обиход в мир невероятных случаев и персонажей.

Какой-нибудь выцветший надзиратель «Шпонька», попадая в круг булгаковских выдумок и «розыгрышей», вырастал до размеров Собакевича или Тартарена. Он начинал жить второй, таинственной жизнью уже не как «Шпонька» с опухшим, пропитым носом, а как герой смехотворных и чудовищных событий.

Своими выдумками Булгаков чуть смещал окружающее из мира вполне реального на самый краешек мира преувеличенного, почти фантастического.

Мы встретились с Булгаковым после гимназии только в 1924 году, когда он был уже писателем. Он не изменил Киеву. В пьесе его «Дни Турбиных» я узнал вестибюль нашей гимназии и сторожа Максима Холодная Вода — честного и прилипчивого старика. За кулисами театра зашелестели наши осенние киевские каштаны.

Почти в одно время со мной в гимназии учились несколько юношей, ставших потом известными литераторами, актерами и драматургами. Киев всегда был городом театральных увлечений.

Было ли случайностью, что эта гимназия за короткое время воспитала столько людей, причастных к литературе и искусству? Я думаю, нет. (Недаром Субоч говорил нам, когда мы «случайно» опаздывали на уроки: «Нет в жизни ничего случайного, кроме смерти». Высказав эту сентенцию, Субоч ставил опоздавшему пять с минусом по поведению.)

Это не было, конечно, случайностью. Причины этого явления так многочисленны и трудно уловимы, что мы, по лености своей, не хотим в них углубляться и предпочитаем думать, что все произошло по счастливой случайности.

Мы забываем об учителях, которые внушили нам любовь к культуре, о великолепных киевских театрах, о повальном нашем увлечении философией и поэзией, о том, что во времена нашей юности были еще живы Чехов и Толстой, Серов и Левитан, Скрябин и Комиссаржевская.

Мы забываем о революции Пятого года, о студенческих сходках, куда мы, гимназисты, ухитрялись пробираться, о спорах взрослых, о

том, что Киев всегда был городом с большим революционным накалом.

Мы забываем, что запоем читали Плеханова, Чернышевского и революционные брошюры, отпечатанные на рыхлой серой бумаге с лозунгами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Земля и воля». Читали Герцена и Кропоткина, «Коммунистический манифест» и романы революционера Кравчинского.

Но и это беспорядочное чтение давало свои плоды.

Мы забываем о знаменитой библиотеке Идзиковского на Крещатике, о симфонических концертах, о киевских садах, о сияющей и хрустящей от листвы киевской осени, о том, что торжественная и благородная латынь сопутствовала нам на всем протяжении гимназических лет. Забываем о Днепре, мягких туманных зимах, богатой и ласковой Украине, окружавшей город кольцом своих гречишных полей, соломенных крыш и пасек.

Трудно уловить влияние этих вещей, разнообразных и подчас далеких друг от друга, на наше юношеское сознание. Но оно было. Оно давало особый поэтический строй нашим мыслям и ощущениям.

Мы увлекались поэзией и литературой. Но понимание русской литературы, всей ее классической ясности и глубины, пришло к нам позже, чем понимание более легкой литературы Запада.

Мы были молоды, и западная литература привлекала нас изяществом, спокойствием и совершенством рисунка. Холодный и прозрачный Мериме был легче для нас, чем мучительный Достоевский. У Мериме или у Флобера все было ясно, как в летнее утро, а Достоевский надвигался, как гроза с ее тревогой и желанием спрятаться под надежную крышу. И Диккенс не знал сомнений. И Гюго. И Бальзак.

А может быть, в увлечении нашем западной литературой повинны и дешевые желтенькие книжки «Универсальной библиотеки». Они наводняли тогда книжные магазины. За двадцать копеек можно было прочесть «Монт-Ориоль», «Евгению Гранде», «Дикую утку» и «Пармский монастырь». Мы читали все это запоем.

Одно время мы особенно увлекались французской поэзией — Верленом, Леконтом де Лилем и Теофилем Готье. Мы читали их в подлинниках и в переводах. Легкий, временами почти неуловимый, как отдаленный запах, а временами

твердый, как металл, французский язык звучал у этих поэтов колдовством.

Эта поэзия привлекала нас не только певучестью и туманным содержанием, похожим на весеннюю дымку, но и тем, что она вызывала представление о самих поэтах, о Париже. Поэзия эта существовала как одна из заманчивых вещей в ряду многих заманчивых вещей, связанных с Парижем. Аспидные крыши, кольцо бульваров, дождь, огни, Пантеон, розовая ночь над Сеной и, наконец, стихи. Так возникал в нашем наивном представлении Париж. Он был немыслим без стихов, как без баррикад и поцелуев.

Но очень скоро я, увлекавшийся французской поэзией, понял, что это — холодный блеск, тогда как рядом сверкают россыпи живой и чистой поэзии русской.

Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле…

Мы росли, и постепенно могучая и, быть может, величайшая в мире русская литература овладевала нашими сердцами и вытесняла на второй, хотя и почетный, план литературу Запада.

Кроме литературы, мы увлекались еще и живописью.

На мраморной доске в актовом зале гимназии золотыми буквами были написаны имена медалистов и знаменитых людей, окончивших нашу гимназию. В числе этих людей был художник Ге. Этого художника, хотя он и был нашим старшим товарищем, мы все же не признавали за черный тон и нравоучительность его картин. В наше время начиналось запоздалое увлечение импрессионизмом.

Мой товарищ по классу Эмма Шмуклер готовился быть художником. Он учился живописи у киевского импрессиониста Маневича. Мне нравились картины Маневича — местечковые домишки и дворы, написанные жирно, почти малярным мазком.

Я часто бывал в доме у Эммы. Это был, как говорили, артистический дом.

Отец Эммы, широко известный в городе врач-бессребреник, в юности мечтал стать оперным актером. Почему-то это не удалось ему. Но все же страсть к опере преобладала у доктора Шмуклера над всем.

Все в его доме было оперное — не только сам хозяин, крупный, бритый и громогласный, но и рояль, ноты, написанные от руки, жардиньерки для цветочных подношений, афиши, портреты

знаменитых певцов и перламутровые бинокли. Даже шум, не затихавший в квартире у доктора, был совершенно оперный. Окрики на детей, горячие ссоры — все это походило на рулады, речитативы, модерато, аллегро и форте, на дуэты и трио, на перебивающие друг друга мужские, женские и детские арии. Во всем этом шуме был скрытый напев. Голоса из квартиры Шмуклера звучали звонко и свободно, как бельканто, и разносились по всей парадной лестнице.

Я часто бывал у Эммы Шмуклера, но все же предпочитал этому семейному дому каморку другого моего товарища по гимназии, поляка Фицовского. Так же как и я, он жил один.

Фицовский, коренастый, с русой прядью на лбу, был всегда невозмутимо спокоен и относился ко всему как к глупой суете.

У него были свои чудачества, раздражавшие учителей. Например, он разговаривал со своим соседом по парте, весельчаком Станишевским, на чистейшем русском языке, но так, что порой нельзя было понять ни слова. Достигалось это простым способом. Все ударения в словах Фицовский делал неправильно и говорил очень быстро.

Фицовский заставил меня изучить междуна-

родный язык эсперанто. У этого языка, выдуманного варшавским зубным врачом Заменгофом, было только то достоинство, что он был легок. На этом языке печаталось в разных странах много газет. В этих газетах меня интересовали столбцы адресов тех людей, которые хотели переписываться на эсперанто.

По примеру Фицовского я начал переписываться с несколькими эсперантистами в Англии, Франции, Канаде и даже Уругвае. Я посылал им открытки с видами Киева, а взамен получал открытки с видами Глазго, Эдинбурга, Парижа, Монтевидео и Квебека. Постепенно я начал разнообразить свою переписку. Я просил присылать мне портреты писателей и иллюстрированные журналы. Так у меня появился прекрасный портрет Байрона, присланный молодым английским врачом из города Манчестера, и портрет Виктора Гюго. Его мне прислала молоденькая француженка из Орлеана. Она была очень любопытна и задавала много вопросов — правда ли, что русские священники носят одежды из листового золота и что все русские офицеры говорят по-французски.

Каждую неделю мы устраивали в каморке у Фицовского пирушки. На этих пирушках мы меньше

всего пили (денег хватало только на бутылку наливки), но больше всего разыгрывали из себя лермонтовских гусар, читали стихи, спорили, произносили речи и пели.

Засиживались мы до утра. Рассвет, проникавший в прокуренную каморку, казался нам рассветом удивительной жизни. Она ждала нас за порогом. Особенно хороши были рассветы весной. В чистом утреннем воздухе звенели птицы, и голова была полна романтических историй.

Эта удивительная жизнь, что ждала нас за порогом, была неуловимым образом связана с театром.

В тот год мы увлекались русской драмой и актрисой Полевицкой. Она играла Лизу в «Дворянском гнезде» и Настасью Филипповну в «Идиоте».

Ходить в театр мы могли только с разрешения инспектора Бодянского. Он не давал нам больше одного разрешения в неделю. Тогда мы начали подделывать разрешения. Я подписывал их за Бодянского и так набил руку, что Бодянский только качал головой, когда надзиратели показывали ему отобранные у гимназистов разрешения. Он не мог отличить фальшивые от настоящих и говорил:

— Я этих театралов скручу в бараний рог! Латинский язык надо учить, а не шляться по галеркам! Фальшивомонетчики вы, а не сыновья почтенных родителей!

Мы поджидали Полевицкую после спектаклей около актерского подъезда. Она выходила — высокая, светлоглазая. Она улыбалась нам и садилась в сани. Встряхивались бубенцы. Их звон уносился вниз по Николаевской улице, исчезал в снежной ее глубине.

Мы расходились по домам, а снег все падал и падал. Пылали щеки. Молодое и пылкое наше счастье бежало наперегонки с нами по скользким тротуарам, провожало нас, долго не давало заснуть.

Оно мигало на стенах моей комнаты светом ночного фонаря. Оно сыпалось на землю ворохами снега. Оно пело всю ночь сквозь теплый сон свою вечную песню о любви и печали.

За окном свистели полозья. Горячие лошади скакали мимо. Кого они уносили в эту ночь?

В комнате поручика Ромуальда сама по себе звучала струна на гитаре. Звук струны долго дрожал. Он делался все тоньше, пока не становился сначала как серебряный волосок, потом как серебряная паутина. Тогда он затихал.

Так, в радостном возбуждении, в сумятице дней, где жизнь переплеталась со строчками стихов так крепко, что их нельзя было оторвать друг от друга, тянулась зима.

Я тогда жил уже совершенно один и зарабатывал дешевыми уроками. Денег мне хватало на еду и на библиотеку, но я в то время совершенно не ощущал, должно быть по молодости, никакой тяжести и тревоги.

Горбоносый король

Когда в Киев приезжало какое-нибудь сановное лицо, ему непременно показывали нашу гимназию. Она была одной из старейших в России.

Начальство гордилось не только историей этой гимназии, но и ее зданием — величественным и неуютным. Единственным украшением этого здания был беломраморный зал в два света. В этом зале всегда было холодно, даже летом.

Мы любили сановные посещения, потому что каждая высокая особа просила директора освободить в память своего посещения гимназистов от занятий на один или на два дня.

Директор благодарил за честь и соглашался. Мы торопливо связывали ремешками книги и

вываливались буйными толпами на улицу.

Но не все посещения высоких особ сходили так гладко. Бывали и неприятности. Одна такая неприятность случилась с королем Сербии Петром Карагеоргием. Мы знали, что он вступил на престол после кровавого дворцового переворота.

За неделю до его приезда Платон Федорович начал обучать нас сербскому гимну «Боже правды, ты, что спасе от напасти досад нас». Кроме того, нам было приказано, приветствуя короля, кричать не «ура», а «живио».

Директор Терещенко, «Маслобой», должен был сказать королю несколько приветственных слов по-французски. Текст приветствия написал мосье Говас. Он гордился этим. Впервые ему выпала на долю высокая честь писать приветствие его величеству королю.

Директор выучил приветствие наизусть. В этом он сравнялся с нами. Но «Маслобой» отличался слабой памятью. Он боялся забыть приветствие перед лицом Петра Карагеоргия.

Директор нервничал. Он потребовал от нового нашего инспектора Варсонофия Николаевича (Бодянский был в то время назначен директором Третьей гимназии), чтобы тот дал ему в помощь лучшего подсказчика-гимназиста.

Мы не любили «Маслобоя» и отказались назвать лучшего подсказчика. Пусть «Маслобой» справляется сам.

Лучший подсказчик в гимназии — к тому же француз — Регамэ учился в нашем классе. Вместе с нами он невозмутимо выслушивал просьбы инспектора и вежливо улыбался.

Наконец мы сдались. Мы обещали дать подсказчика, но только в том случае, если будет исправлена несправедливая двойка по математике безответному гимназисту Боримовичу. Иванов обещал переделать двойку на тройку.

Соглашение было достигнуто. Регамэ получил текст приветствия и переписал его на шпаргалку. Приветствие начиналось словами: «Sir, permettez á nous» и так далее. По-русски это звучало примерно так: «Сир, позвольте нам приветствовать вас в седых стенах нашей славной гимназии!»

Мы все выучили это приветствие наизусть. Когда директор проходил по коридору, мы хором, подражая его пискливому голосу, говорили из класса ему в спину: «Сир, позвольте нам приветствовать вас в седых стенах нашей славной гимназии!»

Нас особенно веселили «седые стены». «Маслобой» делал вид, что ничего не слышит.

В день приезда короля гимназия светилась праздничной чистотой. Широкую лестницу устлали красными коврами. День был солнечный, но, несмотря на это, в актовом зале зажгли люстры.

Мы пришли в парадных мундирах. Наш класс выстроили в две шеренги в вестибюле. Сбоку стоял Субоч с маленькой шпагой, засунутой в карман вицмундира. Над карманом блестел только тонкий золотой эфес. От Субоча пахло духами. Его пенсне так сверкало, будто стеклышки его были сделаны из пластинок алмаза.

У мраморной колонны стоял «Маслобой». По нашей гимназической терминологии, «Маслобой» «выпустил пар». Он был бледен. Ордена дребезжали на его тугом сюртуке.

С улицы послышалось «ура». Это кричали войска, расставленные шпалерами.

«Ура» приближалось к гимназии. Грянул оркестр. Двери распахнулись. «Маслобой» беспомощно оглянулся на Регамэ и двинулся рысцой навстречу королю.

Низенький горбоносый король с седыми усами, в голубой шинели с серебряным набором, быстро вошел, припрыгивая, в вестибюль. За его спиной все голубело от шинелей и лоснилось от

цилиндров.

Швейцар Василий, бывший цирковой борец, должен был снять с короля шинель. Но Василий растерялся и, вместо того чтобы снимать шинель, начал натягивать ее на короля.

Король сопротивлялся. Он даже покраснел. Наконец он вырвался из могучих лап Василия. К королю подскочил адъютант и, отстранив Василия рукой в белой лайковой перчатке, услужливо снял королевскую шинель. Глаза у Василия помутнели, как у пьяного. Василий стоял вытянувшись и отдувался — он не мог сообразить, что случилось.

— Сир! — сказал «Маслобой», склонившись перед королем, и отчаянно замахал засунутой за спину левой рукой. Это значило, что он забыл речь.

Регамэ тотчас начал «подавать». Он делал это виртуозно.

Король недовольно смотрел на красную директорскую лысину. Он еще тяжело дышал после борьбы с Василием. Потом король услышал подсказку и усмехнулся.

Директор кое-как окончил приветствие и показал королю на узкий проход между шеренгами гимназистов, приглашая «его величество» про-

следовать в актовый зал.

Король двинулся. За ним, гремя саблями, небрежно волоча их по чугунным полам вестибюля, хлынула свита. Аксельбанты замелькали в наших глазах.

На шаг позади короля шел воинственный генерал Иванов, командующий Киевским военным округом.

За свитой шли, сняв цилиндры и слащаво улыбаясь, сербские министры.

Мы заранее обо всем договорились. Как только король вошел в проход между синими гимнастическими мундирами, мы дружно и во весь голос грянули: «Жулье!» Это было похоже на «живио».

Мы повторили этот крик несколько раз. Он гремел в «седых стенах» гимназии.

Король, ничего не подозревая, медленно шел, позванивая шпорами, кивал нам и улыбался.

Субоч побледнел. Командующий Киевским военным округом генерал Иванов незаметно показывал нам за спиной кулак. В нем была зажата перчатка. Перчатка тряслась от негодования. «Маслобой», приседая от испуга, семенил за королем.

Король прошел, и мы услышали, как гимназический хор торжественными и постными

голосами запел наверху: «Боже правды, ты, что спасе...»

Субоч пристально осмотрел всех нас. Но мы стояли стройно и безмолвно. На наших лицах не отражалось ничего, кроме умиления перед этой торжественной минутой. Субоч пожал плечами и отвернулся.

Но история с королем еще не была окончена. Когда король шел обратно, мы дружно и оглушительно прокричали: «Держи его!» Это опять было похоже на «живио». И король опять ничего не понял. Он милостиво улыбался, а министры все так же изящно несли перед собой цилиндры с атласной белой подкладкой.

Но когда мимо нас проходил седобородый премьер-министр Пашич, считавшийся либералом, мы впервые прокричали понятно и правильно: «Живио, Пашич!»

Мы, конечно, перестарались. Матусевичу, обладавшему могучим басом (впоследствии Матусевич был певцом Киевской оперы), поручили прокричать «Держи его!» прямо в ухо королю. Король пошатнулся, но быстро овладел собой и любезно кивнул Матусевичу.

После этого случая с королем двенадцать гимназистов из нашего класса, в том числе и я,

получили разнос от директора. После разноса нам запретили три дня посещать гимназию. Начальство явно старалось замять всю эту историю с королем, боясь огласки.

До сих пор я не понимаю смысла нашего исключения. Это были три дня безмятежного отдыха, чтения, прогулок по Днепру и посещения театров.

Скрыть случай с сербским королем, конечно, не удалось. Нам неистово завидовала вся наша гимназия. И не только наша, но и Вторая, и Третья, и реальное училище, куда никогда не возили никаких королей.

Из пустого в порожнее

До сих пор я подозрительно отношусь к людям с черными, как маслины, круглыми глазами. Такие глазки были у моей ученицы Маруси Казанской.

Они бессмысленно озирали мир и вспыхивали любопытством только при виде бравого юнкера или лицеиста в шинели с бобровым воротником. Стоило за окном прошагать юнкеру, и все вызубренное наизусть — хронология, география и правила синтаксиса — мгновенно вылетало из Марусиной головы.

Я был репетитором у Маруси Казанской. Она мне дорого обошлась, щебечущая и остроносая Маруся с булавочными глазками! Урок этот мне устроил Субоч. «Семейство почтенное, — сказал мне Субоч, — но предупреждаю, что девица не блещет талантом».

Почтенное семейство Маруси состояло из Маруси, ее отца — отставного генерала и матери — тощей француженки.

Генерал был ростом с карлика, но носил окладистую бороду. Он был так мал, что не мог дотянуться до вешалки, чтобы повесить шинель.

Это был очень чистенький, вымытый генерал с пухлыми ручками и водянистыми глазами. Но глаза эти загорались яростью, когда он вспоминал своих врагов — генералов, обогнавших его по службе: Сухомлинова, Драгомирова, Куропаткина и Ренненкампфа.

Казанский дослужился до чина генерал-адъютанта, командовал разными военными округами и обучал Николая Второго стратегии.

— В стратегии сей молодой человек был форменным дубиной, — говаривал Казанский о Николае Втором.

Он считал, что последним настоящим царем был Александр Третий.

У Казанского была богатая военная библиотека. Но я ни разу не видел, чтобы он достал из запертых шкафов хотя бы одну книгу. Весь день он проводил за чтением «Нового времени» и раскладыванием пасьянсов. На коленях у генерала лежал, свернувшись, маленький шпиц с такими же черными глазками, как у Маруси. Шпиц был глупый и злой.

После каждого урока Казанский провожал меня до Галицкого базара. Он любил эти ежедневные прогулки. На улице генерал начал тотчас резвиться — хихикать и рассказывать армейские анекдоты.

Он толкал тростью в живот солдат и юнкеров, становившихся перед ним во фронт, и говорил:

— Очертело, братец! Только и видишь, что ваши животы.

Мадам Казанская звала мужа «дусиком», а он называл ее «муфточкой».

Я видел много скучных людей. Но более скучного существа, чем мадам Казанская, я не встречал.

Весь день она, моргая заплаканными, как у болонки, глазками, шила фартучки для Маруси или рисовала масляными красками на атласных лентах лиловые ирисы.

Эти розовые ленты она дарила знакомым в дни

семейных праздников. Назначение этих лент было непонятно. Их нельзя было ни к чему пристроить. Иные знакомые вешали их на стены или клали на столики в гостиной. Другие пытались использовать их как закладки для книг. Но ленты были широкие и в книги не лезли. Наиболее взыскательные прятали эти ленты подальше от глаз.

Но мадам Казанская с идиотическим упорством рисовала все новые ленты и дарила их одним и тем же знакомым во второй и третий раз.

Вся квартира Казанских была в этих лентах. Они цеплялись за пальцы, скрипели и могли довести нервного человека до крапивницы.

Квартира у Казанских была очень высокая и светлая, но свет этот казался холодным и серым. Солнечные лучи, попав в эту квартиру, теряли яркость и жар и лежали на полах, как листы выцветшей бумаги.

Я не мог сразу разгадать, чем жили Казанские. Они верили в бога и в то, что мир устроен богом именно так, как выгодно для семьи Казанских. Бог, в их представлении, был вроде генерал-губернатора, но только во всемирном масштабе. Он наводил порядок во вселенной и покровительствовал добропорядочным семьям.

Кроме бога, у Казанских была Маруся. Они ее

любили болезненной любовью стариков, родивших ребенка в старости.

Капризы Маруси считались не только милыми, но даже священными. Стоило ей надуть губы, и папа-генерал тотчас отстегивал шпоры, ходил на цыпочках и вздыхал, а мама судорожно готовила на кухне любимое Марусино лакомство — воздушный пирог.

Главной темой бесед между стариками было замужество Маруси. Выискивание женихов шло исподволь. Оно превратилось в манию, в страсть. Память мадам Казанской походила на пухлую бухгалтерскую книгу, где были пронумерованы и подшиты к делу все достойные женихи Киева и Юго-Западного края.

Маруся училась в частной гимназии Дучинской. Это была буржуазная гимназия, где отметки ставились в зависимости от богатства и чина родителей.

Но Маруся была так глупа, что даже высокий чин папы Казанского не спасал ее от двоек. Когда Марусю вызывали к доске, она злобно молчала, крепко стиснув губы, и теребила край черного передника.

Каждая двойка вызывала переполох в генеральской семье. Маруся запиралась у себя в комнате и

объявляла голодовку. Мадам Казанская плакала, сотрясаясь. Генерал бегал из угла в угол и кричал, что завтра же поедет к губернатору и разгонит всю эту «еврейскую лавочку».

На следующий день генерал надевал парадный сюртук и все ордена и ехал объясняться к начальнице гимназии Дучинской, величественной даме, хорошо знавшей толк в служебном положении родителей своих учениц.

Дело кончалось тем, что Марусе переправляли двойку на тройку с минусом. Дучинская не хотела терять ученицу из сановной семьи. Это могло бы бросить тень на ее безупречное заведение. А семейство Казанских успокаивалось до новой двойки.

После первого же урока я убедился, что объяснять Марусе что бы то ни было совершенно бессмысленно. Она ничего не могла понять. Тогда я пошел на рискованный шаг. Я заставлял ее вызубривать учебники наизусть. С этим она кое-как справлялась. Она выучивала страницу за страницей, как дети запоминают абракадабру вроде «считалки»: «Эна, бена, рес, квинтер, мунтер, жес!»

С таким же успехом, как Марусю, я мог бы обучать истории, географии и русскому языку

попугая. Это была адская работа. Я очень от нее уставал.

Но вскоре я был вознагражден: Маруся получила первую тройку с плюсом.

Когда вечером я позвонил у дверей Казанских, мне открыл сам генерал. Он приплясывал и потирал руки. На шее у него подпрыгивал орден Святого Владимира. Он помог мне снять мою старенькую гимназическую шинель.

Маруся в новом платье и с огромными бантами в волосах вальсировала со стулом под звуки пианино среди гостиной. На пианино играла мадемуазель Мартен, учительница французского языка. Она тоже давала Марусе уроки. Шпиц носился по комнатам и беспорядочно лаял.

Распахнулась дверь из столовой, и вошла мадам Казанская в платье со шлейфом. За ее спиной я заметил празднично сервированный стол.

По случаю первой тройки с плюсом был дан изысканный ужин.

В конце ужина генерал ловко откупорил бутылку шампанского. Мадам Казанская пристально следила, чтобы генерал не пролил шампанское на скатерть.

Генерал начал пить шампанское, как воду. Он мгновенно покраснел, взмахнул руками, и из ру-

кавов его тужурки вылетели круглые блестящие манжеты.

— Да-с! — сказал генерал и горестно покачал головой. — Каждый мужчина должен нести свой крест в этой чертовой жизни. И мы несем его, не гуляем! Женщины, господин гимназист, нас не поймут. У них цыплячьи мозги.

— Дусик, — испуганно воскликнула мадам Казанская, — что это ты такое говоришь! Я совсем не понимаю.

— Наплевать! — сказал решительно генерал. — Трижды наплевать! Выпьем, господин гимназист. Как сказал наш гениальный поэт: «Что за штуковина, создатель, быть взрослой дочери отцом!»

— Дусик! — вскричала мадам Казанская, и у нее под глазами задрожали сизые мешки.

— Муфточка, — произнес генерал слащаво, но грозно, — ты не забыла, что я генерал-адъютант русской армии?

Он стукнул кулаком по столу и закричал надтреснутым голосом:

— Попрошу слушать, когда вам говорят! Я обучал государя императора и не желаю, чтобы мне делали замечания безмозглые дуры! Встать!

Кончилось все это тем, что генерал вскочил, схватил со стола салфетку, притопнул и начал

плясать русскую. Потом он упал в кресло, и его отпаивали валерьянкой. Он стонал и отбрыкивался короткими ножками.

Мы вышли с этого пиршества вместе с мадемуазель Мартен. Едва светили фонари. Был туманный мартовский вечер.

— Ох! — сказала мадемуазель Мартен. — Как я утомилась! Я больше не могу заниматься с этой дурой. И бывать в этом глупом доме. Я откажусь.

Я позавидовал мадемуазель Мартен — она могла отказаться от уроков с Марусей, но я не мог этого сделать: Казанские платили мне тридцать рублей в месяц. Это была неслыханно высокая плата для репетитора.

К тому времени отец неожиданно бросил службу на Брянском заводе и уехал из Бежицы в Городище, в дедовскую усадьбу. Он больше не мог мне помогать. А маме я соврал. Я написал ей, что зарабатываю пятьдесят рублей в месяц и мне присылать ничего не надо. Да и что она могла мне прислать!

Мадемуазель Мартен попрощалась со мной на углу Безаковской улицы. Повалил густой снег. Калильный фонарь жужжал над входом в аптекарский магазин.

Мадемуазель Мартен быстро пошла к Биби-

ковскому бульвару своей скользящей походкой, будто она бежала короткими шагами на роликах. Она наклонила голову и прикрыла ее муфтой от снега.

Я стоял и смотрел ей вслед. После шампанского я испытывал странное состояние. Голова то затуманивалась — и все казалось мне полным чудесного смысла, то туманная волна исчезала — и я с полной ясностью понимал, что ничего особенного в моей жизни не произошло. Завтра, так же как и сегодня, я буду идти по этим же изученным до последней вывески улицам мимо палисадников, извозчиков, афишных тумб и городовых к дому Казанских, подымусь по лестнице, облицованной желтым кафелем, позвоню у выкрашенных под дуб дверей, в ответ на звонок залает шпиц, и я войду все в ту же переднюю с зеркалом и вешалкой, и на ней все на том же самом крючке будет висеть застегнутая на все пуговицы генеральская шинель с красными отворотами.

Но когда набегала туманная волна, я думал о родстве одиноких людей, таких, как мадемуазель Мартен, Фицовский и я. Мне казалось, что мы должны сдружиться и оберегать друг друга, чтобы сообща преодолевать эту тугую жизнь.

Но откуда я взял, что мадемуазель Мартен оди-

нокая? Я ее совсем не знал. Я слышал только, что она родом из города Гренобля, и видел, что у нее темные, немного хмурые глаза. Вот и все.

Я постоял на углу и пошел к Фицовскому. Его не было дома. Я достал в условленном месте ключ и отпер дверь.

В комнате было холодно. Я зажег лампу, растопил чугунную печурку, взял со стола книгу, лег на клеенчатый диван, укрылся шинелью и открыл книгу. Это были стихи.

Снова нахлынула туманная волна. «Медлительной чредой нисходит день осенний», — читал я. Между строчками стихов появился теплый свет. Он разрастался и согревал мне лицо. «Медлительно кружится желтый лист, и день прозрачно свеж, и воздух дивно чист — душа не избежит невидимого тленья».

Я отложил книгу. Я лежал и думал, что впереди меня ждет жизнь, полная очарований, то радостных, то печальных.

Жизнь была, как эта ночь с ее слабым светом сугробов, молчанием садов, заревом фонарей. Ночь скрывала в своей темноте тех милых людей, что когда-нибудь будут мне близки, тот тихий рассвет, что непременно забрезжит над этой землей. Ночь скрывала все тайны, все встречи,

все радости будущего. Как хорошо!

Нет, мы, молодые, не были несчастны. Мы верили и любили. Мы не зарывали талант свой в землю. Наша душа, конечно, избежит «невидимого тленья». Нет и нет! Мы будем до самой смерти пробиваться к удивительным временам.

Так я думал, лежа на клеенчатом диване. Будь же прокляты все эти тошнотворные Казанские, весь этот злой и добропорядочный муравейник.

Когда я пришел от Фицовского к себе в Дикий переулок, пани Козловская подала мне телеграмму. В ней было сказано, что в усадьбе Городище, около Белой Церкви, умирает мой отец.

На следующее утро я уехал из Киева в Белую Церковь.

Смерть отца порвала первую нить, которая связывала меня с семьей. А потом начали рваться и все остальные нити.

Корчма на Брагинке

Старый пароход, шлепая колесами, полз вверх по Днепру. Была поздняя ночь. Я не мог уснуть в душной каюте и вышел на палубу.

Из непроглядной темноты задувал ветер, наносил капли дождя. Старик в заплатанной свитке

стоял около капитанского мостика. Тусклый фонарь освещал его щетинистое лицо.

— Капитан, — говорил старик, — невжли не можете сделать снисхождение престарелому человеку! Скиньте меня на берег. Отсюда до моего села версты не будет.

— Ты что, смеешься? — спросил капитан. — Своего носа не видать, а я буду притыкаться к берегу, бить из-за тебя пароход!

— Нету мне смысла смеяться, — ответил старик. — Вот туточки за горой и мое село. — Он показал в темноту. — Скиньте! Будьте ласковы!

— Терентий, — спросил капитан рулевого, делая вид, что не слушает старика, — ты что-нибудь видишь?

— Своего рукава не вижу, — мрачно проворчал рулевой. — Темнотюга проклятая! На слух веду.

— Покалечим пароход! — вздохнул капитан.

— Ничего с вашей чертопхайкой не сделается! — сердито пробормотал старик. — Тоже мне капитаны! Вам в Лоеве грушами торговать, а не пароходы водить по Днепру! Ну? Скинете или нет?

— Поговори у меня!

— И поговорю! — сварливо ответил старик. — Где это слыхано, чтобы завозить пассажиров до

самых Теремцов!

— Да пойми ты, — жалобно закричал капитан, — что ни черта же не видно! Где я пристану? Ну где?

— Да ось тут, против яра! — Старик снова показал в кромешную темноту. — Ось тут! Давайте я стану коло лоцмана и буду ему указывать.

— Знаешь что? — сказал капитан. — Катись ты на кутью к чертовой бабушке!

— Ага! — воскликнул старик с торжеством. — Значит, отказываете? Так?

— Да! Отказываю!

— Значит, вам безынтересно, что я поспешаю на свадьбу до своей дочки? Вам это безынтересно. Вы старого человека угнетаете!

— Какое мне дело до твоей дочки!

— А до Андрея Гона вам есть дело? — вдруг тихо и грозно спросил старик. — С Андреем Гоном вы еще не здоровкались? Так будьте известны, что сам Андрей Гон гуляет на той свадьбе.

Капитан молчал.

— Смолкли? — злорадно спросил старик. — Чертопхайку вашу зовут «Надеждой». Так нема у вас никакой надежды воротиться в добром благополучии, если не скинете меня на берег. Гон мне удружит. Мы с ним свояки. Гон этого не оставит.

— А ты не грозись! — пробормотал капитан.

— Сидор Петрович, — прохрипел рулевой, — сами видите, до чего упорный дед. Давайте скинем его на берег. С Гоном нет смысла связываться.

— Ну, шут с тобой! — сказал капитан старику. — Становись с лоцманом, показывай. Только смотри не побей пароход.

— Господи! Да я Днепро знаю, как свою клуню! Пароход — это же вещь государственная!

Старик стал к штурвалу и начал командовать:

— На правую руку забирай! Круче! А то занесет в черторой. Так. Еще круче!

Ветки лозняка начали хлестать по бортам. Пароход ткнулся в дно и остановился. Внизу на крытой палубе зашумели разбуженные толчком пассажиры.

Матрос посветил с носа фонарем. Пароход стоял в затопленных зарослях. До берега было шагов тридцать. Черная вода бежала среди кустов.

— Ну вот, — сказал капитан старику, — вылезай. Приехали.

— Да куда же я слезу? — удивился старик. — Тут мне будет с головой. Я же могу утопиться!

— А мне что? Сам напросился. Ну! — крикнул капитан. — Вытряхивайся, а то прикажу матросам скинуть тебя в воду!

— Интересное дело! — пробормотал старик и пошел на нос парохода.

Он перекрестился, перелез через борт и прыгнул в воду. Вода была ему по плечи.

Чертыхаясь, старик начал шумно выбираться на берег. Пароход медленно сработал назад и вышел из зарослей.

— Ну как, живой? — крикнул капитан.

— Чего гавкаешь! — ответил с берега старик. — Все одно, не миновать тебе здоровкаться с Андреем Гоном.

Пароход отошел.

В то лето по Черниговской губернии и по всему Полесью бродили неуловимые разбойничьи шайки. Они налетали на фольварки, на поместья, грабили почту, нападали на поезда.

Самым смелым и быстрым из всех атаманов был Андрей Гон. Отряды драгун и стражников обкладывали его в лесах, загоняли в непроходимые полесские топи, но Андрей Гон всегда вырывался на волю, и зарева пожаров снова шли следом за ним в темные ночи.

Вокруг Андрея Гона уже плела свою сеть легенда. Говорили, что Андрей Гон — защитник бедняков, всех обездоленных и сирых, что нападает он только на помещиков, что сам он не то

черниговский гимназист, не то сельский кузнец. Имя его стало символом народного мщения.

Я ехал на лето как раз в те места, где хозяйничал Андрей Гон, к дальним моим родственникам Севрюкам. У них в Полесье была небогатая маленькая усадьба Иолча. Поездку эту мне устроил Боря. Севрюков я совершенно не знал.

— Ты отдохнешь в Иолче, — сказал он. — Севрюки люди со странностями, но очень простые. Они будут рады.

Я согласился поехать в Иолчу, потому что другого выхода у меня не было. Я перешел в восьмой класс гимназии. Только что я сдал экзамены, и мне предстояло томительное лето в Киеве. Дядя Коля уехал с тетей Марусей в Кисловодск. Мама оставалась в Москве. А в Городище я не хотел ехать, потому что из писем дяди Илько догадывался, что у него начались нелады с тетушкой Дозей. Всякие семейные неурядицы меня пугали. Я не хотел больше быть их свидетелем и невольным участником.

На второй день к вечеру пароход подвалил к низкому полесскому берегу Днепра. Тучи комаров зудели в вышине. Багровое солнце опускалось в беловатый пар над рекой. Из зарослей тянуло холодом. Горел костер. Около костра стояли под-

жарые верховые лошади.

На берегу меня ждали Севрюки: худой человек в сапогах и чесучовом пиджаке — хозяин поместья, невысокая молодая женщина — его жена и студент — ее брат.

Меня усадили на телегу. Севрюки вскочили на верховых лошадей и, гикая, помчались вперед размашистой рысью.

Они быстро скрылись, и я остался один с молчаливым возницей. Я соскочил с телеги и пошел рядом по песчаной дороге. Трава по обочинам стояла в темной болотной воде. В этой воде тлел, не потухая, слабый закат. Равномерно посвистывая тяжелыми крыльями, пролетали дикие утки. Из кустов серыми лохмотьями, припадая к земле, выползал туман.

Потом сразу закричали сотни лягушек, и телега загрохотала по бревенчатой гати. Показалась усадьба, окруженная частоколом. На поляне в лесу стоял странный восьмиугольный деревянный дом со множеством веранд и пристроек.

Вечером, когда мы сидели за скромным ужином, в столовую вошел сутулый старик в постолах и картузе с оторванным козырьком. Он снял с плеча длинное охотничье ружье и прислонил к стенке. За стариком, кляцая когтями по полу,

вошел пегий пойнтер, сел у порога и начал колотить по полу хвостом. Хвост стучал так сильно, что старик сказал:

— Тихо, Галас! Понимай, где находишься!

Галас перестал бить хвостом, зевнул и лег.

— Ну, что слышно, Трофим? — спросил Севрюк и, обернувшись ко мне, сказал: — Это наш лесник, обходчик.

— А что слышно? — вздохнул Трофим, садясь к столу. — Все то же. В Лядах подпалили фольварк, а за Старой Гутой вбылы до смерти пана Капуцинского, царствие ему небесное. Тоже, правду сказать, был вредный и подлый старик. Кругом всех убивают и рушат, только вас одних милуют. Странное дело! И чего он вас не трогает, тот Андрей Гон? Неизвестно. Может, прослышал, что вы к простому люду доверчивые. А может, еще не дошли до вас руки.

Жена Севрюка, Марина Павловна, засмеялась.

— Вот так он все время, Трофим, — заметила она. — Все удивляется, что мы еще живы.

— И живите себе на здоровье, — сказал Трофим. — Я не против. А за поводыря слыхали?

— Нет, — живо ответила Марина Павловна. — А что?

— Да что? Завтра его ховать будут. В Погонном.

Поехать бы следовало.

— Мы поедем, — сказала Марина Павловна. — Непременно.

— За то вам бог много прегрешений отпустит, — вздохнул Трофим. — И меня с собой прихватите. Мне туда идти через силу.

Трофим оглянулся на окно и спросил вполголоса:

— Никого лишнего нету?

— Все свои, — ответил Севрюк. — Говори.

— Так вот, — таинственно сказал Трофим, — в корчме у Лейзера на Брагинке собрались майстры.

— Кто? — спросил студент.

— Ну, майстры, могилевские деды.

— Погоди, Трофим, — сказал Севрюк. — Дай людям объяснить. Они про могилевских дедов ничего не знают.

Тогда я впервые услыхал удивительный рассказ о знаменитых могилевских дедах. После этого рассказа время сдвинулось и перенесло меня на сто лет назад, а может быть, и еще дальше — в Средние века.

Издавна, еще со времен польского владычества, в Могилеве на Днепре начала складываться община нищих и слепцов. У этих нищих — их

звали в народе «могилевскими дедами» — были свои старшины и учителя — майстры.

Они обучали вновь принятых в общину сложному своему ремеслу — пению духовных стихов, умению просить милостыню — и внушали им твердые правила нищенского общежития.

Нищие расходились по всему Полесью, Белоруссии и Украине, но майстры собирались каждый год в тайных местах — в корчмах на болотах или в покинутых лесных сторожках — для суда и приема в общину новых нищих.

У могилевских дедов был свой язык, непонятный для окружающих.

В неспокойные времена, в годы народных волнений, эти нищие представляли грозную силу. Они не давали погаснуть народному гневу. Они поддерживали его своими песнями о несправедливости панской власти, о тяжкой доле замордованного сельского люда.

После этого рассказа Полесье, куда я сейчас попал, представилось мне совершенно иным, чем раньше. Оказалось, что в этом краю болот, чахлых лесов, туманов и безлюдья тлеет, не погасая, подобно длинным здешним закатам, огонь мести и обиды. С тех пор мне казалось, что сермяги нищих пахнут не хлебом и пылью дорог, а

порохом и гарью.

Я начал присматриваться к слепцам, к убогим и понял, что это особое племя не только несчастных, но талантливых и суровых волей людей.

— Зачем они собрались в корчме на Брагинке? — спросил Севрюк.

— Их дело, — неохотно ответил Трофим. — Что ни год, то они собираются. Стражники тут шныряли?

— Нет, — ответил Севрюк. — Говорят, были вчера в Комарине.

— Ну так! — Трофим встал. — Спасибо. Пойду на сеновал, отдохну.

Трофим ушел, но не на сеновал, а в лес и появился только на следующий день утром.

Марина Павловна рассказала мне историю мальчика-поводыря.

Два дня назад слепец с поводырем забрел в усадьбу богатого помещика Любомирского. Его погнали со двора. Когда слепец вышел за ворота, сторож-ингуш (тогда многие богатые помещики держали у себя в имениях наемную стражу из ингушей) спустил на слепца цепного пса-волкодава.

Слепец остановился, а поводырь испугался и бросился бежать. Волкодав догнал его и задушил.

Слепец спасся только тем, что стоял неподвижно. Волкодав обнюхал его, порычал и ушел.

Крестьяне подобрали мертвого мальчика и принесли в село Погонное. Завтра мальчика будут хоронить.

Мне нравились Севрюки. Марина Павловна была великолепной наездницей и охотницей. Маленькая, очень сильная, с протяжным голосом, она ходила быстро и легко, судила обо всем резко, по-мужски, и любила читать длинные исторические романы вроде «Беглые в Новороссии» Данилевского.

Севрюк казался человеком больным. Он был очень худой, насмешливый. Он не дружил ни с кем из соседей, предпочитал общество крестьян-полещуков и занимался своим небольшим хозяйством. А брат Марины, студент, все дни пропадал на охоте. В свободные часы он набивал патроны, отливал дробь и чистил свою бельгийскую двустволку.

На следующий день мы поехали в село Погонное. Мы переправились на пароме через глубокую и холодную Брагинку. Ивовые берега шумели от ветра.

За рекой песчаная дорога пошла по опушке соснового леса. По другую сторону дороги тянулось

болото. Оно терялось за горизонтом в тускловатом воздухе, светилось окнами воды, желтело островами цветов, шумело сероватой осокой.

Я никогда еще не видел таких огромных болот. Вдали от дороги среди зеленых и пышных трясин чернел покосившийся крест — там много лет назад утонул в болоте охотник.

Потом мы услышали похоронный звон, долетавший из Погонного. Линейка въехала в пустынное село с низкими хатами, крытыми гнилой соломой. Куры, вскрикивая, вылетали из-под лошадиных копыт.

Около деревянной церкви толпился народ. Через открытые двери были видны язычки свечей. Огни освещали гирлянды из бумажных роз, висевшие около икон.

Мы вошли в церковь. Толпа молча раздалась, чтобы дать нам дорогу.

В узком сосновом гробу лежал мальчик с льняными, тщательно расчесанными волосами. В сложенных на груди бескровных руках он держал высокую и тонкую свечу. Она согнулась и горела, потрескивая. Воск капал на желтые пальцы мальчика. Косматый священник в черной ризе торопливо махал кадилом и читал молитвы.

Я смотрел на мальчика. Казалось, что он стара-

ется что-то припомнить, но никак не может.

Севрюк тронул меня за руку. Я оглянулся. Он показал мне глазами в сторону от гроба. Я посмотрел. Там шеренгой стояли старые нищие.

Все они были в одинаковых коричневых свитках, с блестящими от старости деревянными посохами в руках. Седые их головы были подняты. Нищие смотрели вверх на царские врата. Там был образ седобородого бога Саваофа. Он странно походил на этих нищих. У него были такие же впалые и грозные глаза на сухом темном лице.

— Майстры! — шепотом сказал мне Севрюк.

Нищие стояли неподвижно, не крестясь и не кланяясь. Вокруг них было пусто. Позади нищих я увидел двух мальчиков-поводырей с холщовыми сумками за спиной. Один из них тихонько плакал и вытирал нос рукавом свитки. Другой стоял, опустив глаза, и усмехался.

Вздыхали женщины. Иногда с паперти доносился глухой гул мужских голосов. Тогда священник подымал голову и начинал громче читать молитву. Гул стихал.

Потом нищие сразу двинулись к гробу, молча подняли его на руки и понесли из церкви. Сзади поводыри вели слепцов.

На кладбище с поваленными крестами гроб

опустили в могилу. На дно ее уже натекла вода. Священник прочел последнюю молитву, снял ризу, свернул ее и ушел, хромая, с кладбища.

Двое пожилых полещуков, поплевав на ладони, взялись за лопаты. Тогда к могиле подошел слепец с ястребиным лицом и сказал:

— Погодите, люди!

Толпа затихла. Слепец, щупая палкой землю, поклонился гробу, потом выпрямился и, глядя перед собой белыми глазами, заговорил нараспев:

Под сухою вербой коло мелкой криницы
Сел Господь отдохнуть от тяжелой дороги.
И подходят ко Господу всякие люди
И приносят ему все, что только имеют…

Толпа придвинулась к слепцу.

Бабы – пряжу и мед, а невесты — монисто,
Старики – черный хлеб, а старухи — иконы.
А одна молодица пришла с барвинками
И поклала у ног, а сама убежала

И сховалась за клуней. А Бог усмехнулся

И спросил: «Кто же мне принесет

свое сердце?

Кто мне сердце свое подарить не жалеет?»

Молодая женщина в белом платке тихо вскрикнула. Слепец замолчал, обернулся в сторону женщины и сказал:

И тогда положил ему на руки хлопчик

Свое сердце – трепещет оно, как голубка,

Глянул Бог, а то сердце пробито и кровью

Запеклось, и совсем, как земля, почернело.

Почернело от слез и от вечной обиды,

Оттого, что тот хлопчик по свету бродяжил

Со слепцами и счастья не видел ни разу.

Нищий протянул перед собой руки.

Встал Господь и поднял это слабое сердце.

Встал Всесильный и проклял неправду

людскую.

И на землю упали пречерные тучи,

Раскололись леса от великого грома.

И раздался Господний всеслышимый голос.

Слепец вдруг радостно улыбнулся.

«Это сердце снесу Я к престолу на небе,

Тот богатый подарок от рода людского,

Чтобы добрые души ему поклонялись».

Слепец замолчал, подумал и запел глухим и сильным голосом:

То сиротское сердце – богаче алмазов,

И пышнее цветков, и светлее сиянки,

Потому что отдал его хлопчик прелестный

Всемогущему Богу как дар небогатый.

Женщины в толпе вытирали глаза концами темных платков.

— Пожертвуйте, люди, — сказал слепец, — за упокой души невинно убиенного отрока Василия.

Он протянул старый картуз. В него посыпались

медяки. Могилу начали забрасывать землей.

Мы медленно пошли к церкви, где нас ждали лошади. Марина Павловна ушла вперед. Всю обратную дорогу мы молчали. Только Трофим сказал:

— Тысячи лет живут люди, а до добра не докумекались. Странное дело!

После похорон поводыря в усадьбу Севрюков вселилась тревога. Вечером двери запирали на железные засовы. Каждую ночь Севрюк со студентом вставали и обходили усадьбу. Они брали с собой заряженные ружья.

Однажды ночью в лесу загорелся костер. Он горел до рассвета. Утром Трофим рассказал, что у костра ночевал неизвестный человек.

— Надо думать, гоновец, — добавил он. — Ходят кругом, как волки.

Днем после этого в усадьбу зашел босой парень в солдатских черных штанах с выгоревшим красным кантом.

Сапоги висели у него за спиной. У парня было облупленное от загара лицо. Глаза его смотрели хмуро и цепко.

Парень попросил напиться. Марина Павловна вынесла ему кувшин молока и краюху хлеба. Парень жадно выпил молоко и сказал:

— Смелые господа. Не страшитесь жить в таком месте.

— Нас никто не тронет, — ответила Марина Павловна.

— Это почему? — усмехнулся парень.

— Мы никому не делаем плохого.

— Со стороны виднее, — загадочно ответил парень и ушел.

Поэтому Марина Павловна с неохотой отпустила на следующий день Севрюка в соседнее местечко, где надо было купить продукты и порох. Севрюк взял с собой меня. Мы должны были вернуться в тот же день к вечеру.

Мне понравилась эта поездка по безлюдному краю. Дорога шла среди болот, по песчаным буграм, поросшим низким сосновым лесом. Песок все время сыпался тонкими струйками с колес. Через дорогу переползали ужи.

Было знойно и потому хорошо видно, как над болотами мреет нагретый воздух.

В местечке по заросшим мхом крышам еврейских домов ходили козы. Деревянная звезда Давида была приколочена над входом в синагогу.

На площади, засыпанной трухой от сена, дремали расседланные драгунские лошади. Около

них лежали на земле красные от жары драгуны. Мундиры их были расстегнуты. Драгуны лениво пели:

Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши жены?
Наши жены – пушки заряжены,
Вот где наши жены!

Драгунский офицер сидел на крылечке постоялого двора и пил мутный хлебный квас.

Мы ходили по магазинам — «склепам». В них было темно и прохладно. Голуби склевывали зерна с десятичных весов. Евреи-торговцы в черных лоснящихся картузах жаловались, что торговать нет резона, потому что весь барыш идет на угощение исправника. Они рассказывали, что третьего дня Андрей Гон налетел на соседний фольварк и угнал четверку хороших лошадей.

В одном из «склепов» нас напоили чаем. Он попахивал керосином. К чаю подали розовый постный сахар.

Мы запоздали. Когда мы выехали из местечка, Севрюк начал гнать лошадей. Но лошади выбились из сил на песках и могли идти только шагом.

Тучи слепней висели над конскими крупами.

Непрерывно свистели жидкие конские хвосты.

С юга заходила гроза. Болота почернели. Начал налетать ветер. Он трепал листву и нес запах воды. Мигали молнии. Земля вдалеке громыхала.

— Придется свернуть в корчму на Брагинке, — сказал Севрюк. — Там заночуем. Завозились мы в местечке.

Мы свернули на едва заметную лесную дорогу. Телегу било по корням.

Начало быстро темнеть. Лес поредел. В лицо дохнуло сыростью, и мы подъехали к черной корчме.

Она стояла на самом берегу Брагинки, под ивами. Позади корчмы берег зарос крапивой и высокими зонтичными цветами болиголова. Из этих пахучих зарослей слышался тревожный писк — там, очевидно, прятались испуганные грозой цыплята.

На кривое крылечко вышел пожилой тучный еврей — хозяин корчмы Лейзер. Он был в сапогах. Его широкие, как у цыгана, штаны были подпоясаны красным кушаком.

Лейзер сладко улыбнулся и закрыл глаза.

— Какой гость! — воскликнул он и покачал головой. — Легче найти в лесу бриллиант, чем заманить до себя такого приятного гостя. Сделайте

любезность, заходите прямо в чистое помещение.

Несмотря на сладкую улыбку, Лейзер осторожно поглядывал на нас из-под набрякших красных век.

— Я знаю, Лейзер, — сказал ему Севрюк, — что у вас в корчме живут майстры. Не беспокойтесь. Нам до этого нет никакого дела. Мало ли кто ночует в корчме!

— Что я могу! — тяжело вздохнул Лейзер. — Кругом лес, болото. Разве я выбираю себе постояльцев? Я сам их иногда опасаюсь, пане Севрюк.

Мы вошли в чистую половину. Скрипели выскобленные полы. Комната перекосилась, и все в ней стояло криво. На кровати сидела распухшая седая женщина, обложенная розовыми подушками.

— Моя мамаша, — объяснил Лейзер. — У нее водянка. Двойра! — крикнул он. — Становь самовар!

Из-за занавески выглянула и поздоровалась с нами маленькая женщина с тоскливым лицом — жена Лейзера.

Окна из-за грозы были закрыты. О стекла бились мухи. Засиженный мухами портрет генерала Куропаткина висел на стене.

Лейзер принес сена и постелил нам на полу. Сено он накрыл толстым рядном.

Мы сели к столу и начали пить чай. Тотчас ударил такой гром, что на столе подпрыгнула голубая тарелка. С тяжелым ровным шумом налетел на корчму ливень. Серая тьма лилась потоками за окном. Ее непрерывно разрывали мутные молнии.

Ливень заглушал писк самовара. Мы пили чай с баранками. Давно уже чай не казался мне таким вкусным. Мне нравилась эта корчма, вся эта глушь, шум дождя, грохот грома в лесах. Из-за стены едва слышно доносились голоса нищих.

Я устал от тряски в телеге и длинного жаркого дня и тотчас после чая уснул на полу, на сене. Проснулся я ночью весь в испарине. Керосиновая духота висела слоями. Мигал ночник. Стонала старуха. Севрюк сидел на сене рядом со мной.

— Ляжем лучше в телеге, — сказал он. — У меня будет разрыв сердца от этой духоты.

Мы осторожно вышли. Телега стояла под навесом. Мы разворошили сено, легли на него и укрылись рядном.

Гроза прошла. Над лесом светились влажные звезды.

С крыши еще текли, постукивая, капли дождя.

Запах мокрого бурьяна проникал под навес.

Скрипнула дверь. Из корчмы кто-то вышел. Севрюк сказал мне шепотом:

— Не шумите. Это, должно быть, майстры.

Кто-то сел на колоду около навеса и начал высекать кремнем огонь. Запахло махоркой.

— Как заполыхает, мы разом и помандруем, — сказал скрипучий голос. — А то еще засунут нас в торбу.

— Просто, — ответил хриплый голос. — Зажились у Лейзера. Архангелы рыщут.

— Доси ничего не видно, — тревожно произнес третий голос, совсем еще молодой. — Может, от дождя все намокло.

— Для гоновцев нет ни мокроты, ни беды, — ответил скрипучий.

— Сбудется, — сказал хриплый. — Они нашу обиду заметят. Увидим божью кару. Пока очи еще не померкли.

Нищие замолчали.

— Петро, — спросил скрипучий, — а все люди готовые?

— Все, — ответил молодой.

— Так пусть выйдут с корчмы. И чтобы Лейзер не торкался. Его дело стороннее. Гроши свои он взял. Проезжие сплять?

— Сплять. Чего им делается?

Голоса снова затихли. Я зашевелился. Севрюк тронул меня за руку. Из корчмы вышли еще несколько человек.

— Я на Чернобыль да на Овруч буду с Кузьмой подаваться, — сказал знакомый голос. — Может, знайду под Чернобылем поводыря. Там народ голодует.

Это говорил тот слепец, что пел в Погонном над могилой поводыря. Снова стало тихо. У меня колотилось сердце.

Мне казалось, что прошло очень много времени, прежде чем я услышал тихий возглас:

— Занялось!

Нищие зашевелились.

— Ну, братья, — сказал хриплый, — помолимся Господу, да и в дорогу.

— «Отче наш, иже еси на небесах, — вполголоса запели нищие. — Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое…»

Нищие поднялись и пошли.

— О чем они говорили? — спросил я Севрюка.

— Не знаю, — ответил он. — Пойду покурю подальше от сена.

Он встал и вышел из-под навеса.

— Что такое! — сказал он удивленно из темно-

ты. — Идите-ка сюда.

Я вскочил. За черной Брагинкой, за зарослями верболоза, дымилось и розовело небо. Высокие снопы искр вылетали как будто из-за соседних кустов. Зарево тускло отражалось в реке.

— Что же это горит? — спросил Севрюк.

— Любомирский горит, — ответил из темноты Лейзер. Мы не заметили, как он к нам подошел.

— Пане Севрюк, — сказал он умоляющим голосом, — пожалейте себя и бедного корчмаря. Я вам запрягу коней, и поезжайте себе с Богом. Неудобно вам тут оставаться.

— А что?

— Могут наскочить из местечка драгуны. Или стражники. С корчмаря им нечего взять. Корчмарь ничего не бачил и ничего не чул.

— Мы тоже ничего не видели, — сказал Севрюк.

— Пане! — воскликнул Лейзер. — Заклинаю вас Богом вашим православным! Уезжайте. Не надо мне ваших денег. Мне спокой дороже. Видите, что делается кругом!..

— Ну ладно, ладно, — согласился Севрюк. — Слабонервный вы человек, Лейзер. Запрягайте коней.

Лейзер быстро запряг лошадей. Мы уехали.

Дорога шла вдоль берега Брагинки. Севрюк не правил. Он отпустил вожжи, и лошади шли сами. Зарево разгоралось. По лицу хлестали мокрые ветки.

— Теперь понятно, — вполголоса сказал Севрюк. — Подожгли Любомирского.

— Кто?

— Не знаю. Должно быть, за поводыря. Но мы с вами в корчме не ночевали и ничего не видели. Ладно?

— Ладно, — согласился я.

За Брагинкой раздался тихий, но внятный свист. Севрюк придержал лошадей. Свист повторился. Телега стояла среди густых кустов. Нас ниоткуда не было видно.

— Эй, корчмарь! — негромко крикнул с того берега человек. — Давай перевоз!

Никто не ответил. Мы прислушивались.

Раздался плеск. Человек, очевидно, бросился в воду и поплыл. Вскоре мы увидели его из-за кустов. Он плыл посередине реки, слабо освещенной заревом. Его сильно сносило.

Невдалеке от нас человек вылез на берег. Было слышно, как с него с журчанием стекает вода.

— Ну, погоди, Лейзер! — сказал человек и пошел в лес. — Ты за этот перевоз мне заплатишь.

Когда шаги человека затихли, мы медленно поехали дальше.

— Узнали? — едва слышно спросил Севрюк.

— Что? — не понял я.

— Человека узнали?

— Нет.

— Парень к нам приходил. Пил молоко. Как будто его голос. Теперь ясно. Майстры пожаловались Гону. А это его человек, гоновец. Он и поджег. Так я думаю. Лейзер его перевез на тот берег. Но помните, что мы с вами ничего не видели и не знаем.

Севрюк осторожно закурил, прикрыв спичку полой дождевого плаща.

Зарево качалось в небе. Шумела в затопленных кустах река, скрипели оси. Потом из болот нанесло холодный туман.

Только на рассвете мы, мокрые и озябшие, добрались до усадьбы.

После этого случая потянулись неспокойные дни. Мне они нравились. Мне нравилось постоянное ожидание опасностей, разговоры вполголоса и слухи, что приносил Трофим о внезапном появлении Андрея Гона то тут, то там.

Мне нравилась холодная Брагинка, разбойничьи заросли, загадочные следы подков на дороге,

которых не было вчера. Мне, признаться, даже хотелось, чтобы Андрей Гон налетел на усадьбу Севрюка, но без поджога и убийства.

Но вместо Андрея Гона как-то в сумерки в усадьбе появились драгуны. Они спешились около ворот. Офицер в пыльных сапогах подошел к веранде, где мы пили чай, извинился и спросил:

— Вы господин Севрюк?

— Да, я, — ответил Севрюк. — Чем могу служить?

Офицер обернулся к солдатам.

— Эй, Марченко! — крикнул он. — Подведи-ка его сюда!

Из-за лошади двое драгун вывели босого человека. Руки его были скручены за спиной. На человеке были черные солдатские штаны с выгоревшими красными кантами.

Человека подвели к веранде. Он смотрел на Марину Павловну пристально, будто хотел что-то ей сказать.

— Вы знаете этого парня? — спросил офицер.

Все молчали.

— Приглядитесь получше.

— Нет, — сказала Марина Павловна и побледнела. — Я никогда не видела этого человека.

Человек вздрогнул и опустил глаза.

— А вы? — спросил офицер Севрюка.

— Нет. Я его не знаю.

— Что ж ты, братец, — офицер обернулся к человеку, — все врешь, что ты здешний и что ты у господ Севрюков работал в усадьбе? Теперь твое дело табак!

— Ладно уж! — сказал человек. — Ведите! Ваша сила, только не ваша правда.

Марина Павловна вскочила и ушла в комнату.

— Без разговоров! — сказал офицер. — Марш за ворота!

Драгуны уехали. Марина Павловна долго плакала.

— Он же так смотрел на меня, — говорила она сквозь слезы. — Как же я не догадалась! Надо было сказать, что я его знаю и что он работал у нас.

— Где там догадаться! — сокрушался Трофим. — Хоть бы он знак какой дал. А Любомирского тот человек спалил до последней косточки. Знаменито спалил. За убиенного хлопчика.

Вскоре я уехал в Киев.

Полесье сохранилось у меня в памяти как печальная и немного загадочная страна. Она цвела лютиками и аиром, шумела ольхой и густыми ветлами, и тихий звон ее колоколов, казалось, никогда не возвестит молчаливым полещукам о

кануне светлого народного праздника. Так мне думалось тогда. Но так, к счастью, не случилось.

Сон в бабушкином саду

Бабушка моя Викентия Ивановна жила в Черкассах вместе с моей тетушкой Евфросинией Григорьевной. Дед давно умер, а в то лето, когда я ездил в Полесье, умерла от порока сердца и тетушка Евфросиния Григорьевна.

Бабушка переехала в Киев к одной из своих дочерей — тете Вере, вышедшей замуж за крупного киевского дельца.

У тети Веры был свой дом на окраине города — Лукьяновке. Бабушку поселили в маленьком флигеле, в саду около этого дома.

После независимой жизни в Черкассах бабушка чувствовала себя нахлебницей в чопорном доме тети Веры. Бабушка втихомолку плакала от этого и радовалась только тому, что живет отдельно, во флигеле, сама себе готовит и хоть в этом самостоятельна и не должна одолжаться перед богатой своей дочерью.

Бабушке было скучно одной, и она уговорила меня переехать от пани Козловской к ней во флигель. Во флигеле было четыре маленькие

комнаты. В одной жила бабушка, во второй — старый виолончелист Гаттенбергер, третью комнату бабушка отвела мне, а четвертая была холодная, но называлась теплицей. Весь пол в ней был уставлен вазонами с цветами.

Когда я возвратился из Полесья в половине лета, в городе было пусто. Все разъехались на дачу. Боря уехал на практику в Екатеринослав. На Лукьяновке жили только бабушка Викентия Ивановна и Гаттенбергер.

Бабушка очень одряхлела, согнулась, былая ее строгость исчезла, но все же бабушка не изменила своих привычек. Она вставала на рассвете и тотчас открывала настежь окна. Потом она готовила на спиртовке кофе.

Выпив кофе, она выходила в сад и читала, сидя в плетеном кресле, любимые свои книги — бесконечные романы Крашевского или рассказы Короленко и Элизы Ожешко. Часто она засыпала за чтением — седая, вся в черном, положив худые руки на подлокотники кресла.

Мотыльки садились ей на руки и на черный чепец. С деревьев гулко падали перезревшие сливы. Теплый ветер пролетал по саду, гонял по дорожкам тени от листьев.

Высоко в небе сияло над бабушкой солнце —

очень чистое и жаркое солнце киевского лета. И я думал, что вот так когда-нибудь бабушка и уснет навсегда в теплоте и свежести этого сада.

Я дружил с бабушкой. Я любил ее больше, чем всех своих родных. Она мне платила тем же. Бабушка воспитала пять дочерей и трех сыновей, а в старости жила совершенно одна. У нее тоже, по существу, никого не было. Из этого нашего одиночества и родилась взаимная привязанность.

Бабушка вся светилась лаской и грустью. Несмотря на разницу лет, у нас было много общего. Бабушка любила стихи, книги, деревья, небо и собственные размышления. Она никогда меня ни к чему не принуждала.

Единственная ее слабость заключалась в том, что при малейшей простуде она лечила меня своим испытанным лекарством. Она называла его «спиритус».

Это было зверское лекарство. Бабушка смешивала все известные ей спирты — винный, древесный, нашатырный — и добавляла в эту смесь скипидара. Получалась багровая жидкость, едкая, как азотная кислота.

Этим «спиритусом» бабушка натирала мне грудь и спину. Она глубоко верила в его целебную силу. По флигелю распространялся щиплющий

горло запах. Гаттенбергер тотчас закуривал толстую сигару. Голубоватый дым застилал его комнату приятным туманом.

Чаще всего бабушка засыпала в саду, когда в комнате Гаттенбергера начинала петь виолончель.

Гаттенбергер был красивый старик с волнистой седой бородой и серыми яростными глазами.

Он играл пьесу собственного сочинения. Она называлась «Смерть Гамлета».

Виолончель рыдала. Чередование звуков, таких гулких, будто они разносились под сводами Эльсинора, складывалось в торжественные слова:

Пусть Гамлета на катафалк несут,
Как короля, четыре капитана!

Слушая музыку, я представлял себе зал в Эльсиноре, узкие, готические лучи солнца, крик фанфар и огромные — высокие и легкие — знамена над телом Гамлета. Они склонялись до земли и шелестели. Букет Офелии ручей давно уже унес в море. Волны качали вдали от берегов венчики розмарина, троицына цвета и руты — последних свидетелей ее горькой любви. Об этом тоже пела виолончель.

Бабушка просыпалась и говорила:

— Боже мой, неужели нельзя сыграть что-нибудь веселое!

Тогда Гаттенбергер, чтобы угодить бабушке, играл любимую ее пастораль из «Пиковой дамы»: «Мой миленький дружок, любезный пастушок...»

Бабушка уставала от музыки. Она отдыхала от нее по вечерам, когда Гаттенбергер уезжал со своею виолончелью на концерты в Купеческий сад.

Я часто бывал на этих концертах. Оркестр играл в деревянной белой раковине, а слушатели сидели под открытым небом.

Большие клумбы с левкоями и табаком пахли в сумерках сильно и сладко. Перед каждым концертом их поливали.

Оркестранты были освещены яркими лампами. Слушатели сидели в темноте. Смутно белели платья женщин, шелестели деревья, иногда над головой мерцали зарницы.

Но особенно я любил пасмурные сырые вечера, когда в саду почти не было посетителей. Тогда мне казалось, что оркестр играет для меня одного и для молоденькой женщины с опущенными полями шляпы.

Я встречал эту женщину почти на всех концертах. Она внимательно поглядывала на меня.

Я украдкой следил за ней. Один только раз я встретил ее взгляд, и мне показалось, что глаза ее блеснули лукавым огнем.

Скучное киевское лето наполнилось мечтами об этой незнакомке. Оно тотчас перестало быть скучным. Оно зашумело звонкоголосыми дождями. Они лились с высокого неба, хлопотали в зелени садов. Стеклянные капли, слетая с туч, будто били по клавишам — частый звон наполнял мою комнату. Мне казалось подлинным чудом, что так может петь обыкновенная вода, льющаяся с крыши в зеленую кадку.

— Все лето слепые дожди! — говорила бабушка. — Это к урожаю.

За легким дымом этих «слепых дождей» и сиянием радуг где-то рядом жила незнакомка. Я был благодарен ей, что она появилась и сразу же изменила все вокруг.

Даже тротуары из желтого кирпича, покрытые маленькими лужами, казались мне теперь милыми и сказочными, как у Андерсена.

Между кирпичами пробивалась трава. В лужицах барахтались муравьи.

Когда на меня находила полоса выдумок, или, как говорила по-польски бабушка, полоса «маженья», мне все казалось удивительным, даже

киевские тротуары.

До сих пор я не знаю, как назвать это состояние. Оно возникало от незаметных причин. В нем не было ни капли восторженности. Наоборот, оно приносило покой и отдых. Но стоило появиться самой пустой заботе — и оно исчезало.

Состояние это требовало выражения. И вот в то жаркое лето с его «слепыми дождями» я впервые начал писать.

Я скрывал это от бабушки. Я говорил ей, удивленной тем, что я часами сижу в своей комнате и пишу, что готовлюсь к гимназическим занятиям по литературе и составляю конспекты.

В те дни, когда в Купеческом саду не было концертов, я уезжал на Днепр или на окраину города, в заброшенный парк «Кинь грусть». Он принадлежал киевскому меценату Кульженко.

За две-три папиросы сторож впускал меня в этот парк — совершенно пустынный и заросший бурьяном. Пруды затянуло ряской. На деревьях орали галки. Гнилые скамейки шатались, когда я на них садился.

В парке я встречал только старого художника. Он сидел под большим полотняным зонтиком и писал этюды. Художник уже издали так сердито поглядывал на меня, что я ни разу не решился к

нему подойти.

Я забирался в самую глушь, где стоял заброшенный дом, садился на ступеньки террасы и читал.

Воробьи возились у меня за спиной. Я часто отрывался от книги и смотрел в глубину парка. Дымный свет падал среди деревьев. Я ждал. Я был уверен, что именно здесь, в этом парке, встречу свою незнакомку.

Но она не приходила, и я возвращался домой самым длинным путем — на трамвае через Приорку и Подол, потом через Крещатик и Прорезную улицу.

По дороге я заходил в библиотеку Идзиковского на Крещатике. Летом там было пусто. Бледные от духоты молодые люди с мокрыми усиками — приказчики Идзиковского — меняли мне книги. Я брал книги для себя и для бабушки. При тогдашнем моем состоянии мне хотелось читать только стихи. А бабушке я приносил романы Шпильгагена и Болеслава Пруса.

Я возвращался домой на Лукьяновку усталый и счастливый. Лицо горело от солнца и свежего воздуха. Бабушка ждала меня. Маленький круглый стол в ее комнате был накрыт скатертью. На нем стоял ужин.

Я рассказывал бабушке о «Кинь грусть». Она ки-

вала мне. Иногда она говорила, что соскучилась одна за весь этот длинный день. Но она никогда не бранила меня за то, что я пропадал так долго.

— Молодость, — говорила бабушка, — имеет свои законы. Не мое дело в них вмешиваться.

Потом я уходил к себе, раздевался и ложился на узкую койку. Лампа освещала корявые ветки яблони за окном.

Сквозь первый непрочный сон я чувствовал ночь, ее мрак и необъятную тишину. Я любил ночи, хотя мне было страшно от мысли, что в вышине проходят, над Лукьяновкой, над крышей нашего флигеля, Стрелец и Водолей, Близнецы, Орион и Дева.

Я написал рассказ, в котором было все это киевское лето: виолончелист Гаттенбергер, незнакомка в Купеческом саду, «Кинь грусть», ночи и мечтательный, немного смешной гимназист.

Я долго мучился над этим рассказом. Слова теряли твердость, делались ватными. Нагромождение красивостей утомляло меня самого. Временами я приходил в отчаяние.

В Киеве в то время издавался журнал со странным названием «Рыцарь». Редактировал его известный киевский литератор и любитель ис-

кусств Евгений Кузьмин.

Я долго колебался, но все же отнес рассказ в редакцию «Рыцаря».

Редакция была на квартире у Кузьмина. Мне открыл маленький вежливый гимназист и провел в кабинет Кузьмина. Пятнистый бульдог сидел на ковре и, пуская слюни, смотрел на меня больными глазами.

Было душно. Пахло дымом ароматических свечей. Белые маски греческих богов и богинь висели на черных обоях. Повсюду высокими грудами лежали книги в пересохших кожаных переплетах.

Я ждал. Потрескивали книги. Потом вошел Кузьмин — очень высокий, очень худой, с белыми пальцами. На них блестели серебряные перстни.

Он разговаривал со мной, почтительно склонив голову. Я краснел и не знал, как поскорее уйти. Рассказ уже казался мне бездарным, а я сам — косноязычным дураком.

Кузьмин перелистал рукопись вялыми пальцами и отчеркнул что-то острым ногтем.

— Мой журнал, — сказал он, — является трибуной молодых талантов. Очень рад, если мы найдем еще одного собрата. Я прочту рассказ и пришлю вам открытку.

— Если нетрудно, то, пожалуйста, пришлите мне ответ в закрытом письме.

Кузьмин понимающе улыбнулся и наклонил голову.

Я ушел. Задыхаясь, я сбежал по лестнице и выскочил на улицу. Дворники поливали мостовые. Трещала в шлангах вода. Мелкие брызги оседали на лице. Мне стало легче.

Я вскочил на ходу в вагон трамвая, чтобы поскорее бежать от этих мест. Пассажиры насмешливо посматривали на меня. Я выскочил из трамвая и пошел пешком.

Пыль дымилась над Сенным базаром. Над скучной Львовской улицей плыли одинаковые круглые облака. Едко пахло конским навозом. Седая лошаденка тащила телегу с мешками угля. Измазанный углем человек шел рядом и уныло кричал:

— Уголля надо?

Я вспомнил, что в душном кабинете Кузьмина лежит на столе мой рассказ, переполненный красотами и неясными мыслями о жизни.

Мне стало стыдно. Я поклялся не писать больше никаких рассказов.

— Все это не то, не то! — повторял я. — А может быть, хоть и плохо, а все-таки то?

Я ничего не знал. Я совершенно запутался.

Я свернул по Глубочице на Подол. Холодные сапожники стучали молотками по старым подошвам. Молотки высекали из кожи струйки пыли. Мальчишки били из рогаток по воробьям. На дрогах везли муку. Она сыпалась на мостовую из дырявых мешков. Во дворах женщины развешивали цветное белье.

День был ветреный. Ветер вздувал над Подолом мусор. Высоко на холме подымался над городом Андреевский собор с серебряными куполами — нарядное творение Растрелли. Красные картуши колонн могуче изгибались.

Я зашел в харчевню и выпил кислого вина. Но от этого не стало легче.

К вечеру я возвратился домой с головной болью. Бабушка тотчас натерла меня «спиритусом» и уложила в постель.

Я был уверен, что сделал непоправимую ошибку — написал отвратительный рассказ и этим на всю жизнь отрезал себе возможность писать. Не было вокруг никого, кто бы мог мне сказать, что делать дальше. Неужели возможно всей душой тянуться к любимому делу и знать, что это бесплодно?

Гаттенбергер заиграл в своей комнате под сур-

динку. Он играл теперь не «Смерть Гамлета», а отрывки из своей новой пьесы «Пир во время чумы». Гаттенбергер много работал над этой пьесой и часто проигрывал бабушке и мне отдельные куски.

Бабушка по-прежнему удивлялась мрачной фантазии Гаттенбергера.

— То смерть, то чума! — жаловалась она. — Не понимаю я этого. По-моему, музыка должна веселить людей.

Сейчас Гаттенбергер играл свое любимое место:

И раздавались жалкие стенанья
По берегам потоков и ручьев,
Бегущих ныне весело и мирно
Сквозь дикий рай твоей земли родной!

— Вот! Вот настоящее! — бормотал я. — «Сквозь дикий рай твоей земли родной».

Дикий рай! Как целебный ветер, эти слова ударили в грудь. Надо добиваться, надо работать, надо жить поэзией, словом. Я догадывался, как долог и как труден будет этот путь. Но почему-то это меня успокоило.

Через два дня пришла открытка от Кузьмина. Он не исполнил моей просьбы и не прислал мне

ответа в закрытом письме.

Кузьмин писал, что он прочел рассказ и напечатает его в ближайшем номере журнала.

Бабушка, конечно, прочла эту открытку. Она даже всплакнула.

— Твой отец, Георгий Максимович, — сказала она, — смеялся надо мной. Но он был добрый человек. Мне жалко, что он не дожил до этого времени.

Бабушка перекрестила меня и поцеловала.

— Ну, трудись и будь счастлив. Видно, бог сжалился надо мной и принес мне напоследок эту радость.

Она радовалась моему первому рассказу больше, чем я.

Когда вышел номер «Рыцаря» с этим рассказом, бабушка даже спекла «мазурки» и устроила праздничный завтрак.

К завтраку бабушка надела черное шелковое платье. Раньше она надевала его только на Пасху. Искусственный букетик гелиотропа был приколот у нее на груди. Но сейчас бабушка не помолодела от этого платья, как молодела раньше. Только черные ее глаза смеялись, когда она смотрела на меня.

Осы садились на вазу с вареньем. А Гаттенбер-

гер, как бы догадавшись о том, что происходит у нас, играл мазурку Венявского и притопывал в такт ногой.

«Золотая латынь»

Латинист Субоч смотрел на меня круглыми глазами. Усы его топорщились.

— А еще восьмиклассник! — сказал Субоч. — Черт знает чем занимаетесь! Следовало бы влепить вам четверку по поведению. Тогда бы вы у меня запели!

Субоч был прав. Тот трюк, или, как мы его называли, «психологический опыт», который мы проделали на уроке латинского языка, можно было только и определить словами «черт знает что».

В нашем классе когда-то висели картины. Их давно сняли, но в стенах осталось шесть больших железных костылей.

Эти костыли вызвали у нас одну «удачную мысль». Наш класс осуществил ее с блеском и ловкостью.

Субоч был человек стремительный. Он влетал в класс как метеор. Фалды его сюртука разлетались. Пенсне сверкало. Журнал, со свистом рассекая

воздух, летел по траектории и падал на стол. Пыль завивалась вихрями за спиной латиниста. Класс вскакивал, гремя крышками парт, и с таким же грохотом садился. Застекленные двери звенели. Воробьи за окнами срывались с тополей и с треском уносились в глубину сада.

Таков был обычный приход Субоча.

Субоч останавливался, вынимал из кармана крошечную записную книжку, подносил ее к близоруким глазам и замирал, подняв в руке карандаш. Вихрь сменялся грозной тишиной. Субоч искал в книжке очередную жертву.

Шестерых самых легких и маленьких ростом гимназистов, в том числе и меня, подвесили за туго затянутые кушаки к костылям. Костыли больно давили на поясницу. Спирало дыхание.

В класс влетел Субоч. В это время все остальные гимназисты сделали между партами «стойку» — стали вниз головой, вытянув вверх ноги и опираясь руками на парты.

Субоч разогнался и не мог остановиться. Он швырнул на стол журнал, и в ту же минуту весь класс с грохотом перешел в «исходное положение» — стал на ноги и сел на места. А мы, шестеро, отстегнули кушаки, упали на пол и тоже сели за парты.

Наступила звенящая зловещая тишина. Все было в полном порядке. Мы сидели с невинным видом, как будто ничего не случилось.

Субоч начал бушевать. Но мы отрицали все начисто. Мы упрямо доказывали, что ничего не было, никто не висел на стенах и класс не делал никакой «стойки». Мы даже осмелились намекнуть, что Субоч страдает галлюцинациями.

Латинист растерялся. Он вызвал к себе шестерых гимназистов, висевших на костылях, и подозрительно осмотрел их со всех сторон. На куртках не было следов мела со стены. Субоч пожал плечами. Он посмотрел на костыли, заглянул на пол — нет ли там осыпавшейся штукатурки. Выражение тревоги появилось у него на лице: Субоч был очень мнительный.

— Дежурный, — сказал Субоч, — позовите ко мне Платона Федоровича.

Дежурный вышел и возвратился с надзирателем Платоном Федоровичем.

— Вы ничего не заметили в начале моего урока? — спросил его Субоч.

— Нет, — ответил Платон Федорович.

— Никакого шума, грохота?

— Класс встает и садится всегда с некоторым шумом, — осторожно ответил Платон Федорович

и с недоумением посмотрел на Субоча.

— Благодарю вас, — сказал Субоч. — Мне показалось, что в классе произошли несколько странные явления.

Платон Федорович выжидательно смотрел на Субоча.

— А что именно? — спросил он вкрадчиво.

— Ничего! — вдруг рассердясь, отрезал Субоч. — Извините, что я вас побеспокоил.

Платон Федорович развел руками и вышел.

— Сидите тихо, — сказал нам Субоч и взял журнал. — Я сейчас вернусь.

Он ушел и через несколько минут возвратился с инспектором Варсонофием Николаевичем, носившим прозвище «Варсапонт».

Варсапонт внимательно осмотрел нас, потом подошел к стене, влез на парту и потянул за костыль. Костыль вылез из стены почти без сопротивления.

— Тэк-с! — загадочно сказал Варсапонт и засунул костыль обратно.

Класс следил за Варсапонтом.

— Тэк-с! — повторил Варсапонт. — Что сей сон означает?

— Тэк-с! — повторил он в третий раз, покачал головой и ушел.

Субоч сел к столу и долго сидел, уставившись в журнал и размышляя. Потом он сорвался с места и вылетел из класса. Зазвенели двери. Сорвались с тополей воробьи. Ветер пронесся между партами, шевеля страницы учебников.

До конца урока мы просидели одни, стараясь не шуметь. Мы были встревожены удачей «психологического опыта» и боялись, что после этого Субоч действительно повредится в уме.

Но все окончилось проще. Слух о «психологическом опыте» разнесся по гимназии и вызвал завистливое восхищение.

Гимназисты младшего класса решили повторить этот опыт с одним из своих учителей. Но, как известно, гениальное удается только раз. Дело окончилось провалом.

Субоч все узнал и пришел в ярость. Он произнес обличительную речь. Она была не хуже знаменитой речи Цицерона «Доколе, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением!».

Субоч сделал из этой речи неожиданный поворот. Он стыдил нас не за то, что мы ввели в обман его, Субоча, а за то, что мы осмелились вести себя так недостойно на уроке «золотой латыни», на уроке самого великолепного из всех языков мира.

— Латинский язык! — восклицал он. — Язык Овидия и Горация! Тита Ливия и Лукреция! Марка Аврелия и Цезаря! Перед ним благоговели Пушкин и Данте, Гете и Шекспир! И не только благоговели, но и знали его, кстати, гораздо лучше, чем вы. Золотая латынь! Каждое ее слово можно отлить из золота. Люди не потеряют на этом ни одного золотника драгоценного металла, потому что в латинском языке нет словесного мусора. Он весь литой. А вы? Что делаете вы? Вы издеваетесь над ним! Вы позволяете себе превращать занятия этим языком в балаган. Ваши головы начинены дешевыми мыслями! Мусором! Анекдотами! Футболом! Бильярдом! Курением! Зубоскальством! Кинематографом! Всякой белибердой! Стыдитесь!

Субоч гремел. Мы были подавлены тяжестью этих обвинений и картиной собственного ничтожества. Но, кроме того, мы были обижены. Большинство из нас прекрасно знало латынь.

Примирение вскоре было достигнуто. А потом наступил и величайший триумф «золотой латыни».

Стараясь загладить свою вину перед Субочем, мы яростно засели за латынь. Мы сжились с Субочем и очень его любили.

И вот пришел наконец тот памятный день, когда Субоч вынужден был поставить всем, кого он вызвал, по пятерке.

— Счастливое стечение обстоятельств! — сказал Субоч и усмехнулся в усы.

И на следующем уроке, как Субоч ни придирался к нам и ни гонял нас по «темному тексту», он снова должен был поставить всем по пятерке.

Субоч сиял. Но радость его все же была отравлена некоторой тревогой. Происходило явление, небывалое в его практике. Творилось попросту чудо.

После третьего урока, когда опять все получили пятерки, Субоч помрачнел. Он был, видимо, испуган. Блистательное знание латыни приобретало характер скандала. Об этом заговорила вся гимназия. Поползли вздорные слухи. Злые языки обвиняли Субоча в потворстве гимназистам, в том, что он создает себе славу лучшего латиниста.

— Придется, — сказал как-то Субоч нерешительным голосом, — поставить хотя бы трем-четырем из вас по четверке. Как вы думаете?

Мы обиженно промолчали. Нам казалось, что теперь Субоч был бы доволен, если бы кто-нибудь из нас заработал двойку. Может быть, теперь он

даже жалел, что произнес свою вдохновенную речь о «золотой латыни».

Но мы не могли уже знать латынь хуже, чем мы ее знали. Никто из нас не соглашался нарочно провалиться по латыни, чтобы заткнуть рты клеветникам. Мы вошли с головой в эту игру. Она нам нравилась.

Все это кончилось тем, что Субоч не выдержал общего недоверия и устроил нам общественный экзамен.

Он пригласил на один из уроков помощника попечителя учебного округа, директора, инспектора Варсапонта и знатока латыни ксендза Олендского.

Субоч придирался к нам неслыханно и лукаво. Он всячески старался запутать нас и ошеломить. Но мы мужественно встречали его удары, и экзамен прошел блестяще.

Директор похохатывал и потирал руки. Варсапонт ерошил волосы. Помощник попечителя снисходительно улыбался. А ксендз Олендский только качал седой головой:

— Ой, полиглоты! Ой, лайдаки! Ой, хитрецы!

После экзамена мы, конечно, раскисли. Мы не могли выдержать такого напряжения. Снова появились четверки и тройки. Но слава лучшего

латиниста осталась за Субочем. Ничто уже не могло ее поколебать.

Преподаватели гуманитарных наук

Изящный старичок с белой вымытой бородой и синими глазами, учитель русской словесности Шульгин отличался одним необыкновенным свойством: он не выносил бессмысленных слов.

Стоило ему услышать бессмыслицу, как он тотчас приходил в сокрушительную ярость. Он багровел, хватал учебники и рвал их в клочки или, сцепив руки, тряс ими перед испуганными гимназистами с такой силой, что круглые его манжеты громко стучали друг о друга. При этом Шульгин кричал:

— Вас! Именно вас! Попрошу! Вон! Вас! Вон!

Припадки эти кончались глубоким изнеможением. То была, конечно, болезнь. Знали это и мы, и все учителя, и надзиратели. Если припадок затягивался, в класс на цыпочках входил Платон Федорович и, обняв Шульгина за плечи, уводил в учительскую комнату. Там он отпаивал его валерьянкой.

Вообще же Шульгин был кроткий и безответный старик. Русская литература в его передаче

представлялась примитивной и безоблачной. Отметки он ставил наугад. В младших классах плаксивые и прилипчивые гимназисты легко добивались, чтобы Шульгин переделывал им двойки на тройки, а тройки — на четверки.

Однажды мы писали на уроке Шульгина сочинение на избитую тему «Женские типы в произведениях Тургенева».

Гимназист Гудим, измазанный чернилами, кривляющийся и наглый, неожиданно крикнул:

— Попугаи на бульвар прилетели!

Это была одна из тех бессмыслиц, от которых Шульгин приходил в ярость. Припадок начался сразу.

Шульгин схватил Гудима за плечи и начал трясти с такой силой, что голова Гудима стучала об стенку. Потом Шульгин рванул на груди свой форменный сюртук. Отлетели и покатились по полу золотые пуговицы.

Матусевич схватил его за руки. Один из нас выскочил в коридор за Платоном Федоровичем.

Шульгин сел на парту, схватился за голову и глухо зарыдал.

Многие из нас, не выдержав этого зрелища, спрятались за поднятыми крышками нарт.

Появились испуганный инспектор и Платон

Федорович. Они увели Шульгина.

В классе стояла тишина. Со своего места встал Станишевский. Он был очень бледен. Он медленно подошел к Гудиму и сказал:

— Пащенок! Вон сейчас же из нашего класса! А иначе — тебе не жить! Ну!

Гудим криво усмехнулся и не двинулся с места. Станишевский схватил его за грудь, рванул к себе и швырнул на пол. Гудим вскочил. Класс молчал.

— Ну! — повторил Станишевский.

Гудим, пошатываясь, пошел к двери. На пороге он остановился. Он хотел что-то сказать, но все мы холодно и враждебно смотрели на него. Гудим вобрал голову в плечи и вышел.

Больше он в классе не появлялся. Да он и не мог появиться — законы гимназической морали были беспощадными законами. От них не было отступлений.

Родители Гудима взяли его из нашей гимназии и перевели в реальное училище Валькера, пристанище хулиганов и неучей.

После этого случая Шульгин слег. Он долго болел, но, выздоровев, не вернулся. Врачи запретили ему заниматься преподаванием.

Иногда мы встречали его в Николаевском скве-

ре. Он сидел, опираясь подбородком на костыль, и грелся на солнце. Дети играли у его ног на песке. Мы кланялись Шульгину, но он только испуганно взглядывал на нас и не отвечал на поклоны.

Нам вначале не везло на учителей русской литературы. После Шульгина появился Тростянский — высокий, чванный, с бледным и постным лицом.

По его мнению, все русские писатели делились на благонамеренных, заслуживающих изучения, и крамольников и сбившихся с пути разночинцев. О последних он говорил с сожалением, как о погибших талантах.

Тростянский нас раздражал. В классных сочинениях мы ниспровергали его богов и превозносили крамольников. Тростянский, вежливо улыбаясь, доказывал нам тихим голосом, что мы ошибаемся, и ставил двойки.

Тростянского сменил преподаватель психологии и русской литературы Селиханович, похожий на поэта Брюсова. Он ходил в черном, застегнутом наглухо штатском сюртуке.

Это был человек мягкий и талантливый. Он «промыл» перед нами русскую литературу, как опытные мастера-реставраторы промывают картины. Он снял с нее пыль и грязь неправильных

и мелких оценок, равнодушия, казенных слов и скучной зубрежки. И она заиграла перед нами таким великолепием красок, глубиной мысли и такой великой правдой, что многие из нас, уже взрослые юноши, были поражены.

От Селихановича мы узнали многое. Он открыл нам не только русскую литературу. Он открыл нам эпоху Возрождения и европейскую философию XIX века, сказки Андерсена и поэзию «Слова о полку Игореве». До тех пор мы бессмысленно вызубривали наизусть его древнеславянский текст.

У Селихановича был редкий дар живописного изложения. Самые сложные философские построения в его пересказе становились понятными, стройными и вызывали восхищение широтой человеческого разума.

Философы, писатели, ученые, поэты, чьи имена до тех пор воскрешали в памяти только мертвые даты и сухой перечень из «заслуг перед человечеством», превращались в ощутимых людей. В изображении Селихановича они никогда не существовали сами по себе, вне своей эпохи.

На уроках о Гоголе Селиханович воскрешал перед нами Рим гоголевских времен — его карту, его холмы и руины, его художников, карнавалы,

самый воздух римской земли и синеву римского неба. Вереницы замечательных людей, связанных с Римом, проходили перед нами, вызванные к жизни магической силой.

Эта магическая сила была проста и доступна каждому. Называлась она знанием, одухотворенным любовью и воображением.

Мы переходили из одной эпохи в другую, из одних интереснейших мест в другие, не менее интересные. Изучая литературу, мы побывали с Селихановичем всюду — среди оружейников Тулы, в казачьих станицах на границе Дагестана, под моросящим дождем «Болдинской осени», в сиротских домах и долговых тюрьмах диккенсовской Англии, на рынках Парижа, в заброшенном монастыре на острове Майорке, где болел Шопен, и в безлюдной Тамани, где морской ветер шуршит стеблями сухой кукурузы.

Мы пристально проследили жизнь тех людей, кому были обязаны познанием своей страны и мира и чувством прекрасного, — жизнь Пушкина, Лермонтова, Толстого, Герцена, Рылеева, Чехова, Диккенса, Бальзака и еще многих лучших людей человечества. Это наполняло нас гордостью, сознанием силы человеческого духа и искусства.

Попутно Селиханович учил нас и неожидан-

ным вещам — вежливости и даже деликатности. Иногда он задавал нам загадки.

— Несколько человек сидят в комнате, — говорил он. — Все кресла заняты. Входит женщина. Глаза у нее заплаканы. Что должен сделать вежливый человек?

Мы отвечали, что вежливый человек должен, конечно, тотчас уступить женщине кресло.

— А что должен сделать не только человек вежливый, но и деликатный? — спрашивал Селиханович.

Мы не могли догадаться.

— Уступить ей место спиной к свету, — отвечал Селиханович, — чтобы заплаканные ее глаза не были заметны.

Меня Селиханович удивил тем, что, заговорив о моем желании стать писателем, он спросил:

— А у вас хватит выносливости?

Я не подозревал, что эта черта необходима для занятия литературой. Впоследствии я убедился, что Селиханович был прав.

Однажды он остановил меня в коридоре и сказал:

— Приходите завтра на лекцию Бальмонта. Обязательно: вы хотите быть прозаиком — значит, вам нужно хорошо знать поэзию.

Я пошел на лекцию Бальмонта. Она называлась «Поэзия как волшебство».

В зале Купеческого собрания было тесно и жарко. На маленьком столе, покрытом зеленой бархатной скатертью, горели два бронзовых канделябра.

Вошел Бальмонт. Он был в сюртуке, с пышным шелковым галстуком. Скромная ромашка была воткнута в петлицу. Редкие желтоватые волосы падали на воротник. Серые глаза смотрели поверх голов загадочно и даже высокомерно. Бальмонт был уже немолод.

Он заговорил тягучим голосом. После каждой фразы он замолкал и прислушивался к ней, как прислушивается человек к звуку рояльной струны, когда взята педаль.

После перерыва Бальмонт читал свои стихи. Мне казалось, что вся певучесть русского языка заключена в этих стихах.

Кукушки нежный плач в глуши лесной

Звучит мольбой, тоскующей и странной.

Как весело, как горестно весной, —

Как мир хорош в своей красе нежданной!

Он читал, высоко подняв рыжеватую бородку. Стихи расплывались волнами над зрительным залом.

И, как тихий дальний топот, за окном
я слышу ропот,
Непонятный странный шепот – шепот
капель дождевых.

Бальмонт кончил. Затряслись от аплодисментов подвески на люстрах. Бальмонт поднял руку. Все стихли.

— Я прочту вам «Ворона» Эдгара По, — сказал Бальмонт. — Но перед этим я хочу рассказать, как судьба все же бывает милостива к нам, поэтам. Когда Эдгар По умер и его хоронили в Балтиморе, родственники поэта положили на его могилу каменную плиту необыкновенной тяжести. Эти набожные квакеры, очевидно, боялись, чтобы мятежный дух поэта не вырвался из могильных оков и не начал снова смущать покой деловых американцев. И вот, когда плиту опускали на могилу Эдгара, она раскололась. Эта расколотая плита лежит над ним до сих пор, и в трещинах ее каждую весну распускается троицын цвет. Этим именем, между прочим, Эдгар По звал свою рано умершую прелестную жену Вирджинию.

Бальмонт начал читать «Ворона». Мрачная и великолепная поэзия дохнула в зал.

За окнами не было уже ни Киева, ни огней на Крещатике, висевших голубоватыми цепями, — не было ничего. Только ветер уныло гудел над черной, присыпанной снегом равниной. И железное слово «невермор» тяжело падало в пустоту этой ночи, как бой башенных часов.

«Невермор!» «Никогда!» С этим никак не мирилось сознание. Неужели никогда? Никогда не вернется на землю Вирджиния и никогда уже не постучит она шаловливо и осторожно в тяжелую дверь? Никогда не вернутся молодость, любовь и счастье? «Да, никогда!» — каркал ворон, и человек сжимался от одиночества в потертом кресле и смотрел больными детскими глазами в холодную пустоту. И этот маленький, брошенный всеми человек был Эдгар По, великий поэт Америки.

Я на всю жизнь остался благодарен Селихановичу за то, что он вызвал у меня любовь к поэзии. Она открыла передо мной богатства языка. В стихах слова обновлялись, приобретали полную силу. Огромный образный мир поэтов вошел в сознание, будто с глаз сняли повязку.

Селиханович открыл нам литературу и философию, а старик Клячин — историю Западной

Европы.

Худой, в расстегнутом сюртуке, всегда небритый, с большим кадыком, с прищуренными и ничего не видящими глазами, Клячин говорил хрипло, резко, обрывками фраз.

Он бросал слова, как комья глины. Он лепил ими живые статуи Дантона, Бабефа, Марата, Бонапарта, Луи-Филиппа, Гамбетты.

Негодование клокотало у него в горле, когда он говорил о девятом термидора или о предательстве Тьера. Он забывался до того, что закуривал папиросу, но, опомнившись, тотчас гасил ее о ближайшую парту.

Клячин был знаток французской революции. Существование этого учителя в тогдашней гимназии было загадкой. Иногда его речь подымалась до такого пафоса, будто он говорил не в классе, а с трибуны Конвента.

Он был живым анахронизмом и вместе с тем самым передовым человеком из наших учителей.

Временами казалось, что это последний старый монтаньяр, чудом проживший сто лет и очутившийся в Киеве.

Он избежал гильотины и смерти в болотах Гвианы и не потерял ни капли своего сурового энтузиазма.

Изредка Клячин уставал. Тогда он рассказывал нам о Париже времен революции — о его улицах и домах, о том, какие горели тогда на площадях фонари, как одевались женщины, какие песни пел народ, как выглядели газеты.

Многим из нас после уроков Клячина хотелось перенестись на столетие назад, чтобы быть свидетелями великих событий, о которых он нам рассказывал.

Выстрел в театре

Паркет в актовом зале был так навощен, что в нем, как в озере, отражались синие ряды гимназистов в мундирах со светлыми пуговицами и зажженные среди дня люстры.

В зале стоял легкий гул. Он сразу оборвался.

Позванивая шпорами, в зал вошел невысокий полковник со светлыми выпуклыми глазами. Он остановился и в упор посмотрел на нас. Медными голосами закричали трубы.

Мы стояли не шевелясь.

За полковником, Николаем Вторым, вошла, кивая, очень высокая сухая женщина в белом твердом платье, с огромной шляпой на голове. Страусовые перья свешивались с полей ее шля-

пы. Лицо у женщины было мертвое, красивое и злое. Это была императрица.

За ней гуськом шли девочки с тонкими бескровными губами, в таких же твердых белых платьях. Платья эти не гнулись. На них не было складок, и казалось, что они сделаны из белого ребристого картона.

За девочками — великими княжнами — плыла, громко шурша, огромная дама в лиловом платье с черными кружевами, в золотом пенсне и с атласной лентой через плечо — воспитательница царских дочерей фрейлина Нарышкина. Жир переливался под ее тугими шелками. Она обмахивала лицо кружевным платочком.

Так началось торжественное празднование столетия нашей гимназии.

Свита закрыла от нас Николая. Мы видели только тщательно примазанные волоски на лысинах министров, алые ленты, белые брюки с золотыми лампасами и штрипками на лакированных ботинках, генеральские шаровары, серебряные кушаки.

Лучший декламатор в гимназии Недельский читал царю приветственные стихи собственного сочинения. Он старательно выкрикивал их деревянным голосом. Он обращался к царю на «ты».

Потом свита раздалась, и по широкому проходу к нам подошел Николай. Он остановился, потрогал русые усы и медленно сказал, картавя:

— Здравствуйте, господа.

Мы ответили, как нас учили, — негромко, но внятно:

— Здравия желаем, ваше императорское величество!

Я стоял последним в шеренге, потому что был самым маленьким по росту в нашем выпускном классе. Николай подошел ко мне. Легкий тик передергивал его щеку. Он рассеянно посмотрел на меня, привычно улыбнулся одними глазами и спросил:

— Как ваша фамилия?

Я ответил.

— Вы малоросс? — спросил Николай.

— Да, ваше величество, — ответил я.

Николай скользнул по мне скучным взглядом и подошел к моему соседу.

Он обошел всех. У каждого он спрашивал, как его фамилия.

После обхода начался концерт. Николай слушал его стоя. Поэтому стояли и все.

Всем видом своим Николай как бы хотел показать, что ему наскучили торжества и что он не

намерен тратить время на гимназические концерты. Он нетерпеливо теребил снятую с правой руки перчатку.

Концерт скомкали. Гимназический оркестр сыграл «Славься, славься, наш русский царь». Потом кто-то прочел «Вещего Олега», а хор спел кантату.

Все это было скучно и никому не нужно. Министры позевывали за спиной царя. На участников концерта было тяжело смотреть — они дрожали от страха.

Пока шел концерт, мы разглядывали министров и свиту.

Нас удивила разница между царем и его свитой.

Николай, невзрачный и даже мешковатый, терялся среди обширной свиты. Она звенела и сверкала золотом и серебром, лакированными голенищами сапог, лядунками, аксельбантами, темляками, саблями, шпорами, ментиками и орденами. Даже когда свитские стояли неподвижно, и то мы слышали неясный звон, исходивший от их регалий и оружия.

Николай прослушал концерт с каменным лицом и уехал из гимназии. Он был недоволен. У него были свои счеты с нашей гимназией. За два

дня до этого торжества бывший гимназист нашей гимназии Багров стрелял в Оперном театре в министра Столыпина и смертельно его ранил. Но об этом я расскажу дальше.

По случаю столетия гимназии ее решили преобразовать в лицей. Указ об этом был заготовлен. Но после выстрела в театре это сочли неудобным — как можно давать права лицея гимназии, воспитывающей государственных преступников!

Поэтому гимназию только переименовали в «Императорскую Александровскую» — в честь Александра Первого, а у гимназистов вместо обыкновенных гербов появились гербы с вензелем «А» и с короной.

Новые буквы на этом гербе — «ИАГ» — дали гимназистам остальных киевских гимназий богатую пищу для зубоскальства. На этой почве происходили драки.

Мы же, гимназисты последнего класса, решили донашивать старые гербы. Начальство негодовало, но мы ссылались на то, что у нас нет денег на покупку новых гербов и пряжек. В конце концов начальство махнуло рукой. Не было смысла ссориться с выпускным классом.

По случаю приезда Николая в Киеве были разнообразные торжества. Открыли бронзовый

уродливый памятник Александру Второму и еще более уродливые гипсовые памятники святым Ольге, Кириллу и Мефодию. В окрестностях Киева происходили маневры. Что-то освещали, открывали, устраивали крестные ходы и торжественные спектакли. Целую неделю на домах висели флаги.

На скаковом поле после рысистых бегов происходил парад всех киевских гимназий.

Мы прошли, подымая пыль, перед Николаем. Закатное солнце било в глаза. Мы ничего не видели и «завалили равнение». Из последних сил рявкали военные оркестры.

Наша гимназия отличилась тем, что забыла ответить на приветствие царя. К нам подскакал на лошади полный генерал, долго ругал нас и дергал в сердцах поводья. Рыжий конь прижимал уши и пятился.

В Оперном театре был торжественный спектакль в присутствии Николая. На этот спектакль повели гимназисток и гимназистов последних классов всех гимназий.

Повели и наш класс.

Служебными темными лестницами нас провели на галерку. Галерка была заперта. Спуститься в нижние ярусы мы не могли. У дверей стояли

любезные, но наглые жандармские офицеры. Они перемигивались, пропуская хорошеньких гимназисток.

Я сидел в заднем ряду и ничего не видел. Было очень жарко. Потолок театрального зала нависал над самой головой.

Только в антракте я выбрался со своего места и подошел к барьеру. Я облокотился и смотрел на зрительный зал. Он был затянут легким туманом. В тумане этом загорались разноцветные огоньки бриллиантов. Императорская ложа была пуста. Николай со своим семейством ушел в аванложу.

Около барьера, отделявшего зрительный зал от оркестра, стояли министры и свитские.

Я смотрел на зрительный зал, прислушиваясь к слитному шуму голосов. Оркестранты в черных фраках сидели у своих пюпитров и, вопреки обычаю, не настраивали инструментов.

Вдруг раздался резкий треск. Оркестранты вскочили с мест. Треск повторился. Я не сообразил, что это выстрелы. Гимназистка, стоявшая рядом со мной, крикнула:

— Смотрите! Он сел прямо на пол!

— Кто?

— Столыпин. Вон! Около барьера в оркестре!

Я посмотрел туда. В театре было необыкновен-

но тихо. Около барьера сидел на полу высокий человек с черной круглой бородой и лентой через плечо. Он шарил по барьеру руками, будто хотел схватиться за него и встать.

Вокруг Столыпина было пусто.

По проходу шел от Столыпина к выходным дверям молодой человек во фраке. Я не видел на таком расстоянии его лица. Я только заметил, что он шел совсем спокойно, не торопясь.

Кто-то протяжно закричал. Раздался грохот. Из ложи бенуара спрыгнул вниз офицер и схватил молодого человека за руку. Тотчас вокруг них сгрудилась толпа.

— Очистить галерку! — сказал у меня за спиной жандармский офицер.

Нас быстро прогнали в коридор. Двери в зрительный зал закрыли.

Мы стояли, ничего не понимая. Из зрительного зала долетал глухой шум. Потом он стих, и оркестр заиграл «Боже царя храни».

— Он убил Столыпина, — сказал мне шепотом Фицовский.

— Не разговаривать! Выходить немедленно из театра! — крикнул жандармский офицер.

Теми же темными лестницами мы вышли на площадь, ярко освещенную фонарями.

Площадь была пуста. Цепи конных городовых оттеснили толпы, стоявшие около театра, в боковые улицы и продолжали теснить все дальше. Лошади, пятясь, нервно перебирали ногами. По всей площади слышался дробный звон подков.

Пропел рожок. К театру размашистой рысью подкатила карета «Скорой помощи». Из нее выскочили санитары с носилками и бегом бросились в театр.

Мы уходили с площади медленно. Мы хотели увидеть, что будет дальше. Городовые торопили нас, но у них был такой растерянный вид, что мы их не слушались.

Мы видели, как Столыпина вынесли на носилках. Их задвинули в карету, и она помчалась по Владимирской улице. По сторонам кареты скакали конные жандармы.

Я вернулся домой на Лукьяновку и рассказал бабушке и Гаттенбергеру об убийстве Столыпина.

Бабушка сказала, что нельзя стрелять в театре, так как могут пострадать невинные люди. А Гаттенбергер взволновался, надымил сигарой, заметил, что этого прохвоста Столыпина должны же были когда-нибудь убить, и тотчас уехал в город разузнавать новости.

Он вернулся после полуночи и рассказал, что

Малая Владимирская улица, где лежит в лечебнице Столыпин, застлана соломой, а черносотенцы призывают к еврейскому погрому.

— Этого еще не хватало! — воскликнула разгневанная бабушка.

Но Гаттенбергер сказал, что пока царь в Киеве, погрома не будет.

На следующее утро бабушка спросила меня:

— Ты опять поедешь в город?

— Да. В гимназию.

— Зачем?

— Будет репетиция встречи царя.

— Заболей лучше и не ходи, — посоветовала бабушка. — Придумали глупство! Неужели у царя нет другого дела, чем красоваться перед людьми?

Я сказал, что, очевидно, это так.

— Ну и не ходи! — сказала бабушка. — Все из-за этого Николая мечутся по городу и ничего не соображают. Тратят время на боготэли, на пустяки, как будто бог прибавит им за это жизни. Оставайся. Может же у тебя разболеться голова! Посиди в саду, почитай, а я спеку для тебя струцель (так бабушка называла по-польски яблочный пирог). Я не понимаю, как можно терять время без всякого сенсу, без смысла, когда такие дни стоят на

дворе!

Я послушался бабушку и не пошел на репетицию.

Дни действительно стояли прекрасные. Листья на яблонях порозовели и начали засыхать. Некоторые листья были свернуты в трубки и обмотаны паутиной. По краям дорожек цвели красные и белые астры.

Желтые бабочки летали между деревьями. Они садились маленькими толпами на все прогретое солнцем — каменные ступеньки веранды и забытую в саду жестяную лейку.

Будто уменьшившееся от осени, солнце долго шло над головой, приближаясь к вершинам ореховых деревьев.

Я читал в саду, сидя в бабушкином плетеном кресле. По временам я слышал отдаленную музыку, долетавшую из города. Потом я отложил книгу и начал присматриваться к дорожке. Она была прорезана в густой траве. По крутым ее откосам темнел мелкий мох, похожий на зеленый бархат. Среди этого мха что-то нежно белело. Это был неизвестно откуда попавший в наш сад и расцветший второй раз цветок лесной анемоны.

Со двора пришла белая утка. Увидев меня, она остановилась, недовольно покрякала и ушла,

переваливаясь, обратно. Очевидно, я ей помешал. Воробьи сидели на крыше, чистились и, вытянув головы, заглядывали вниз — нет ли там чего-нибудь интересного. Воробьи ждали.

Бабушка вышла на веранду в теплом платке и бросила на дорожку горсть хлебных крошек. Воробьи слетели с крыши и запрыгали, как серые мячики, по земле.

— Костик, — позвала бабушка, — иди обедать.

Она стояла на ступеньках веранды. Я встал и пошел к ней. Из комнаты пахло яблочным пирогом.

— Разве же это не настоящий царский праздник! — сказала бабушка, глядя на сад. — Выдумывают же себе люди всякие глупости с этим Николаем Вторым!

В саду действительно был праздник света и чистого, теплого воздуха.

Разгуляй

Я ехал на рождественские каникулы к маме в Москву. Когда поезд проходил мимо Брянска, шел такой густой снег, что ничего нельзя было разобрать за окнами. Я только угадывал вдалеке за падающим снегом знакомый городок, блеск

снежных ковров на его улицах и дом дяди Коли с застекленным крылечком.

В Москву я ехал впервые. Я волновался оттого, что увижу маму, и от сознания, что еду в северную столицу из нашего южного провинциального Киева.

С каждым часом поезд уходил все дальше в белые равнины, медленно взбирался к краю сизого неба. Там стлалась мгла. Мне представлялось, что впереди на горизонте день сливается с вечной полярной ночью.

Я побаивался московской зимы. У меня не было теплой шинели. Были только варежки и башлык.

На станциях ясно раздавались звонки. Скрипели по снегу валенки. Мой сосед угощал меня медвежьим окороком. Медвежатина пахла сосновой смолой.

Ночью за Сухиничами поезд застрял в заносах. Ветер визжал в жестяных вентиляторах. Через вагон пробегали кондуктора с фонарями, белые и мохнатые от снега, как лесовики из берлоги. Каждый из них изо всей силы захлопывал за собой дверь. Я всякий раз просыпался.

Утром я вышел на площадку. Зернистый воздух покалывал лицо. На полу около щелей ветер

надул маленькие сыпучие сугробы.

Я с трудом открыл дверь. Метель стихла. Вагоны по буфера стояли в великолепном снегу. В нем можно было утонуть с головой. На крыше вагона сидела маленькая синяя птица и попискивала, вертя головой. Нельзя было отличить, где белое небо сливается с белой землей. Было так тихо, что я слышал, как льется из паровоза вода.

В Москве на Брянском вокзале меня встретил Дима. Черные упрямые усики пробивались у него над губой. На Диме была форма студента Технического училища.

Я очень озяб, и мы пошли в буфет выпить чаю.

Меня удивил московский вокзал — деревянный, низенький, похожий на огромный трактир.

Оранжевое солнце освещало стойку с мельхиоровыми крышками, столы с синими пальмами, пар из чайников, кисейные занавески. За стрельчатыми листьями изморози на стеклах шумели извозчики.

Мы пили чай с колотым сахаром. Нам подали хрустящие калачи, обсыпанные мукой.

Потом мы вышли на крыльцо. Пар подымался над мохнатыми лошадьми. Заплатанные извозчичьи армяки с жестяными номерами зарябили в глазах. Голуби опускались на унавоженный снег.

— Прикажите, ваше сиятельство! — закричали извозчики, зачмокали, задергали вожжами.

Один из них вырвался вперед. Он откинул потертую волчью полсть, и мы сели в узкие сани. В ногах было подстелено сено. Я с изумлением смотрел по сторонам. Неужели это Москва?

— На Разгуляй! — сказал Дима извозчику. — Только вези через Кремль.

— Эхма! — крякнул извозчик. — Нам все равно. Что тут, что в Кремле — зипун не греет.

Сейчас же около вокзала, в Дорогомилове, мы попали в путаницу розвальней, могучих дуг, расписанных цветами, бубенцов, пара, бившего в лицо из задранных лошадиных морд, трактирных вывесок, городовых с обледенелыми усами и качающего воздух звона церковных колоколов.

Мы въехали на Бородинский мост. Мрачным заревом догорали за рекой окна домов. В них отражалось заходящее солнце. На круглых уличных часах на перекрестке было всего два часа дня. Все это было странно, оглушительно и хорошо.

— Ну как, — спросил Дима, — нравится тебе Москва?

— Очень.

— Погоди, еще насмотришься разных чудес.

За Арбатской площадью мы свернули в неши-

рокую улицу. В конце этой улицы я увидел на холме крепостные стены и башни, зеленые кровли дворцов и серые громады соборов. Все это было окутано красноватым вечерним дымом.

— Что это? — спросил я Диму, ничего не соображая.

— Неужели не узнаешь? Это Кремль.

Я судорожно вздохнул. Я не был готов к этой встрече с Кремлем. Он подымался среди огромного города, как крепость, построенная из розового камня, старого золота и тишины.

Это был Кремль. Россия, история моего народа. «Шапку кто, гордец, не снимет у Кремля святых ворот...»

Слезы навернулись у меня на глаза.

Мы въехали в Кремль через Боровицкие ворота. Я увидел Царь-колокол, Царь-пушку и колокольню Ивана Великого, уходящую в вечернее небо.

Извозчик стащил с головы шапку. Мы с Димой сняли фуражки, и сани проехали под Спасской башней. В темном проезде мигала лампада. Равнодушно и величественно заиграли над головой куранты.

— А это что? — спросил я Диму и схватил его за руку, когда мы выехали из Спасских ворот.

На спуске к реке подымались, как разноцвет-

ные головки репейника, замысловатые купола.

— Неужели не узнал? — ответил Дима и усмехнулся. — Храм Василия Блаженного.

На Красной площади горели костры. Около них грелись прохожие и извозчики. Дым лежал на площади. Тут же, рядом, на стенах я увидел афиши Художественного театра с летящей чайкой и другие афиши с крупной черной надписью: «Эмиль Верхарн».

— Что это? — снова спросил я Диму.

— Верхарн сейчас в Москве, — ответил он и засмеялся, взглянув на меня. Должно быть, у меня было совершенно растерянное лицо. — Погоди, ты еще насмотришься разных чудес.

Пока мы доехали до Разгуляя, уже стемнело. Сани остановились около двухэтажного дома с толстыми стенами.

Мы поднялись по крутой лестнице. Дима позвонил, и мама тотчас открыла дверь. Позади мамы стояла Галя и, вытянув голову, старалась рассмотреть меня в темной передней.

Мама обняла меня и заплакала. Она совсем поседела за то время, что мы не виделись.

— Боже мой, — говорила мама, — ты уже совсем взрослый! И как ты похож на отца! Боже, как похож!

Галя почти ослепла. Она подвела меня к лампе в комнате и долго рассматривала. По ее напряженному лицу можно было догадаться, что она совсем меня не видит, хотя она и говорила, что я нисколько не изменился.

Обстановка в комнате была чужая и скудная. Но все же я заметил несколько знакомых с детства вещей — мамину шкатулку, старинный бронзовый будильник и фотографию отца, снятую еще в молодости. Фотография висела на стене над маминой кроватью.



Мама заволновалась из-за того, что до сих пор не готов обед, и ушла на кухню. Галя, по своему обыкновению, начала расспрашивать меня о пустяках — какая погода в Киеве, почему опоздал поезд и пьет ли по-прежнему по утрам кофе бабушка Викентия Ивановна. Дима молчал.

Мне казалось, что в жизни у нас за эти годы случилось так много трудного и значительного, что неизвестно, о чем говорить. Потом я сообразил, что ни о чем трудном и важном говорить сейчас не нужно.

За эти два года наши жизни разошлись под разными углами. Десяти дней, на которые я приехал в Москву, не хватит, чтобы все рассказать.

Поэтому я ничего не сказал о первом рассказе. Я скрыл это и от мамы, и от Димы с Галей.

С легкой тоской я подумал о бабушке, о своей комнате на Лукьяновке. Там, должно быть, осталась моя настоящая жизнь. А здесь было что-то чужое — и Димин институт, и сумрачная старая квартира из двух комнат, и Галины неинтересные расспросы. Только глаза у мамы были еще прежние. Но мама волновалась теперь из-за таких пустяков, на которые раньше не обращала внимания.

Я ждал, что мама заговорит со мной о моем бу-

дущем, но она молчала об этом. Только за обедом она спросила вскользь:

— Ну, куда ты думаешь поступить после гимназии?

— В университет, — ответил я.

После обеда мама достала из шкатулки серые театральные билеты с рисунком чайки и протянула мне:

— Это тебе.

Это были билеты в Художественный театр на «Живой труп» и «Три сестры».

Оказалось, что мама, чтобы достать эти билеты, стояла в очереди к театральной кассе всю холодную зимнюю ночь. Я страшно обрадовался и поцеловал маму, а она, улыбаясь, сказала, что ей было очень интересно стоять всю ночь в толпе студентов и курсисток и что уже давно она так весело не проводила время.

«Три сестры» шли в день моего приезда. Тотчас после обеда мы с Димой начали собираться в театр. Мы доехали до Театральной площади в холодном трамвае. Синие электрические искры трещали на проводах.

Театральная площадь была наполнена тонкими блестками снега. Они висели в воздухе и были хорошо видны около фонарей. Магазин Мюра

и Мерилиза бросал на мостовую полосы света. За стеклянными стенами магазина горела елка. Цепи из золотой и серебряной бумаги свешивались до полу.

Мы прошли через Театральную площадь в Камергерский переулок и вошли в невзрачный снаружи театр.

Полы были затянуты серым сукном. Зрители двигались бесшумно. Из калориферов несло жарким ветром. Чуть колыхался коричневый занавес с чайкой. Все было строго и вместе с тем празднично.

У меня так горели щеки и, должно быть, так блестели глаза, что соседи по креслам поглядывали на меня улыбаясь. Дима сказал:

— Возьми себя в руки. Иначе ты ничего не услышишь и не увидишь.

Мне было больно за людей, мучившихся в чеховской пьесе. Но вместе с тем меня не оставляло ощущение свежести и праздничности. Эта праздничность и эта свежесть шли от искусства.

Все неприглядное и невеселое, что я увидел на Разгуляе, показалось мне временным и не очень серьезным. Пусть будут бедность, обиды, неудачи, но никто не сможет погасить тот свет, что пришел сейчас из таинственной страны искусства.

Никто не сможет отнять у меня это богатство. И никто не властен над ним, кроме меня самого.

В таком состоянии я прожил все десять дней в Москве. Мама посматривала на меня и все повторяла, что я стал удивительно похож на отца.

— Для меня ясно, — сказала она однажды, — что ты вряд ли сделаешься положительным человеком.

Она помолчала и добавила:

— Нет, конечно, ты не будешь опорой в жизни. Даже для себя. С твоими увлечениями! С твоими фантазиями! С твоим легким отношением к вещам!

Я молчал. Мама притянула меня к себе и поцеловала.

— Ну, бог с тобой! Мне хочется, чтобы ты был счастлив. А остальное не важно.

— Я и так счастлив, — ответил я. — Пожалуйста, обо мне не думай. Прожил же я два года один. И еще проживу.

Мама носила в то время очки. Оправа их была сломана. Очки держались на тесемке. Мама долго разматывала эту тесемку, сняла очки и внимательно посмотрела на меня.

— Неласковая стала наша семья! — вздохнула мама. — И скрытная. Это от бедности. Вот ты при-

ехал и даже ничего не рассказал о себе. И я все молчу, все откладываю. А нам надо поговорить.

— Ну, хорошо. Но только ты не волнуйся.

— Галя слепая! — сказала мама и долго молчала. — А сейчас она начала глохнуть. Без меня она не проживет и недели. Ты не понимаешь, как о ней надо заботиться. У меня сил осталось только на Галю. Один бог видит, как я вас люблю — и тебя, и Диму, и Борю, — но я не могу разорваться.

Я ответил, что все отлично понимаю и что очень скоро я могу помогать ей и Гале. Как только окончу гимназию.

Я уже не думал, как раньше, о возвращении к маме. Но я ее жалел и любил и хотел, чтобы она не терзалась мыслями обо мне.

Я успокоил ее и с легким сердцем начал собираться в Третьяковскую галерею.

Я чувствовал себя гостем в родной семье. Слишком был велик контраст между морозной, сверкающей снегами и зимним небом Москвой, с ее театрами, музеями, колокольным звоном, и унылой и стиснутой жизнью в двух холодных комнатах на Разгуляе.

Я с недоумением видел, что Дима совершенно доволен своей жизнью — институтом, выбранной профессией, которая была мне совершенно

чужда. С таким же недоумением я заметил, что в комнате у Димы почти нет книг, кроме учебников и литографированных лекций.

У Гали, по слепоте ее, весь день уходил на осторожную возню с разными небольшими делами. Она все делала на ощупь. Время для нее остановилось три года назад, когда она начала слепнуть. Галя жила только воспоминаниями — мелкими и однообразными. Круг этих воспоминаний делался все меньше — Галя многое начала забывать.

Иногда она молча сидела, положив руки на колени.

Изредка по вечерам мама урывала время и читала что-нибудь Гале, обыкновенно Гончарова или Тургенева. После чтения Галя подробно расспрашивала маму о только что прочитанном, стараясь восстановить в памяти мельчайшую последовательность событий в романах. Мама терпеливо ей отвечала.

Я ушел в Третьяковскую галерею. Посетителей почти не было. Тихая зима как бы перенесла галерею из столицы в Подмосковье — не было слышно никаких городских звуков. На стульях дремали старушки — хранительницы знаменитых картин.

Я долго стоял около картины Нестерова «Ви-

дение отроку Варфоломею». Тоненькие девочки-березы белели, как свечи. Каждая травинка доверчиво тянулась к небу. Щемило сердце от этой трогательной и ничего не требующей красоты.

На диване против картины сидела седая полная дама в черном. Она смотрела на картину в лорнет. Рядом с ней сидела молодая женщина с русыми косами.

Я остановился сбоку, чтобы не мешать им смотреть на картину. Седая дама обернулась ко мне и спросила:

— Как ты находишь, Костик, это похоже на холмы в Ревнах за парком или нет?

Я вздрогнул, смутился. Седая дама, улыбаясь, смотрела на меня.

— Ненаблюдательная нынче молодежь! — сказала она. — Неужели ты забыл Карелиных? В Ревнах? И меня, и Любу, и Сашу? Правда, прошло уже несколько лет.

Я покраснел, поздоровался. Теперь я узнал седую даму — Марию Трофимовну Карелину. Но Любу я узнал не сразу. Она выросла, и в косах у нее уже не было прежних черных лент.

— Садись, — сказала Мария Трофимовна. — Как вырос! Даже неловко говорить тебе «ты». Расска-

зывай, как ты сюда попал. И вспомним вместе Ревны. Ах, какие места, какие места! Этим летом мы непременно туда поедем.

Я рассказал о себе. А Мария Трофимовна сообщила, что она по-прежнему живет с Сашей в Орле. А вот Люба кончила гимназию и поступила в Московское училище живописи и ваяния. Сейчас Мария Трофимовна с Сашей приехали на зимние каникулы в Москву навестить Любу.

— А где же Саша? — спросил я.

— Осталась в гостинице. У нее горло болит.

Люба искоса поглядывала на меня, наклонив голову. Мы вышли вместе. Я проводил Карелиных до Лоскутной гостиницы. Они затащили меня к себе, чтобы согреться и выпить кофе.

В большом двойном номере было темно от тяжелых занавесей и ковров.

Саша встретила меня, как старого приятеля, и тотчас спросила про Глеба Афанасьева. Глеб, насколько я знал, учился в брянской гимназии.

Горло у Саши было завязано бантом, как у кошки. Саша взяла меня за руку:

— Пойдем! Я покажу тебе Любины картины.

Она потащила меня в соседнюю комнату. Но Люба схватила меня за другую руку и остановила.

— Глупости! — сказала она и покраснела. — Потом посмотрите. Мы еще увидимся?

— Не знаю, — нерешительно ответил я.

— Он будет встречать с нами Новый год! — крикнула Саша. — У Любы. В ее мастерской на Кисловке. Ой, какая там сходится богема, если бы ты знал, Костик! Рыцари холста и палитры. Одна художница — прямо из французского романа. Ты обязательно в нее влюбишься. Она ходит в черном атласном платье. Фу-шу! Фу-шу! А духи! Какие духи! «Грусть тубероз»!

— О господи! — сказала Люба. — Что это за несносная болтушка! Теперь понятно, почему у тебя всегда болит горло.

— У меня соловьиное горло. — Саша сделала томное лицо. — Оно не выносит русской зимы.

— Нет, правда, вы придете? — спросила меня Люба. — На Новый год?

— Я буду встречать дома. У нас это семейный обычай.

— А ты встреть дома, — решительно посоветовала Мария Трофимовна, — а потом приходи к Любе. Они будут дурачиться до утра.

Я согласился. Потом мы пили кофе. Саша положила мне в стакан четыре куска сахару. Такой кофе пить, конечно, было нельзя. Мария Трофи-

мовна рассердилась. Люба сидела, опустив глаза.

— Что ты сидишь, как Василиса Прекрасная? — спросила Саша. — Костик, правда, Люба стала красавицей? Посмотри на нее. Не то что ее младшая сестра — чумичка и гадкий утенок.

Люба вспыхнула, встала и отодвинула свою чашку.

— Перестанешь ли ты наконец! Сорока!

Я посмотрел на Любу. Синий огонь блеснул у нее в глазах. Она действительно была очень красивая.

Я ушел. Дома я сказал маме, что встретил Карелиных и они пригласили меня прийти к ним в новогоднюю ночь. Мама обрадовалась:

— Пойди, конечно! А то тебе, должно быть, скучно в Москве. Они очень милые и вполне интеллигентные люди.

Для мамы мерилом человека была его интеллигентность. Если мама кого-нибудь уважала, то говорила: «Это вполне интеллигентный человек!»

До Нового года оставалось два дня. Это были чудесные дни — заиндевелые и седые от тумана.

Я ходил один на каток в Зоологический сад и бегал там на коньках. Лед был крепкий и черный, не то что у нас в Киеве. Дворники разметали

каток огромными метлами.

Я бегал наперегонки с бородатым человеком в черной каракулевой шапочке. Я обогнал его. Этот человек напомнил мне художника, которого я видел в усадьбе около Смелы, когда ездил туда с тетей Надей.

Мама собиралась поехать со мной на могилу тети Нади на Ваганьково кладбище, но так и не собралась. Она рассказала, что на могиле до сих пор лежат фарфоровые розы. Они выцвели, но не разбились.

Я был на «Живом трупе» в Художественном театре. «Живой труп» мне понравился больше, чем «Три сестры». На сцене я видел настоящую Москву, суд, слышал песни цыганок.

В снежной декабрьской Москве я почему-то вспомнил далекое время — Алушту, Лену и то, как она крикнула мне: «Иди! Все это глупости!»

Все эти годы я собирался написать ей, но так и не написал. Теперь я уже был уверен, что она забыла меня.

Я вспомнил о Лене, и меня поразила мысль, как много людей уходит из жизни и уже никогда не вернется.

Так ушли Лена, и тетя Надя, и дед мой пасечник, и отец, и дядя Юзя, и много других людей.

Это было странно, грустно, и, несмотря на свои восемнадцать лет, мне казалось, что я уже много пережил. Я любил этих людей. Каждый из них, уходя, взял с собой кусочек моей любви. Я стал от этого, должно быть, беднее.

Так я думал тогда, но эти мысли не вязались с удивительной любовью к жизни, что росла во мне из года в год.

Много людей уходило совсем или надолго, и потому встреча с Карелиными — я совсем о них позабыл — показалась мне значительной, как будто она была неспроста.

Новый год я встретил дома. Мама напекла печенья. Дима купил закусок, вина и пирожных. В одиннадцать часов Дима куда-то ушел. Мама сказала мне, что он пошел за своей невестой. Звали ее Маргаритой.

Мама уверяла, что она замечательная девушка и лучшей жены для Димы она никогда бы не желала.

Чтобы не огорчать маму, я радостно удивился, хотя мне не понравилось имя Диминой невесты и то, что она происходит из чиновничьей семьи.

Я помог маме накрыть новогодний стол. В комнате пахло палеными волосами: Галя, завиваясь на ощупь, сожгла длинную прядь. Она огорчи-

лась. Я всячески старался развеселить ее.

Зажгли свечи. Мама поставила на стол бронзовый будильник. Я завел его на двенадцать часов.

Я достал подарки, которые привез из Киева: маме — серую материю на платье, Гале — туфли, а Диме — большую готовальню. Я выпросил ее у Бори. Готовальня была замечательная. Мама обрадовалась подаркам. Она даже раскраснелась.

За несколько минут до Нового года пришел Дима с высокой бледной девушкой. У девушки было длинное унылое лицо. Сиреневое платье с желтым пояском сидело на ней нескладно. Кружевной платочек был приколот к груди. Она все время краснела, а пирожные из вазы брала вилкой.

Галя тотчас завела с ней разговор о воспитании детей. Девушка отвечала неохотно, поглядывая на Диму. Дима сдержанно улыбался.

Бронзовый будильник отчаянно затрещал и прекратил Галины рассуждения. Мы выпили по бокалу вина и поздравили друг друга с Новым годом.

Мама, видимо, очень старалась, чтобы Маргарите у нас понравилось. Но она ревниво следила за тем, как Маргарита смотрит на Диму, как бы прикидывая, достаточно ли любви в ее взгляде.

Я болтал и старался всячески показать, что мне очень весело, но украдкой поглядывал на часы.

Мама выпила вина, повеселела и начала рассказывать Маргарите о Пасхе у бабушки в Черкассах и о том, как мы легко и весело жили когда-то в Киеве. Она будто сама не верила, что все это было так. «Правда, Костик?» — спрашивала она меня. Я каждый раз говорил, что да, это правда.

В половине второго я извинился и ушел. Мама вышла проводить меня в переднюю. Она спросила заговорщицким голосом, нравится ли мне Маргарита. Я понимал, что бесполезно говорить правду. Ничего, кроме лишних огорчений, это бы не принесло. Потому я сказал, что Маргарита прелестная девушка и я очень рад за Диму.

— Ну, дай бог, дай бог! — прошептала мама. — Мне кажется, что Маргарита хорошо относится к Гале.

Я вышел на Басманную, остановился и вдохнул холодный воздух. В домах горели огни. Я нанял извозчика и поехал на Кисловку. Извозчик всю дорогу бранился с лошадью.

На Кисловке мне открыла Саша. Новый пышный бант был завязан у нее на шее. В переднюю выбежали девушки и вышел красивый старик в студенческой тужурке. Любы почему-то не было.

Девушки, смеясь, начали разматывать мой башлык и стаскивать шинель, а старик запел молодым голосом:

Вот три богини спорить стали
На горе в вечерний час.

— Глаза! Глаза! — закричали девушки.

Саша закрыла мне ладонями глаза. Я задыхался от запаха девичьих волос, духов, от твердых маленьких пальцев Саши, нажимавших мне на глаза.

Меня взяли под руки и повели. Я почувствовал, как распахнулись двери — в лицо ударило жаром. Шум стих, и женский голос сказал повелительно:

— Клянитесь!

— В чем? — спросил я.

— В том, что в эту ночь вы забудете обо всем, кроме веселья.

Саша больно нажала мне пальцами на глаза.

— Клянусь! — ответил я.

— А теперь присягайте!

— Кому?

— Той, что избрана королевой нашего праздника.

— Присягай! — шепнула мне на ухо Саша.

Я вздрогнул от щекотки.

— Присягаю.

— В знак покорности вы поцелуете у королевы руку, таков рыцарский обычай, — сказал голос, сдерживая смех. — Саша, убери лапы!

Саша отняла ладони. Я увидел ярко освещенную комнату со множеством картин. На рояле в позе врубелевского демона лежал худой человек, в бархатной куртке. Руки его были заломлены над головой. Он смотрел на меня печальными глазами.

Курносый юноша ударил по клавишам. Девушки расступились, и я увидел Любу. Она сидела в кресле на круглом столе. Белое шелковое платье легко обхватывало ее и спадало на стол. Обнаженные руки были опущены. В правой руке Люба держала веер из черных страусовых перьев.

Люба смотрела на меня, стараясь не улыбаться.

Я подошел и поцеловал опущенную Любину руку. Старик в студенческой тужурке подал мне бокал шампанского. Оно было совершенно ледяное. Я выпил его залпом.

Люба встала. Я помог ей спуститься со стола. Она подхватила край длинного платья, наклонилась ко мне и спросила:

— Мы вас не напугали своими глупостями?

Зачем он вам дал ледяного шампанского? Выпейте чего-нибудь теплого. Кажется, остался глинтвейн.

Меня потащили к столу, начали угощать, но тут же забыли об этом и с хохотом сдвинули меня вместе со столом в угол комнаты, очищая место для танцев. Юноша заиграл вальс.

«Врубелевский демон» соскочил с рояля и начал танцевать с Любой. Люба проносилась по комнате, сильно откинувшись назад, прикрывая лицо черным веером. Каждый раз, пролетая мимо меня, она улыбалась из-за веера. Она придерживала шлейф своего платья.

Старик в студенческой тужурке танцевал с той женщиной, которую Саша звала героиней французского романа. Героиня зловеще хохотала.

Саша вытащила меня из-за стола. Я танцевал с ней. Она была такая тоненькая, что, казалось, вот-вот поникнет.

— Только не танцуй с Любой, — сказала Саша.

— Почему?

— Она гордячка!

После танцев «врубелевский демон» начал допивать вино из всех бутылок и опьянел.

— Я жажду лета! — закричал он. — Долой сосульки! Дайте мне дождь!

На него никто не обращал внимания, и он исчез. Старик в студенческой тужурке сел к роялю и хватающим за душу голосом запел:

Далекий друг, пойми мои рыданья!

Когда он окончил, мы вдруг услышали шум дождя. Он лился где-то рядом обильно и свежо. Все испуганно замолчали, потом бросились в коридор и в ванную комнату. «Врубелевский демон» стоял в ванне в пальто и в калошах, под черным зонтиком, и сильный душ, треща по зонтику, лился на него с потолка.

— Золото! Золото падает с неба! — кричал «врубелевский демон».

Душ закрыли, а «врубелевского демона» вытащили из ванны.

Я тоже что-то говорил, читал стихи, хохотал среди всеобщего сумбура. Я пришел в себя, когда Люба погасила люстру и комната наполнилась синей мглой рассвета.

Все стихли. Синева смешивалась с огнем настольной лампы. Лица казались матовыми и красивыми.

— Самое милое время после ералашных ночей, — сказал старик в студенческой тужурке. — Теперь можно спокойно потягивать вино. И

говорить о разных разностях. Люблю рассвет. Он прополаскивает душу.

«Врубелевский демон» еще не протрезвел.

— Никаких полосканий! — крикнул он. — Я не желаю слышать, как кто бы то ни было полощет свою душу. Достоевщина! Свет состоит из семи красок. Я преклоняюсь перед ними. А на остальное мне наплевать!

Потом все долго молчали, оцепенев от легкой дремоты. Люба сидела рядом со мной.

— Все плывет перед глазами, — сказала она. — И все такое синее… И мне совсем не хочется спать.

— Катарзис! — важно произнес старик в студенческой тужурке. — Очищение души после трагедии.

— Не знаю, — ответила Люба.

Она задумалась. В ее глазах отражалась утренняя синева.

— Вы устали, — сказал я.

— Нет, мне просто хорошо.

— Этим летом вы правда будете в Ревнах?

— Да, — ответила Люба. — А вы приедете?

— Приеду. Если там будет дядя Коля.

— А зачем «если»? — лукаво спросила Люба.

Вскоре все встали и начали прощаться. Я ушел последним. Мне надо было проводить до Лоскут-

ной гостиницы Сашу, а она напилась горячего чая и ждала, пока у нее остынет горло.

На улице нарядные женщины и молодые мужчины, должно быть актеры, играли в снежки. Разноцветное конфетти валялось на снегу. Вставало солнце, разрывая косматым огнем ночной туман.

После шумной этой ночи мне было стыдно возвращаться на Разгуляй, в бедную нашу квартиру, пропахшую керосином. Но я только на минуту подумал об этом. Потом опять все зазвенело на душе, — будто снег, и солнечный свет, и небо, и рука Любы, на мгновение задержавшаяся в моей во время прощания, будто вся эта жизнь незаметно превращалась в тихое звучание оркестра.

Через день я уехал из Москвы. Мама, сгорбленная, в теплом платке, провожала меня на вокзал. Дима пошел в тот вечер с Маргаритой в театр. А Галя все беспокоилась, чтобы я не опоздал на поезд.

На перроне мама сказала:

— Ты не сердись. Я, кажется, говорила, что ты похож на отца. Я-то знаю, что ты хороший.

Поезд отошел. Был вечер. Я долго смотрел на огни Москвы. Может быть, один из них светил в эту ночь из комнаты Любы.

Рассказ ни о чем

С февраля пошли оттепели. Киев начало заносить туманом. Его часто разгонял теплый ветер. У нас на Лукьяновке пахло талым снегом и корой — ветер приносил этот запах из-за Днепра, из потемневших к весне черниговских лесов.

Капало с крыш, играли сосульки, и только по ночам, да и то редко, ветер срывал тучи, лужи подмерзали и на небе поблескивали звезды. Их можно было увидеть только у нас на окраине. В городе было так много света из окон и от уличных фонарей, что никто, очевидно, даже не подозревал о присутствии звезд.

В сырые февральские вечера в бабушкином флигеле было тепло и уютно. Горели электрические лампы. Пустые сады начинали иногда шуметь от ветра за ставнями.

Я писал новый рассказ — о Полесье и «могилевских дедах». Я возился с ним, и чем больше возился, тем больше рассказ «уставал» — делался вялым и выпотрошенным. Но все же я окончил и отнес в редакцию журнала «Огни».

Редакция помещалась на Фундуклеевской улице, во дворе, в маленькой комнате. Веселый

кругленький человек резал колбасу на ворохах гранок, готовясь пить чай. Его совершенно не удивило появление в редакции гимназиста с рассказом.

Он взял рассказ, мельком заглянул в конец и сказал, что рассказ ему нравится, но надо подождать редактора.

— Вы подписали рассказ настоящей фамилией? — спросил кругленький.

— Да.

— Напрасно! Наш журнал левый. А вы гимназист. Могут быть неприятности. Придумайте псевдоним.

Я покорно согласился, зачеркнул свою фамилию и написал вместо нее «Балагин».

— Сойдет! — одобрил кругленький.

В комнату вошел с улицы худой человек с землистым лицом, спутанной бородой и впалыми пронзительными глазами. Он долго, чертыхаясь, снимал глубокие калоши, разматывал длинный шарф и кашлял.

— Вот редактор, — сказал кругленький и перестал сдирать с колбасы кожуру и показал на вошедшего перочинным ножом.

Редактор, даже не взглянув на меня, подошел к столу, сел, протянул перед собой в пространство

руку и сказал глухим, страшным голосом:

— Давайте!

Я вложил рукопись в его протянутую руку.

— Вам известно, — спросил редактор, — что непринятые рукописи не возвращаются?

— Известно.

— Великолепно! — проворчал редактор. — Приходите через час. Будет ответ.

Кругленький подмигнул мне и усмехнулся.

Я ушел обескураженный, долго ходил по Крещатику, зашел в библиотеку и встретил там Фицовского. Он только что взял томик Ибсена. Он начал ругать меня за то, что я мало читаю Ибсена, и сказал, что самое великое произведение в мире — это «Привидения».

Мы вместе вышли из библиотеки. Мне было еще рано возвращаться в редакцию. Мы зашли в темный двор и покурили: на улице мы могли попасться кому-нибудь из учителей или надзирателей. Курить нам запрещалось.

Фицовский проводил меня до редакции и решил подождать под воротами. Ему было интересно узнать, чем все окончится. Но я упросил его уйти. Мне было страшно. Что, если рассказ не возьмут, — какими глазами посмотрит на меня Фицовский.

Я вошел в редакцию. Редактор некоторое время проницательно смотрел на меня и молчал. Я тоже молчал и чувствовал, как от моего лица пышет жаром. Очевидно, я страшно покраснел.

— Разрешите мне взять рукопись, — сказал я.

— Рукопись? — спросил редактор и закашлялся от смеха. — Прошу вас. Умоляю. Можете взять ее и бросить в печку. Но дело в том, что я хочу напечатать этот рассказ. Представьте, он мне понравился.

— Извините, я не знал, — пробормотал я.

— Горячий юноша! Раз попали на писательскую стезю, так, будьте добры, запаситесь терпением. За гонораром — в среду! — произнес он ледяным тоном, меняя голос. — А все, что напишете, приносите нам.

Я выскочил из редакции. В подворотне стоял Фицовский. Он не ушел.

— Ну что? — спросил он испуганно. — Взяли?

— Взяли.

— Пойдем ко мне! — воскликнул Фицовский. — Есть бутылка муската и моченые яблоки. Ознаменуем!

Мы выпили вдвоем с Фицовским бутылку муската. Я вернулся домой очень поздно. Трамваев уже не было.

Я шел по пустым улицам. Фонари не горели. Если бы мне встретился нищий, я, должно быть, отдал бы ему свою шинель или сделал что-нибудь безрассудное в этом же роде.

Но я никого не встретил, кроме белой мокрой собаки.

Она сидела, поджав лапу, около забора. Я пошарил в карманах, но ничего не нашел. Тогда я погладил ее. Собака тотчас увязалась за мной.

Я разговаривал с ней всю дорогу. В ответ она подпрыгивала и хватала меня зубами за рукав шинели.

— Послушаем! — говорил я и останавливался.

Собака подымала уши. Из садов долетал шорох, будто там ворошили прошлогоднюю листву.

— Ты понимаешь, что это значит? — спрашивал я собаку. — Это весна. А потом будет лето. И я уеду отсюда. И, может быть, увижу женщину — самую хорошую на свете.

Собака подпрыгивала, хватала меня зубами за рукав шинели, и мы шли дальше.

В домах не светилось ни одного окна. Город спал. По-моему, все жители должны были сейчас же проснуться и высыпать на улицы, чтобы увидеть этот мрачный перелет облаков и услышать, как тает и похрустывает снег и как из-под осев-

ших сугробов медленно каплет вода. Нельзя было спать в такую удивительную ночь.

Я не помню, как добрался до дома. Бабушка спала. Собака вежливо прошла за мной в комнату. Холодный ужин стоял на столе. Я накормил собаку хлебом и мясом и уложил в углу около печки. Собака тотчас уснула. Иногда она, не просыпаясь, благодарно помахивала хвостом.

Утром бабушка увидела собаку, но не рассердилась. Она пожалела ее, назвала Кадо, начала кормить, и собака так и прижилась у бабушки.

Весна с каждым днем подходила все ближе. Вместе с весной надвигались на нас выпускные экзамены. Чтобы выдержать их, надо было повторить весь гимназический курс наук. Это было трудно, особенно весной.

Наступила Пасха. В конце пасхальных каникул приехал на несколько дней из Брянска дядя Коля. Он приехал навестить бабушку.

Дядя Коля поселился у меня в комнате во флигеле. Тетя Вера, жившая со своей семьей в большом доме на улицу, обиделась на дядю Колю за то, что он остановился у меня. Но дяде Коле удалось отшутиться.

По вечерам мы с дядей Колей, лежа на койках, болтали и смеялись. Бабушка, услышав нашу

болтовню, вставала, одевалась, приходила к нам и засиживалась до поздней ночи.

Однажды мы были с дядей Колей на обязательном чопорном ужине у тети Веры. В доме у нее собирались, по словам бабушки, разные «монстры и креатуры».

Из них особенно возмущал меня известный в Киеве глазной врач Думитрашко, очень низенький, с пискливым голоском, курчавой бородкой и золотыми кудряшками, лежавшими по вороту его черного сюртука.

Как только появлялся Думитрашко, воздух пропитывался ядом. Потирая пухлые ручки, Думитрашко начинал говорить гадости об интеллигенции. Муж тети Веры, угреватый делец, похожий на молдаванина, ему поддакивал.

Потом неизменно появлялся отставной генерал Пиотух с тремя старыми девами — своими дочерьми. Генерал говорил преимущественно о ценах на дрова — он понемногу подторговывал дровами.

Тетя Вера старалась вести светский разговор, но это ей плохо удавалось. Почти каждую фразу она начинала излюбленными словами: «Имейте в виду».

«Имейте в виду, — говорила она, — что ма-

дам Башинская носит только лиловые платья». «Имейте в виду, что этот пирог из собственных яблок».

Чтобы развлечь гостей, тетя Вера заставляла свою дочь Надю играть на пианино и петь. Надя боялась сверлящих глаз генеральских старых дев. Она неуверенно наигрывала на пианино и пела тонким, дрожащим и потому жалким голосом модного в то время «Лебедя»:

Заводь спит, молчит вода зеркальная…

Учительница музыки — немка, безмолвная участница этих вечеров, — зорко следила за Надей. У немки был большой и необыкновенно тонкий нос. Он просвечивал насквозь, когда попадал под яркий свет лампы. Над этим носом вздымалась скирда волос, уложенных фестонами.

Мы вернулись с дядей Колей после ужина в бабушкин флигель.

— Фу-у! — сказал дядя Коля, отдуваясь. — До чего противно!

Чтобы забыть об этом вечере, рассеяться, дядя Коля зазвал к бабушке Гаттенбергера и устроил домашний концерт. Он пел для бабушки под аккомпанемент виолончели польские крестьян-

ские песни.

Ой ты, Висла голубая,
Как цветок.
Ты бежишь в чужие земли —
Путь далек!

Бабушка слушала, сжав руки на коленях. Голова ее тихо тряслась, и тусклые слезы набегали на глаза. Польша была далеко-далеко! Бабушка знала, что никогда больше не увидит ни Немана, ни Вислы, ни Варшавы. Бабушка уже двигалась с трудом и даже перестала ездить в костел.

В день отъезда дядя Коля сказал мне, что будущим летом он снова поедет в Ревны, и взял с меня слово, что я тоже туда приеду. Меня не надо было об этом особенно просить. Я с радостью согласился.

С той минуты, как я узнал, что поеду в Ревны, все преобразилось. Я даже поверил, что хорошо выдержу выпускные экзамены. Оставалось только ждать, а ожидание счастливых дней бывает иногда гораздо лучше этих самых дней. Но в этом я убедился позже. Тогда я еще не подозревал об этом странном свойстве человеческой жизни.

Аттестат зрелости

Выпускные экзамены начались в конце мая и тянулись целый месяц. Все классы были уже распущены на летние каникулы. Только мы приходили в пустую прохладную гимназию. Она будто отдыхала от зимней сутолоки. Шум наших шагов разносился по всем этажам.

В актовом зале, где шли экзамены, окна были распахнуты. Семена одуванчиков летали в свете солнца по залу, как белые мерцающие огоньки.

На экзамены полагалось приходить в мундирах. Жесткий ворот мундира с серебряным галуном натирал шею. Мы сидели в саду под каштанами в расстегнутых мундирах и ждали своей очереди.

Нас пугали экзамены. И нам было грустно покидать гимназию. Мы свыклись с ней. Будущее рисовалось неясным и трудным, главным образом потому, что мы неизбежно растеряем друг друга. Разрушится наша верная и веселая гимназическая семья.

Перед экзаменами в саду была устроена сходка. На нее созвали всех гимназистов нашего класса, кроме евреев. Евреи об этой сходке ничего не

должны были знать.

На сходке было решено, что лучшие ученики из русских и поляков должны на экзаменах хотя бы по одному предмету схватить четверку, чтобы не получить золотой медали. Мы решили отдать все золотые медали евреям. Без этих медалей их не принимали в университет.

Мы поклялись сохранить это решение в тайне. К чести нашего класса, мы не проговорились об этом ни тогда, ни после, когда были уже студентами университета. Сейчас я нарушаю эту клятву, потому что почти никого из моих товарищей по гимназии не осталось в живых. Большинство из них погибло во время больших войн, пережитых моим поколением. Уцелело всего несколько человек.

Была еще вторая сходка. На ней мы условились, кто из нас должен помочь писать сочинения некоторым гимназисткам Мариинской женской гимназии. Не знаю почему, но письменный экзамен по русской словесности они держали вместе с нами. Переговоры с гимназистками вел Станишевский. Он принес список гимназисток, нуждавшихся в помощи. В списке было шесть имен.

Мне поручили помочь гимназистке Богушевич.

Я ее не знал и никогда не видел.

Сочинение мы писали в актовом зале. Каждый сидел за отдельным столиком — гимназисты слева, а гимназистки справа. По широкому проходу между гимназистками и нами прогуливались надзиратели. Они поглядывали, чтобы мы не передавали друг другу записок, промокашек и других подозрительных предметов.

Все шесть гимназисток из списка Станишевского сели около прохода. Я старался угадать, которая из них Богушевич. Фамилия «Богушевич» вызывала представление о полной украинке. Одна из гимназисток была полная, с толстыми косами. Я решил, что это и есть Богушевич.

Вошел директор. Мы встали. Директор с треском распечатал плотный конверт, вынул из него бумагу с темой сочинения, посланной из учебного округа, взял мел и тщательно написал на доске: «Истинное просвещение соединяет нравственное развитие с умственным».

Тревожный гул прошел по залу — тема была гробовая.

Мне нельзя было терять времени. Я тотчас начал писать конспект сочинения для Богушевич на узкой полоске бумаги.

Во время выпускных экзаменов нам разреша-

лось курить. Для этого мы поодиночке отпрашивались в курительную комнату в конце коридора. Там дежурил одряхлевший сторож Казимир — тот самый, что привел меня в приготовительный класс.

По дороге в курилку я свернул в тонкую трубку конспект и засунул его в мундштук папиросы. Я выкурил папиросу, а окурок положил на подоконник, на условленное место. Казимир ничего не заметил. Он сидел на стуле и жевал бутерброд.

Моя задача была окончена. После меня в курилку пошел Литтауэр. Он бросил на окно свой окурок с конспектом, а из моего достал шпаргалку и, возвращаясь на место по проходу, подбросил ее на стол гимназистке Богушевич. После Литтауэра это же проделали Станишевский, Регамэ и еще двое гимназистов. Их работа требовала ловкости и верного глаза.

Я уже начал писать свое сочинение, когда в зал возвратился Литтауэр. Я следил за ним. Мне хотелось посмотреть, как и кому он подбросит шпаргалку. Но он сделал это так быстро, что я ничего не заметил. Только по тому, как одна из гимназисток начала судорожно писать, я понял, что дело сделано и Богушевич спасена.

Но писать начала не гимназистка с толсты-

ми косами, а совсем другая. Я видел только ее худенькую спину, перекрещенную полосками от парадного белого передника и рыжеватые локоны на шее.

На сочинение дали четыре часа. Большинство из нас окончило его раньше. Только гимназистки еще сидели, мучаясь, за столами.

Мы вышли в сад. В нем в этот день пело такое множество птиц, будто они собирались здесь со всего Киева.

В саду чуть не вспыхнула ссора между Литтауэром и Станишевским. Литтауэр сказал, что Станишевский бездарно устроил всю эту помощь гимназисткам. Станишевский вскипел. Он сиял от успеха своего предприятия и ожидал славы, а не критики.

— В чем дело? — спросил он Литтауэра задиристым тоном, не предвещавшим ничего хорошего.

— А в том, что нам ни на какого черта не надо было знать фамилии гимназисток, которым мы пишем. Шесть гимназисток — шесть шпаргалок. Любую шпаргалку получает любая гимназистка. Зачем мне знать, что я пишу для Богушевич или Яворской? Не все ли мне равно! Это только осложнило дело, когда мы подбрасывали шпаргалки.

— Боже мой! — Станишевский горестно покачал головой. — Ты форменный кретин! У тебя нет никакого полета фантазии. Так знай, что я сделал это нарочно.

— Зачем?

— Мне это показалось ин-те-рес-нее! — веско ответил Станишевский. — Может быть, на этой почве вспыхнет между спасителем и спасенной жгучая любовь! Ты об этом подумал?

— Нет.

— Ну и балда! — отрезал Станишевский. — А теперь — к Франсуа. Есть мороженое.

После каждого экзамена мы кутили на свои скромные деньги — ходили в кондитерскую Франсуа и съедали там по пяти порций мороженого.

Самым трудным для меня был экзамен по тригонометрии. Я все-таки выдержал его. Экзамен затянулся до вечера.

После экзамена мы подождали, пока инспектор объявил отметки, и, обрадованные тем, что никто не провалился, шумно вырвались на улицу.

Станишевский изо всей силы швырнул вверх растрепанный учебник. С неба на мостовую, качаясь и разлетаясь по сторонам, посыпались страницы. Нам это понравилось. Мы все по команде метнули свои учебники в небо. Через

минуту мостовая побелела от шелестящей бумаги. В спину нам засвистал городовой.

Мы свернули на Фундуклеевскую, потом на узкую Нестеровскую. Постепенно все разбрелись, и нас осталось всего пятеро: Станишевский, Фицовский, Шмуклер, Хорожевский и я.

Мы пошли к Галицкому базару, где было много маленьких закусочных и пивных. Мы решили напиться, потому что считали, что экзамены уже окончены. Оставалась только латынь, но этого экзамена никто не боялся.

Мы острили и хохотали. В нас, по старомодному выражению, вселился бес. Прохожие оглядывались на нас.

На Галицком базаре мы зашли в пивную. От полов пахло пивом. Вдоль стены были устроены дощатые загоны, обклеенные розовыми обоями. Они назывались «отдельными кабинетами». Мы заняли такой «кабинет» и заказали водку и бефстроганов.

Хозяин предусмотрительно задернул линялую занавеску. Но мы так шумели, что время от времени кто-нибудь из посетителей приоткрывал занавеску и заглядывал к нам в «кабинет». Всех заглядывающих мы угощали водкой. Они охотно пили и поздравляли нас с «благополучным

окончанием».

Был уже поздний вечер, когда хозяин вошел в наш «кабинет» и, скосив на занавеску глаза, сказал вполголоса:

— Сипатый торчит за дверьми.

— Какой еще сипатый? — спросил Станишевский.

— Из сыскного. Надо вам аккуратненько выбираться во двор через задний ход. А со двора есть проход на Бульварно-Кудрявскую улицу.

Мы не придали особой важности словам хозяина, но все же вышли через задний ход в зловонный темный двор. Мимо мусорных ящиков и дровяных сараев, нагибаясь, чтобы не задеть головой за протянутые бельевые веревки, мы выбрались на Бульварно-Кудрявскую. Никто за нами не шел.

Мы вышли из подворотни на тускло освещенный тротуар. Там стоял, поджидая нас, сутулый человек в котелке.

— Добрый вечер! — просипел он зловещим голосом и приподнял котелок. — Хорошо ли погуляли, господа гимназисты?

Мы ничего не ответили и пошли вверх по Бульварно-Кудрявской. Человек в котелке пошел за нами.

— Молоко на губах не обсохло, — сказал он со злобой, — а тоже лезут в проходные дворы!

Станишевский остановился. Человек в котелке тоже остановился и засунул руку в карман длинного пиджака.

— Что вам нужно? — спросил Станишевский. — Убирайтесь немедленно к черту!

— По кабакам ныряете, — заговорил человек в котелке. — А еще воспитанники императорской гимназии! За посещение кабаков полагается «волчий билет». Это вам известно?

— Пойдем! — сказал нам Станишевский. — Скучно слушать дурака.

Мы пошли. Человек в котелке двинулся за нами.

— Я-то не дурак, — сказал он. — Это вы дураки. Я сам учился в гимназии.

— Оно и видно, — заметил Шмуклер.

— Что видно? — истерически закричал человек. — Меня за пьянку из гимназии выкинули с «волчьим билетом». А я вам вашу выпивку так и прощу? Нет! Я своего добьюсь. Не будет мне покоя, пока не дадут вам по «волчьему билету». Плакали ваши экзамены. Рукава от жилетки вы получите, а не университет. Вели в кабаке разговоры против правительства? Вели! Над царским

семейством надсмехались? Надсмехались! Мне вас прибрать — это раз плюнуть. Со мной не рекомендую шутковать. Я вас все равно представлю в охранку.

Мы свернули по пустынным улицам к Святославскому яру. Мы думали, что сыщик побоится идти за нами в глухой этот яр. Но он упорно шел следом.

— Неужели мы впятером с ним не справимся? — тихо спросил Станишевский.

Мы остановились. Сыщик вынул из кармана револьвер. Он показал его нам и глухо засмеялся.

Мы долго водили его по улицам, избегая перекрестков, где стояли городовые. Фицовский предложил отделяться по одному и исчезать. В этом случае сыщик всегда будет идти следом не за одним, а за несколькими — сначала за четырьмя, потом за тремя, за двумя и, наконец, за одним. Вместо пятерых он сможет задержать только одного.

Но никто из нас не согласился с Фицовским. Это было бы не по-товарищески. Мы издевались над сыщиком. Каждый из нас громко рассказывал вымышленную его биографию. Биографии были чудовищные и оскорбительные. Сыщик хрипел от ярости. Он, видимо, устал, но с упрямством

помешанного плелся сзади.

На востоке начало синеть. Пора было действовать. Мы сговорились и, кружа по переулкам, подошли к дому, где жил Станишевский.

На улицу выходила каменная ограда в полтора человеческих роста. Внизу на ней был выступ. Мы по команде вскочили на этот выступ и перемахнули через ограду. Уроки гимнастики нам пригодились.

Куча битого кирпича лежала в палисаднике за оградой. Град кирпичей посыпался на сыщика, оставшегося за стеной. Он вскрикнул, отскочил на середину улицы и выстрелил. Нудно провыла в воздухе пуля.

Мы бросились через палисадник и подворотню во второй двор, взбежали на четвертый этаж, в квартиру Станишевского, и через несколько минут уже лежали все, раздевшись, на диванах и тахтах и прислушивались к тому, что происходит на улице.

Отец Станишевского, седой щетинистый адвокат, ходил по комнатам в халате. Он был настроен так же воинственно, как и мы, но умолял нас лежать спокойно, не вскакивать и не подходить к окнам.

Сначала было слышно, как кто-то бешено тряс

ворота и ругался с дворником. Потом во дворе послышались голоса сипатого и городовых. На наше счастье, двор того дома, где жил Станишевский, был проходным. Дворник уверял, что гимназисты, должно быть, удрали через проходной двор. Пошумев, сыщик и городовые ушли.

Мы уснули мертвым сном и проснулись только в полдень. Мы выслали на улицу разведчиц — сестер Станишевского. Ничего подозрительного не было, и мы разошлись по домам.

Как это ни покажется странным сейчас, но мы избавились от большой опасности: неизбежного исключения и «волчьего билета» за два дня до окончания гимназии. Это было бы равносильно гражданской смерти.

Наконец настал удивительный день, когда в актовом зале у большого стола, покрытого зеленым сукном, директор ро́здал нам аттестаты и поздравил каждого с окончанием гимназии. На следующий день в гимназии был традиционный выпускной бал. На него пригласили гимназисток, державших вместе с нами экзамен по русской словесности.

Гимназия была ярко освещена. В саду висели разноцветные фонарики. Играл оркестр.

Перед балом Субоч сказал нам речь:

— В четвертом классе я вас только терпел. В пятом я начал вас воспитывать, хотя было мало шансов сделать из вас настоящих людей. В шестом классе я с вами подружился. В седьмом — я вас полюбил, а в восьмом я начал даже вами гордиться. Я несчастный отец. У меня слишком много детей, не меньше сорока человек. К тому же через каждые несколько лет мои дети меняются. Одни уходят, другие приходят. Отсюда вывод — на мою долю выпадает в сорок раз больше огорчений, чем на долю обыкновенных родителей. И в сорок раз больше возни. Поэтому я, может быть, не всегда был одинаково внимателен ко всем. Мне грустно расставаться с вами. Я стремился сделать из вас хороших людей. Вы, в свою очередь, давали смысл моей жизни. Я молодел с вами. Я прощаю отныне и навеки все ваши глупые выходки и даже драки с первым отделением. Прощаю все. В этом нет, конечно, никакого великодушия. Но вас я призываю к великодушию. Гейне сказал, что на земле больше дураков, чем людей. Он, конечно, преувеличил. Но что это все-таки значит? Это значит, что ежедневно мы встречаем людей, чье существование не приносит ни им, ни окружающим никакой радости и пользы. Бойтесь быть бесполезными. Кем бы вы ни стали, помните

мудрый совет: «Ни одного дня без написанной строчки». Трудитесь! Что такое талант? Трижды и четырежды труд. Любите труд, и пусть вам всегда будет жаль с ним расставаться. Счастливой дороги! Не поминайте лихом своих наставников, поседевших в боях с вами!

Мы бросились к нему, и он расцеловался с каждым из нас.

— А теперь, — сказал Субоч, — несколько слов по-латыни!

Он взмахнул руками и запел:

Caudeamus igitur juvenes dum sumus!

Мы подхватили нашу первую студенческую песню.

Потом начался бал. Распорядителем был Станишевский. Он приказал гимназистам-спасителям пригласить на вальс спасенных ими гимназисток. Он познакомил меня с худенькой девушкой с радостными глазами — Олей Богушевич. Она была в белом платье. Опустив глаза, она поблагодарила меня за помощь и побледнела от смущения. Я ответил, что это сущие пустяки. Мы танцевали с ней. Потом я принес ей из буфета мороженого.

После бала мы провожали гимназисток домой.

Оля Богушевич жила в Липках. Я шел с ней ночью под теплой листвой деревьев. Ее белое платье казалось слишком нарядным даже для этой июньской ночи. Мы расстались с ней друзьями.

Я пошел к Фицовскому, где наш кружок проводил остаток ночи. Мы устроили в складчину ужин с вином и пригласили на него Субоча, Селихановича и Иогансона. Иогансон пел песенки Шуберта. Субоч виртуозно аккомпанировал ему на бутылках.

Мы много шумели и разошлись, когда поднялось солнце, но на улицах еще лежала холодная длинная тень. Мы крепко обняли друг друга на прощанье и пошли каждый своей дорогой со странным чувством грусти и веселья.

Воробьиная ночь

И вот опять за окном знакомые листья орешника. В них блестят капли дождя. Опять солнце в промокшем до нитки парке и шум воды на плотине. Опять Рёвны, но Любы нет.

Дача Карелиных стояла заколоченная и пустая. На ее веранде поселился бродячий черный пес. Когда кто-нибудь подходил к даче, он с визгом вскакивал и, поджав хвост, прятался в кустах.

Там он долго лежал, пережидая опасность.

Саша заболела дифтеритом, и Карелины приедут, может быть, в конце лета, а может быть, и совсем, не приедут. Никто этого не знает.

А лето выдалось бурное и непостоянное — оттого, что на солнце, по словам дяди Коли, было много пятен.

После обложных дождей наступила засуха. Но тихие дни часто комкал жаркий ветер, заносил сухой мглой. Вода в реке чернела. Сосны начинали мотать вершинами и неспокойно шуметь.

Пыль подымалась над дорогами, бежала по ним до края земли, преследовала путников.

— Суходольное лето, — говорили крестьяне.

На липах появились сухие листья. Река мелела с каждым днем. По утрам все меньше выпадало росы. А днем было слышно, как в траве потрескивали сухие коробочки с семенами.

Горячие поля были засыпаны белыми хлопьями репейника.

— Ну и гроза же будет после такой жары! — говорили все.

И гроза наконец пришла. Она приближалась медленно, и мы с Глебом Афанасьевым следили за ней с самого утра. В купальне на реке стояла такая духота, что темнело в глазах. Мы долго не

вылезали из тепловатой воды.

Небо затянулось дымом. За ним проступали огромные клубы черной, будто окаменелой ваты. Это просвечивала сквозь дым грозовая туча.

Мертвая тишина стояла вокруг. Замолчали лягушки и птицы, перестала плескать рыба. Даже листья не шевелились, испуганные грозой. Мордан залез под дачу, тихонько повизгивал там и не хотел выходить. Только люди шумели и перекликались, но и людям было не по себе.

К сумеркам дым разошелся, и туча, глухая, как ночь, заняла половину неба. Ее передергивали молнии. Грома не было. На востоке поднялся мутный месяц. Он вышел навстречу туче совершенно один, брошенный всеми, — ни одной звезды не было видно за его спиной. Месяц бледнел при каждой вспышке молнии.

Потом наконец свежо и протяжно вздохнула земля. Первый гром прокатился через леса и ушел далеко на юг по зашумевшим от ветра хлебам. Он уходил, ворча, а вслед ему возникал новый гром и катился туда же, на юг, встряхивая землю.

— Илья-пророк, — говорил Глеб Афанасьев, — раскатывается в небесах.

В туче стало заметно движение желтых вихрей. Край тучи начал загибаться к земле. Молнии

взрывались и перебегали в черных пещерах неба.

На сельской колокольне несколько раз торопливо ударили в колокол двойным ударом. Это был сигнал к тому, чтобы в избах заливали огонь в печах.

Мы закрыли все окна и двери, вьюшки в печах и ставни, сели на веранде и начали ждать.

Далеко за парком возник широкий — во всю ширину земли — зловещий гул. Тетя Маруся не выдержала и ушла в дом. Гул приближался, будто на нас, все смывая, катился океан. Это шел ветер.

Потом все завыло и засвистело. Заскрипели столетние липы. Желтая мгла помчалась над самой землей. Посыпались стекла. Невиданный белый свет зажегся в этой мгле, и раздался такой треск, будто дачу вбило в землю по самую крышу. По шумящим вершинам прокатился желтый огненный шар. Он трещал и дымился, а потом взорвался с сухим грохотом, как дальнобойный снаряд.

— Скорей бы дождь! — повторяла тетя Маруся. — Скорей бы дождь!

Наконец обрушился ливень. Серые потоки лились на взлохмаченный парк.

Ливень гудел, набирая силу. Под его успокои-

тельный шум мы разошлись по своим комнатам и крепко уснули.

Ночью я проснулся от лая собак, фырканья лошадей, торопливых шагов внизу, смеха, звона посуды. Глеб тоже не спал.

Ливень прошел, но молнии мигали беспрерывно.

— Костик, — сказал Глеб, — мое вещее сердце подсказывает, что кто-то приехал. Но кто? Давай послушаем.

Мы полежали несколько минут молча. Глеб вскочил и начал в темноте одеваться.

— Есть! — сказал он. — Слышу умолкнувший звук божественной Сашиной речи. Это Карелины! Вставай!

Я тоже начал одеваться. Я слышал, как тетя Маруся сказала внизу:

— Да, Костик здесь. Уже давно. И Глеб здесь. Надо их разбудить.

— Пусть спят, — ответила Мария Трофимовна. — Завтра успеют наболтаться. Как мы добрались, сама не пойму. В Рябчевке два часа пережидали грозу. Хорошо, что дорога песчаная.

— Ну, пойдем! — сказал Глеб.

— Иди ты первый.

— Ага! — воскликнул Глеб. — Значит, вы вол-

нуетесь, молодой человек!

— Зачем мне волноваться?

— Тогда пошли вместе!

Мы спустились вниз. В комнате горели лампы. Тетя Маруся собирала на стол чай. Под стенами стояли мокрые чемоданы.

Мария Трофимовна сидела за столом. Саша бросилась к нам навстречу и расцеловалась с Глебом и со мной. Она была страшно худая, но глаза ее блестели по-прежнему.

Мы почтительно поцеловали руку у Марии Трофимовны.

— Ого, как загорел! — сказала Мария Трофимовна и потрепала меня по щеке.

Люба стояла на коленях спиной к нам и рылась в корзинке. Она не оглянулась и продолжала что-то искать.

— Люба, — позвала Мария Трофимовна, — ты что же, не замечаешь? Костик здесь. И Глеб.

— Сейчас, — ответила Люба и медленно встала. — Я не могу найти лимон, мама.

— Ну и бог с ним, с лимоном.

Люба обернулась, поправила волосы и протянула мне руку. Она мельком взглянула на меня и отвела глаза.

— Садитесь, — сказала тетя Маруся. — Чай

стынет.

Мы сели к столу. Дяди Коли в комнате не было. Я слышал, как он кому-то на веранде сливал на руки, а тот, кому он сливал, фыркал, мылся и говорил, картавя:

— Ради бога, не утруждайте себя. Благодарю вас.

— Кто это? — спросил я Сашу.

Она взяла меня за плечо и зашептала на ухо:

— Ленька Михельсон. Товарищ Любы по школе. Художник. Вундеркинд. Лошак!

— Кто? — переспросил я.

— Сам увидишь. Я его ненавижу.

— Саша! — прикрикнула Мария Трофимовна. — Перестань шептаться!

Люба недовольно взглянула на Сашу и потупилась.

С веранды вошел дядя Коля. За ним шел, вытирая руки, высокий юноша в очках, с длинным лицом и большими зубами. Добродушно глядя в лицо, он поздоровался со мной и Глебом. Несмотря на подслеповатость и неуклюжесть, сразу было видно, что он, как любила выражаться мама, из «хорошей семьи». Он держал себя вежливо и непринужденно, но, конечно, был явный горожанин.

Он сел к столу, взяв у тети Маруси стакан чаю, поблагодарил и сказал:

— Пасторальная жизнь!

Глеб фыркнул. Тетя Маруся тревожно посмотрела на меня и Глеба, а Саша сказала:

— Леня, ей-богу, возьмите лучше варенья. Это земляничное.

Дядя Коля тоже строго посмотрел на Глеба, но тут же улыбнулся.

После чая мы помогли Карелиным перетащить вещи на их дачу. Парк отряхивался от дождя и шуршал. В деревне на разные голоса орали петухи. Рассвет проступал над вершинами.

Карелины тотчас же начали прибираться и устраиваться.

Взошло солнце, позолотило перила веранды и открыло вокруг необыкновенную чистоту и свежесть. Леня Михельсон что-то чертил палкой на песчаной дорожке около дачи Карелиных.

— Какое утро! — сказал мне Глеб, когда мы притащили к ним последний чемодан и Мария Трофимовна велела больше ни с чем не возиться. — Пойдем купаться.

Мы захватили мохнатые полотенца и пошли в купальню. На песчаной дорожке около дачи Карелиных была нарисована очень похожая Лю-

бина голова в профиль, солнце над ней, и было написано: «О солнечность светотканая!»

Глеб рассердился:

— Декадент! Телячий восторг!

Глеб шел, размахивая полотенцем. Потом, не глядя на меня, он сказал:

— А ты, Костик, брось, не думай. Серьезно, брось! Не стоит из-за этого портить себе лето. Ну, кто скорей?

Он побежал. Я побежал за ним. Лягушки прыгали, спасаясь от нас, в мокрую траву. Белый шар солнца подымался все выше. Промытое начисто легкое небо становилось все ярче и ярче.

Пока я добежал до купальни, мне показалось, что горечь у меня на душе почти прошла. Я запыхался, раскраснелся, сердце у меня колотилось, и я подумал: неужели я буду мучиться из-за Любы, из-за высокомерной девушки, когда вокруг разгорается такое утро и впереди ждет длинный летний день!

В купальню пришел дядя Коля. Мы плавали, ныряли и так раскачали реку, что было видно, как далеко у плотины маленькие волны то подымают, то опускают цветы кувшинок. И я почти позабыл о том, что пережил первую измену. Мне только хотелось показать Любе, что я ничуть

этим не огорчен и моя жизнь заполнена такими интересными вещами, что мне попросту смешно страдать от какой-то дачной любви с ее вздохами и неясными признаниями.

«И в конце концов, разве это не так? — думал я. — Чем мое увлечение Любой лучше этого солнца? — Оно уже падало сквозь зелень на темную воду. — Чем оно лучше этого удивительного запаха некошеных лугов? И чем оно лучше даже вот этого зеленого жучка, торопливо ползущего по дощатой стене купальни?»

Утешиться мне было легко. Очевидно, потому, что все окружающее было полно необыкновенной прелести.

Глеб влез на крышу купальни, протянул к солнцу руки, торжественно и гнусаво прокричал: «О солнечность светотканая!» — и с воплем сорвался в воду.

— Эй вы, архаровцы! — сказал дядя Коля. — Вылезайте. После чая пойдем на разведку.

— Куда? — спросил я.

— Вниз по реке, за Меловую горку.

Я вылез из воды. Было приятно ходить по сухим, теплым доскам и оставлять на них мокрые следы. Следы эти высыхали на глазах. От мохнатого полотенца пахло соленым морем. Солнце грело

грудь и влажную голову, и хотелось только хохотать и болтать об интересных вещах или бежать наперегонки с Глебом обратно до самой дачи.

Так мы и сделали. Мордан и Четвертак неслись за нами с исступленным лаем, прыгали и пытались на ходу вырвать у нас из рук полотенца.

Мы промчались со смехом и лаем мимо дачи Карелиных и ворвались к себе на веранду, напугав тетю Марусю.

После чая мы с дядей Колей ушли вниз по реке. Мы с Глебом наносили реку на самодельную карту и придумывали названия для всяких излучин, заводей, обрывов и замечательных мест. Мы были исхлестаны ветками и высокой травой. Рубахи наши пожелтели от цветочной пыльцы. Берега реки пахли теплой травой и песком. Глеб глубокомысленно сказал:

— Терпеть не могу меланхолии!

Так мы жили все лето.

Вскоре жаркие дни сменились другими. Буря хлестала над парком. Она валила тучи на вершины деревьев. Тучи запутывались в них, потом вырывались, оставляя на ветвях сырые клочья, и мчались в испуге куда глядят глаза.

Парк качался и стонал. Листья кувшинок на реке становились дыбом. Дождь грохотал по кры-

ше. В мезонине стоял такой шум, будто мы жили внутри барабана.

Все проклинали ненастные дни, кроме дяди Коли, Глеба и меня. Мы натягивали дождевые плащи и шли на плотину, чтобы проверить жерлицы, поставленные вчера. На самом деле мы шли не за этим, а для того, чтобы надышаться до боли в легких сырой бурей. Ветер бил с такой силой, что накрепко припечатывал к щеке сорванный с дерева мокрый лист. Наши плащи деревенели. Мы попадали в самую гущу бури, задыхались, поворачивались к ней спиной.

— Хорошо! — кричал дядя Коля. — Очень хорошо! Смотри, унесет!

— Пасторальная жизнь! — кричал Глеб, картавя.

Он все еще издевался над Леней Михельсоном.

Мы обходили наши владения. Старые ивы неистово гудели всей шапкой вытянутых в струнку и серых с изнанки листьев. Из последних сил они боролись с ветром. Трещали и рушились гнилые ветви. Неслись по ветру взъерошенные галки. Они кричали, но ничего не было слышно. Мы видели только их разинутые клювы.

За высокой плотиной было одно место, куда не проникал ветер. Мы спускались туда, среди

бурьяна. Крапива била по лицу, но не жгла. Здесь, за бревном, у дяди Коли были спрятаны удочки. Мы доставали их, как воры. Руки наши дрожали. Что, если бы тетя Маруся знала об этом! Она и так считала нас психопатами.

Мы закидывали удочки. Буря гудела над головой на расстоянии вытянутой руки. Но внизу было тихо.

— Ни черта не будет клевать, — говорил Глеб, — Рыба не такая полоумная, как мы!

Он говорил это нарочно, чтобы успокоить рыбу. Ему смертельно хотелось, чтобы рыба клевала. И действительно, происходило чудо — поплавки медленно окунались в холодную воду.

— Подусты! — кричал нам дядя Коля.

Мы начинали вытаскивать крепких оловянных рыб. Буря сатанела. Со страшной скоростью проносились по воде дожди. Но мы уже ничего не замечали.

— Вы не озябли? — кричал нам дядя Коля.

— Нет! Чудесно!

— Значит, еще?

— Конечно!

Буря длилась пять дней. Она окончилась ночью; и никто этого не заметил.

Утром я проснулся под щелканье птиц. Парк

тонул в тумане. Сквозь него пробивалось солнце. Очевидно, над туманом простиралось чистое небо — туман был голубой.

Дядя Коля ставил около веранды самовар. Дым из самоварной трубы подымался вверх. У нас в мезонине попахивало горелыми сосновыми шишками.

Я лежал и смотрел за окно. В кроне старой липы происходили чудеса. Солнечный луч пробил листву и зажег, копошась внутри липы, много зеленых и золотых огоньков. Это зрелище не мог бы передать никакой художник, не говоря уж, конечно, о Леньке Михельсоне.

На его картинах небо было оранжевое, деревья — синие, а лица людей — зеленоватые, как незрелые дыни. Все это было выдумано, должно быть, так же, как и мое увлечение Любой. Сейчас я совершенно избавился от него.

Пожалуй, больше всего помогла моему избавлению затяжная летняя буря.

Я смотрел, как солнечный луч все глубже проникал в листву. Вот он осветил единственный пожелтевший листок, потом синицу, сидевшую на ветке боком к земле, потом дождевую каплю. Она дрожала и вот-вот готова была упасть.

— Костик, Глеб, вы слышите? — спросил снизу

дядя Коля.

— А что?

— Журавли!

Мы прислушались. В туманной синеве слышались странные звуки, будто в небе переливалась вода.

Маленькая порция яда

Иногда к дяде Коле приходил в гости сельский аптекарь. Звали его Лазарем Борисовичем.

Это был довольно странный, на наш взгляд, аптекарь. Он носил студенческую тужурку. На широком его носу едва держалось кривое пенсне на черной тесемочке. Аптекарь был низенький, коренастый, заросший до глаз бородой и очень язвительный.

Лазарь Борисович был родом из Витебска, учился когда-то в Харьковском университете, но курса не окончил. Сейчас он жил в сельской аптеке с сестрой-горбуньей. По нашим догадкам, аптекарь был причастен к революционному движению.

Он носил с собой брошюры Плеханова со множеством мест, жирно подчеркнутых красным и синим карандашом, с восклицательными и вопросительными знаками на полях.

По воскресеньям аптекарь забирался с этими брошюрами в глубину парка, расстилал на траве тужурку, ложился и читал, закинув ногу на ногу и покачивая толстым ботинком.

Как-то я пошел к Лазарю Борисовичу в аптеку за порошками для тети Маруси. У нее началась мигрень.

Мне нравилась аптека — чистенькая старая изба с половиками и геранью, фаянсовыми склянками на полках и запахом трав. Лазарь Борисович сам собирал их, сушил и делал из них настои.

Никогда я не встречал такого скрипучего дома, как аптека. Каждая половица скрипела на свой лад. Кроме того, пищали и скрипели все вещи: стулья, деревянный диван, полки и конторка, за которой Лазарь Борисович писал рецепты. Каждое движение аптекаря вызывало столько разнообразного скрипа, что казалось, в аптеке несколько скрипачей трут смычками по сухим перетянутым струнам.

Лазарь Борисович отлично разбирался в этих скрипах и улавливал самые тонкие их оттенки.

— Маня! — кричал он сестре. — Ты что же, не слышишь? Васька пошел на кухню. Там же рыба!

Васька был черный облезлый аптекарский кот.

Иногда аптекарь говорил нам, посетителям:

— Очень прошу вас, не садитесь на этот диван, иначе начнется такая музыка, что только останется сойти с ума.

Лазарь Борисович рассказывал, растирая в ступке порошки, что, слава богу, в сырую погоду аптека скрипит не так сильно, как в засуху. Ступка внезапно взвизгивала. Посетитель вздрагивал, а Лазарь Борисович говорил с торжеством:

— Ага! И у вас нервы! Поздравляю!

Сейчас, растирая порошки для тети Маруси, Лазарь Борисович издавал множество скрипов и говорил:

— Греческий мудрец Сократ был отравлен цикутой. Так! А этой цикуты здесь, на болоте около мельницы, целый лес. Предупреждаю — белые зонтичные цветы. Яд в корнях. Так! Но, между прочим, в маленьких дозах этот яд полезен. Я думаю, что каждому человеку следует иногда подсыпать в пищу маленькую порцию яда, чтобы его пробрало как следует и он пришел в себя.

— Вы верите в гомеопатию? — спросил я.

— В области психики — да! — решительно заявил Лазарь Борисович. — Не понимаете? Ну, давайте проверим на вас. Сделаем пробу.

Я согласился. Мне было интересно, что это за

проба.

— Я тоже знаю, — сказал Лазарь Борисович, — что молодость имеет свои права, особенно когда юноша окончил гимназию и поступает в университет. Тогда в голове карусель. Но все-таки надо задуматься!

— Над чем?

— Как будто бы и думать вам не о чем! — сердито воскликнул Лазарь Борисович. — Вот вы начинаете жить. Так? Кем же вы будете, позвольте полюбопытствовать? И как вы предполагаете существовать? Неужели вам удастся все время веселиться, шутить и отмахиваться от трудных вопросов? Жизнь — это не каникулы, молодой человек. Нет! Я предсказываю вам — мы накануне больших событий. Да! Уверяю вас в этом. Хотя Николай Григорьевич насмешничает надо мной, но мы еще посмотрим, кто прав. Так вот, я интересуюсь: кем же вы будете?

— Я хочу… — начал я.

— Бросьте! — крикнул Лазарь Борисович. — Что вы мне скажете? Что вы хотите быть инженером, врачом, ученым или еще кем-нибудь. Это совершенно не важно.

— А что же важно?

— Спра-вед-ливость! — крикнул он. — Надо

быть с народом. И за народ. Будьте кем хотите, хоть дантистом, но боритесь за хорошую жизнь для людей. Так?

— Но почему же вы это мне говорите?

— Почему? Вообще! Без всякой причины! Вы приятный юноша, но вы не любите размышлять. Я это давно заметил. Так вот, будьте любезны — поразмышляйте!

— Я буду писателем, — сказал я и покраснел.

— Писателем? — Лазарь Борисович поправил пенсне и посмотрел на меня с грозным удивлением. — Хо-хо! Мало ли кто хочет быть писателем! Может быть, я тоже хочу быть Львом Николаевичем Толстым.

— Но я уже писал… и печатался.

— Тогда, — решительно сказал Лазарь Борисович, — будьте любезны подождать! Я отвешу порошки, провожу вас, и мы это выясним.

Он был, видимо, взволнован и, пока отвешивал порошки, два раза уронил пенсне.

Мы вышли и пошли через поле к реке, а оттуда к парку. Солнце опускалось к лесам по ту сторону реки. Лазарь Борисович срывал верхушки полыни, растирал их, нюхал пальцы и говорил:

— Это большое дело, но оно требует настоящего знания жизни. Так? А у вас его очень мало, чтобы

не сказать, что его нет совершенно. Писатель! Он должен так много знать, что даже страшно подумать. Он должен все понимать! Он должен работать как вол и не гнаться за славой! Да! Вот! Одно могу вам сказать — идите в хаты, на ярмарки, на фабрики, в ночлежки. Кругом, всюду — в театры, в больницы, в шахты и тюрьмы. Так! Всюду. Чтобы жизнь пропитала вас, как спирт валерьянку! Чтобы получился настоящий настой. Тогда вы сможете отпускать его людям, как чудодейственный бальзам! Но тоже в известных дозах. Да!

Он еще долго говорил о призвании писателя. Мы попрощались около парка.

— Напрасно вы думаете, что я лоботряс, — сказал я.

— Ой нет! — воскликнул Лазарь Борисович и схватил меня за руку. — Я же рад. Вы видите. Но согласитесь, что я был немножко прав и теперь вы кое о чем подумаете. После моей маленькой порции яда. А?

Он заглядывал мне в глаза, не отпуская моей руки. Потом он вздохнул и ушел. Он шел по полям, низенький и косматый, и все так же срывал верхушки полыни. Потом он достал из кармана большой перочинный нож, присел на корточки и

начал выкапывать из земли какую-то целебную траву.

Проба аптекаря удалась. Я понял, что почти ничего не знаю и еще не думал о многих важных вещах. Я принял совет этого смешного человека и вскоре ушел в люди, в ту житейскую школу, которую не заменят никакие книги и отвлеченные размышления.

Это было трудное и настоящее дело.

Молодость брала свое. Я не задумывался над тем, хватит ли у меня сил пройти эту школу. Я был уверен, что хватит.

Вечером мы все пошли на Меловую горку — крутой обрыв над рекой, заросший молодыми соснами. С Меловой горки открылась огромная осенняя теплая ночь.

Мы сели на краю обрыва. Шумела у плотины вода. Птицы возились в ветвях, устраивались на ночлег. Над лесом загорались зарницы. Тогда были видны тонкие, как дым, облака.

— Ты о чем думаешь, Костик? — спросил Глеб.

— Так… вообще…

Я думал, что никогда и никому не поверю, кто бы мне ни сказал, что эта жизнь, с ее любовью, стремлением к правде и счастью, с ее зарницами и далеким шумом воды среди ночи, лишена

смысла и разума. Каждый из нас должен бороться за утверждение этой жизни всюду и всегда — до конца своих дней.

Мещорская сторона
Обыкновенная земля

В Мещорском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен — так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы.

Что можно увидеть в Мещорском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поемные и лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму.

Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инеем, как солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в нее и всю ночь спал в стогу, будто в запертой комнате. А над лугами шел холодный дождь и ветер налетал косыми ударами.

В Мещорском крае можно увидеть сосновые боры, где так торжественно и тихо, что бубенчик-

«болтун» заблудившейся коровы слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни. В ветер леса шумят великим океанским гулом, и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам.

В Мещорском крае можно увидеть лесные озера с темной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, одинокие, обугленные от старости избы лесников, пески, можжевельник, вереск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми широтами звезды.

Что можно услышать в Мещорском крае, кроме гула сосновых лесов? Крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам — разноголосое пение петухов да колотушку деревенского сторожа.

Но увидеть и услышать так мало можно только в первые дни. Потом с каждым днем этот край делается все богаче, разнообразнее, милее сердцу. И, наконец, наступает время, когда каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории.

Я нарушил обычай географов. Почти все гео-

графические книги начинаются одной и той же фразой: «Край этот лежит между такими-то градусами восточной долготы и северной широты и граничит на юге с такой-то областью, а на севере — с такой-то». Я не буду называть широт и долгот Мещорского края. Достаточно сказать, что он лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов, остатков «великого пояса хвойных лесов». Он тянулся некогда от Полесья до Урала. В него входили леса: Черниговские, Брянские, Калужские, Мещорские, Мордовские и Керженские. В этих лесах отсиживалась от татарских набегов Древняя Русь.

Первое знакомство

Впервые я попал в Мещорский край с севера, из Владимира.

За Гусь-Хрустальным, на тихой станции Тума, я пересел на поезд узкоколейки. Это был поезд времен Стефенсона. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище: «мерин». Он и вправду был похож на старого мерина. На закруглениях он кряхтел и останавливался. Пассажиры выходи-

ли покурить. Лесное безмолвие стояло вокруг задыхавшегося «мерина». Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны.



Пассажиры с вещами сидели на площадках — вещи в вагон не влезали. Изредка в пути с площадки на полотно начинали вылетать мешки, корзины, плотничьи пилы, а за вещами выскакивал и их обладатель, нередко довольно древняя старуха. Неопытные пассажиры пугались, а опытные, скручивая «козьи ножки» и поплевывая, объясняли, что это самый удобный способ высаживаться из поезда поближе к своей деревне.

Узкоколейка в Мещорских лесах — самая неторопливая железная дорога в Союзе.

Станции завалены смолистыми бревнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными цветами.

На станции Пилево в вагон влез косматый дед. Он перекрестился в угол, где дребезжала круглая чугунная печка, вздохнул и пожаловался в пространство:

— Чуть что, сейчас берут меня за бороду — езжай в город, подвязывай лапти. А того нет в соображении, что, может, ихнее это дело копейки не стоит. Посылают меня до музею, где советско правительство собирает карточки, прейскуранты, все такое прочее. Посылают с заявлением.

— Чего брешешь?

— Ты гляди — вот!

Дед вытащил измятую бумажку, сдул с нее махру и показал бабе-соседке.

— Манька, прочти, — сказала баба девчонке, тершейся носом об окно.

Манька обтянула платье на исцарапанных коленках, подобрала ноги и начала читать хриплым голосом:

— «Собчается, что в озере живут незнакомые птицы, громадного росту, полосатые, всего три; неизвестно, откуль залетели, — надо бы взять живьем для музею, а потому присылайте ловцов».

— Вот, — сказал дед горестно, — за каким делом теперь старикам кости ломают. А все Лешка-комсомолец. Язва — страсть! Тьфу!

Дед плюнул. Баба вытерла круглый рот концом платка и вздохнула. Паровоз испуганно посвистывал, леса гудели и справа и слева, бушуя, как озера. Хозяйничал западный ветер. Поезд с трудом прорывался через его сырые потоки и безнадежно опаздывал, отдуваясь на пустых полустанках.

— Вот оно, существование наше, — повторил дед. — Летошний год гоняли меня в музею, сегодняшний год опять!

— Чего в летошний год нашли? — спросила баба.

— Торчак!

— Чегой-то?

— Торчак. Ну, кость древнюю. В болоте она валялась. Вроде олень. Роги — с этот вагон. Прямо страсть. Копали его цельный месяц. Вконец измучился народ.

— На кой он сдался? — спросила баба.

— Ребят по ем будут учить.

Об этой находке в «Исследованиях и материалах областного музея» сообщалось следующее:

> «Скелет уходил в глубь трясины, не давая опоры для копачей. Пришлось раздеться и спуститься в трясину, что было крайне трудно из-за ледяной температуры родниковой воды. Огромные рога, как и череп, были целы, но крайне непрочны вследствие полнейшей мацерации (размачивания) костей. Кости разламывались прямо в руках, но по мере высыхания твердость костей восстанавливалась».

Был найден скелет исполинского ископаемого ирландского оленя с размахом рогов в два с половиной метра.

С этой встречи с косматым дедом началось

мое знакомство с Мещорой. Потом я услышал много рассказов и о зубах мамонта, и о кладах, и о грибах величиной с человеческую голову. Но этот первый рассказ в поезде запомнился мне особенно резко.

Старинная карта

С большим трудом я достал карту Мещорского края. На ней была пометка: «Карта составлена по старинным съемкам, произведенным до 1870 года». Карту эту мне пришлось исправлять самому. Изменились русла рек. Там, где на карте были болота, кое-где уже шумел молодой сосновый лес; на месте иных озер оказались трясины.

Но все же пользоваться этой картой было надежнее, чем заниматься расспросами местных жителей. С давних пор так уж повелось у нас на Руси, что никто столько не напутает, когда объясняет дорогу, как местный житель, особенно если он человек разговорчивый.

— Ты, милый человек, — кричит местный житель, — других не слухай! Они тебе такого наговорят, что ты жизни будешь не рад. Ты меня одного слухай, я эти места наскрозь знаю. Иди до околицы, увидишь по левой руке избу-пятистен-

ку, возьми от той избы на правую руку по стежке через пески, дойдешь до Прорвы и вали, милый, край Прорвы, вали, не сумлевайся, до самой до горелой ивы. От нее возьмешь чуть-чуть к лесу, мимо Музги, а за Музгой подавайся круто к холмищу, а за холмищем дорога известная — через мшары до самого озера.

— А сколько километров?

— А кто его знает? Может, десять, а может, и все двадцать. Тут километры, милый, немереные.

Я пытался следовать этим советам, но всегда или горелых ив оказывалось несколько, или не было никакого приметного холмища, и я, махнув рукой на рассказы туземцев, полагался только на собственное чувство направления. Оно почти никогда меня не обманывало.

Туземцы всегда объясняли дорогу со страстью, с неистовым увлечением. Меня это вначале забавляло, но как-то мне самому пришлось объяснять дорогу на озеро Сегден поэту Симонову, и я поймал себя на том, что рассказывал ему о приметах этой запутанной дороги с такой же страстью, как и туземцы.

Каждый раз, когда объясняешь дорогу, будто снова проходишь по ней, по всем этим привольным местам, по лесным проселкам, усеянным

цветами бессмертника, и снова испытываешь легкость на душе. Эта легкость всегда приходит к нам, когда путь далек и нет на сердце забот.

Несколько слов о приметах

Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим создавать их — очень увлекательное занятие. Мир примет бесконечно разнообразен. Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом — каждую осень встречаешь все тот же огненный куст рябины за Лариным прудом или все ту же зарубку, сделанную тобой на сосне. С каждым летом зарубка все сильнее заплывает твердой золотистой смолой.

Приметы на дорогах — это не главные приметы. Настоящими приметами считаются те, которые определяют погоду и время.

Примет так много, что о них можно было бы написать целую книгу. В городах приметы нам не нужны. Огненную рябину заменяет эмалированная синяя табличка с названием улицы. Время узнается не по высоте солнца, не по положению созвездий и даже не по петушиным крикам, а по часам. Предсказания погоды передаются по

радио. В городах большинство наших природных инстинктов погружается в спячку. Но стоит провести две-три ночи в лесу, и снова обостряется слух, зорче делается глаз, тоньше обоняние.

Приметы связаны со всем: с цветом неба, с росой и туманами, с криком птиц и яркостью звездного света.

В приметах заключено много точного знания и поэзии. Есть приметы простые и сложные. Самая простая примета — это дым костра. То он подымается столбом к небу, спокойно струится вверх, выше самых высоких ив, то стелется туманом по траве, то мечется вокруг огня. И вот к прелести ночного костра, к горьковатому запаху дыма, треску сучьев, перебеганию огня и пушистому белому пеплу присоединяется еще и знание завтрашней погоды.

Глядя на дым, можно определенно сказать, будет ли завтра дождь, ветер или снова, как сегодня, солнце подымется в глубокой тишине, в синих прохладных туманах. Безветрие и теплоту предсказывает и вечерняя роса. Она бывает такой обильной, что даже блестит ночью, отражая свет звезд. И чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день.

Это все очень несложные приметы. Но есть

приметы сложные и точные. Иногда небо вдруг кажется очень высоким, а горизонт сжимается, кажется близким, до горизонта как будто не больше километра. Это признак будущей ясной погоды.

Иногда в безоблачный день вдруг перестает брать рыба. Реки и озера мертвеют, как будто из них навсегда ушла жизнь. Это верный признак близкого и длительного ненастья. Через день-два солнце взойдет в багровой зловещей мгле, а к полудню черные облака почти коснутся земли, задует сырой ветер и польются томительные, нагоняющие сон обложные дожди.

Возвращение к карте

Я вспомнил о приметах и отвлекся от карты Мещорского края.

Изучение незнакомого края всегда начинается с карты. Это занятие не менее интересное, чем изучение примет. По карте можно странствовать так же, как по земле, но потом, когда попадаешь на эту настоящую землю, сразу же сказывается знание карты — уже не бродишь вслепую и не тратишь времени на пустяки.

На карте Мещорского края внизу, в самом

дальнем углу, на юге, показан изгиб большой полноводной реки. Это Ока. К северу от Оки тянется лесистая и болотистая низина, к югу — давно обжитые, населенные рязанские земли. Ока течет по рубежу двух совершенно разных, очень непохожих пространств.

Рязанские земли хлебные, желтые от ржаных полей, кудрявые от яблоневых садов. Околицы рязанских деревень часто сливаются друг с другом, деревни разбросаны густо, и нет такого места, откуда бы не была видна на горизонте одна, а то и две-три еще уцелевшие колокольни. Вместо лесов по склонам логов шумят березовые рощи.

Рязанская земля — земля полей. К югу от Рязани уже начинаются степи. Но стоит переправиться на пароме через Оку, и за широкой полосой приокских лугов уже стоят темной стеной Мещорские сосновые леса. Они идут к северу и востоку, в них синеют круглые озера. Эти леса скрывают в своей глубине громадные торфяные болота.

На западе Мещорского края, на так называемой Боровой стороне, среди сосновых лесов лежат в мелколесье восемь Боровых озер. К ним нет ни дорог, ни троп, и добраться до них можно только через лес по карте и компасу.

У этих озер одно очень странное свойство: чем

меньше озеро, тем оно глубже. В большом Митинском озере всего четыре метра глубины, а в маленьком Удемном — семнадцать метров.

Мшары

К востоку от Боровых озер лежат громадные мещорские болота — мшары, или омшары. Это заросшие в течение тысячелетий озера. Они занимают площадь в триста тысяч гектаров. Когда стоишь среди такого болота, то по горизонту ясно виден бывший высокий берег озера — «материк» — с его густым сосновым лесом. Кое-где на мшарах видны песчаные бугры, поросшие сосняком и папоротником, — бывшие острова. Местные жители до сих пор так и зовут эти бугры «островами». На «островах» ночуют лоси.

Как-то в конце сентября мы шли мшарами к Поганому озеру. Озеро было таинственное. Бабы рассказывали, что по его берегам растут клюква величиной с орех и поганые грибы «чуть поболее телячьей головы». От этих грибов озеро и получило свое название. На Поганое озеро бабы ходить опасались — около него были какие-то «зеленущие трясины».

— Как ступишь ногой, — рассказывали ба-

бы, — так вся земля под тобой ухнет, загудит, заколышется, как зыбка, ольха закачается, и вода ударит из-под лаптей, прыснет в лицо. Ей-богу! Прямо такие страсти — сказать невозможно. А самое озеро без дна, черное. Ежели какая молодая бабенка на него глянет — враз сомлеет.

— Отчего сомлеет?

— От страху. Так тебя страхом и дерет по спине, так и дерет. Мы как на Поганое озеро наткнемся, так бяжим от него, бяжим до первого острова, там только и отдышимся.

Бабы нас раззадорили, и мы решили обязательно дойти до Поганого озера. По пути мы заночевали на Черном озере. Всю ночь шумел по палатке дождь. Вода тихо ворчала в корнях. В дожде, в непроглядном мраке выли волки.

Черное озеро было налито вровень с берегами. Казалось, стоит подуть ветру или усилиться дождю, и вода затопит мшары и нас вместе с палаткой и мы никогда не выйдем из этих низких, угрюмых пустошей.

Всю ночь мшары дышали запахом мокрого мха, коры, черных коряг. К утру дождь прошел. Серое небо низко провисало над головой. Оттого, что облака почти касались верхушек берез, на земле было тихо и тепло. Слой облаков был очень тонок

— сквозь него просвечивало солнце.

Мы свернули палатку, взвалили на себя рюкзаки и пошли. Идти было трудно. Прошлым летом по мшарам прошел низовой пожар. Корни берез и ольхи подгорели, деревья свалились, и мы каждую минуту должны были перелезать через большие завалы. Шли мы по кочкам, а между кочками, там, где кисла рыжая вода, торчали острые, как колья, корни берез. Их зовут в Мещорском крае колками.

Мшары заросли сфагнумом, брусникой, гонобобелем, кукушкиным льном. Нога тонула в зеленых и серых мхах по самое колено.

За два часа мы прошли только два километра. Впереди показался остров. Из последних сил, перелезая через завалы, изодранные и окровавленные, мы добрались до лесистого бугра и упали на теплую землю, в заросли ландышей. Ландыши уже созрели — меж широких листьев висели твердые оранжевые ягоды. Сквозь ветки сосен просвечивало бледное небо.

С нами был писатель Гайдар. Он обошел весь «остров».

«Остров» был небольшой, со всех сторон его окружали мшары, только далеко на горизонте были видны еще два «острова».

Гайдар закричал издали, засвистел. Мы нехотя встали, пошли к нему, и он показал нам на сырой земле, там, где «остров» переходил в мшары, громадные свежие следы лося. Лось, очевидно, шел большими скачками.

— Это его тропа на водопой, — сказал Гайдар.

Мы пошли по лосиному следу. У нас не было воды, хотелось пить. В ста шагах от «острова» следы привели нас к небольшому «окну» с чистой холодной водой. Вода пахла йодоформом. Мы напились и вернулись обратно.

Гайдар пошел искать Поганое озеро. Оно лежало где-то рядом, но его, как и большинство озер во мшарах, было очень трудно найти. Озера окружены такими густыми зарослями и высокой травой, что можно пройти в нескольких шагах и не заметить воды. Гайдар не взял компаса, сказал, что найдет обратную дорогу по солнцу, и ушел. Мы лежали на мху, слушали, как падают с веток старые сосновые шишки. Какой-то зверь глухо протрубил в дальних лесах.

Прошел час. Гайдар не возвращался. Но солнце было еще высоко, и мы не тревожились — Гайдар не мог не найти дорогу обратно.

Прошел второй час, третий. Небо над мшарами стало бесцветным; потом серая стена, похожая

на дым, медленно наползла с востока. Низкие облака закрыли небо. Через несколько минут солнце исчезло. Только сухая мгла стлалась над мшарами.

Без компаса в такой мгле нельзя было найти дорогу. Мы вспомнили рассказы о том, как в бессолнечные дни люди кружили в мшарах на одном месте по нескольку суток.

Я влез на высокую сосну и стал кричать. Никто не отзывался. Потом очень далеко откликнулся чей-то голос. Я прислушался, и неприятный холод прошел по спине: в мшарах, как раз в той стороне, куда ушел Гайдар, уныло подвывали волки.

Что же делать? Ветер дул в ту сторону, куда ушел Гайдар. Можно было разжечь костер, дым потянуло бы в мшары, и Гайдар мог бы вернуться на «остров» по запаху дыма. Но этого нельзя было делать. Мы не условились об этом с Гайдаром. В болотах часто бывают пожары. Гайдар мог принять этот дым за приближение пожара и, вместо того чтобы идти к нам, начал бы уходить от нас, спасаясь от огня.

Пожары в высохших болотах — самое страшное, что можно испытать в этих краях. От них трудно спастись — огонь идет очень быстро. Да и куда уйдешь, когда до горизонта лежат сухие,

как порох, мхи, и спастись можно, да и то не наверняка, только на «острове» — огонь почему-то обходит иногда лесистые «острова».

Мы кричали все сразу, но нам отвечали только волки. Тогда один из нас ушел с компасом в мшары — туда, где исчез Гайдар.

Спускались сумерки. Вороны летали над «островом» и каркали испуганно и зловеще.

Мы кричали отчаянно, потом все же разожгли костер — быстро темнело, — и теперь Гайдар мог выйти на огонь костра.

Но в ответ на наши крики не было слышно никакого человеческого голоса, и только в глухие сумерки где-то около второго «острова» вдруг загудел и закрякал, как утка, рожок автомобиля. Это было нелепо и дико — откуда мог появиться автомобиль в болотах, где с трудом проходил человек?

Автомобиль явно приближался. Он гудел настойчиво, а через полчаса мы услышали треск в завалах, автомобиль крякнул в последний раз где-то совсем рядом, и из мшар вылез улыбающийся, мокрый, измученный Гайдар, а за ним и наш товарищ — тот, что ушел с компасом.

Оказывается, Гайдар слышал наши крики и все время отвечал, но ветер дул в его сторону и

отгонял голос. Потом Гайдару надоело кричать, и он начал крякать — подражать автомобилю.

До Поганого озера Гайдар не дошел. Ему встретилась одинокая сосна, он влез на нее и увидел вдали это озеро. Гайдар поглядел на него, выругался, слез и пошел обратно.

— Почему? — спросили мы его.

— Очень страшное озеро, — ответил он. — Ну его к черту!

Он рассказал, что даже издали видно, какая черная, будто смола, вода в Поганом озере. Редкие больные сосны стоят по берегам, наклонившись над водой, готовые упасть от первого же порыва ветра. Несколько сосен уже упало в воду. Вокруг озера, должно быть, непроходимые трясины.

Темнело быстро, по-осеннему. Мы не остались ночевать на «острове», а пошли мшарами в сторону «материка» — лесистого берега болота. Идти в темноте по завалам было невыносимо трудно. Каждые десять минут мы проверяли направление по фосфорному компасу и только к полуночи выбрались на твердую землю, в леса, наткнулись на заброшенную дорогу и поздней ночью дошли по ней к озеру Сегден, где жил наш общий приятель Кузьма Зотов, кроткий, больной человек, рыбак и колхозник.

Я рассказал всю эту историю, в которой нет ничего особенного, только затем, чтобы дать хотя бы отдаленное понятие о том, что представляют собой мещорские болота — мшары.

На некоторых мшарах (на Красном болоте и на болоте Пильном) уже началась добыча торфа. Торф здесь старый, мощный, его хватит на сотни лет.

Да, но надо окончить рассказ о Поганом озере. На следующее лето мы все же дошли до этого озера. Берега у него были плавучие — не привычные твердые берега, а густое сплетение белокрыльника, багульника, трав, корней и мхов. Берега качались под ногами, как гамак. Под тощей травой стояла бездонная вода. Шест легко пробивал плавучий берег и уходил в трясину. При каждом шаге фонтаны теплой воды били из-под ног. Останавливаться было нельзя: ноги засасывало и следы наливались водой. Вода в озере была черная. Со дна пузырями поднимался болотный газ.

Мы удили на этом озере окуней. Мы привязывали длинные лески к кустам багульника или к деревцам молодой ольхи, а сами сидели на поваленных соснах и курили, пока куст багульника не начинал рваться и шуметь или не сгибалось и трещало деревцо ольхи. Тогда мы лениво поды-

мались, тащили за леску и выволакивали на берег жирных черных окуней. Чтобы они не уснули, мы клали их в свои следы, в глубокие ямы, налитые водой, и окуни били в воде хвостами, плескались, но уйти никуда не могли.

В полдень над озером собралась гроза. Она росла на глазах. Маленькое грозовое облако превратилось в зловещую тучу, похожую на наковальню. Она стояла на месте и не хотела уходить. Молнии хлестали в мшары рядом с нами, и на душе у нас было неважно.

Больше на Поганое озеро мы не ходили, но все же заслужили у баб славу людей отпетых, готовых на все.

— Вовсе отчаянные мужчины, — говорили они нараспев. — Ну такие отчаянные, такие отчаянные, прямо слов нету!

Лесные реки и каналы

Я снова отвлекся от карты. Чтобы покончить с ней, надо сказать о могучих массивах лесов (они заливают всю карту зеленой тусклой краской), о загадочных белых пятнах в глубине лесов и о двух реках — Солотче и Пре, — текущих на юг через леса, болота и гари.

Солотча — извилистая, неглубокая река. В ее бочагах стоят под берегами стаи язей. Вода в Солотче красного цвета. Такую воду крестьяне зовут «суровой». На всем протяжении реки только в одном месте к ней подходит неведомо куда ведущая дорога, и при дороге стоит одинокий постоялый двор.

Пра течет из озер северной Мещоры в Оку. Деревень по берегам очень мало. В старое время на Пре, в дремучих лесах, селились раскольники.

В городе Спас-Клепики, в верховьях Пры, работает старинная ватная фабрика. Она спускает в реку хлопковые очесы, и дно Пры около Спас-Клепиков покрыто толстым слоем слежавшейся черной ваты. Это, должно быть, единственная река в Советском Союзе с ватным дном.

Кроме рек, в Мещорском крае много каналов.

Еще при Александре II генерал Жилинский решил осушить мещорские болота и создать под Москвой большие земли для колонизации. В Мещору была отправлена экспедиция. Она работала двадцать лет и осушила только полторы тысячи гектаров земли, но на этой земле никто не захотел селиться — она оказалась очень скудной.

Жилинский провел в Мещоре множество каналов. Сейчас каналы эти заглохли и заросли

болотными травами. В них гнездятся утки, живут ленивые лини и верткие вьюны.

Каналы эти очень живописны. Они уходят в глубь лесов. Заросли свисают над водой темными арками. Кажется, что каждый канал ведет в таинственные места. По каналам, особенно весною, можно пробираться в легком челне на десятки километров.

Сладковатый запах водяных лилий смешан с запахом смолы. Иногда высокие камыши перегораживают каналы сплошными плотинами. По берегам растет белокрыльник. Листья его немного похожи на листья ландыша, но на одном листе прорисована широкая белая полоса, и издали кажется, что это цветут громадные снежные цветы. Папоротник, ежевика, хвощи и мох наклоняются с берегов. Если задеть рукой или веслом за космы мха, из него вылетает густым облаком яркая изумрудная пыль — споры кукушкиного льна. Розовый кипрей цветет невысокими стенами. Оливковые жуки-плавунцы ныряют в воде и нападают на стаи мальков. Иногда приходится тащить челн волоком на мелкой воде. Тогда плавунцы до крови кусают ноги.

Тишина нарушается только звоном комаров и всплесками рыб.

Плавание всегда приводит к неизвестной цели — к лесному озеру или к лесной реке, несущей чистую воду над хрящеватым дном.

На берегах этих рек в глубоких норах живут водяные крысы. Есть крысы, совершенно седые от старости.

Если тихо следить за норой, то можно увидеть, как крыса ловит рыбу. Она выползает из норы, ныряет очень глубоко и выплывает со страшным шумом. На широких водяных кругах качаются желтые кувшинки. Во рту крыса держит серебряную рыбу и плывет с ней к берегу. Когда рыба бывает больше крысы, борьба длится долго, и крыса вылезает на берег усталая, с красными от злости глазами.

Чтобы легче было плавать, водяные крысы отгрызают длинный стебель куги и плавают, держа его в зубах. Стебель куги полон воздушных ячеек. Он прекрасно держит на воде даже не такую тяжесть, как крыса.

Жилинский пытался осушить болота Мещоры. Из этой затеи ничего не вышло. Почва Мещоры — это торф, подзол и пески. На песках хорошо родится только картошка. Богатство Мещоры не в земле, а в лесах, в торфе и в заливных лугах по левому берегу Оки. Эти луга иные ученые срав-

нивают по плодородию с поймой Нила. Луга дают великолепное сено.

Леса

Мещора — остаток лесного океана. Мещорские леса величественны, как кафедральные соборы. Даже старый профессор, ничуть не склонный к поэзии, написал в исследовании о Мещорском крае такие слова: «Здесь в могучих сосновых борах так светло, что на сотни шагов вглубь видно пролетающую птицу».

По сухим сосновым борам идешь, как по глубокому дорогому ковру, — на километры земля покрыта сухим мягким мхом. В просветах между соснами косыми срезами лежит солнечный свет. Стаи птиц со свистом и легким шумом разлетаются в стороны.

В ветер леса шумят. Гул проходит по вершинам сосен, как волны. Одинокий самолет, плывущий на головокружительной высоте, кажется миноносцем, наблюдаемым со дна моря.

Простым глазом видны мощные воздушные токи. Они подымаются от земли к небу. Облака тают, стоя на месте. Сухое дыхание лесов и запах можжевельника, должно быть, доносятся и до

самолетов.

Кроме сосновых лесов, мачтовых и корабельных, есть леса еловые, березовые и редкие пятна широколиственных лип, вязов и дубов. В дубовых перелесках нет дорог. Они непроезжи и опасны из-за муравьев. В знойный день пройти через дубовую заросль почти невозможно: через минуту все тело, от пяток до головы, покроют рыжие злые муравьи с сильными челюстями. В дубовых зарослях бродят безобидные медведи-муравьятники. Они расковыривают старые пни и слизывают муравьиные яйца. Леса в Мещоре разбойничьи, глухие. Нет большего отдыха и наслаждения, чем идти весь день по этим лесам, по незнакомым дорогам к какому-нибудь дальнему озеру.

Путь в лесах — это километры тишины, безветрия. Это грибная прель, осторожное перепархивание птиц. Это липкие маслюки, облепленные хвоей, жесткая трава, холодные белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на полянах, дрожь осиновых листьев, торжественный свет и, наконец, лесные сумерки, когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светляки. Закат тяжело пылает на кронах деревьев, золотит их старинной позолотой. Внизу, у подножия сосен, уже темно и глухо. Бесшумно летают и как будто

заглядывают в лицо летучие мыши. Какой-то непонятный звон слышен в лесах — звучание вечера, догоревшего дня.

А вечером блеснет наконец озеро, как черное, косо поставленное зеркало. Ночь уже стоит над ним и смотрит в его темную воду, — ночь, полная звезд. На западе еще тлеет заря, в зарослях волчьих ягод кричит выпь, и на мшарах бормочут и возятся журавли, обеспокоенные дымом костра.

Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва берез висит не шелохнувшись. Роса стекает по белым стволам. И слышно, как где-то очень далеко — кажется, за краем земли — хрипло кричит старый петух в избе лесника.

В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым хрусталем загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. Еще все спит. Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги, рыбы, спят птицы, и только совы летают около костра медленно и бесшумно, как комья белого пуха.

Котелок сердится и бормочет на огне. Мы почему-то говорим шепотом — боимся спугнуть рассвет. С жестяным свистом проносятся тяжелые утки. Туман начинает клубиться над водой.

Мы наваливаем в костер горы сучьев и смотрим, как подымается огромное белое солнце — солнце бесконечного летнего дня.

Так мы живем в палатке на лесных озерах по нескольку дней. Наши руки пахнут дымом и брусникой — этот запах не исчезает неделями. Мы спим по два часа в сутки и почти не знаем усталости. Должно быть, два-три часа сна в лесах стоят многих часов сна в духоте городских домов, в спертом воздухе асфальтовых улиц.

Однажды мы ночевали на Черном озере, в высоких зарослях, около большой кучи старого хвороста.

Мы взяли с собой резиновую надувную лодку и на рассвете выехали на ней за край прибрежных кувшинок — ловить рыбу. На дне озера толстым слоем лежали истлевшие листья, и в воде плавали коряги.

Внезапно у самого борта лодки вынырнула громадная горбатая спина черной рыбы с острым, как кухонный нож, спинным плавником. Рыба нырнула и прошла под резиновой лодкой. Лодка закачалась. Рыба вынырнула снова. Должно быть, это была гигантская щука. Она могла задеть резиновую лодку пером и распороть ее, как бритвой.

Я ударил веслом по воде. Рыба в ответ со страшной силой хлестнула хвостом и снова прошла под самой лодкой. Мы бросили удить и начали грести к берегу, к своему биваку. Рыба все время шла рядом с лодкой.

Мы въехали в прибрежные заросли кувшинок и готовились пристать, но в это время с берега раздалось визгливое тявканье и дрожащий, хватающий за сердце вой. Там, где мы спускали лодку, на берегу, на примятой траве стояла, поджав хвост, волчица с тремя волчатами и выла, подняв морду к небу. Она выла долго и скучно; волчата визжали и прятались за мать. Черная рыба снова прошла у самого борта и зацепила пером за весло.

Я бросил в волчицу тяжелым свинцовым грузилом. Она отскочила и рысцой побежала от берега. И мы увидели, как она пролезла вместе с волчатами в круглую нору в куче хвороста невдалеке от нашей палатки.

Мы высадились, подняли шум, выгнали волчицу из хвороста и перенесли бивак на другое место.

Черное озеро названо так по цвету воды. Вода в нем черная и прозрачная. В Мещоре почти у всех озер вода разного цвета. Больше всего озер

с черной водой. В иных озерах (например, в Черненьком) вода напоминает блестящую тушь. Трудно, не видя, представить себе этот насыщенный, густой цвет. И вместе с тем вода в этом озере, так же как и в Черном, совершенно прозрачная.

Этот цвет особенно хорош осенью, когда на черную воду слетают желтые и красные листья берез и осин. Они устилают воду так густо, что челн шуршит по листве и оставляет за собой блестящую черную дорогу.

Но этот цвет хорош и летом, когда белые лилии лежат на воде, как на необыкновенном стекле. Черная вода обладает великолепным свойством отражения: трудно отличить настоящие берега от отраженных, настоящие заросли — от их отражения в воде.



В Урженском озере вода фиолетовая, в Сегдене — желтоватая, в Великом озере — оловянного цвета, а в озерах за Прой — чуть синеватая. В луговых озерах летом вода прозрачная, а осенью приобретает зеленоватый морской цвет и даже запах морской воды.

Но большинство озер все же — черные. Старики говорят, что чернота вызвана тем, что дно озер устлано толстым слоем опавших листьев. Бурая листва дает темный настой. Но это не совсем верно. Цвет объясняется торфяным дном озер — чем старее торф, тем темнее вода.

Я упомянул о мещорских челнах. Они похожи на полинезийские пироги. Они выдолблены из одного куска дерева. Только на носу и на корме они склепаны коваными гвоздями с большими шляпками.

Челн очень узок, легок, поворотлив, на нем можно пройти по самым мелким протокам.

Луга

Между лесами и Окой тянутся широким поясом заливные луга.

В сумерки луга похожи на море. Как в море, садится солнце в травы, и маяками горят сиг-

нальные огни на берегу Оки. Так же как в море, над лугами дуют свежие ветры, и высокое небо опрокинулось бледной зеленеющей чашей.

В лугах тянется на много километров старое русло Оки. Его зовут Прорвой.

Это заглохшая, глубокая и неподвижная река с крутыми берегами. Берега заросли высокими, старыми, в три обхвата, осокорями, столетними ивами, шиповником, зонтичными травами и ежевикой.

Один плес на этой реке мы назвали «Фантастической Прорвой», потому что нигде и никто из нас не видел таких огромных, в два человеческих роста, репейников, голубых колючек, такой высокой медуницы и конского щавеля и таких исполинских грибов-дождевиков, как на этом плесе.

Густота трав в иных местах на Прорве такая, что с лодки нельзя высадиться на берег, — травы стоят непроходимой упругой стеной. Они отталкивают человека. Травы перевиты предательскими петлями ежевики, сотнями опасных и колких силков.

Над Прорвой часто стоит легкая дымка. Цвет ее меняется от времени дня. Утром — это голубой туман, днем — белесая мгла, и лишь в сумерки

воздух над Прорвой делается прозрачным, как ключевая вода. Листва осокорей едва трепещет, розовая от заката, и в омутах гулко бьют прорвинские щуки.

По утрам, когда нельзя пройти по траве и десяти шагов, чтобы не промокнуть до нитки от росы, воздух на Прорве пахнет горьковатой ивовой корой, травянистой свежестью, осокой. Он густ, прохладен и целителен.

Каждую осень я провожу на Прорве в палатке по многу суток. Чтобы получить отдаленное представление о том, что такое Прорва, следует описать хотя бы один прорвинский день. На Прорву я приезжаю на лодке. Со мной палатка, топор, фонарь, рюкзак с продуктами, саперная лопатка, немного посуды, табак, спички и рыболовные принадлежности: удочки, донки, переметы, жерлицы и, самое главное, банка с червяками-подлистниками. Их я собираю в старом саду под кучами палых листьев.

На Прорве у меня есть уже свои любимые, всегда очень глухие места. Одно из них — это крутой поворот реки, где она разливается в небольшое озеро с очень высокими, заросшими лозой берегами.

Там я разбиваю палатку. Но прежде всего я

таскаю сено. Да, сознаюсь, я таскаю сено из ближайшего стога, но таскаю очень ловко, так, что даже самый опытный глаз старика-колхозника не заметит в стогу никакого изъяна. Сено я подкладываю под брезентовый пол палатки. Потом, когда я уезжаю, я отношу его обратно.

Палатку надо натягивать так, чтобы она гудела, как барабан. Потом ее надо окопать, чтобы во время дождя вода стекала в канавы по бокам палатки и не подмочила пол.

Палатка устроена. В ней тепло и сухо. Фонарь «летучая мышь» висит на крючке. Вечером я зажигаю его и даже читаю в палатке, но читаю обыкновенно недолго — на Прорве слишком много помех: то за соседним кустом начнет кричать коростель, то с пушечным гулом ударит пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый прут и разбрызжет искры, то над зарослями начнет разгораться багровое зарево и мрачная луна взойдет над просторами вечерней земли. И сразу же стихнут коростели и перестанет гудеть в болотах выпь — луна подымается в настороженной тишине. Она появляется, как владетель этих темных вод, столетних ив, таинственных длинных ночей.

Шатры черных ив нависают над головой. Глядя

на них, начинаешь понимать значение старых слов. Очевидно, такие шатры в прежние времена назывались «сенью». Под сенью ив… И почему-то в такие ночи созвездие Ориона называешь Стожарами, а слово «полночь», которое в городе звучит, пожалуй, как литературное понятие, приобретает здесь настоящий смысл. Вот эта тьма под ивами, и блеск сентябрьских звезд, и горечь воздуха, и далекий костер в лугах, где мальчишки сторожат коней, согнанных в ночное, — все это полночь. Где-то далеко сторож отбивает на сельской колокольне часы. Он бьет долго, мерно — двенадцать ударов. Потом снова темная тишина. Только изредка на Оке закричит заспанным голосом буксирный пароход.

Ночь тянется медленно; кажется, ей не будет конца. Сон в осенние ночи в палатке крепкий, свежий, несмотря на то что просыпаешься через каждые два часа и выходишь посмотреть на небо — узнать, не взошел ли Сириус, не видно ли на востоке полосы рассвета.



С каждым часом ночь холодеет. К рассвету воздух уже обжигает лицо легким морозом, полотнища палатки, покрытые толстым слоем хрустящего инея, чуть-чуть провисают, и трава седеет от первого утренника.

Пора вставать. На востоке уже наливается тихим светом заря, уже видны на небе огромные очертания ив, уже меркнут звезды. Я спускаюсь к реке, моюсь с лодки. Вода теплая, она кажется даже слегка подогретой.

Восходит солнце. Иней тает. Прибрежные пески делаются темными от росы.

Я кипячу крепкий чай в жестяном закопченном чайнике. Твердая копоть похожа на эмаль. В чайнике плавают перегоревшие в костре ивовые листья.

Все утро я ловлю рыбу. Я проверяю с лодки переметы, поставленные поперек реки еще с вечера. Сначала идут пустые крючки — на них всю наживку съели ерши. Но вот шнур натягивается, режет воду, и в глубине возникает живой серебряный блеск — это ходит на крючке плоский лещ. За ним виден жирный и упористый окунь, потом — щуренок с желтыми пронзительными глазами. Вытащенная рыба кажется ледяной.

К этим дням, проведенным на Прорве, целиком

относятся слова Аксакова:

«На зеленом цветущем берегу, над темной глубью реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды. Природа вступит в вечные права свои. Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе».

Небольшое отступление от темы

С Прорвой связано много всяких рыболовных происшествий. Об одном из них я расскажу.

Великое племя рыболовов, обитавших в селе Солотче, около Прорвы, было взволновано. В Солотчу приехал из Москвы высокий старик с длинными серебряными зубами. Он тоже ловил рыбу.

Старик ловил на спиннинг: английскую удочку с блесной — искусственной никелевой рыбкой.

Мы презирали спиннинг. Мы со злорадством следили за стариком, когда он терпеливо бродил

по берегам луговых озер и, размахивая спиннингом, как кнутом, неизменно выволакивал из воды пустую блесну.

А тут же рядом Ленька, сын сапожника, таскал рыбу не на английскую леску, стоящую сто рублей, а на обыкновенную веревку. Старик вздыхал и жаловался:

— Жестокая несправедливость судьбы!

Он говорил даже с мальчишками очень вежливо, на «вы», и употреблял в разговоре старомодные, давно забытые слова. Старику не везло. Мы давно уже знали, что все рыболовы делятся на глубоких неудачников и на счастливцев. У счастливцев рыба клюет даже на дохлого червяка. Кроме того, есть рыболовы — завистники и хитрецы. Хитрецы думают, что они могут перехитрить любую рыбу, но никогда в жизни я не видел, чтобы такой рыболов перехитрил даже самого серого ерша, не говоря о плотве.

С завистником лучше не ходить на ловлю — клевать у него все равно не будет. В конце концов, похудев от зависти, он начнет подкидывать свою удочку к вашей, шлепать грузилом по воде и распугает всю рыбу.

Итак, старику не везло. За один день он обрывал о коряги не меньше десяти дорогих блесен,

ходил весь в крови и волдырях от комаров, но не сдавался.

Один раз мы взяли его с собой на озеро Сегден.

Всю ночь старик дремал у костра стоя, как лошадь: сесть на сырую землю он боялся. На рассвете я зажарил яичницу с салом. Сонный старик хотел перешагнуть через костер, чтобы достать хлеб из сумки, споткнулся и наступил огромной ступней на яичницу.

Он выдернул ногу, вымазанную желтком, тряхнул ею в воздухе и ударил по кувшину с молоком. Кувшин треснул и рассыпался на мелкие части. И прекрасное топленое молоко с легким шорохом всосалось у нас на глазах в мокрую землю.

— Виноват! — сказал старик, извиняясь перед кувшином.

Потом он пошел к озеру, опустил ногу в холодную воду и долго болтал ею, чтобы смыть с ботинка яичницу. Две минуты мы не могли выговорить ни слова, а потом хохотали в кустах до самого полдня.

Всем известно, что раз рыболову не везет, то рано или поздно с ним случится такая хорошая неудача, что о ней будут рассказывать по деревне не меньше десяти лет. Наконец такая неудача случилась.

Мы пошли со стариком на Прорву. Луга еще не были скошены. Ромашка величиной с ладонь хлестала по ногам.

Старик шел и, спотыкаясь о травы, повторял:

— Какой аромат, граждане! Какой упоительный аромат!

Над Прорвой стояло безветрие. Даже листья ив не шевелились и не показывали серебристую изнанку, как это бывает и при легком ветре. В нагретых травах «жундели» шмели.

Я сидел на разбитом плоту, курил и следил за перяным поплавком. Я терпеливо ждал, когда поплавок вздрогнет и пойдет в зеленую речную глубину. Старик ходил по песчаному берегу со спиннингом. Я слышал из-за кустов его вздохи и возгласы:

— Какое дивное, очаровательное утро!

Потом я услышал за кустами кряканье, топот, сопенье и звуки, очень похожие на мычание коровы с завязанным ртом. Что-то тяжелое шлепнулось в воду, и старик закричал тонким голосом:

— Боже мой, какая красота!

Я соскочил с плота, по пояс в воде добрался до берега и подбежал к старику. Он стоял за кустами у самой воды, а на песке перед ним тяжело ды-

шала старая щука. На первый взгляд в ней было не меньше пуда.

— Тащите ее подальше от воды! — крикнул я.

Но старик зашипел на меня и дрожащими руками вынул из кармана пенсне. Он надел его, нагнулся над щукой и начал ее рассматривать с таким восторгом, с каким знатоки любуются редкой картиной в музее.

Щука не сводила со старика злых прищуренных глаз.

— Здорово похожа на крокодила! — сказал Ленька.

Щука покосилась на Леньку, и он отскочил. Казалось, щука прохрипела: «Ну погоди, дурак, я тебе оторву уши!»

— Голубушка! — воскликнул старик и еще ниже наклонился над щукой.

Тогда и случилась та неудача, о которой до сих пор говорят по деревне.

Щука примерилась, мигнула глазом и со всего размаху ударила старика хвостом по щеке. Над сонной водой раздался оглушительный треск оплеухи. Пенсне полетело в реку. Щука подскочила и тяжело шлепнулась в воду.

— Увы! — крикнул старик, но было уже поздно.

В стороне приплясывал Ленька и кричал нахальным голосом:

— Ага! Получили! Не ловите, не ловите, не ловите, когда не умеете!

В тот же день старик смотал свои спиннинги и уехал в Москву. И никто больше не нарушал тишину протоков и рек, не обрывал блесной холодные речные лилии и не восторгался вслух тем, чем лучше всего восторгаться без слов.

Еще о лугах

В лугах очень много озер. Названия у них странные и разнообразные: Тишь, Бык, Хотец, Промоина, Канава, Старица, Музга, Бобровка, Селянское озеро и, наконец, Лангобардское.

На дне Хотца лежат черные мореные дубы. В Тиши всегда затишье. Высокие берега закрывают озеро от ветров. В Бобровке некогда водились бобры, а теперь гоняют мальков шелесперы. Промоина — глубокое озеро с такой капризной рыбой, что ловить ее может только человек с очень хорошими нервами. Бык — озеро таинственное, далекое, тянущееся на много километров. В нем мели сменяются омутами, но мало тени на берегах, и потому мы его избегаем. В Канаве

водятся удивительные золотые лини: каждый такой линь клюет полчаса. К осени берега Канавы покрываются пурпурными пятнами, но не от осенней листвы, а от обилия очень крупных ягод шиповника.

На Старице по берегам — песчаные дюны, заросшие чернобыльником и чередой. На дюнах растет трава, ее зовут живучкой. Это плотные серо-зеленые шарики, похожие на туго закрывшуюся розу. Если вырвать такой шарик из песка и положить корнями вверх, он начинает медленно ворочаться, как перевернутый на спину жук, расправляет с одной стороны лепестки, упирается на них и переворачивается опять корнями к земле.

В Музге глубина доходит до двадцати метров. На берегах Музги во время осеннего перелета отдыхают журавлиные стаи. Селянское озеро все заросло черной кугой. В ней гнездятся сотни уток.



Как прививаются названия! В лугах около Старицы есть небольшое безыменное озеро. Мы назвали его Лангобардским в честь бородатого сторожа — «лангобарда». Он жил на берегу озера в шалаше, сторожил капустные огороды. А через год, к нашему удивлению, название привилось, но колхозники передали его по-своему и стали называть это озеро Амбарским.

Разнообразие трав в лугах неслыханное. Нескошенные луга так душисты, что с непривычки туманится и тяжелеет голова. На километры тянутся густые, высокие заросли ромашки, цикория, клевера, дикого укропа, гвоздики, мать-и-мачехи, одуванчиков, генцианы, подорожника, колокольчиков, лютиков и десятков других цветущих трав. В травах к покосу созревает луговая клубника.

Старики

В лугах — в землянках и шалашах — живут болтливые старики. Это или сторожа на колхозных огородах, или паромщики, или корзинщики. Корзинщики ставят шалаши около прибрежных зарослей ивняка.

Знакомство с этими стариками начинается

обыкновенно во время грозы или дождя, когда приходится отсиживаться в шалашах, пока гроза не свалится за Оку или в леса и над лугами не опрокинется радуга.

Знакомство всегда происходит по раз навсегда установленному обычаю. Сначала мы закуриваем, потом идет вежливый и хитрый разговор, направленный к тому, чтобы выведать, кто мы такие, после него — несколько неопределенных слов о погоде («заладили дожжи» или, наоборот, «наконец-то обмоет траву, а то все сушь да сушь»). И только после этого беседа может свободно переходить на любую тему.

Больше всего старики любят поговорить о вещах необыкновенных: о новом Московском море, «водяных еропланах» (глиссерах) на Оке, французской пище («из лягушек уху варят и хлебают серебряными ложками»), барсучьих бегах и колхознике из-под Пронска, который, говорят, заработал столько трудодней, что купил на них автомобиль с музыкой.

Чаще всего я встречался с ворчливым дедом-корзинщиком. Жил он в шалаше на Музге. Звали его Степаном, а прозвище у него было «Борода на жердях».

Дед был худой, тонконогий, как старая лошадь.

Говорил он невнятно, борода лезла в рот; ветер ворошил у деда мохнатое лицо.

Как-то я заночевал в шалаше у Степана. Пришел я поздно. Были серые теплые сумерки, перепадал нерешительный дождь. Он шумел по кустам, стихал, потом снова начинал шуметь, как будто играл с нами в прятки.

— Возится этот дождь, как дите, — сказал Степан. — Чисто ребенок — то тут шелохнет, то там, а то и вовсе притаится, слушает наш разговор.

У костра сидела девочка лет двенадцати, светлоглазая, тихая, испуганная. Говорила она только шепотом.

— Вот, приблудилась дурочка из Заборья! — сказал ласково дед. — Телку в лугах искала-искала, да и доискалась до темноты. Прибегла на огонь к деду. Что ты с ней будешь делать.

Степан вытащил из кармана желтый огурец и дал девочке:

— Ешь, не сумлевайся.

Девочка взяла огурец, кивнула головой, но есть не стала.

Дед поставил на огонь котелок, начал варить похлебку.

— Вот, милые вы мои, — сказал дед, закуривая, — бродите вы, как нанятые, по лугам, по

озерам, а того нету у вас в понятии, что были все эти луга, и озера, и леса монастырские. От самой Оки до Пры, почитай на сто верст, весь лес был монашеский. А теперь народный, теперь тот лес трудовой.

— А за что им такие леса были дадены, дедушка? — спросила девочка.

— А пес их знает за что! Бабы-дуры говорили — за святость. Грехи они наши замаливали перед матерью божьей. А какие у нас грехи? Грехов у нас почитай никаких и не было. Эх, темнота, темнота!

Дед вздохнул.

— Ходил я и по церквам, был грех, — пробормотал смущенно дед. — Да что толку-то! Лапти даром уродовал.

Дед помолчал, накрошил в похлебку черного хлеба.

— Житьишко наше было плохое, — сказал он, сокрушаясь. — Не хватало ни мужикам, ни бабам счастья. Мужик еще туда-сюда — мужик, по крайности, к водке прибьется, а баба совсем пропадала. Ребята у ней были непитые, несытые. Топталась она всю жизнь с ухватами у печки, покуль черви в глазах не заводились. Ты не смейся, ты это брось! Я верное слово сказал насчет червей.

Заводились те черви в бабьих глазах от огня.

— Ужасти! — тихо вздохнула девочка.

— А ты не пужайся, — сказал дед. — У тебя черви не заведутся. Теперь девки нашли свое счастье. Ране народ думал — живет оно, счастье, на теплых водах, в синих морях, а на поверку вышло, что живет оно здесь, в черепке. — Дед постучал корявым пальцем по лбу. — Вот, к примеру, Манька Малявина. Голосистая была девчонка, и все. В старые времена она бы свой голос в одночасье проплакала, а теперь ты гляди, что получилось. Что ни день — у Малявина чистый праздник: гармонь играет, пироги пекут. А почему? Потому, милые мои, что как же ему, Ваське Малявину, не весело жить, когда Манька каждый месяц ему, старому черту, двести рублей присылает!

— Откуль? — спросила девочка.

— Из Москвы. Она в театре поет. Кто слыхал, говорят — райское пение. Прямо плачет навзрыд весь народ. Вот она какая теперь становится, бабья доля. Приезжала она прошлым летом, Манька. Так разве узнаешь! Тонкая девица, гостинец мне привезла. Пела в избе-читальне. Я до всего привычный, а прямо скажу, схватило меня за сердце, а чего — не пойму. Откуль, думаю, такая власть человеку дадена? И как это пропадала она

у нас, мужиков, от нашей дурости тысячи лет! Потопчешься сейчас по земле, там послухаешь, тут поглядишь, и умирать вроде бы как будто рано и рано — никак, милый, время для смерти не выберешь.

Дед снял похлебку с огня и полез в шалаш за ложками.

— Жить бы нам и жить, Егорыч, — сказал он из шалаша. — Родились мы чуть-чуть рановато. Не угадали.

Девочка смотрела в огонь светлыми, блестящими глазами и думала о чем-то о своем.

Родина талантов

На краю Мещорских лесов, недалеко от Рязани, лежит село Солотча. Солотча прославлена своим климатом, дюнами, реками и сосновыми борами. В Солотче есть электричество.

Крестьянские кони, согнанные в ночное на луга, дико смотрят на белые звезды электрических фонарей, повисшие в далеком лесу, и всхрапывают от страха.

Я жил первый год в Солотче у кроткой старушки, старой девы и сельской портнихи, Марьи Михайловны. Ее звали вековушей — весь свой

век она коротала одна, без мужа, без детей.

В ее чисто умытой игрушечной избе тикало несколько ходиков и висели две старинные картины неизвестного итальянского мастера. Я протер их сырым луком, и итальянское утро, полное солнца и отблесков воды, наполнило тихую избу. Картину оставил отцу Марьи Михайловны в уплату за комнату неизвестный художник-иностранец. Он приезжал в Солотчу изучать тамошнее иконописное мастерство. Он был человек почти нищий и странный. Уезжая, он взял слово, что картина будет ему прислана в Москву в обмен на деньги. Денег художник не прислал — в Москве он внезапно умер.

За стеной избы по ночам шумел соседский сад. В саду стоял дом в два этажа, обнесенный глухим забором. Я забрел в этот дом в поисках комнаты. Со мной говорила красивая седая старуха. Она строго посмотрела на меня синими глазами и комнату сдать отказалась. За ее плечом я разглядел стены, увешанные картинами.

— Чей это дом? — спросил я вековушу.

— Да как же! Академика Пожалостина, знаменитого гравера. Умер он перед революцией, а старуха — его дочь. Их там две живут старухи. Одна совсем дряхлая, горбатенькая.

Я недоумевал. Гравер Пожалостин — один из лучших русских граверов, работы его разбросаны всюду: у нас, во Франции, в Англии, и вдруг — Солотча! Но вскоре я перестал недоумевать, услышав, как колхозники, копая картошку, заспорили, приедет ли в этом году в Солотчу художник Архипов или нет.

Пожалостин — бывший пастух. Художники Архипов и Малявин, скульптор Голубкина — все из этих, рязанских мест. В Солотче почти нет избы, где не было бы картин. Спросишь: кто писал? Отвечают: дед, или отец, или брат. Солотчинцы были когда-то знаменитыми богомазами.

Имя Пожалостина до сих пор произносится с уважением. Он учил солотчан рисовать. Они ходили к нему тайком, неся завернутые в чистую тряпицу свои холсты на оценку — на хвалу или поругание.

Долго я не мог свыкнуться с мыслью, что рядом, за стеной, в темноватых комнатах старого дома, лежат редчайшие книги по искусству и медные гравированные доски. Поздно ночью я выходил к колодцу напиться воды. На срубе лежал иней, ведро обжигало пальцы, ледяные звезды стояли над безмолвным и черным краем, и только в доме Пожалостина тускло светилось окошко:

дочь его читала до рассвета. Изредка она, вероятно, поднимала очки на лоб и прислушивалась — стерегла дом.

На следующий год я поселился у Пожалостиных. Я снял у них старую баню в саду. Сад был заглохший, весь в сирени, в одичалом шиповнике, в яблонях и кленах, покрытых лишаями.

На стенах в пожалостинском доме висели прекрасные гравюры — портреты людей прошлого века. Я никак не мог избавиться от их взглядов. Когда я чинил удочки или писал, толпа женщин и мужчин в наглухо застегнутых сюртуках, толпа семидесятых годов, смотрела на меня со стен с глубоким вниманием. Я подымал голову, встречался взглядом с глазами Тургенева или генерала Ермолова, и мне почему-то становилось неловко.

Солотчинская округа — страна талантливых людей. Недалеко от Солотчи родился Есенин.

Однажды ко мне в баню зашла старуха в поневе — принесла продавать сметану.

— Ежели тебе еще сметана потребуется, — сказала она ласково, — так ты приходи ко мне, у меня есть. Спросишь у церкви, где живет Татьяна Есенина. Тебе всякий покажет.

— Есенин Сергей не твой родственник?

— Поет? — спросила бабка.

— Да, поэт.

— Племянничек мой, — вздохнула бабка и вытерла рот концом платка. — Был он поет хороший, только больно чудной. Так ежели сметанка потребуется, ты заходи ко мне, милый.

На одном из лесных озер около Солотчи живет Кузьма Зотов. До революции Кузьма был безответный бедняк. От бедности сохранилась у него привычка говорить вполголоса, незаметно — лучше уж не говорить, а помалкивать. Но от этой же бедности, от «тараканьей жизни» сохранилось у него и упрямое желание во что бы то ни стало сделать своих детей «настоящими людьми».

В избе Зотовых появилось за последние годы много нового — радио, газеты, книги. От старого времени остался только дряхлый пес — никак не хочет умирать.

— Как его ни корми, все равно тощает, — говорит Кузьма. — Такой у него на всю жизнь завод остался бедняцкий. Кто почище одет, тех боится, хоронится под лавку. Думает — господа!

У Кузьмы трое сыновей-комсомольцев. Четвертый сын — еще совсем мальчик, Вася.

Один из сыновей, Миша, заведует опытной ихтиологической станцией на озере Великом, около города Спас-Клепики. Как-то летом Миша

привез домой старую скрипку без струн — купил ее у какой-то старухи. Скрипка валялась в старухиной избе, в сундуке, — осталась от помещиков Щербатовых. Скрипка была итальянской работы, и Миша решил зимой, когда на опытной станции будет мало работы, съездить в Москву — показать ее знатокам. Играть на скрипке он не умел.

— Если окажется ценной, — сказал он мне, — подарю кому-нибудь из наших лучших скрипачей.

Второй сын, Ваня, — учитель ботаники и зоологии в большом лесном селе, за сто километров от родного озера. Во время отпуска он помогает матери по хозяйству, а в свободное время бродит по лесам или по озеру по пояс в воде, ищет какие-то редкие водоросли. Их он обещал показать своим ученикам, шустрым и страшно любопытным.

Ваня человек застенчивый. От отца к нему перешли незлобивость, расположение к людям, любовь к душевным разговорам.

Вася еще учится в школе. На озере школы нет — там всего четыре избы, — и Васе приходится бегать в школу через лес, за семь километров.

Вася — знаток своих мест. Он знает каждую тропинку в лесу, каждую барсучью нору, оперение каждой птицы. Его серые прищуренные глаза обладают необыкновенной зоркостью.

Два года назад на озеро приехал из Москвы художник. Он взял Васю себе в помощники. Вася перевозил художника на челне на другой берег озера, менял ему воду для красок (художник рисовал французскими акварельными красками Лефранка), подавал из коробки свинцовые тюбики.

Однажды художника с Васей застигла на берегу гроза. Я помню ее. Это была не гроза, а стремительный, предательский ураган. Пыль, розовая от блеска молний, неслась по земле. Леса шумели так, будто океаны прорвали плотины и затапливают Мещору. Гром встряхивал землю.

Художник с Васей едва добрались до дому. В избе художник обнаружил пропажу жестяной коробки с акварелью. Краски были потеряны, великолепные краски Лефранка! Художник искал их несколько дней, но не нашел и вскоре уехал в Москву.

Через два месяца в Москве художник получил письмо, написанное большими корявыми буквами.

«*Здравствуйте*, – писал Вася. – Отпишите, что делать с вашими красками и как их вам переслать. Как вы уехали, я их искал две недели, все обшарил, пока нашел, только сильно простыл, потому уже были дожди, заболел и не мог вам раньше отписать. Я чуть не помер, но теперь хожу, хотя еще очень слабый. Так что не сердитесь. Папаня говорил, что было у меня воспаление в легких. Пришлите мне, если есть у вас какая возможность, книжку про всякие деревья и цветных карандашей – охота мне рисовать. У нас уже падал снег, но только стаял, а в лесу под елочкой – смотришь – и сидит заяц!

Остаюсь Вася Зотов».

Мой дом

Маленький дом, где я живу в Мещоре, заслуживает описания. Это бывшая баня, бревенчатая изба, обшитая серым тесом. Дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от сада высоким частоколом. Этот частокол — западня для дере-

венских котов, любителей рыбы. Каждый раз, когда я возвращаюсь с ловли, коты всех мастей — рыжие, черные, серые и белые с подпалинами — берут дом в осаду. Они шныряют вокруг, сидят на заборе, на крышах, на старых яблонях, подвывают друг на друга и ждут вечера. Все они смотрят не отрываясь на кукан с рыбой — он подвешен к ветке старой яблони с таким расчетом, что достать его почти невозможно.

Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. Они подымаются на задние лапы, а передними делают стремительные и ловкие взмахи, стараясь зацепить кукан. Издали кажется, что коты играют в волейбол. Потом какой-нибудь наглый кот подпрыгивает, вцепляется в кукан мертвой хваткой, висит на нем, качается и старается оторвать рыбу. Остальные коты бьют от досады друг друга по усатым мордам. Кончается это тем, что я выхожу с фонарем из бани. Коты, застигнутые врасплох, бросаются к частоколу, но не успевают перелезть через него, а протискиваются между кольями и застревают. Тогда они прижимают уши, закрывают глаза и начинают отчаянно кричать, прося пощады.

Осенью весь дом засыпан листьями, и в двух

маленьких комнатках становится светло, как в облетающем саду.

Трещат печи, пахнет яблоками, чисто вымытыми полами. Синицы сидят на ветках, пересыпают в горле стеклянные шарики, звенят, трещат и смотрят на подоконник, где лежит ломоть черного хлеба.

В доме я ночую редко. Большинство ночей я провожу на озерах, а когда остаюсь дома, то ночую в старой беседке в глубине сада. Она заросла диким виноградом. По утрам солнце бьет в нее сквозь пурпурную, лиловую, зеленую и лимонную листву, и мне всегда кажется, что я просыпаюсь внутри зажженной елки. Воробьи с удивлением заглядывают в беседку. Их смертельно занимают часы. Они тикают на врытом в землю круглом столе. Воробьи подбираются к ним, слушают тиканье то одним, то другим ухом и потом сильно клюют часы в циферблат.

Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в саду шумит вполголоса неторопливый отвесный дождь.

Прохладный воздух едва качает язычок свечи. Угловатые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка, похожая на комок серого шелка-сырца, садится на раскры-

тую книгу и оставляет на странице тончайшую блестящую пыль.

Пахнет дождем — нежным и вместе с тем острым запахом влаги, сырых садовых дорожек.

На рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане падают листья. Я вытаскиваю из колодца ведро воды. Из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь колодезной водой и слушаю рожок пастуха — он поет еще далеко, у самой околицы.

Я иду в пустую баню, кипячу чай. На печке заводит свою песню сверчок. Он поет очень громко и не обращает внимания ни на мои шаги, ни на звон чашек.

Светает. Я беру весла и иду к реке. Цепной пес Дивный спит у калитки. Он бьет хвостом по земле, но не подымает головы. Дивный давно привык к моим уходам на рассвете. Он только зевает мне вслед и шумно вздыхает.

Я отплываю в тумане. Восток розовеет. Уже не доносится запах дыма сельских печей. Остается только безмолвие воды, зарослей, вековых ив.

Впереди — пустынный сентябрьский день. Впереди — затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод, облаков, низкого неба. И эту

затерянность я всегда ощущаю как счастье.

Бескорыстие

Можно еще много написать о Мещорском крае. Можно написать, что этот край очень богат лесами и торфом, сеном и картофелем, молоком и ягодами. Но я нарочно не пишу об этом. Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она богата, что она дает обильные урожаи и природные ее силы можно использовать для нашего благосостояния!

Не только за это мы любим родные места. Мы любим их еще за то, что, даже небогатые, они для нас прекрасны. Я люблю Мещорский край за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно.

На первый взгляд — это тихая и немудрая земля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту обыкновенную землю. И если придется защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было, — этот лесной задумчивый край,

любовь к которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь.